

нации и национализм

НОВАЯ НАУКА ПОЛИТИКИ

Андерсон
Лорд Актон
Бауэр
Хрох
Геллнер
Бройи
Смит
Балакришнан
Чаттерджи
Уолби
Вердери
Нейрн
Хобсбаум
Хабермас
Манн




CEU



Mapping the Nation

нации и национализм

перевод с английского

Праксис

Москва 2002

ББК 60.5
Н 28

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Books for Civil Society» при поддержке Регионального издательского центра Института «Открытое общество» (OSI – Budapest) и Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) - Россия

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002. — 416 с. — (Серия «Новая наука политики»).
Н 28 ISBN 5-901574-07-9

В сборнике статей, впервые опубликованном известным лондонским издательством «Версо» в 1996 году, ведущие социальные мыслители Запада — Юрген Хабермас, Эрнст Геллнер, Эрик Хобсбаум, Майкл Манн и другие — размышляют о природе национализма. Какова та роль, которую национальные движения играют в современном мире? Насколько универсальна теория национального государства? Как процесс формирования национальных государств связан со становлением индустриального общества на Западе? Какой тип государственного устройства наилучшим образом способствует поддержанию этнической терпимости? Каково будущее принципа права наций на самоопределение в XXI веке? На все эти вопросы пытаются ответить авторы сборника.

ББК 60.5

© This collection New Left Review, 1996
© Individual contributions the contributors, 1996
© Л. Е. Переяславцева, М. Б. Гнедовской, пер. с англ., 2002
© М. С. Панин, пер. с нем., 2002
© А. Кулагин, А. Мосина, оформление обложки, 2002
© Издательская группа «Праксис», 2002

ISBN 5-901574-07-9

СОДЕРЖАНИЕ

Бенедикт Андерсон
Введение 7

Лорд Актон
Принцип национального самоопределения 26

Отто Бауэр
Национальный вопрос и социал-демократия 52

Мирослав Хрох
От национальных движений
к полностью сформировавшейся нации:
процесс строительства наций в Европе 121

Эрнест Геллнер
Пришествие национализма. Мифы нации и класса 146

Джон Бройи
Подходы к исследованию национализма 201

Энтони Д. Смит
Национализм и историки 236

Гопал Балакришнан
Национальное воображение 264

Парта Чаттерджи
Воображаемые сообщества: кто их воображает? 283

Кэтрин Вердери
Куда идут «нация» и «национализм»? 297

Сильвия Уолби
Женщина и нация 308

Эрик Дж. Хобсбаум
Принцип этнической принадлежности
и национализм в современной Европе 332

Том Нейрн
Интернационализм и второе пришествие 347

Юрген Хабермас
Европейское национальное государство:
его достижения и пределы. О прошлом и будущем
суверенитета и гражданства 364

Майкл Манн
Нации-государства в Европе и на других континентах:
разнообразие форм, развитие, неугасание 381

БЕНЕДИКТ АНДЕРСОН

ВВЕДЕНИЕ

Едва ли кто-то не согласится с тем, что история национализма насчитывает уже как минимум два столетия. Казалось бы, это вполне достаточный срок для того, чтобы можно было тщательно и всесторонне осмыслить феномен национализма. Тем не менее трудно представить себе какое-либо иное политическое явление, которое до сих пор оставалось бы столь загадочным и приводило бы к большим разногласиям среди исследователей. У него нет повсеместно принятых определений. Никто не удосужился привести решающих доказательств его современности либо архаичности. Разногласия по поводу его истоков сочетаются с неясностью относительно его будущего. В его глобальном распространении усматривают то мрачную метафору метастаза, то добрые признаки обретения идентичности и освобождения; но где же берут начало эти процессы — в Новом мире или в Старом? Сегодня могут возникнуть и новые виды вопросов, например, «в какой степени национализм связан с деятельностью мужчин?» — и опять никто не будет уверен в том, как лучше на них ответить. Как примирить его универсальность с неизбежными конкретными особенностями? Какая из дисциплин помогает исследовать его наиболее полно: история, психология, политическая экономия, социология, антропология, философия, литературная критика или... какая же? И еще вопрос на засыпку: если сегодня нам кажется, что в мировой политике двух последних веков национализм сыграл грандиозную роль, то почему столь многие плодовитые мыслители современности — Маркс, Ницше, Вебер, Дюркгейм, Беньямин, Фрейд, Леви-Стросс, Кейнс, Грамши, Фуко — так мало что сказали о нем?

Все эти неясности означают, что, как бы мы ни систематизировали попытки «картографировать» национализм, авторы подобного рода антологий обычно оказываются стоящими друг к другу спиной, всматриваясь в различные, смутные горизонты, а не объединенными в организованной, сплоченной борьбе. Сгало быть, любое короткое предисловие способно очертить только некие общие границы вопроса.

Философские трудности в этой области были всегда. Гердера, который метко сказал, что «Denn jedes Volk ist Volk; es hat seine National Bildung wie seine

Sprache»[1], положение обязывало настаивать на уникальности *всякого* народа/*Volk* только потому, что он являлся автором обширной четырехтомной всеобщей истории, озаглавленной «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit»[2]. Та самоочевидная система координат, в рамках которой мыслили величайшие из европейских умов, начиная с эпохи Просвещения и кончая самым недавним временем, носила универсальный характер — так сказать, *Menschheit*[3] и/или *Weltgeschichte*[4]. Гегель всю свою многотрудную жизнь провел на маленьком, пятисотмильном отрезке между Штутгартом и Берлином, но нам кажется совершенно естественным, что, благодаря трем с половиной векам книгопечатного капитализма постренессансного периода развития Европы, в его библиотеке были представлены вся древность и все современные общества, предназначенные стать объектами внимательного рассмотрения, рефлексии и теоретического синтеза. В век, который начался с Революции (но еще не Французской), все ключевые понятия трактовались глобально: прогресс, либерализм, социализм, республиканизм, демократия, даже консерватизм, законность и позднее фашизм. Весьма любопытно, что так же трактовался и национализм, и поэтому никто не видел ничего странного в «Лиге Наций», а Ллойд Джордж мог беззаботно назвать Мадзини отцом этой международной организации. Подобный образ мысли не ограничивался европейскими рамками. Когда в конце 80-х годов XX века великий современный писатель Индонезии Прамудия Ананта Тур опубликовал свою большую историческую тетралогию о происхождении индонезийского национализма, он еще мог беспечно характеризовать своего героя как *anak semua bangsa* — дитя всех наций. И тем не менее в текущие полвека миллионы людей на всей планете отдавали жизнь за благо своего народа. Постепенно становилось ясно, что национализм невозможно рассматривать иначе, чем в сравнительном и глобальном ключе, — и в то же время очень трудно постичь и политически использовать его, не считаясь с его спецификой.

Эта дилемма и вызванные ею теоретические затруднения помогают прояснить кое-что из истории серьезных размышлений о национализме, его пробелов и взрывов энергии. В течение долгого столетнего периода консервативного мира в Европе (1815—1914) национализм вызывал теоретическую озабоченность лишь у немногих людей и только по случаю, но эти случаи имели весьма поучительное значение. Настоящий сборник открывается двумя наиболее серьезными из таких прецедентов.

В 60-е годы XIX века, на пике британского имперского могущества — но также и после общеевропейского сдвига 1848 года: революций под предводительством Мадзини и Гарибальди против папства и Неаполитанского Королевства, борьбы фениев в Ирландии и Америке и успешного предотвраще-

ния националистом Хуаресом попытки графа Максимилиана установить династию Габсбургов в Мексике, — урожденный неаполитанец лорд Актон (впоследствии первый из назначенных английским королем католических профессоров истории в Оксфорде) впервые ударил в колокола тревоги. Просвещенный защитник всеобщего принципа законности, он отметил, что так называемая теория «национальной независимости» является одной из трех пагубных современных теорий, причем такой, которая «представляется сейчас самой притягательной и самой многообещающей по части будущих возможностей»[5]. По его мнению, «наиболее совершенными в действительности являются те государства, которые, подобно британской или австрийской империям, состоят из многих различных национальностей, при этом не угнетая их», поскольку «низшие племена возвышаются, живя в политическом союзе с племенами более развитыми», и «нации истощенные и угасающие обретают новые силы благодаря соприкосновению с нациями более молодыми и полными жизненной энергии». В противовес заявлению Джона Стюарта Милля в «Размышлениях о представительном правлении», согласно которому «в целом необходимым условием свободных институтов должно быть совпадение границ власти с границами национальностей», Актон настаивал на том, что подобное понимание является губительным пережитком Французской революции, разновидностью общей «современной» тенденции к обоснованию Государства спекулятивными, абстрактными, монистическими идеями (в том числе, по его саркастическому замечанию, идеей наибольшего счастья для наибольшего числа людей). Любая такая тенденция неизбежно вела к революционной и абсолютистской политике, нарушала ограниченный характер полномочий власти и плюралистическую основу истинной свободы. Едва ли можно сомневаться в том, что кровопролитную передачу власти в бывшей Югославии под лозунгом «этнической чистки» Актон воспринял бы как подтверждение своих самых скверных предчувствий, а наблюдая возникновение консервативного Европейского Сообщества, он испытывал бы пророческое удовлетворение.

Когда на горизонте замаячила Великая Война, Отто Бауэр, сторонник всеобщего социализма, регулярно читавший лекции в Венской Arbeiterschule[6], свел свои мысли в масштабный сравнительный труд, в котором намеревался теоретически доказать, что верно понятые социализм и национализм прекрасно совместимы друг с другом, и практически обосновать идею о том, что конфликты национальностей, угрожавшие существованию Австро-Венгерской империи, могут быть продуктивно «сняты» в его проекте сверхнациональных, социалистических Vereinigten Staaten von Gross-Oesterreich[7] (VSGO)[8]. (Постыдный факт, но за девяносто лет, прошедших с первой пуб-

ликации, его влиятельный *magnum opus*[9] «Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie»[10], не был переведен на английский язык. Тем большего внимания заслуживают выдержки из него, которые приводятся в настоящем сборнике.) В пику всем реакционным идеям вроде «вечного Volksgeist»[11], благодаря которым, к примеру, в XIX веке из позитивного образа героя Тацита Арминия возник гротесковый гигантский памятник «Германцу» в Шварцвальде, Бауэр утверждал, что нации есть плод истории и что за ними стоят века социального и сексуального смешения различных групп. Немцы представляли собой хаотичную смесь славян, кельтов и тевтонцев, и в начале XX века они имели больше сходства с современными французами и итальянцами, у которых им было чему поучиться, чем в свое время — с подданными Священной Римской империи. И далее, в том же ключе и кое в чем предвосхищая идеи Эрнеста Геллнера (см. ниже), он писал, что нация является результатом Великого Преобразования, в ходе которого все старые разрозненные сообщества перемешиваются в современных индустриальных обществах, требующих солидарности, основанной на абстрактной, подкрепленной всеобщей грамотностью, высокой культуре. Будучи страстным автором и опираясь на собственный опыт преподавания в Arbeiterschule, Бауэр утверждал, что жестокий капитализм не только оторвал трудящихся от их локальных крестьянских культур, но и по причине их измученного, страдальческого невежества, к которому их приковала фабричная система, лишил их доступа к созданным главным образом высшим и средним классом национальным культурам. Поэтому историческая задача социализма состояла в том, чтобы помочь им вырваться из тьмы к свету. В то же время Бауэр оспаривал идею, разделяемую тогда многими левыми, о том, что победа социализма приведет к своего рода плоскому, однообразному космополитизму. Проводя четкую грань между общностью и сходством, он полагал, что все современные нации, например, пережили промышленный капитализм сходным образом, но делали они это не сообща. Общность, перечеркивая классовые границы, связала отдельные группы тем, что он называл «общностью судьбы», трактуемой не в метафизическом смысле — как древнее понятие рока, — а как коллективная устремленность в будущее. Этой устремленности, постоянно подвергающейся изменениям в ходе реальной борьбы за существование, предстояло оформиться — при помощи общепринятых языка и норм повседневной жизни, общей культуры, а в конечном счете и общих политических институтов — в так называемый национальный характер[12].

Но более всего поразительна позиция Бауэра по отношению к взглядам Актона и тезисам, полувеком ранее столь убедительно изложенным Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии». И Актон, и Ба-

уэр выступали за отделение национальности от государства. Консервативный англичанин из Неаполя рассматривал нации (вне истории и по большому счету вне культуры) как нечто «сугубо природное» и, стало быть, нуждающееся в спущенном сверху государстве законности; стало быть, правление Габсбургов представляло собой ту плотину, которую грозили прорвать нигилистические тенденции современности. Бауэр, напротив, понимал, что и нации, и государства складываются исторически, но источником ценностей являются скорее национальный характер и культура, нежели государство. Поэтому значение империи Габсбургов заключалось в создании особого исторического каркаса институтов и практик, из которого впоследствии должна вырасти социалистическая федерация национальностей — на пути, ведущем, быть может, к отмиранию всех государств. В противоположность точке зрения, нашедшей свое выражение в «Манифесте», согласно которой в горниле мирового капиталистического рынка перемешиваются и растворяются все национальные культуры, Бауэр был убежден, что в ходе прогрессивного общественного развития увеличивается интенсивность контактов между людьми разных культур, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня этих культур и способствует дифференциации личностей; функция социализма, согласно ему, состоит не в том, чтобы противодействовать этим тенденциям, а в том, чтобы распространять стандартизацию материальной жизни на самые передовые рубежи, которые капитализм исходно привел в движение. (Так что осененной государственной властью нация виделась только буржуа.)

Казалось бы, после 1918 года все круто переменилось. Падение империй Гогенцоллернов, Габсбургов, Романовых, а также Османской империи положило конец легитимности законного государства и явилось расплатой за мечту о Соединенных Штатах Велико-Австрии. Из периферийных осколков империй возникло нагромождение слабых, преимущественно аграрных национальных государств в Центральной и Восточной Европе, а также масса колоний и протекторатов на Ближнем Востоке. Даже победоносное Соединенное Королевство вскоре потеряло большую часть Ирландии, и одновременно его немецкая королевская фамилия натурализовалась как династия Виндзор. Создание Лиги Наций выглядело как начало новой всеобщей законности, в рамках которой даже осколки могущества былых империй маскировались под обычные нации.

Но поистине решающим событием явился приход к власти большевиков в Петрограде и их поразительный успех в формировании устойчивого антикапиталистического порядка на большей части прежних царских владений.

Поскольку, даже присоединившись со временем к Лиге, юный одиночка Советский Союз не рассматривал себя как национальное государство, да и многочисленные враги его в целом таковым не считали. В глазах большинства он до некоторой степени воплощал в себе мечту Бауэра, снимая проблему национализма формальным признанием территорий и культур своих основных национальностей, но в то же время полностью подчиняя их всеобщему плану. Именно этим планом он и снискал себе преданность миллионов людей, рассеянных во множестве уголков планеты. Против большевизма восстал универсализм двух конкурирующих, уравновешивающих друг друга типов: капиталистическая демократия («Запад»), с одной стороны, и фашизм, с другой. Хотя никто не станет отрицать, что фашизм на своих низших уровнях эксплуатирует идею национализма, необходимо признать за ним мировую претензию на наднациональную силу, противостоящую «мировому» еврейству, большевизму, либерализму и так далее. Поэтому вышло так, что наиболее важные исследования по национализму в период между войнами, проведенные Гансом Коном, Карлтоном Хейесом и их студентами, строились на бинарной, универсальной оппозиции «хорошего» (западного/демократического) и «плохого» (восточного/авторитарного/фашистского)[13]. И при этом как-то не принималось в расчет, что хорошие европейские столицы Лондон, Париж и Гаага в прошлом являлись центрами европейского имперского деспотизма.

Крушение фашистских режимов в Европе, равно как и милитаристского режима в Японии, существенным образом не сказалось на положении вещей, сложившемся после 1918 года. Несмотря на то что Советский Союз стал членом Организации Объединенных Наций, в которую теперь вступили и Соединенные Штаты, в мировой политике периода холодной войны общепринятыми оставались понятия наднационального толка. В действительности Сталин противился вхождению контролируемых им частей Восточной и Центральной Европы в Советский Союз, и поэтому поначалу сложились такие коммунистические государства, которые имели отчетливый национальный статус; но эти государства были невелики и слабы и воспринимались как малые спутники, зависимые от своего ядра[14]. (До конца 1950-х таковым считался даже огромный Китай.) С другой стороны, Соединенные Штаты, располагавшие абсолютным влиянием на Западную Европу, в контексте всемирной истории также выглядели не столько национальным государством, сколько влиятельным центром глобальной антикоммунистической коалиции.

Освобождение европейских колоний в Азии и Африке в промежутке с 1945 по 1975 год не изменило ситуации на сколько-нибудь обозримую перспек-

тиву, поскольку эти новые национальные государства — как и новые европейские национальные государства в период между войнами — в основном были слабыми, бедными, аграрными и страдали от внутренних конфликтов, большая часть которых объяснялась и управлялась господствующими тенденциями мирового развития.

Начало эры, в которую мы с вами живем, вероятно, хотя бы символически приходится на 60-е годы XX века, ознаменованные глобальным эхом национализма в двух маленьких, нищих и периферийных государствах. Героическая борьба Вьетнама против могущественных Соединенных Штатов, наглядно представленная всему миру при помощи новых возможностей телевидения, как никакой другой «периферийный» национализм, способствовала бурным потрясениям не только в Америке, но и во Франции, Германии, Японии и далее везде, превратив 1968 год в некий *annus mirabilis*[15] образца 1848 года. В это же самое время брежневские танки жестоко сокрушили националистическую Весну в возглавляемой коммунистами Чехословакии, что потом сравнительно долго отражалось на планах Советов. То же десятилетие увидело подъем в Соединенных Штатах: сначала движение за гражданские права, сменившееся Черным Национализмом, который вскоре вышел за государственные границы; затем начало феминистского движения нового образца, получившего стремительное распространение по планете; Стоунуоллский бунт, положивший начало первому в истории трансконтинентальному движению за эмансипацию геев и лесбиянок — в данном случае можно было вести речь о США как о Нации гомосексуалистов. Да и в старой Европе развитие наднационального сообщества шло рука об руку со становлением воинствующего национализма, направленного против официально признанных национальных государств в Северной Ирландии, Шотландии, Бельгии, Каталонии, земле Басков и т. д.[16] Ко второй половине 1980-х годов Советский Союз уже едва стоял на ногах, завещая все, что осталось от коммунизма XX века, истеричным наследникам Дэн Сяопина. Тем временем второй самой влиятельной национальной экономикой (если есть смысл и дальше оперировать подобными терминами) становилась Япония, не предлагающая ни внешнему миру, ни своим гражданам никаких универсальных проектов. Трудно назвать иную эру в истории, когда в политике все менялось бы столь быстро и столь повсеместно, или когда будущее было бы столь неясным.

Однако в это время происходит и иная, более спокойная трансформация, чреватая тем не менее колоссальными возможными последствиями. Кант, ведя в основном довольно тихую жизнь в Кенигсберге XVIII века, мог воображать себе коммерцию этакой плодотворной глобальной силой, которая

когда-нибудь приведет к «вечному миру» между нациями. (Хотя эта самая «коммерция» заключалась и в том, что через Атлантику перевозились миллионы порабощенных африканцев.) Ему вольно было так считать, потому что промышленный капитализм еще только начинал брезжить на его горизонте; огромным миграциям в западном направлении только предстояло начаться, а о железной дороге в то время даже никто не мечтал. Более юный Гегель, лучше знакомый с трудами Адама Смита и обладавший более тонким инстинктом пророка, рано обеспокоился социальными и политическими последствиями экономической революции, набирающей ход; и одной из целей современного государства в его понимании было именно сдерживание и приручение враждебных сил, которые рынок начинал спускать с поводка. В следующем поколении о том типе политических изменений, который потребуется для осмысленной гармонизации раннего капитализма с современным государством, всерьез задумался Лист. По его мнению, такого рода примирение должна была обеспечить некая форма национальной экономики, достаточно крупной, чтобы обеспечить столько власти, сколько ей необходимо для поддержки и охраны своих границ. Даже Маркс, который лучше, чем кто бы то ни было, постиг глобальную революционную динамику капитализма, не остался совершенно безучастным к предположениям Листа. Можно не сомневаться, что в его знаменитом высказывании «пролетариат любой страны в первую очередь, разумеется, должен выяснить отношения со своей собственной буржуазией» имеются в виду «страны», скорее похожие на страны Листа, чем на маленькие Швейцарию, Бельгию или Португалию.

Широкое применение понятие «национальная экономика» получило по крайней мере не раньше, чем создалась Лига Наций, когда оно составило незыблемую основу всей доктрины самоопределения; первый, несомненно, смертельный удар по нему нанесла мировая Депрессия, которая поразила все нации одновременно и которую существенно не смягчил никакой рост тарифных барьеров. Национальная экономика, однако, безусловно предполагает определенную географическую неподвижность рабочей силы, а также определенную четкость в функционировании обеспечивающих ее систем сообщения. (Удивительно, но колоссальным перемещениям рабочей силы, организованным за пределами Европы в рамках колониальных империй, в ту пору не уделялось должного теоретического внимания.) Сама идея, согласно которой карту Европы можно и должно решительно перечертить, дабы она больше способствовала самоопределению наций, предполагала то, что, скажем, поляки впредь должны оставаться в границах Польши, читать польские газеты, участвовать в польской политике и строить польскую эко-

номику. Крупные отделения левых организаций приняли такую модель отношений не в последнюю очередь потому, что, как показывал опыт (только что рожденный Советский Союз был не в счет), наиболее существенные, далеко идущие цели рабочего класса в заводских стенах реализуются в меньшей степени, чем в *национальных* парламентах и посредством парламентского законотворчества. Поэтому выходило, что термин «*национал*изация» вполне невинно и даже неосознанно широко применялся для обозначения реального или планируемого вывода секторов экономики из-под контроля частного капитала: это был, так сказать, синоним социализации. Однако тут подоспел век Форда, автомобилей, радио и даже авиации.

После колоссального разорения, вызванного второй мировой войной, этим тенденциям требовалось уже совсем немного времени, чтобы во всеуслышание заявить о себе. Боевые успехи Красной Армии способствовали продвижению Советской власти глубоко в центр Европы, а в Азии самая населенная страна планеты стараниями Коммунистической партии Китая (КПК) оказалась за бортом мирового рынка. По политическим причинам государственные экономики двух руководимых коммунистами гигантов также не допускали продвижения рабочей силы за пределы своих производственных сфер. Капиталистическая Западная Европа обнаружила, что не в состоянии сохранять свои бывшие европейские империи. Общая политическая и экономическая слабость сделала с ними то же самое, что она сделала с маленькими германскими и итальянскими государствами в середине XIX века. В этом свете последующее формирование Европейского Сообщества можно трактовать как листианство, приспособленное к эре позднего капитализма. В бывших колониях, ныне независимых государствах Азии, а затем и Африки, под лозунгом «национализации» также в свою очередь воплотились в жизнь положения 1918 года.

Но в 70-х и начале 80-х годов XX века преграды, препятствовавшие полной реализации зрелого капитализма, оказались совершенно разрушены под натиском процессов, которые нам всем хорошо знакомы. Набрала обороты колоссальная миграция населения из обнищавших бывших колониальных государств в богатые капиталистические центры — сначала в Западную Европу, Соединенные Штаты и бывшие британские доминионы, позднее в Японию, богатый нефтью Ближний Восток и новые промышленные страны (НПС) Восточной и Юго-Восточной Азии. «Континентальная система» Сталина и Мао стала давать необратимую течь и в конце концов приказала долго жить. Электронная революция привела к созданию систем связи, ускользающих из-под контроля даже наиболее мощных национальных государств, делая возможным движение финансового капитала в таких масштабах и с

такой скоростью, которых нельзя было представить себе всего каких-нибудь тридцать лет назад. Начало крепнуть господство транснациональных систем производства, и старомодный фордизм стал уступать дорогу децентрализованным, не привязанным к конкретной стране производственным системам, а также усложненному, чрезвычайно гибкому маркетингу производственных ниш. (Одним из прискорбно ранних указаний на это явился мировой бизнес наркотиков, взрыв которого пришелся на 1960-е годы и, похоже, не ограничивается до сих пор.) Дешевый и быстрый транспорт сделал возможными абсолютно беспрецедентные перемещения населения по всему миру, какие бы трудовые и *Zollverein*[17]-системы ни изобретались в конце нашего века.

В результате подобных трансформаций национализм сегодня фигурирует, как минимум, под двумя новыми масками и имеет последствия, относительно которых невозможно сказать что-либо определенное. Первое — это, безусловно, создание массы слабых, экономически уязвимых наций-государств из осколков советской системы: одни из них совершенно новые, а другие — остатки тех, что были учреждены в 1918 году; в любом случае, со многих точек зрения, три четверти века спустя. (На это, впрочем, можно возразить, что данные виды национализма несут на себе весомый отпечаток региональной специфики и, похоже, ничуть не препятствуют глобальным тенденциям.) Второе — это угроза разрушения той смысловой черточки, которой в течение двух столетий были сопряжены между собой государство и нация. В лучшие для этой черточки времена, когда мечтой националистических движений было обретение собственных государств, люди верили в то, что подобного рода государства способны обеспечить им процветание, благополучие и безопасность, а также гордость и международное признание. С другой стороны, предполагалось, что этим государствам гарантировано подчинение и безраздельная преданность большинства граждан, считающих себя принадлежащими к нации. Нет ничего более сомнительного, чем долгая жизнь подобного рода предположений. Чем более мобильными становятся люди во всем мире, тем быстрее складываются легкие на подъем национальности, ключевым лозунгом которых следует считать «идентичность».

Вплоть до кануна второй мировой войны изменения военных технологий происходили довольно неспешно, а затраты военных были достаточно скромны для того, чтобы определенное количество наций-государств ощущало себя способными и даже обязанными выдержать конкуренцию в этой сфере. (Тогда еще было возможным, например, чтобы Япония, вышедшая из феодального небытия, построила лучший боевой самолет, чем Соединенные Штаты эпохи Форда.) Величайший новый институт, созданный французскими рево-

люционерами и их прусскими антагонистами — воинская повинность, — для той поры был нормальным явлением. Массовое участие граждан-мужчин в национальной обороне было тем животворным элементом, который стабильно удерживал черточку-дефис в положенном месте. Практически все это сегодня исчезло. Серьезные новации в военной сфере нынче позволительны только малейшему проценту от порядка двухсот наций-государств мира, а остальные рыщут за ними по пятам, как пираты из компьютерных игр, как потребители, одураченные сильными мира сего или роющиеся в мусоре на беспорядочном мировом рынке уцененных, второсортных товаров. (Есть сведения, что, например, в Китае, на крайнем западе, действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в целом ряде важных областей скованы из-за того, что местные полевые командиры сепаратистов используют оружие из бывшего СССР[18].) Технология сделала воинскую повинность неактуальной. Государства, неспособные к вооруженной защите своих граждан, с трудом обеспечивающие их работой и верой в расширение жизненных горизонтов, могут заботиться разве что о соблюдении женской чести и строгости школьных программ, но долго ли будут такие заботы способствовать тому, чтобы у граждан сохранялись возвышенные потребности в независимости?

И последнее соображение в этом ключе: вплоть до 1945 года политические, социальные и экономические конфликты любой степени сложности имели место в границах, которые можно назвать утопическими, сожалея об этом только наполовину. Разумеется, левые могли представлять себе такой день, когда капитализм будет преодолен и заменен чем-то иным. Но и правые полагали, что в разрушении большевизма, или еврейства, есть нечто внушительно прекрасное. Настоящий конец этой эпохе положило открытие атомной эры. Можно сказать об этом событии так: в 60-е годы XX века Вашингтон имел реальную возможность сокрушить большевизм в считанные часы, а Москва имела реальную возможность так же быстро покончить с существующим капитализмом. В тот исторический момент нам впервые явил свой лик конец света. В последующие годы к атомной смерти планеты добавились другие виды глобального *memento mori*[19]: разрушение озонового слоя, исчезновение различных видов живых существ, обострение демографических проблем, эпидемии вроде СПИДа.

Если припомнить политические обстоятельства, в которых явились миру Актон и Бауэр со своими идеями, то будет неудивительно, что эпоха после 60-х годов стала свидетельницей целого взрыва глубоких произведений на тему национализма. Это одна из причин того, почему помимо произведений Актона и Бауэра все тексты, собранные в этой книге, написаны в последнее

десятилетие и почему они выражают очень разные точки зрения и интересы. В сущности, все эти авторы есть или были выдающимися интеллектуалами, так что с нашей стороны было бы самонадеянно стремиться «представить» их аудитории. Но, возможно, есть смысл определить то место, которое они занимают на том ландшафте, который я описал выше.

Чтобы не растекаться мыслию по древу, можно сказать, что первопроходцами здесь выступили два чеха из поколения, рожденного перед второй мировой войной и атомной эрой: один работал в Праге, а другой большую часть времени проводил в Лондоне. Эрнест Геллнер, в свое время трагически обойденный вниманием, уже в 60-е годы XX века начал разработку своей авторитетной иконоборческой теории, согласно которой национализм в сухом остатке представляет собой не более (или не менее) чем неизбежный и предельно конструктивный ответ на Великое Преобразование статичного аграрного общества в мир производства и автоматических связей. Этот процесс включает в себя распространение стандартов «высоких культур» (маскирующихся под определенно национальные), которые обеспечивались мощными, созданными и финансируемыми государством системами образования и предназначались для того, чтобы готовить людей к выживанию в условиях высокоразвитых разделения труда и социальной мобильности. В евро-космополитическом духе Просвещения Геллнер трактовал национализм глобально, социологически, с высоких позиций и имел слишком мало свободного времени, чтобы уделять внимание «сентиментальным моментам», связанным с «национальными культурами» (хотя известно, что лично для себя он порой находил утешение в чешских народных песнях). Тем временем в Праге, в эпоху Дубчека и его коммунизма «с человеческим лицом», а также грубой реакции на него из Москвы, Мирослав Хрох, преподаватель в старейшем пражском Карловом университете, опубликовал свое революционное историко-социологическое сравнительное исследование ряда очень своеобразных националистических движений в малых странах Центральной и Восточной Европы. Возможно, это неспроста, что в данных условиях Хрох сделал акцент именно на том, что Геллнер отмел как несущественное, — на разности исторических времен, к которым относились эти движения, равно как на их очень различных социальных основах и экономических обстоятельствах. Более того, в противовес Геллнеру он настаивал, что нации есть реальные антропологические образования, и что связь между подъемом национализма и современным индустриальным обществом до сих пор была слабой и не носила безусловного характера. Нам удалось включить в этот сборник не только четкое изложение Хрохом своих основных тезисов (а также его несколько пессимистические размышления о будущем Восточной Ев-

ропы), но и критический ответ Геллнера и защиту последним своей собственной позиции.

В начале 70-х годов, когда Западная Европа, вопреки большинству предшествующих прогнозов, начинала испытывать националистические «рецидивы» — в Шотландии, Бельгии, земле Басков и особенно, наверное, в Ирландии, — Энтони Смит в постимперском, как тогда уже считалось, Лондоне принялся писать длинную серию все более сложных работ о национализме и национальности, и тоже в ключе, оппозиционном Геллнеру. Полностью признавая, что в некоторых важных аспектах национализм — это явление современное, он настаивал на том, что националистические притязания не могут быть поняты со всей серьезностью, если трактовать их сугубо функционально и считать, что они возникают *ex nihilo*[20]. Поэтому мы включили в наш сборник краткое блестящее изложение его обоснованного исторически аргумента о том, что национализм обязательно и естественным образом строится на основе гораздо более старых этнических сообществ, первыми примерами которых, возможно не без некоторой доли случайности, стали армяне и евреи.

К началу 80-х годов этот комплекс позиций подвергся критическому пересмотру по нескольким направлениям. В нашем сборнике он нашел свое отражение в двух важных и полярных публикациях: одной, так сказать, из Манчестера, другой — из Калькутты. Джон Бройи выступает как против социологизма Геллнера, так и против континуизма Смита, подчеркивая глубоко политический характер национализма. Поэтому он утверждает, что Геллнер не смог удовлетворительно объяснить, как реально происходил переход к национализму в «позднеаграрном» обществе, а у Смита нет простого ответа на вопрос о том, почему некоторые этнические общности «пришли к национализму», а другие нет, и при каких именно исторических обстоятельствах это произошло. Таким образом, он делает огромный упор на значении политических организаторов и стоящих за ними конкретных политических интересов противоборствующих институтов и геополитических обстоятельств.

Со своей стороны Парта Чаттерджи, член авторитетной группы прикладных исследований, возражает Геллнеру (и еще многим другим авторам), прямо ставя основной вопрос об империализме и колониальном господстве. Та же самая «просвещенная», индустриальная современность, которая, по Геллнеру, создала национализм, являлась основой европейского господства на всем земном шаре в течение полутора веков после Французской революции. Следовательно, национализм должен быть истолкован как неотъемлемая составная часть этого господства. И главным признаком его появления в по-

зднеколониальном мире и дальнейшего существования следует считать «отсутствие аутентичности», как бы местные лидеры вроде Неру, Сукарно или Нкрумы ни уверяли всех в единстве и автономии своих движений. За пределами Европы национализм неизбежно являлся «производным дискурсом», блокирующим путь всякому подлинно самостоятельному, автономному развитию в окружении сообществ, которые оставались в подчинении своекорыстных, предельно коллаборационистски настроенных «националистических» политиков, интеллектуалов, бюрократов и капиталистов. Мы включили сюда последнюю, новую формулировку его позиции, в которой мишенью вместо Геллнера оказывается моя книга «Воображаемые сообщества» и в которой национализм элит Азии и Африки получает более теплую оценку, чем в его прежних произведениях.

Если участники сборника, вклад которых мы кратко обсудили выше, в основном испытывали интерес к исторической сущности, истокам и развитию национализма и, таким образом, по духу принадлежали к эпохе, предшествующей распаду СССР, то об остальных авторах наших текстов можно сказать, что их взгляды обращены в будущее национализма в свете новой мировой конъюнктуры.

Молодой ученый Гопал Балакришнан, который по возрасту мог бы быть внуком Геллнера, снабдил этот сборник центральным, связующим звеном: он начинает с обзора тех трудностей, с которыми столкнулись Гегель и Маркс в определении роли *отдельных народов* в истории, понимаемой ими как преемственность универсальных социальных структур, а потом переходит к подробной критике «Воображаемых сообществ». Его очерк заканчивается рядом чрезвычайно глубоких размышлений на тему сложных взаимоотношений наций и классов, являющихся основой коллективного действия в политической сфере развитого капиталистического мира.

До совсем недавнего времени в теоретических произведениях о национализме игнорировался, упускался или выносился за скобки вопрос пола. Но более пятнадцати лет назад этому «молчанию» был необратимо положен конец огромным новым наплывом феминистских исследований и теоретических размышлений. У произведений на данную тему появились две всеобщие заметные особенности: одна из них — это акцент на (как минимум) двойственности отношений женщин к националистическим проектам и на связи национального государства с определенной ситуацией в гендерной сфере; вторая — это различия в опыте развитых капиталистических обществ на «Западе» (в широком смысле этого слова) и колониальных, полуколониальных и постколониальных областей Азии, Африки и Ближнего Востока.

Сильвия Уолби, автор статьи «Размышляя о патриархате теоретически»,

в первую очередь сосредоточивает внимание на западных демократиях и интересуется тем, каким образом современное национальное государство, основанное на принципах всеобщего избирательного права и формального равенства всех перед законом, превратило приватную сущность патриархата в общественную. Принадлежность женщин к нации и получение ими прав гражданства подорвали контроль глав семейств, индивидов мужского пола, над их «личными» женщинами, которые перестали быть выключенными из общественной сферы; однако эти перемены вызвали к жизни новый тип подчинения женщин и присвоения их труда национальной общностью, основанной на господстве мужчин. В результате такой трансформации возникли новые формы общественного протеста против законодательно закрепленного в национальном масштабе контроля, или попыток контроля, над репродуктивной способностью женщин, ее «семейными» обязанностями, доступом к «государственной/мужской» сфере занятости, например военной службе, и тому подобное.

Четыре последних автора антологии возвращают нас к тому пространству Европы, которым открывается данный сборник. Выдающийся американский культурный антрополог, специалист по Румынии времен Чаушеску (и к тому же пострадавший от его режима) Кэтрин Вердери утверждает, что знаки в символической системе нации изменились с тех пор, как современные государства обнаружили, что им все труднее выполнять свои обещания об автономии и благополучии, в качестве законной миссии завещанные им XIX веком. В то же время, и отчасти по этой же самой причине, сегодня все больше приветствуется глубоко внутренняя и совершенно полная идентификация личности с нацией. Похоже, что не за горами волна этнической и расовой стереотипизации, ксенофобии, сектантского «мультикультурализма» и более грубых форм политики идентичности; хотя этих этапов развития избежать невозможно, поскольку «все, что относится к естественным условиям, в которых рождается человек, остается основополагающим элементом человеческого опыта...».

Сдержанный пессимизм Вердери здесь в значительной мере усиливает Эрик Хобсбаум, самый примечательный из ныне живущих англоязычных историков. Рожденный в год большевистского переворота, выросший в Вене в эпоху, когда через Центральную Европу ползла мрачная тень нацизма, он пережил и крах государственного фашизма, и закат Советского Союза, который во многом способствовал концу триумфального шествия первого и к которому Хобсбаум в течение многих лет питал сильную, хотя и не отменяющую критического взгляда, симпатию. Космополит, еврей, человек самых разносторонних знаний, сохраняющий, однако, сильнейшую привязанность

к многонациональному Соединенному Королевству, которое предоставило ему политическое убежище, он принадлежал к числу наиболее искренних критиков европейского «нового национализма», аргументируя это тем, что на дворе уже не век Мадзини, когда национализм выступал как фактор интеграции и освобождения. Ему даже принадлежит крылатое изречение, согласно которому неслыханный поток изощренных современных исследований по национализму служит ярчайшим знаком того, что он поставил диагноз правильно: сова Минервы вылетает лишь в сумерках.

По крайней мере с конца 70-х годов Хобсбаум ведет горячую, но тем не менее весьма эффективную полемику с Томом Нейрном, его единомышленником-марксистом, но при этом еще и шотландским националистом, а также самым ярым критиком дряхлого, но столь любимого его оппонентом Соединенного Королевства. Поэтому очень кстати, что данный сборник содержит некоторые недавние размышления автора «Распада Британии». Основанная на позициях совершенно иных, нежели у Парта Чаттерджи, давняя критика Нейрном имперских амбиций интеллектуального космополитизма тем не менее резонирует с кое-какими темами последнего. Его критика сочетается с убежденностью в том, что эти амбиции принадлежали именно крупным «интегрированным» многонациональным государствам — мощнейшим династическим царствам XIX века, последним дряхлеющим представителем которых является Великобритания и каковыми в XX веке еще были Великая Германия, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Китай крипто-династии Цин и Индия после правления раджей — государства, приведшие к величайшим человеческим потрясениям нашей эпохи. Поэтому в том, что он называет всеобщим обветшанием, рассыпанием цепи «миропорядков», учрежденных этими политическими Годзиллами, следует видеть намечающийся поворот к более привлекательному, более плодотворному, анархическому беспорядку, в котором возвышенные надежды XIX века на всеобщий суверенитет увенчаются сложным сообществом, основанным на взаимовлиянии подлинно постимперских национальностей.

В последние годы никто не сделал так много, как макросоциолог Майкл Манн, для того, чтобы снабдить нас всемирно-историческим, сравнительным пониманием развития современных институтов, и главным образом государства. Его вклад прежде всего заключается в элегантном, полном точных деталей развенчании мифов, окутывающих Европейское Сообщество и несущих в себе печать то мрачного, то радужного восприятия мира. Но его наблюдения являются частью более широкого взгляда на зрелое национальное государство, которое, наряду с характеризующими его понятиями политического и социального гражданства, автор рассматривает как феномен XX

века, сложившийся на основе классовой борьбы — борьбы изнурительной, хотя временами допускавшей и компромиссы. Из его анализа становится ясно, что дает ему основания столь одобрительно цитировать не названного по имени министра бельгийского правительства, который в период войны в Персидском заливе заметил, что Сообщество — это «гигант в экономике, карлик в политике и ничтожный червяк в военных вопросах». Манн отмечает, что «национальная политика в значительной степени связана с налогами, факторами роста доходов, увеличения благосостояния, нравственными проблемами и международными кризисами. Все это не входит в сферу задач ЕС и не волнует его на самом деле». И в том случае, если наднациональные силы каким-либо образом посягают на абсолютную независимость национального государства, то это самое государство, по его убеждению, будет настойчиво повышать свою мощь за счет провинциальных, локальных и частных институтов и групп. Манн также подчеркивает то обстоятельство, что, несмотря на нынешнюю необычайную международную мобильность *финансового* капитала, подавляющая часть продукции национального производства предназначена для внутренних рынков, а так называемые «транснациональные» корпорации сосредоточивают свое высшее руководство и исследовательские организации явно в границах национальных пространств.

Из этого он делает вывод, что национальному государству еще далеко до заката, оно только «вырастает» на мировой арене, и что нищие страны мира страдают от отсутствия эффективной национальной государственности. И они имеют полное право стремиться к исправлению этого недостатка, хотя успех может прийти к ним спустя долгие и трудные десятки лет. В то же время, по его наблюдениям, даже если достижениям шведской социал-демократии будет серьезным образом угрожать «транснациональный фискальный консерватизм», социалистам придется «оторвать взоры от собственных национальных государств, чтобы доказать свою силу на международном уровне... Классовое движение, исторически оказавшееся самой мощной опорой национального государства, теперь должно приступить к его низвержению».

Юрген Хабермас, несомненно, является самым крупным и влиятельным политическим философом нашего времени. Если позицию Вердери можно рассматривать как сдержанную, осторожную версию пессимизма Хобсбаума, то в случае с этим последователем Адорно (и, до известной степени, Актона) следует, вероятно, признать, что он выражает сдержанное сочувствие пессимизму Нейрна и Манна. Хабермас полностью отдает себе отчет в разрушительных аспектах глобализации рынков труда и капитала, факте появления почти постоянных низших классов в позднекапиталистических обществах и в неспособности национальных государств к конструктивному

решению многих проблем, реальный масштаб которых далеко превосходит их физические границы. Однако в то же самое время он убежден, что политические новшества XIX столетия — и прежде всего современный республиканский образ правления, демократия участия и конституционная политика (кстати, все эти элементы выделяет и Нейрн) — скорее должны проникнуть наверх, в наднациональную сферу, чем вниз, в сторону пока еще удерживаемых в узде национальностей. Таким образом, Европейское Сообщество со всеми его недостатками представляет собой шаг, сделанный в верном направлении, не в последнюю очередь потому, что оно, по всей видимости, на некоем новом уровне должно сохранить принцип мультикультурализма, — не как нагромождение болезненно чувствительных нарциссических образований, а как разумную интеграцию местных солидарных культур в пределах над-этнокультурной «республиканской» государственной идеи, рожденной в эпоху Просвещения[21]. Эта позиция позволяет Хабермасу говорить о возможности того, что он называет «международной внутренней политикой», возможности, вытекающей из разного рода международных встреч по глобальным проблемам, которые состоялись недавно в Женеве, Рио-де-Жанейро, Каире и Пекине.

В качестве признательного постскриптума остается только высказать нашу общую благодарность воображению Гопала Балакришнана и Робина Блэкберна, которые очень разумно скомплектовали статьи сборника (а в работе со мной еще проявили дружескую терпимость и подали продуманные идеи), а также моему брату Перри, который на некотором расстоянии от нас вел эту работу к ее окончательной форме.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Каждый народ есть народ; он имеет свой национальный склад так же, как он имеет свой язык» (*нем.*). — *Прим. ред.*
2. «Идеи к философии истории человечества» (*нем.*). *Прим. ред.*
3. Человечество (*нем.*). — *Прим. пер.*
4. Мировая история (*нем.*). *Прим. пер.*
5. Две другие идеи это эгалитаризм, направленный против принципа аристократии, и коммунизм (здесь Актон имел в виду скорее Бабефа, чем Маркса), направленный против принципа частной собственности.
6. Рабочей школе (*нем.*). — *Прим. пер.*
7. Соединенных Штатов Велико-Австрии (*нем.*). — *Прим. ред.*
8. Описание этих Соединенных Штатов Велико-Австрии можно найти в: *Otto Bauer.* Werkausgabe. Vol. 1. Wien, 1975. P. 182.
9. Главное произведение (*лат.*). — *Прим. пер.*

10. «Национальный вопрос и социал-демократия» (*нем.*). — *Прим. ред.*

11. Народного духа (*нем.*). — *Прим. пер.*

12. Заметьте, что Бауэр был достаточно осторожен, чтобы не говорить об общем языке как чем-то единственном в своем роде. Он вполне отдавал себе отчет в том, что существует множество наций, использующих испанский и английский языки в качестве общепринятых, но при этом не притязающих на монопольное обладание ими. С равным хладнокровием он взирал и на возможные формы немецкого, являющегося общепринятым языком различных европейских государств, включая Соединенные Штаты Велико-Австрии, что отнюдь не предполагало понижения в правах чешского или венгерского языка. Все это объясняет нам, почему, пусть из совершенно различных соображений, консерватор Актон и социалист Бауэр придавали такое значение той колоссальной политической области, центром которой являлась Вена.

13. Ганс Кон (*Kohn*) (1891 1971), воспитанный в атмосфере чешско-националистической Праги периода австро-венгерской монархии, активист движения сионистской молодежи, впоследствии изучавший, находясь в Иерусалиме, ближневосточное националистическое движение, опубликовал свое первое основополагающее произведение «Национализм» в 1922 году. Его ближайший современник Карлтон Хейес (*Hayes*) (1882 1964), который долго работал профессором Колумбийского университета, свой первый серьезный труд «Очерки национализма» опубликовал в 1926 году. Весьма странно, но в конце карьеры, в военные годы при Рузвельте, он служил послом в Мадриде времен Франко.

14. Между мощнейшими, непредвиденными реакциями, возникшими в Центральной и Восточной Европе на недолговечные гигантские империи, воздвигнутые Наполеоном и Гитлером с интервалом в полтора века, существуют более чем мистические параллели. Одним из ключевых последствий фашистского нашествия стало соединение коммунизма с национализмом, в результате которого послевоенное вхождение государств в Советский Союз должно было оказаться куда менее прочным, чем в период между двумя войнами. Относительное слияние коммунизма с национализмом можно было также наблюдать в тех областях Восточной и Юго-Восточной Азии, которые подверглись жестокому гнету японского милитаризма в промежутке с 1937 по 1945 год. Мао, Тито, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен и Энвер Ходжа являют собой примеры такого рода слияния.

15. *Достойный удивления год* (*лат.*). *Прим. пер.*

16. Причины их возникновения слишком сложны, чтобы тщательно анализировать их во вводной статье. Тем не менее нам представляется оправданным связать эти причины с послевоенным закатом колониальных империй, вследствие которого круто понизились престиж и привлекательность имперских центров, а энергичные молодые представители «национальностей» лишились возможности, как говорится, выпускать пар, поехав в Анголу, Алжир, Индию или Конго. В то же время принадлежность существующих в Западной Европе независимых государств к Сообществу делала их абсолютистские претензии менее убедительными, чем прежде.

17. Имеется в виду Немецкий таможенный союз, организованный в XIX веке по инициативе немецкого экономиста Фридриха Листа. *Прим. ред.*

18. Судя по всему, Андерсон имеет в виду сепаратистские вооруженные движения тюркско-мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, выступающие за отделение этого региона от Китая. *Прим. ред.*

19. Помни о смерти (*лат.*). *Прим. пер.*

20. Из ничего (*лат.*). *Прим. пер.*

21. Хабермас публично выразил свои опасения относительно воссоединения Германии, осуществленного Гельмутом Колем; совершенно очевидно, что он высоко оценивает потенциал Европейского Сообщества, видя в нем надежду на обуздание великогерманского шовинизма.

ЛОРД АКТОН

ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Повсюду, где работа мысли соединялась со страданиями, неотделимыми от широкомасштабных перемен в народной жизни, люди впечатлительные и склонные к умозрительным построениям измышляли совершенные общества, в которых они искали если не панацею от общественных зол, то хотя бы утешение в страданиях, причину которых устранить не могли. Поэзия всегда лелеяла мечту о некоем уголке земли, отодвинутом в неопределенную даль во времени или в пространстве, отнесенном на Западные острова или в Аркадию, где простодушные и безмятежные люди, свободные от коррупции и равнодушные к благам цивилизации, воплотили легенду о золотом веке. Назначение и строй мыслей поэтов почти всегда одинаковы, и созданные ими картины идеального мира мало рознятся между собой; однако когда наставлять или перестраивать человечество путем измышления воображаемых государств принимаются философы, их побуждения носят более определенный и непосредственный характер, и их общество всеобщего согласия оказывается столько же образцом, сколько и сатирой. Платон и Плотин, Мор и Кампанелла строили свои фантастические общества из кирпичей, отсутствовавших в здании тех реальных обществ, недостатки которых побуждали их к этому труду. Их «Государство», «Утопия» и «Город Солнца» были вызовом положению вещей, которое они, исходя из своего опыта, осуждали и от недостатков которого искали прибежища в противоположной крайности. Влияния эти труды не оказали и из литературы в политику не перешли, ибо для придания политической идее реальной власти над массами требуется нечто большее, чем недовольство и умозрительная изобретательность. Выдуманная философом схема может стать руководством к действию только для фанатиков, но никак не для народа; и хотя угнетение способно вновь и вновь вызывать свирепые вспышки насилия, напоминающие конвульсии человека, страдающего от резкой боли, оно не в состоянии сформировать надежной цели и наметить путей обновления, если осознание существующего зла еще не соединилось с новым представлением о счастье.

История религии дает этому исчерпывающую иллюстрацию. Между сектами позднего средневековья и протестантизмом имеется существенная разница, перевешивающая моменты сходства, о которых полагают, что они —

предвестники Реформации, и сама по себе вполне достаточная для объяснения жизнестойкости Реформации сравнительно с сектами. В то время как Уиклиф и Гус отрицали некоторые стороны католицизма, Лютер отверг власть церкви и дал совести каждого человека ту независимость, которая не могла не вести к непрестанному сопротивлению. Подобная же разница имеется между восстанием Нидерландов, английским Великим мятежом, американской Войной за независимость или Брабантской революцией, с одной стороны, и Французской революцией — с другой. До 1789 года восстания провоцировались частными несправедливостями и оправдывались определенными жалобами и апелляцией к общечеловеческим принципам. В ходе борьбы порою выдвигались новые теории, но в целом они были случайны, так что величайшим поводом против тирании была верность древним законам. После перемены в умах, произведенной Французской революцией, вызванные к жизни пороками социального устройства устремления превратились во всем цивилизованном мире в постоянно действующие силы. Не нуждающиеся ни в пророке для их провозглашения, ни в выдающемся поборнике для их защиты, эти порывы самопроизвольны и агрессивны, они идут от низов, безрассудны и почти непреодолимы. Революция осуществила перемену в умонастроениях частью через свои доктрины, частью через косвенное влияние, оказанное ходом событий. Она научила людей рассматривать их желания и нужды как верховный критерий права. Быстрое чередование власти, при котором каждая партия ищет расположения масс как вершителей и хозяев успеха и находит у них поддержку, приучило массы к неповиновению и произволу. Частое падение правительств и перераспределение территорий лишили все соглашения достоинства нерушимости. Традиции и предписания перестали быть стражами и попечителями власти; наконец, порядки, возникшие в ходе революций, военных триумфов и мирных договоров, также ни во что не ставили освященные временами права. Обязанности неотделимы от прав, и народы отказываются подчиняться законам, переставшим защищать их.

При таком состоянии дел в мире теория и практика шли бок о бок, и злободневные пороки общества беспрепятственно вели к возникновению оппозиционных систем. Там, где царствует свобода воли, регулярность естественного прогресса охраняется столкновением крайностей. Реакция бросает людей из одной крайности в другую. Преследование отнесенной в неопределенную даль идеальной цели, пленяющей воображение своим великолепием, а разум — простотой, вызывает к жизни энергию, которую никогда бы не вдохнула в людей разумная и достижимая цель, всегда стесняемая множеством противоборствующих притязаний, связанная представлениями здравого смысла, осуществимости и справедливости. Там, где речь идет о массах, один

переизбыток или преувеличение исправляет другой, одна ошибка уравновешивает другую, так что в итоге они способствуют выявлению истины. Немногим не под силу великие перемены без посторонней помощи; многим — не хватает мудрости руководствоваться одной только истиной. Если болезнь изменчива и многообразна, ни одно конкретное средство не может удовлетворить нуждам всех. Лишь привлекательность абстрактной идеи совершенного государства способна свести в едином порыве человеческие множества, ищущие универсального лекарства от самых разных и конкретных зол и пороков, во имя общего и ко всевозможным условиям приложимого рецепта оздоровления. Отсюда следует, что ложные принципы, равно соотнесенные с дурными и достойными стремлениями рода человеческого, являются нормальными и необходимыми составляющими общественной жизни наций.

Построения этого рода справедливы в той мере, в какой они вызваны ясно установленными пороками и направлены на их устранение. Они играют полезную роль в качестве оппозиции, ибо служат предостережением и угрозой, побуждая улучшать существующее положение вещей и постоянно напоминая о присутствии заблуждения. Они не могут служить основанием для переустройства гражданского общества, как медицина не служит добыванию пищи; однако они могут оказывать благоприятное влияние с точки зрения переустройства, ибо предписывают пусть не меру, но направление необходимых преобразований. Они противостоят порядку вещей, сложившемуся в результате эгоистического и насильственного злоупотребления властью правящими классами; в результате искусственного сведения жизни к вещному развитию мира, лишенного идеализма или нравственной цели. Практические крайности отличаются от вызываемых ими теоретических крайностей тем, что первые отмечены произволом и насилием, тогда как вторые хоть и проникнуты, подобно первым, революционностью, но в то же время являются и целительными. В одном случае заблуждение является сознательным, в другом — неизбежным. Такова основная черта борьбы между существующим порядком и разрушительными учениями, отрицающими его законность. Имеются три основные теории этого рода, оспаривающие современное распределение власти, собственности и территории и нападающих, соответственно, на аристократию, средний класс и верховную власть. Это теории равенства, коммунизма и национальной независимости. Хотя они происходят от одного корня, противостоят родственным видам зла и соединены множеством звеньев, появились они не одновременно. Первую провозгласил Руссо, вторую Бабеф, третью Мадзини; причем третья, возникшая позже первых двух, представляется сейчас самой притягательной и самой многообещающей по части будущих возможностей.

В старой Европе правительства не признавали прав на национальное самоопределение, а народы этих прав за собою не утверждали. Не интересы наций, а интересы правящих фамилий решали, где пролегать границам; управление повсеместно осуществлялось без всякого учета пожеланий населения. Где все свободы были подавлены, по необходимости пренебрегали и требованиями национальной независимости; по словам Фенелона, принцесса приносила монархию в приданое жениху. Восемнадцатое столетие неохотно, но все же согласилось забыть о правах корпораций на континенте, ибо сторонники абсолютизма пеклись только о нуждах государства, а либералы заботились только о свободе личности. Для церкви, дворянства и нации не было места в популярных теориях эпохи; и сами они не разработали никакой теории самозащиты, ибо не подвергались прямым нападениям. Аристократия удерживала свои привилегии, церковь — свою собственность, а династические интересы, отвергавшие естественные склонности наций и уничтожавшие их независимость, тем не менее служили национальной целостности, так что не страдала самая уязвимая точка национального чувства. Лишить монарха его наследственной короны, присоединить его владения означало бы нанести оскорбление всем монархиям, а их подданным дать опасный пример успешного посягательства на неприкосновенность королевской власти. Во время войн, поскольку национальную принадлежность никто не брал в расчет, не было и попыток разбудить патриотические чувства. Любезность правителей по отношению друг к другу была пропорциональна их презрению к простонародью. Командующие враждебными армиями обменивались комплиментами; не было ни горечи, ни возбуждения; битвы разыгрывались с помпезностью и пышностью парадов, искусство войны сделалось неспешной ученой игрой. Монархов объединяла не только естественная общность интересов, но семейные союзы. Брачный контракт порою возвещал начало нескончаемой войны, наоборот, по временам семейные узы смиряли захватнический пыл. После 1648 года, когда прекратились религиозные войны, воевали только за наследственные или зависимые территории или же против стран, система правления которых исключала их из общего закона династических государств, тем самым делая их не только незащищенными, но и отвратительными и заслуживающими наказания. Такими странами были Англия и Голландия, пока Голландия оставалась республикой, а в Англии поражение якобитов не положило конец сорокапятилетней борьбе за престол. Тем не менее одна страна все же продолжала оставаться исключением; престол одного из королей не находил себе места в монархической системе взаимного признания.

Польша не обладала гарантиями стабильности, вытекавшими в других

странах из династических связей и из теории законности власти, согласно которой корона передавалась по наследству или в результате брака. Монарх, в жилах которого не текла королевская кровь, корона, возложенная по воле народа, были в ту эпоху династического абсолютизма возмутительными аномалиями, поруганием священных прав. Страна была исключена из европейской системы в силу самой природы своих институтов. Она возбуждала не находившую удовлетворения страсть. Она не давала правящим фамилиям Европы надежды на дальнейшее укрепление их положения посредством браков с ее правителями, на приобретение ее короны наследственным путем или в силу завещательного отказа. Габсбурги боролись за власть над Испанией и над Вест-Индией с французскими Бурбонами, за власть над Италией — с испанскими Бурбонами, за власть над империей — с домом Виттельсбахов, за власть над Силезией — с домом Гогенцоллернов. Войны между соперничавшими владетельными домами велись за половину территории Италии и Германии. Но никто не мог и помыслить восполнить свои потери или распространить свою власть за счет страны, на которую нельзя было заявить претензии посредством брака или родословной. Там, где они не могли в любой момент рассчитывать унаследовать власть, они действовали с помощью интриг, пытаясь провести на каждых выборах своего кандидата; и вот после долгой борьбы в поддержку кандидатов, которые были их ставленниками, соседи Польши отыскали, наконец, средство для окончательного уничтожения польского государства. До той поры ни один народ никогда не был лишен своего политического существования усилиями христианских держав; и сколь ни мало внимания уделялось национальным интересам и склонностям, все же всегда приличия ради принимались некоторые меры для того, чтобы прикрыть злоупотребления лицемерными оправданиями типа ложного толкования закона. Но раздел Польши был актом безрассудного, бесстыдного насилия, означавшего не только попрание патриотических чувств народа, но и надругательство над публичным правом. Впервые в новой истории значительное государство было разделено соединенными усилиями врагов, которые поделили между собой всю его территорию и весь народ.

И вот эта знаменитая мера, ставшая самым революционным проявлением старого абсолютизма, пробудила к жизни в Европе теорию национального самоопределения, не вполне осознанное чувство — в политическое требование. «Ни один мыслящий или честный человек, — писал Эдмунд Бёрк, — не признает этот раздел справедливым, не сможет размышлять о нем без предчувствия, что однажды для всех стран последуют от него великие бедствия»[1]. С той поры появилась нация, требовавшая вернуть ей ее государственность, — душа, если можно так выразиться, алчущая телесного вопло-

щения, мечтающая во вновь обретенном теле начать новую жизнь; впервые тогда раздался вопль национального негодования, впервые прозвучало утверждение о том, что решение держав несправедливо, что они перешли свои естественные границы, в результате чего целый народ лишился права жить своим независимым сообществом. Но прежде, чем это законное притязание вновь могло быть деятельно противопоставлено несметным силам противников; прежде, чем народ, пережив последний из трех разделов, преодолел устоявшуюся привычку к покорности, собрался с духом и возвысился над тем презрением, которое навлекла на Польшу ее политическая сумятица, — прежде должна была рухнуть старая европейская система, уступив место нарождению нового мирового порядка.

Старая деспотическая политика, обратившая поляков в свою жертву, имела двух противников: дух английской свободы и революционные доктрины, уничтожившие французскую монархию ее же собственным оружием; эти две силы, хоть и по-разному, противостояли теории, согласно которой у наций как человеческих общностей нет общих прав. В настоящее время теория национального самоопределения является не только мощным подспорьем революции, но составляет самую ее сущность, выражавшуюся в народных движениях последних трех лет. Однако этот союз сил национального и социального освобождения сложился относительно недавно и не был известен деятелям первой французской революции. Современная теория национального самоопределения возникла отчасти как ее законное следствие, отчасти же — как реакция на нее. Поскольку системе, не бравшей в расчет этнических границ, противостояли две формы либерализма, английская и французская, то и система, делающая упор на эти границы, отправляется от двух различных источников и обнаруживает черты либо 1688, либо 1789 года. Когда французский народ сбросил королевскую власть и стал хозяином своей судьбы, Франция оказалась перед угрозой распада: ибо волю народа непросто установить и согласовать, и она складывается не тотчас. «Законы, — сказал Верньо во время дебатов о приговоре королю, — обязательны только в той мере, в какой они закрепляют предполагаемую волю народа, сохраняющего за собою право утвердить или осудить их. В тот момент, когда он непосредственно изъявляет свою волю, труд национального представительства, иначе говоря — закон, должен исчезнуть». Эта доктрина разлагала общество на его естественные элементы и грозила расколоть страну на множество республик по числу существовавших тогда местных общин. Ибо истинный республиканизм исходит из принципа самоуправления как целого, так и всех частей этого целого. В обширной стране он может возобладать лишь в форме союза нескольких независимых общин в единой конфедерации, как это и

было в Греции, в Швейцарии, в Нидерландах и в Америке; большая республика, не основанная на принципе федерализма, всегда превращается в государство, в котором вся власть находится в руках одного города, примером чему могут служить Рим, Париж и, в несколько меньшей степени, Афины, Берн и Амстердам; иными словами, демократическое устройство большого народа должно либо пожертвовать самоуправлением в пользу единства, либо сохранить самоуправление с помощью федерализма.

Историческая Франция пала вместе с взращенным веками французским государством. Старая верховная власть была уничтожена. На местные власти взирали с отвращением и тревогой. Новую центральную власть необходимо было построить на основе нового принципа единения. И вот в качестве основания нации было взято естественное состояние, считавшееся идеалом общества, место традиции заступило происхождение, и французский народ начал рассматриваться как некий материальный продукт: как этническое, а не историческое тело. Исходили из того, что человеческая общность существует сама по себе, независимая от какого бы то ни было представительства или правительства, полностью освобожденная от своего прошлого и в любую минуту готовая выразить или изменить свое мнение. Говоря словами Сийеса, это была уже не Франция, а некая неизвестная страна, в которую переселили французов. Центральная власть обладала авторитетом в той мере, в какой она подчинялась целому, и никакие отклонения от универсального общественного мнения не допускались. Эта власть, облеченная волей народа, олицетворялась в Республике Единой и Неделимой. Уже самый этот титул знаменовал собою то, что часть не могла говорить или действовать от *имени целого и что существовала власть, верховная по отношению к государству*, отличная и независимая от его членов; и она впервые в истории выражала понятие абстрактной нации и национальной принадлежности. Так идея верховной власти народа, осуществляемой без оглядки на прошлое, вызвала к жизни идею нации, в политическом отношении независимой от своей истории. Она проистекала из отвержения двух авторитетов: государства и прошлого. Между тем французское королевство было как в географическом, так и в политическом отношении продуктом долгой череды событий, и те же самые силы, которые создали государство, сформировали и его территорию. Революция отреклась от и от интитутов, которым Франция была обязана своими границами, и от институтов, которым она была обязана порядком правления. Всякий поддающийся стиранию след или признак национальной истории был сметен, снесен до основания: система управления страной, географическое деление страны, общественные классы и корпорации, система мер и весов, календарь. Франция более не была заключена в преде-

лах, унаследованных ею от ее осужденной и отброшенной национальной истории, — и соглашалась признавать лишь те пределы, которые установлены природой. Определение нации было заимствовано из материального мира и, во избежание территориальных потерь, представлено не только абстракцией, но и произвольным вымыслом.

В этническом характере движения присутствовал национальный принцип, явившийся источником общего представления о том, что революции чаще происходят в католических, чем в протестантских странах. В действительности они чаще случаются в странах латинского, чем тевтонского происхождения, ибо частота их зависит, по крайней мере отчасти, от национального порыва, просыпающегося лишь там, где имеется и может подлежать изгнанию чуждый рудимент, след давнего иностранного господства. Западная Европа пережила два великих завоевания: ее народы покорились сначала римлянам, потом германцам и дважды получали законы из рук завоевателей. Всякий раз Европа восставала против победивших ее народов; и общей чертой двух великих реакций, отличавшихся в соответствии с различным характером двух завоеваний, было явление империализма. Римская империя не жалела сил для того, чтобы превратить порабощенные народы в однородную покорную массу; но в процессе вырождения республиканского правления власть наместников провинций, проконсулов, возросла настолько, что повлекла за собою возмущение провинций против Рима, способствовавшее установлению империи. Имперская система власти дала народам зависимых стран небывалые свободы, возвысила их до гражданского равноправия, положившего конец господству народа над народом, класса над классом. Монархия приветствовалась как отказ от спеси и алчности римского народа; и любовь к свободе, ненависть к нобилитету вместе с терпимостью к внедренному Римом деспотизму сделались, по крайней мере в Галлии, основной чертой национального характера. Но ни один из народов, сломленных суровой республикой, не удержал ресурсов, необходимых для достижения независимости или для начала новой исторической жизни. Политическая сила, которая организует государства и приводит общества в состояние нравственного порядка, была истощена, так что христианские отцы церкви тщетно искали на этом пепелище людей, способных помочь церкви пережить упадок Рима. Новые черты национальной жизни сообщили этому угасавшему миру те самые враги, которые разрушали его. Потоки варваров наводнили его на время, чтобы затем схлынуть, и когда вновь появились вехи цивилизации, обнаружилось, что почва оплодотворена благотворной и возрождающей силой и что наводнение оставило после себя зачатки будущих государств и нового общества. Политическое чувство и энергия пришли вместе с новой

кровью и проявились в том, что более молодая раса распространила свою власть на более старую, а также в установлении дифференцированной свободы. Вместо всеобщего равенства прав, действительное обладание которыми с неизбежностью определяется долей участия в управлении, права человека были поставлены в зависимость от множества условий, первым из которых было распределение собственности. Гражданское общество стало не аморфной комбинацией атомов, а жестко структурированным организмом, который постепенно развился в феодальную систему.

За пять столетий, истекших между Цезарем и Хлодвигом, романская Галлия так основательно усвоила идеи абсолютной власти и полного, до неразличимости, равенства, что народ никогда не мог вполне примириться с новой системой. Феодализм всегда оставался здесь иностранной выдумкой, ввозным товаром, а феодальная аристократия — чуждой расой, защиты от которой простые люди Франции искали в римской юриспруденции и королевской власти. Содействие демократических сил становлению абсолютной монархии — единственная неизменная черта французской истории. Чем в большей мере королевская власть, поначалу феодальная и ограниченная привилегиями и соседством крупных вассалов, становилась абсолютной, тем она была популярнее; в то же время подавление аристократии, устранение всякой промежуточной власти в такой мере было настоящей целью народа, что ее полное осуществление потребовало падения трона. Монархия, с тринадцатого столетия неустанно занятая обузданием высшей знати, была в итоге отстранена потерявшей в нее веру демократией, ибо слишком тянула с этой работой, не могла отринуть и забыть свое собственное происхождение и полностью уничтожить тот класс, из которого вышла. Все эти столь характерные для Французской революции вещи — требование равенства, ненависть к высшей власти, феодализму и связанной с ними церкви, постоянное обращение за примерами и образцами к языческому прошлому, свержение монархии, новый кодекс законов, отмена традиций, наконец, замещение идеальной схемой всего того, что происходило от смешанных и взаимных усилий различных племен и народов, — все это наглядно представляет общий тип реакции, направленной против последствий вторжения франков. Ненависть к королевской власти уступала ненависти к аристократии, привилегии проклинались сильнее и вызывали большее отвращение, чем тирания; и король в итоге погиб скорее в силу происхождения его власти, чем из-за злоупотребления ею. Даже совершенно неконтролируемая, но не связанная с аристократией монархия была популярной во Франции; наоборот, попытка восстановить монархию, ограничив ее и окружив трон пэрами, провалилась потому, что старые тевтонские элементы, на которые она делала став-

ку, — наследственное дворянство, право первородства, привилегии — сделались невыносимы для народа. Сущность идей 1789 года состояла не в ограничении верховной власти, но в отмене всякой промежуточной власти. Формы промежуточной власти и наделенные ими классы пришли в латинскую Европу от варваров, поэтому и движение, сегодня именующее себя освободительным, является по своей природе национальным. Если бы его целью была свобода, то средством стало бы создание мощной и независимой власти, не исходившей от государства, и примером ему была бы Англия. Но его целью является равенство; подобно Франции 1789 года, оно хочет отбросить прочь все элементы общественного неравенства, привнесенные тевтонскими племенами. Эта цель объединяет Италию и Испанию с Францией; именно в ней сосредоточена естественная общность латинских народов.

Вот этот национальный элемент движения не был понят революционными вождями. Сначала их доктрина, по видимости, полностью отрицала национальную идею. Они учили, что некоторые общие принципы правления были совершенно правильными во всех государствах; в теории они отстаивали неограниченную свободу индивида и господство воли над любыми внешними необходимостями или обязательствами. Это находится в явном противоречии с национальной теорией, говорящей, что характер, форму и политику государства должны определять некоторые естественные силы, — и, тем самым, на место свободы помещающей своего рода рок или судьбу. Соответственно этому патриотические чувства не обнаружились непосредственно в ходе революции, в которую они были вовлечены, но впервые заявили о себе в период сопротивления ей, когда порыв к свободе и раскрепощению был поглощен жаждой власти и подчинения и на смену республике по праву наследницы пришла империя. Наполеон вызвал к жизни новую силу, задев национальные чувства в России, разбудив их в Италии, попирая их своим правлением в Германии и Испании. Монархи этих стран были либо смещены, либо унижены; была введена система управления, французская по происхождению, духу и средствам. На эти перемены народы ответили сопротивлением. Движение против перемен было стихийным и народным, ибо правители либо отсутствовали, либо были беспомощны; кроме того, оно было национальным, ибо направлено было против иностранных установлений. В Тироле, в Испании, а затем в Пруссии правительства не побуждали народ к действию: люди сами сплотились для того, чтобы выдворить и армии, и идеи революционизированной Франции. Сознавать национальную природу революции люди начали не во время ее подъема, а в период ее завоеваний. Три течения мысли, нагляднее прочих подавлявшиеся империей и питаемые религией, идеей национальной независимости и идеей политической свобо-

ды, составили кратковременную лигу и воодушевили великое восстание, ниспровергшее Наполеона. Под влиянием этого памятного союза на европейском континенте явилась сила, приверженная свободе, но ненавидящая революцию, сила, действующая в направлении восстановления, развития и поднятия из руин национальных институтов. Проводниками ее стали люди, в равной мере враждебные и бонапартизму, и абсолютизму старых правительств; Штейн и Геррес, Гумбольдт, Мюллер и де Местр выдвинули на первое место национальные права, страдавшие как при империи, так и при монархии; восстановления этих национальных прав они надеялись добиться, сокрушив французскую верховную власть. Друзья революции не сочувствовали делу, восторжествовавшему под Ватерлоо, ибо свою доктрину они отождествляли с делом Франции. Виги Голландского дома в Англии, афранцесадос в Испании, мюратисты в Италии и захваченные национальным подъемом деятели Рейнского союза, соединившие патриотизм с приверженностью революции, сожалели о падении французской державы и с тревогой смотрели на те новые и неизвестные силы, которые вызвала к жизни эта война за освобождение и которые в равной мере угрожали и французскому либерализму, и французской верховной власти.

Но реставрация положила конец новым национальным и народным устремлениям. Либералы тех дней искали свободы не в форме национальной независимости, но в форме французских общественных институтов; свои усилия они направляли против собственно национального начала, тем самым действуя в русле усилий и замыслов правительств. Национальной спецификой они жертвовали во имя своего идеала свободы, точно так же, как Священный союз жертвовал ею ради абсолютизма. В самом деле, хотя Талейран заявил в Вене, что польский вопрос должен предшествовать всем прочим, ибо раздел Польши был одним из первых и величайших случаев торжества неприкрытого зла в Европе, но династические интересы возобладали. Все владетельные особы, присутствовавшие на Венском конгрессе, получили назад свои уделы, за исключением саксонского короля, наказанного за его верность Наполеону; но государства, не представленные среди правящих фамилий, — Польша, Венеция и Генуя — восстановлены не были, и даже Папе Римскому пришлось потратить немало усилий, прежде чем он добился возвращения своих захваченных Австрией легаций. Национальное самосознание, не бравшееся в расчет старым режимом, поруганное революцией и империей, едва успев впервые заявить о себе, тотчас получило на Венском конгрессе жесточайший удар. Порочный принцип, возникший вместе с первым разделом Польши, теоретически обоснованный революцией, в судорожном порыве закрепленный империей, был затем в течение долгих и

тягостных лет реставрации шаг за шагом возведен в последовательную и полнокровную доктрину, вскормленную и оправданную положением дел в Европе.

Правительства Священного союза показали, что они с одинаковым рвением намерены подавлять как дух революции, которого они боялись, так и дух национального самосознания, который вернул их к власти. Естественно, что Австрия, ничем не обязанная национальному движению и после 1809 года вполне преградившая путь его возрождению, возглавила эту систему всеевропейского гнета. Всякое посягательство на окончательное урегулирование 1815 года, любые стремления к переменам или реформам немедленно осуждались и преследовались как подстрекательство к мятежу. Эта система подавляла благие начинания с характерной для той эпохи злонамеренностью; поэтому и вызванный ею отпор, как среди поколения, пришедшегося на годы от торжества реставрации до падения Меттерниха, так и в период реакции, начатый Шварценбергом и закончившийся правлениями Баха и Мантейффеля, формировался из всевозможных сочетаний оппозиционных форм либерализма. Но по мере того, как одна фаза борьбы сменялась другой, мысль о первенстве национальных притязаний над всеми прочими правами человека начала набирать силу и в конечном счете возвысилась до того полного преобладания, каковым она пользуется сегодня в революционной среде.

Первое освободительное движение, движение карбонариев на юге Европы, не имело национальной окраски, но было поддержано бонапартистами как в Испании, так и в Италии. Затем на передний план выдвинулись идеи противоположного толка идеи 1813 года, и началось иное революционное движение, во многих отношениях враждебное принципам революции и боровшееся за триединство свободы, религии и национального самовыражения. Эти три составляющих слились в ирландских волнениях, в греческой, бельгийской и польской революциях. Человеческие побуждения и чувства, попранные Наполеоном и восставшие против него, в свой черед восстали против сменивших Наполеона правительств реставрации. Угнетаемый сперва мечом, затем — статьями договоров, национальный взгляд на мир прибавил освободительному движению не справедливости, но силы и в итоге повсюду, за исключением Польши, торжествовал. Затем последовал период, когда это триединство выродилось в чисто национальную идею: когда национально-освободительный взрыв уступил место борьбе за расторжение унии между Великобританией и Ирландией, а под покровительством восточной церкви начали набирать силу панславизм и панэллинизм. Это была третья фаза противодействия венским установлениям, противодействия слабого, ибо оно не смогло удовлетворить ни национальному, ни конституционному

устремлениям, из которых каждое должно было бы служить ограничительной гарантией против другого, опираясь если не на всенародное, то на нравственное оправдание. Сначала народы восстали в 1813 году против завоевателей, в защиту своих законных правителей. Они более не желали видеть над собою узурпаторов. В период между 1825 и 1831 годами народы осознали, что уже не хотят сносить дурного управления иноземцев, даже если их власть узаконена. Французская администрация часто бывала лучше той, которую она сменила, но остались местные претенденты на захваченную французами власть, и первым национальным согласием было согласие во имя законности их претензий. Во второй период этот элемент отсутствовал. Не государи, лишенные наследственных владений, вели за собою греков, бельгийцев и поляков. Турки, голландцы и русские навлекли на себя их восстания не как узурпаторы, но как угнетатели: существенно было то, что они дурные правители, а не представители другого племени. Затем пришло иное время, когда уже прямо утверждалось, что народом не должны править иностранцы. Власть, законно приобретенная и осуществляемая без злоупотреблений, была объявлена не имеющей силы. Отстаивание национальных прав, подобно религии, играло известную роль в прежней расстановке сил и в немалой степени способствовало борьбе за свободу, но теперь национальное дело было решительно поставлено над всеми прочими, целью становится отделение и самоутверждение нации, и хотя поборники этой цели могли в качестве временного предлога выставить права законных владетелей, освобождение народа, защиту религии, но в случае невозможности союза с этими силами национальное дело желало торжествовать ценою всех мыслимых жертв, которые только были под силу нациям.

Развитию этих настроений после Наполеона больше всех способствовал Меттерних, ибо именно в Австрии реставрация приняла наиболее выраженный антинациональный характер, так что национальное самосознание ее народов вырабатывалось в систему в ходе противодействия правительству. Наполеон, который, полагаясь на свои армии, ни во что не ставил нравственные начала в политике, был сокрушен их подъемом. Австрия допустила ту же ошибку в управлении своими итальянскими провинциями. При Наполеоне Итальянское королевство объединило всю северную часть Апеннинского полуострова в единое государство; патриотические чувства, всюду французами подавлявшиеся, были использованы ими как гарантия их господства в Италии и в Польше. Когда начался отлив и военное счастье изменило французам, Австрия использовала против них ими же разбуженные и взлелеянные патриотические чувства итальянцев. В своей прокламации Нюджент призывал итальянцев стать независимым народом. Те же настроения слу-

жили самым разным господам, сначала способствовав разрушению старых государств. потом изгнанию французов, а затем, уже во времена Карла Альберта, новой революции. К ним взывали от имени самых разноречивых принципов управления, они служили в свой черед всем партиям, ибо были тем единственным началом, которое способно сплотить всех. Начавшись возмущением против господства одного племени над другим, что было его наиболее мягкой и наименее развитой формой, дух национального притязания поднялся до осуждения всякого государства, управляющего некоренными народами, и в конце концов вылился в законченную теорию, согласно которой государство должно простираться не далее создавшей его нации. Милль утверждает: «Необходимое условие свободных институтов, вообще говоря, состоит в том, чтобы границы, в которых правомочны правительства, в основном совпадали с границами национальными»[2].

Поступательное движение этой идеи в истории наших дней, ее вызревание от неопределенного стремления до краеугольного камня политической системы, можно проследить вместе с жизнью одного человека, сообщившего ей ту составляющую, в которой сосредоточена ее сила: Джузеппе Мадзини. Он нашел, что движение карбонариев бессильно против правительственных мер, и решился придать новую жизнь освободительному движению, переведя его на почву национализма. Если школой либерализма был гнет, то питомником национализма стала эмиграция, и свою «Молодую Италию» Мадзини задумал, будучи беженцем в Марселе. Так же точно и польские изгнанники стояли во главе всякого национального движения, ибо для них решительно все политические права воплощала в себе идея национальной независимости, и как бы ни отличались они один от другого в остальном, она всегда оставалась их общим устремлением. В годы, предшествовавшие 1830-му, литература также внесла свой вклад в развитие националистических настроений. «Это было, — говорит Мадзини, — время великого столкновения школ романтизма и классицизма, которое с равным правом можно было считать столкновением между поборниками свободы и власти». Романтическая школа была атеистической в Италии и католической в Германии, но общим для нее в обеих странах было обращение к национальной истории и литературе, и Данте становится столь же важным авторитетом для итальянских демократов, каким он был для лидеров средневекового возрождения в Вене, Мюнхене и Берлине. Но ни влияние изгнанников, ни влияние поэтов и критиков новой партии не распространилось на массы. Деятели нового либерализма оставались сектой без народного сочувствия и поддержки, заговором, в основе которого лежали недовольство и обида, а не доктрина; и когда в 1834 году в Савойе они попробовали поднять восстание, на знамени

которого было начертано «Единство, Независимость, Бог и Человечность», народ не понял цели движения и остался равнодушным к его провалу. Но Мадзини продолжил свою пропаганду, превратил свою «Молодую Италию» в «Молодую Европу», и в 1847 году основал международную лигу наций. «Народ, — сказал он в своем вступительном обращении, — проникнут одной идеей, идеей единства и национальной целостности... Не существует международного вопроса о формах правления, существует только национальный вопрос».

Революция 1848 года, неудавшаяся в смысле достижения выдвинутой ею национальной цели, подготовила два русла для последующих побед дела национального освобождения народов. Первым стало восстановление власти Австрии в Италии, власти более энергичной и централизованной, не оставляющей никаких надежд на свободу. Пока эта система господствовала, правота была на стороне национальных устремлений, которые Даниэле Манин возродил в более полной и выверенной форме. Политика австрийского правительства, не сумевшая за десять лет реакции обратить владения по праву силы во владения по праву закона и путем установления свободных институтов создать условия для верности народа правительству, подхлестнула национальные настроения и дала их теории негативное обоснование. В 1859 году она лишила Франца Иосифа какой бы то ни было деятельной поддержки или симпатии, ибо в своих поступках он был не прав нагляднее, чем его враги в своих доктринах. Однако действительно мощный заряд энергии национальная теория получила благодаря торжеству демократического принципа во Франции, вместе с его признанием европейскими державами. Теория национальной независимости в качестве составной части входит в демократическую теорию верховной власти народа, его суверенной воли. «Затруднительно указать, какие права и свободы должны принадлежать тому или иному подразделению рода человеческого, пока не определено, с каким из всевозможных человеческих коллективов оно себя ассоциирует»[3]. Именно этим актом самоопределения нация созидает себя. Единство есть необходимое условие формирования коллективной воли, тогда как для ее утверждения требуется независимость. Единство и национальное самосознание все еще более существенны для понятия народного суверенитета, чем низвержение монархов или отмена законов. Произвольные действия этого рода могут быть предотвращены народным благоденствием или популярностью короля, но нация, воодушевленная демократической идеей, не может, оставаясь последовательной, позволить какой-либо своей части принадлежать иностранному государству или допустить расчленение целого на несколько самостоятельных государств. Таким образом, теория национально-

го самоопределения отправляется от тех двух принципов, которые разделяют политический мир: от принципа легитимности, который оставляет без внимания национальные притязания, и от принципа революции, который принимает эти притязания; и по той же причине она является основным оружием второго принципа против первого.

Проследив внешние и наиболее наглядные черты становления национальной теории, мы теперь готовы к тому, чтобы рассмотреть ее политический характер и значение. Создавший эту теорию абсолютизм в равной мере отрицает как неотъемлемое право нации на единение, выработанное демократией, так и требование национального освобождения, входящее в теоретическое понятие свободы. Связь этих двух взглядов на природу нации, отвечающих французской и английской системам, исчерпывается именем, ибо на деле они представляют две противоположные крайности политической мысли. В одном случае национальность утверждается путем неизменного верховенства коллективной воли, то есть основана на том самом народном суверенитете, для которого необходимым условием является единство нации, которому подчинены все прочие стремления и влияния и против которого не имеют силы никакие обязательства, а любое сопротивление является проявлением тирании. Нация предстает здесь идеальной единицей, основанной на племенной общности, которая не считается с благотворным и совершенствующим действием внешних причин, традиций и сложившихся правил. Этот подход отвергает права и надежды населения, поглощает все их многообразие и несходство в некоем воображаемом единстве; приносит их всевозможные склонности и обязанности в жертву высшему национальному притязанию и ради самоутверждения сокрушает все естественные права и установленные вольности. Едва только какая-либо вполне определенная вещь провозглашается высшей целью государства, будь то классовые преимущества, безопасность или могущество страны, наибольшее благоденствие наиболее многочисленной группы населения или борьба за утверждение какой-либо спекулятивной идеи, тотчас и с неизбежностью государство получает в свои руки абсолютную власть. Одна лишь только свобода, или, лучше — вольность, требует для своего осуществления ограничения общественной власти, ибо вольность есть единственная вещь, которая всем благоприятствует в равной мере и не навлекает на себя ничьей искренней оппозиции. В поддержке притязаний национального единства должны быть ниспровергнуты государства по существу безупречные, политика которых благоприятна и справедлива, а их подданные должны будут против своей воли присягнуть на верность власти, к которой они не испытывают ни малейшей привязанности и которая для них по существу равнозначна иностранному господству. Дру-

гая теория, не связанная с этой ничем, кроме общей для обеих враждебности абсолютизму, исходит из того, что национальность есть существенный, но не самый важный элемент из числа определяющих форму государства. Она отличается от первой тем, что устремлена к разнообразию, а не к унификации, к гармонии, а не к единству и целью своей ставит не произвольные перемены, но бережное и уважительное отношение к существующим условиям политической жизни, ибо она отправляется от законов и итогов истории, а не от стремления к идеальному будущему. В то время как теория единства делает национальность источником деспотизма и революции, теория вольностей рассматривает ее как оплот самоуправления и первый предел, положенный чрезмерной власти государства. Частные права, приносимые в жертву единству, при союзе наций находятся под защитой. Ни одна сила не может столь же действенно противиться централизации, коррупции и абсолютизму, как национальная община, которая является крупнейшим из способных войти в состав государства объединений, наделяет своих членов соответствующим сходством особенностей, интересов и взглядов и останавливает действия правителя, выдвигая против него иначе понятый патриотизм. Сосуществование различных наций под покровом одной верховной власти производит действие, подобное действию независимой от государства церкви. Противодействуя раболепию и подобострастию, процветающим в тени единоначалия, оно уравновешивает интересы, умножает связи и взаимодействия, сообщает подданным ту широту и разветвленность взгляда, из которого они черпают сдержанность и твердость. Точно так же оно способствует независимости, формируя различные группы общественного мнения, открывая широкие возможности изъявлению политических настроений и осознанию обязанностей, не вытекающих из верховной воли. Вольность вызывает к жизни многообразие, а многообразие защищает вольность, поставляя ей средства самоорганизации. Вся та часть законоуложения, которая управляет отношениями между людьми и налаживает общественную жизнь, есть многозначный результат национальных обычаев, творение частной жизни общества. Следовательно, в подобного рода вещах нации не могут не различаться между собою: ведь они сами выработали свои обычаи, а не получили их от государства, в составе которого находятся. Эта многоликость одного и того же государства является надежным щитом, ограждающим человека от вторжений правительства в сферы, стоящие к нему ближе, чем общая для всех политика, иначе говоря, от посягательств власти на ту область общественной жизни, которая избегает законодательства и управляется своими естественным образом сложившимися законами. Такого рода вторжения характерны для абсолютистского государства. Они не могут не вызывать от-

ветной реакции, не могут не вырабатывать противодействия. Нетерпимость к социальной свободе, для абсолютизма естественная, с неизбежностью ведет к поиску и нахождению корректирующего средства в национальном многообразии, ибо ни одна другая сила не в состоянии доставить лекарства более действенного. Сосуществование нескольких наций в одном государстве является одновременно и свидетельством, и гарантией его свободы. Оно, кроме того, есть один из важнейших рычагов цивилизации, находится в качестве такового в согласии с естественным и провиденциальным порядком и указывает нам государство более совершенное, чем государство национального единства, выдвинутое в качестве идеальной модели современным либерализмом.

Соединение различных наций в одном государстве есть условие цивилизованной жизни столь же необходимое, как соединение людей в обществе. Низшие племена возвышаются, живя в политическом союзе с племенами более развитыми. Нации истощенные, ослабленные и угасающие обретают новые силы благодаря соприкосновению с более молодыми и полными жизненной энергии. Нации, утратившие способность к самоорганизации и управлению, вследствие ли подавляющего влияния деспотизма или разобщающего действия демократии, восстанавливаются и заново научаются утраченным навыкам, следуя строгим правилам более сильной и менее развращенной расы. Этот благотворный и восстановительный процесс возможен лишь при условии жизни под одним правительством. Именно в плавильном котле государства происходит слияние, при котором бодрость, осведомленность и способность одной части человечества передается и становится достоянием другой. Там, где политические и этнические границы совпадают, общества перестают развиваться, и нации оказываются отброшенными назад, в состояние, напоминающее состояние человека, переставшего общаться с другими людьми. Наоборот, несовпадение этих границ сплачивает человечество не только преимуществами, которые непосредственно черпают из него живущие вместе, но еще и тем, что оно соединяет общество либо политическими, либо национальными узами, каждому народу сообщает интерес к соседям, основанный на административной или этнической общности, так что в итоге в выигрыше оказываются человечность, цивилизация и религия.

Христианство приветствует смешение рас и племен, тогда как язычество связывает себя с присущими им различиями, ибо истина универсальна, а заблуждения специфичны и многолики. В древности идолопоклонство и национальность шли бок о бок, и Священное писание не отделяет племени от племенного культа, обозначая их одним и тем же словом. Именно церкви

было предназначено преодолеть национальные особенности и различия. В период ее бесспорного господства вся Западная Европа подчинялась одним и тем же законам, вся литература содержалась в одном языке, политическое единство христианства олицетворялось в едином властелине, а вся ее интеллектуальная жизнь была представлена в одном университете. Как античные римляне завершали свои завоевания тем, что вывозили богов покоренного народа, так Карл Великий сломил национальное сопротивление саксов лишь насильственным разрушением их языческих обрядов. В результате совместных усилий церкви и германской расы по выходе из средневековья появилась иная система наций и новое понимание национальности. Природа была побеждена как в нации, так и индивиде. В дикие языческие времена нации отличались друг от друга разительно: не только своей религией, но и обычаями, языком, характером. При новом уложении они уже имели между собой много общего; разделявшие их старые перегородки были удалены, и новый принцип самоуправления, введенный христианством, дал им возможность жить вместе, под властью одного и того же правительства, не теряя при этом с необходимостью национальных обычаев, укладов и законов. Новая идея свободы создала пространство для жизни различных племен в одном государстве. Нация была уже не тем, чем в античности, не сообществом людей, возводивших себя к общему предку, не продуктом определенной местности, не результатом единственно физических и материальных причин, но существом нравственным и политическим; перед нами теперь уже не племя, сплоченное на основе географии и психологии, но сложившаяся исторически под влиянием государства нация. При этом, будучи во многом следствием воздействия государства, она отнюдь не возвысилась над ним. Государство может с течением времени создать нацию, но представление о том, будто национальность должна составлять и утверждать государство, противоречит природе современной цивилизации. Нация выводит свои права и власть из воспоминаний о былой независимости.

Церковь действовала в этом смысле заодно с прогрессом и всюду, где это было ей под силу, препятствовала изоляции наций. Она всячески внушала народам представление об их взаимных обязанностях, а завоевания и феодальные инвеституры рассматривала как естественные средства возведения диких и отсталых наций на более высокую ступень цивилизации. И хотя она никогда не отстаивала неприкосновенности национальной независимости против случайных последствий феодального права, наследственных притязаний или завещательных перетасовок, она защищала вольности народов против уравниловки и централизации с энергией, внушенной совершенной общностью интересов. Ибо и ей, и нациям угрожал один и тот же враг; госу-

дарство, всегда неохотно терпящее какие бы то ни было различия, неохотно учитывающее национальные своеобразия при применении судебных установлений к различным народам, по той же самой причине должно вторгаться и во внутреннее самоуправление религии. Связь религиозных вольностей с делом освобождения Ирландии и Польши отнюдь не является случайной и местной; и провал попытки сплотить подданных Австрии посредством конкордата есть закономерное следствие политики, не желающей защищать автономию провинций в их естественном многообразии, пытающейся подкупить церковь проявлениями благосклонности вместо того, чтобы укрепить ее, предоставив большую независимость. Из этого влияния религии в современной истории выросло новое определение патриотизма.

Разница между национальностью и государством наглядно проявляется в природе патриотической приверженности. Наша племенная принадлежность есть всего лишь результат действия природных сил, тогда как наш долг по отношению к нации как политическому объединению есть долг этический. В первом случае перед нами общность привязанностей и инстинктов, бесконечно важных и могущественных в первобытном обществе, но приличествующих скорее не цивилизованному человеку, а животному; во втором случае мы говорим об авторитете законов, налагающих обязательства и придающих естественным отношениям общества характер нравственного согласия. Патриотизм представляет собой в политической жизни то же, что вера в религии, и к местному патриотизму и тоске по родине он относится так же, как вера относится к фанатизму и суеверию. Один из его аспектов восходит к частной жизни и природе, ибо патриотизм является продолжением семейных привязанностей, как племя является продолжением семьи. Но подлинная политическая природа патриотизма определяется перерастанием инстинкта самосохранения в нравственный долг, иногда предполагающий самопожертвование. Самосохранение заключает в себе одновременно и инстинкт, и долг, тем самым являясь, с одной стороны, чем-то естественным и непроизвольным, а с другой — представляя собою нравственное обязательство. Его первая составляющая создает семью, вторая созидает государство. Если бы нация могла существовать без государства, повинуясь только инстинкту самосохранения, она была бы неспособна к самоконтролю, самоотвержению и самопожертвованию, но стала бы самодовлеющей самоцелью. Между тем политический строй выдвигает моральные и общественные цели, ради которых необходимо приносить в жертву не только личные интересы, но подчас и самую жизнь. Величайшее проявление подлинного патриотизма, перерастание естественного эгоизма в жертвенность, есть продукт политической жизни. Это чувство долга, доставляемое принадлежностью к племени,

не полностью свободно от своей изначальной себялюбивой инстинктивной основы; любовь к родине, точно так же, как и любовь супружеская, имеет под собою в одно и то же время и материальный, и нравственный фундамент. Всякий патриот должен отчетливо различать два дела, или объекта, своей преданности. Привязанность единственно к стране подобна повиновению только государству, то есть покорности только физическому воздействию. Человек, ставящий свой долг перед родиной превыше всех прочих обязанностей, обнаруживает тот же нрав, что и человек, передающий все без изъятия права государству. Оба не сознают, что право стоит выше власти.

Существует, если прибегнуть к языку Бёрка, нравственная и политическая страна, не совпадающая с географической и способная находиться в прямом столкновении с нею. Французы, поднявшие оружие против Конвента, были настроены столь же патриотически, как и англичане, восставшие на короля Карла, ибо они отправлялись от более высокого долга, чем повиновение фактической власти. «Во всяком нашем обращении к Франции, — сказал Бёрк, — при всякой попытке вступить с нею в отношения, при рассмотрении любой схемы, так или иначе с нею связанной, совершенно невозможно иметь в виду географическую страну: мы обязаны всегда иметь в виду страну нравственную и политическую... Правда состоит в том, что Франция сейчас вне себя; Франция нравственная отделилась от Франции географической. Хозяин изгнан, дом в руках разбойников. Если мы ищем действительных французов, существующих в качестве таковых как на первый взгляд, так и с точки зрения публичного права (я хочу сказать, тех французов, которые свободны располагать собою и решать за себя, кто не лишен способности вступать в отношения и делать выводы), то мы найдем их во Фландрии и в Германии, в Швейцарии, Испании, Италии и Англии. Среди них все принцы крови, все государственные сановники, все члены собраний королевства... Я убежден, что если бы люди такого ранга численностью в половину этих французов были выброшены из этой страны, то я едва ли решился бы называть оставшихся английским народом»[4]. Руссо проводил почти столь же четкое различие между страной, к которой нам довелось принадлежать, и той, которая осуществляет по отношению к нам политические функции государства. В «Эмиле» имеется изречение, смысл которого непросто передать в переводе: «Qui n'spas une patrie a du moins un pays»[5]. А в своем трактате по политической экономии он пишет: «Следует ли людям любить свою страну, если она дает им не больше, чем иноземцам, даруя им лишь то, в чем не может отказать никому?» В том же смысле он высказывается и далее: «La patrie ne peut subsister sans la liberte»[6]. Но если так, то единственная нация, по отношению к которой мы находимся в политическом долгу,

— это нация, сформированная государством, и, следовательно, только она располагает политическими правами. Швейцарцы этнически являются либо французами, либо итальянцами, либо немцами, но ни один народ ни в малейшей степени не может заявить на них каких бы то ни было претензий, исключая сам швейцарский народ, являющийся чисто политическим образованием. Тоскана или Неаполитанское государство сформировали нацию, но флорентийцы и неаполитанцы в политическом отношении не имеют друг с другом ничего общего. Существуют и другие государства, не преуспевшие ни в том, чтобы абсорбировать в свой состав вполне оформившиеся народы, ни в том, чтобы выделиться в обособленные области. Примером одних являются Австрия и Мексика, примером других — Парма и Баден. И государства второго типа мало благоприятствуют прогрессу. Для сохранения своей целостности они должны вступать в конфедерации с другими государствами, участвовать в союзах, образованных близкими народами, входить в состав более крупных держав, тем самым теряя нечто от своей независимости. Они склонны изолировать свое население, препятствовать контактам жителей с внешним миром, сужать их горизонт, мешать нормальному росту их мысли. Общественное мнение не в состоянии поддерживать свою свободу и чистоту в столь стесненных границах; и волны течений, зародившихся в общинах более просторных, прокатываются поверх этих клочков земли. В среде малочисленного и однородного населения нет должного простора естественному расслоению общества, негде развернуться группам, объединенным общностью интересов и тем самым связывающим верховную власть. Правительство и подданные сражаются между собою заемным оружием. Средства первого и устремления вторых восходят к неким внешним источникам, и следствием является то, что страна становится одновременно орудием и ареной столкновений и споров, в которых она вовсе не заинтересована. Такие государства, как мелкие средневековые княжества, сыграли известную роль, содействовали возникновению, самоутверждению и безопасности небольших общин в составе более крупных государств, но они являются помехой общественному развитию, определяемому смешением рас и племен, живущих под властью одного и того же правительства.

Тщета и пагубность национальных притязаний, не имеющих под собою никакой политической традиции, но основанных единственно на племенной общности, обнаружили себя в Мексике. Там племена различаются по крови, однако живут вперемешку друг с другом. Поэтому их невозможно ни объединить, ни превратить в элементы правильного государства. Они неустойчивы, бесформенны, разобщены и не могут быть ни отброшены, ни положены в качестве готовых блоков в основание политических институтов. По-

скольку они непригодны для служения государству, они не могут быть и признаны им, и все им присущие и их отличающие качества, способности, стремления и привязанности остаются без употребления, а значит, и без внимания. По необходимости пребывающие в небрежении, они, соответственно, являются постоянным источником возмущения. Восточный мир преодолевает проблемы племен, обладающих политическими запросами, но лишенных места в политической жизни, посредством института каст. Там, где имеются только две этнические группы, возможно возникновение рабства; но когда несколько народов населяют различные территории в составе единой империи из нескольких государств меньшего размера, возникает благоприятнейшее из всех мыслимых сочетаний для установления высокоразвитой системы свобод. В Австрии имеются два обстоятельства, усугубляющие трудность задачи, но одновременно и повышающие ее важность. Здесь сосуществуют несколько народов, находящихся на очень разной ступени развития, и вместе с тем нет народа, в такой мере господствующего над прочими, чтобы полностью овладеть ими или поглотить их. Здесь имеются необходимые условия для достижения высочайшей из доступных правительству степеней организованности. Эти условия обеспечивают все мыслимое разнообразие интеллектуальных возможностей, создают постоянные побудительные мотивы к развитию, доставляемые не одной лишь конкуренцией, но также и созерцанием более преуспевших на жизненном поприще людей; они дают чрезвычайное обилие элементов самоуправления и одновременно не позволяют государству управлять всем и всеми, исходя единственно из своей воли; и они же суть полнейшие гарантии сохранения местных обычаев и древних народных прав. В такой стране свобода могла бы принести самые блистательные результаты, тогда как централизация и абсолютизм были бы равнозначны гибели.

Задача, предстоящая правительству Австрии, сложнее той, которая успешно разрешена в Англии, поскольку в Австрии ее решение невозможно без признания национальных притязаний. Парламентская система не способна удовлетворить притязаниям нации, ибо она предполагает национальное единство народа. Отсюда ясно, что в тех странах, в которых вместе живут различные народы, она в принципе не может удовлетворить их нуждам и потому рассматривается там как весьма несовершенная форма свободы. С еще большей отчетливостью, чем прежде, она обнаруживает трудности, которых сама же не признает, тем самым продолжая дело старого абсолютизма и представляя собою новую фазу централизации. Поэтому в странах такого типа власть имперского парламента должна ограничиваться столь же бдительно, как и власть короны, и многие из его функций должны быть пе-

реданы провинциальным собраниям и далее, по нисходящей, местным органам власти.

Громадное место, принадлежащее в государстве его народностям, определяется тем фактом, что на них покоится политическая дееспособность государства. Свойства народа в огромной степени определяют форму и жизненную силу государства. При этом разным народам свойственны разные политические идеи и обычаи, к тому же меняющиеся в ходе национальной истории. Народ, едва вышедший из дикого состояния или, наоборот, расслабленный избытком и роскошью своей цивилизации, не может обладать средствами для самоуправления; народ, приверженный идее равенства или идее абсолютной монархии, неспособен создать аристократию; народ, питающий отвращение к институту частной собственности, лишен первейшего элемента свободы. Каждый из названных народов может быть превращен в действительно свободное человеческое сообщество лишь путем соприкосновения с расой более высокой организации, в жизненной мощи которой заключены надежды будущей государственности. Система, не берущая этих вещей в расчет, не ищущая себе поддержки в свойствах и склонностях людей, вовсе не предполагает, что они сами должны управляться со своими делами, но ждет от них лишь слепого повиновения распоряжениям сверху. Поэтому отрицание национального своеобразия влечет за собою отрицание политической свободы.

Современная теория национализма в корне противоречит правам и интересам наций. Настаивая на национальной независимости, на том, что у всякой нации в принципе должно быть свое государство, она тем самым ставит в подчиненное положение любую другую нацию, оказывающуюся в границах национального государства. Она в принципе не может допустить равенства национальных меньшинств с основной нацией, образовавшей государство, ибо при этом государство перестает быть национальным, то есть вступает в противоречие с основным началом своего существования. Судьба национальных меньшинств определяется далее степенью гуманности и цивилизованности господствующего народа, заявляющего претензии на все права сообщества, и может в соответствии с этой степенью означать для них истребление, сведение на положение рабов, ущемление в правах и лишение защиты закона или же зависимое положение.

Если мы примем, что установление вольностей во имя осуществления нравственных обязательств является целью гражданского общества, мы должны заключить, что государства, которые, подобно британской или австрийской империям, включают в себя множество различных национальностей, не угнетая их, по существу своему наиболее совершенны. Наоборот, заведо-

мо несовершенны те страны, в которых нет смешения рас и племен; и дряхлы, лишены жизненных сил те, в которых это смешение не оказывает более своего благотворного влияния. Государство, неспособное удовлетворить запросам различных племен, ставит себя в положение обреченного; государство, действующее в направлении ослабления, поглощения или изгнания их, уничтожает свою жизнеспособность; государство, не обладающее ими, лишено важнейшей основы самоуправления. Таким образом, новая теория национализма обращает историю вспять. При этом она является самой передовой формой революции и должна сохранить свою силу до конца революционного периода, наступление которого провозглашает. Ее величайшее историческое значение обусловлено двумя основными причинами.

Во-первых, тем, что она утопична. Согласие, которое она ставит себе целью, невозможно и недостижимо. И вот, поскольку по природе своей эта теория есть страсть, не находящая себе удовлетворения, неистощимая и всегда продолжающая самоутверждаться, она, в силу этих свойств, не дает правительствам возможности вернуться к состоянию, предшествовавшему ее первоначальному подъему. Опасность слишком грозна, власть над человеческими умами слишком велика, чтобы какое-либо государство решилось допустить возникновение условий, оправдывающих национальное сопротивление. Следовательно, новейшая теория национализма должна приносить то, что она в теории осуждает: свободу разных наций как членов некоего охватывающего их сообщества народов. И это та услуга человечеству, которая под силу только ей. Ибо эта теория в равной мере выправляет ошибки и абсолютной монархии, и демократии, и конституционализма, так же точно, как и централизации, общей для всех этих трех систем правления. Ни монархическая, ни революционная, ни парламентская системы не могут этого сделать. Все идеи, воодушевляющие человечество в минувшие века, оказались бессильны перед этой целью, исключая идею национальной общности.

И, во-вторых, национальная теория знаменует собою конец революционной доктрины и ее логическое исчерпание. Едва только национальные права поставлены над всеми прочими, теряет силу, вступая в противоречие сама с собою, система демократического равенства. Социализм заявил о себе между демократической и националистической фазами революции и уже успел довести следствия своего исходного принципа до абсурда. Но эта фаза миновала. Революция пережила свое потомство и дала иной, идущий далее результат. Национализм перспективнее социализма, ибо по природе своей более властен и деспотичен. Социальная теория ставит своей целью показать тяготы существования человека под ужасающим бременем, налагаемым современным обществом на плечи людей труда. Она не только развивает пред-

ставления о равенстве, но открывает путь к спасению для страждущих и голодных. При этом сколь бы ни было на деле ложным предлагаемое решение, но требование спасти беднейших людей от гибели законно и справедливо; и если при этом свобода приносится в жертву спасению человека, то насущнейшую, первоочередную цель можно считать хотя бы в принципе решенной. Но национализм не имеет в виду ни свободу, ни благосостояние: и то, и другое принесено им в жертву повелительной необходимости сделать нацию шаблоном и мерилом государственности. Его путь будет отмечен как вещественными, так и нравственными руинами, и все во имя того, чтобы новый вымысел восторжествовал и над трудами Господними, и над интересами человечества. Нет принципа преобразования общества, нет мыслимой схемы политического умопостижения более всепоглощающих, более разрушительных и произвольных, чем исходящие из начала национального. Национализм есть отрицание демократии, ибо он полагает пределы проявлению воли народа, подменяя ее принципом более возвышенным. Он препятствует не только членению, но и расширению государства, ибо не позволяет заканчивать войну завоеванием, гарантирующим дальнейший мир. Таким образом, отдав человека на милость коллективной воли, революционная система тотчас подчиняет коллективную волю независимым от нее силам и, отвергнув всякую законность, сама отдается во власть единственно случая.

И хотя поэтому национализм более абсурден и преступен, чем социализм, он имеет важное предназначение возвестить конечный конфликт, а стало быть, и отмирание двух сил, наиболее враждебных гражданским свободам — абсолютной монархии и революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Edmund Burke.* Observations on the Conduct of the Minority // Edmund **Burke. Selected** Works. Vol. 5. P. 112.

2. *J. S. Mill.* Considerations on Representative Government. L., 1861. P. 298.

3. Ibid. P. 296.

4. *Edmund Burke.* Remarks on the Policy of the Allies // Edmund Burke. **Selected Works. Vol. 5.** P. 26, 29, 30.

5. У кого нет родины, есть по крайней мере родной край (*фр.*). — *Прим. ред.*

6. Не существует родины без свободы (*фр.*). — *Прим. ред.*

ОТТО БАУЭР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

НАЦИЯ

Национальный характер

Наука до сих пор почти совсем не занималась вопросом о нации, — она предоставляла ее почти в исключительное ведение лириков и фельетонистов, ораторов народных собраний, и отдавала обсуждение этих вопросов на откуп парламентам и *bierkeller*[1]. В эпоху великой национальной борьбы едва сделаны первые попытки к построению удовлетворительной теории о сущности нации. Между тем, такая теория безусловно необходима. Ведь все мы находимся под влиянием национальной идеологии, национальной романтики, ведь редко кто из нас произносит слово «немецкое», не испытывая при этом какого-то особого чувства. Кто хочет понять и критиковать национальную идеологию, тот не может уклониться от ответа на вопрос, что такое нация.

Бэджгот говорит, что нация есть одно из тех многих явлений, которые мы знаем, пока нас о них не спрашивают; на поставленный же о них вопрос мы не в состоянии дать точного и ясного ответа[2]. Но этим наука не может довольствоваться; если она хочет говорить о нации, она не может отказаться от определения понятия нации. А на этот вопрос не так легко ответить, как может показаться на первый взгляд. Что такое нация? Представляет ли она собою группу людей, отличающихся общностью происхождения? Но итальянцы происходят от этрусков, римлян, кельтов, германцев, греков и сарацин, современные французы — от галлов, римлян, бриттов и германцев, современные немцы — от германцев, кельтов и славян. Есть ли это общность языка, которая объединяет людей в нацию? Но англичане и ирландцы, датчане и норвежцы, сербы и хорваты говорят на одном языке, не представляя собой, однако, единого народа; евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию. Но есть ли это сознание принадлежности к одному целому, которое сплачивает людей в нацию? Но разве тирольский крестьянин перестает быть немцем оттого, что он никогда не сознавал своей связи с немцами Восточной Пруссии или Померании, с тюрингцем или эльзасцем? И затем: что оно такое это нечто, которое немец сознает, когда он

вспоминает свою принадлежность к немецкой нации? Что именно определяет его принадлежность к немецкой нации, его связь с остальными немцами? Должен же быть какой-нибудь объективный признак общей принадлежности к единому целому, чтобы эту общность можно было сознавать.

Вопрос о сущности нации можно развернуть, лишь исходя из понятия о *национальном характере*. Привезите любого немца в чужую страну, скажем, к англичанам, и он тотчас же осознает произошедшую с ним перемену: вокруг него другие люди, люди, иначе думающие и чувствующие, иначе реагирующие на одни и те же вещи, чем привычная ему немецкая среда. Эту-то сумму признаков, отличающих людей одной от людей другой национальности, этот комплекс физических и духовных качеств, который отличает одну нацию от другой, мы временно назовем *национальным характером*; сверх этих качеств, народы имеют еще другие общие признаки, общечеловеческие; затем, отдельные классы, профессии внутри каждой данной нации характеризуются особыми групповыми качествами, отличающими каждую из этих групп как таковую. Но что средний немец не похож на среднего англичанина, хотя бы они, как люди, как члены одного класса или профессии, имели между собою много общего, или что все англичане сходны по целому ряду признаков, как бы велики не были существующие между ними индивидуальные или социальные различия, — это не подлежит никакому сомнению. Кто стал бы это отрицать, для того нация — ничто; можно ли сказать, что англичанин, живущий в Берлине и владеющим немецким языком, становится поэтому немцем?

Если различия, существующие между нациями, объясняют различиями их исторических судеб, различными условиями борьбы за существование, общественной структуры; если, например, Каутский старается объяснить настойчивость и упрямство русских тем фактом, что масса русского народа состоит из крестьян и что земледелие создает повсюду неподвижные, но настойчивые и упрямые натуры, то этим, конечно, не возражают против понятия национального характера[3]. Ибо этим не отрицается существование особого русского национального характера, а делается лишь попытка объяснить национальные особенности русских.

Между тем, то обстоятельство, что часто стремились объяснить происхождение национального характера, не задумываясь над его сущностью, было причиной тех немалых искажений, каким это понятие подвергалось

Прежде всего, национальный характер неправильно считали *постоянным*, раз навсегда установленным, тогда как это опровергается исторически; нельзя отрицать, что германцы времен Тацита обладали многими сходными чертами характера, которыми они отличались от других народов, например,

от римлян той же эпохи, и столь же мало можно отрицать, что немцы нашего времени обнаруживают известные общие, отличающие их от других народов, черты характера, каково бы ни было их происхождение. Но сведущий человек не станет же на этом основании отрицать, что немцы настоящего времени имеют гораздо больше общего с современными культурными нациями, чем с германцами эпохи Тацита.

Национальный характер изменчив. Общность характера связывает членов одной нации только на *продолжении известного периода*, но отнюдь не нацию нашего времени с ее предками за два или три тысячелетия. Когда мы говорим о немецком национальном характере, то мы имеем в виду общие отличительные черты немцев определенного столетия или десятилетия.

Еще одной ошибкой было то, что наряду с национальной общностью характера часто не замечали целого ряда других общностей, из которых общность класса и профессии суть наиболее важные. Немецкий рабочий многими своими чертами сходен со всяким другим немцем: это связывает немцев в национальную общность характера. Но немецкий рабочий имеет и со своими товарищами по классу всех других наций ряд общих отличительных признаков: это делает его членом интернациональной общности рабочего класса. Или, скажем, немецкий наборщик, который несомненно имеет известные общие черты характера с наборщиками всех других национальностей, принадлежит к интернациональной общности профессионального характера.

Было бы праздным занятием производить изыскания на счет того, какая общность теснее, интенсивнее — общность ли классового или общность национального характера. Не существует ведь никакого объективного масштаба для изменения степени интенсивности подобных общностей[4].

Но еще более повредило понятию национального характера то обстоятельство, что национальным характером считали возможным *объяснять* определенный образ действия какой-нибудь нации: например, быструю смену конституции во Франции объясняли тем, что французы, как Цезарь утверждал относительно их галльских предков, всегда «стремятся к новшествам».

Цезарь много наблюдал жизнь галльских народностей и отдельных галлов: как они меняли свое местожительство, как они изменяли свои конституции, заключали и разрывали дружбы и союзы; во всех этих конкретных действиях, относящихся к определенному периоду и к определенному месту, наблюдатель заметил нечто такое, что ему пришлось уже наблюдать в прежних действиях галлов; он извлекает это общее во всех их действиях и говорит: «они всегда стремятся к новшествам». При этом в суждении речь идет, стало быть, вовсе не об объяснении причинной зависимости известных

явлений, а лишь об обобщении, об извлечении некоторых общих признаков из различных конкретных действий. Когда мы описываем национальный характер, то этим мы ничуть не объясняем причин каких-либо действий, а описываем лишь то, что является общим во множестве действий данной нации, данных соплеменников. Но вот, спустя девятнадцать столетий историк наблюдает быструю смену конституционных форм во Франции и вспоминает, при этом, суждение Цезаря, что галлы «всегда стремились к новшествам». Что же, объяснил ли он таким образом историю французской революции национальным характером французов, будто бы унаследованным от галлов? Отнюдь нет. Он установил лишь тот факт, что действия современных французов также обнаруживают некоторые общие признаки и, при том, те самые общие признаки, которые Цезарь нашел в действиях галлов своего времени. Дело здесь, стало быть, не в *объяснении причинной зависимости известных явлений, а лишь в том, что вновь констатируется уже ранее наблюдавшийся общий отличительный признак в ряде различных конкретных действий.* Почему именно галлы стремились к новшествам, почему французы быстро меняли свои конституции, этим, конечно, не объяснено. попытка объяснить какое-нибудь действие национальным характером покоится на логической ошибке: в причинную зависимость возводится без всякого основания известный отличительный признак и те различные конкретные действия, в которых этот признак проявляется.

Такая же логическая ошибка совершается и в том случае, когда действия отдельного человека «объясняют» национальным характером его народа, — например, способ мышления и хотения отдельного еврея объясняют еврейским национальным характером. Когда Вернер Зомбарт полагает, что евреи отличаются особой предрасположенностью к абстрактному мышлению, индифферентным отношением к качественной стороне вещей, выражающемся в еврейской религии, в работе мысли еврейского ученого или в почитании денег, как стоимости, имеющей лишь количественное значение[5], то можно подумать, что на основании таким образом установленного национального характера возможно «объяснить» образ действия еврея Когана или еврея Мейера. В действительности же дело обстоит совершенно иначе! Зомбарт наблюдал множество конкретных действий известных ему знакомых евреев и в этих действиях он отметил общий отличительный признак. Когда мы затем, наблюдая жизнь отдельного еврея, и в нем замечаем ту же особую предрасположенность к абстрактному мышлению, то этим ничуть не объясняется образ действия этого еврея, а лишь вновь познается та особенность, которую Зомбарт уже раньше заметил в действиях других евреев. Для объяснения же такого совпадения этим еще ровно ничего не сказано.

Нация есть *относительная общность характера*; общность характера, — потому что члены одной нации в течение определенного периода времени характеризуются некоторыми общими отличительными признаками, потому что каждой нации свойственны определенные черты национального характера, отличающие ее от других наций, хотя членам всех наций свойственны в то же время такие общие признаки, которые характеризуют их, как людей вообще: нация не есть абсолютная, а только относительная общность характера, потому что отдельным ее членам, при всем их сходстве между собой, как членов одной нации, свойственны еще индивидуальные особенности (местного, классового, профессионального характера), которыми они отличаются друг от друга. Нация обладает национальным характером. Но этот национальный характер означает лишь относительную общность отличительных признаков, наблюдаемых в образе действия отдельных членов нации, и ничуть еще не объясняет характера индивидуального образа действия каждого из них. *Национальный характер ничего не объясняет, он сам по себе должен быть объяснен.* Устанавливая различие национальных характеров, наука не *разрешила*, а только *поставила* проблему нации. Ее задача в том именно и состоит, чтобы объяснить происхождение этой относительной общности характера, — как это возможно, что при всех индивидуальных различиях все члены какой-нибудь нации все же сходятся между собою по целому ряду отличительных признаков, что при всем своем физическом и духовном родстве с людьми вообще, они все же отличаются от членов других наций особенностями своего национального характера.

Действия какой-нибудь нации и ее членов пытались объяснить каким-то таинственным *народным духом*, «народной душой». Но этим путем указанная задача не разрешается, а только обходится. Народный дух — это давнишняя любовь романтиков. В науку он был введен *исторической школой права*. Эта школа учит, что народный дух создает в индивидуумах общность правового убеждения (*Rechtsüberzeugung*), которое либо само по себе уже есть право, либо обладает правоустанавливающей силой[6]. Позже стали уже не только право, но все действия, все судьбы нации объяснять, как акты, как воплощение народного духа. Субстрат, субстанция нации — это какой-то особый народный дух, народная душа, это — то неизменное, которое остается при всяких переменах, то единство. которое существует, несмотря на всякие индивидуальные различия; индивидуумы же — это только модусы, лишь формы проявления этой духовной субстанции[7].

Ясно, что этот *национальный спиритуализм* также покоится на логической ошибке.

Явления моей психической жизни, представления, чувствования, хотения составляют предмет моего непосредственного опыта. Рационалистическая психология прежних времен относила эти явления к неизменной субстанции, считала их деятельность особого объекта — моей души. Но острая критика Канта разрушила все представления, созданные на этот счет рационалистической психологией, доказав ошибочность того основания, на котором эти представления покоились. С тех пор не существует больше психологии, которая психические явления считала бы проявлениями душевной субстанции; с тех пор мы знаем только эмпирическую психологию, описывающую психические явления в области представлений, чувствований, хотений и стремящуюся постигнуть эти явления в их взаимной зависимости.

Если явления моей собственной психической жизни даны мне в непосредственном опыте, то психические явления других я познаю лишь опосредованно. Ибо я не вижу, как другой думает, чувствует, хочет, — я вижу только его действия: он говорит, ходит и стоит, борется и спит. Но так как я из моего собственного опыта уже знаю, что физические движения сопровождаются психическими явлениями, то я заключаю отсюда, что у другого дело обстоит точно так же, как и у меня. Физические движения других людей должны мне представляться, как деятельность воли, направляемой их представлениями и чувствованиями.

Рационалистическая психология же считала эти психические явления других индивидуумов продуктом какого-то особого объекта, точно так, как она мои собственные психические явления считала делом моей души. Отсюда для нее возникала проблема, как душевная субстанция одного относится к душевной субстанции другого. Эту проблему разрешали либо *индивидуалистически*, то есть отношения людей друг к другу, данные эмпирически, понимали как взаимодействие однородных душевных субстанций между собой, либо *универсалистически*, то есть конструировали одну общую душу, духовный универсум, который только отражался в единичной душе. Потомок этого общего универсального духа и есть народный дух, эта народная душа национального спиритуализма.

Мы же со времени кантовской критики чистого разума не знаем больше никакой душевной субстанции, к деятельности которой относили всю психическую жизнь, — мы знаем лишь данные в опыте психические явления, и их мы стараемся постигнуть в их взаимной зависимости. Отношения людей друг к другу мы, поэтому, не считаем уже отражением взаимной связи, существующей между какими-то душевными субстанциями или же проявлением единой субстанции универсального мирового духа, обнаруживающегося в этих субстанциях; современная психология имеет единственную за-

дачу — понять взаимную зависимость, существующую между моими собственными представлениями, чувствованиями, хотениями, данными непосредственным опытом и опосредованно — данными представлениями, чувствованиями и хотениями других индивидуумов. После кантовской критики понятие души, «народный дух» представляется нам ничем иным, как романтическим призраком.

В образе действий целого ряда евреев я замечаю некоторый общий отличительный признак. Чтобы объяснить это сходство, национальный спиритуализм конструирует особую единообразную и неизменную субстанцию, еврейский народный дух, который, воплощаясь в каждом отдельном еврее, создает, таким образом, однородность еврейских действий. Но что такое этот народный дух? Либо это пустое слово без всякого содержания, ровно ничего не объясняющее, и всего меньше — такие конкретные вещи, как действия какого-нибудь господина Когана; либо же он заключает в себе то общее, которое замечается в действиях всех евреев. А если так, если еврейский народный дух есть склонность к абстракции господ Когана, Мейера, Лёви и других евреев, действия которых он должен объяснить, то мы получаем тавтологию: Коган и Мейер мыслят абстрактно, потому что в них воплощается еврейский народный дух, а еврейский народный дух состоит из склонности к абстрактному мышлению, потому что Коган и Мейер мыслят абстрактно! То, что подлежит объяснению, уже содержится в том, что может якобы дать это объяснение, то, *что выдается за причину, есть не что иное, как абстракция, обобщение тех действий, которые должны быть объяснены!*

Народный дух не в состоянии объяснить общности национального характера, так как он сам не что иное, как национальный характер, превращенный в метафизическую сущность, в призрак. Национальный характер же сам по себе не является, как мы уже знаем, объяснением образа действия какого-нибудь индивидуума; он говорит нам лишь об относительной однородности в образе действия членов одной нации в продолжение определенного периода времени. Он ничего не объясняет, он сам по себе должен быть объяснен. Именно объяснение национальной общности характера составляет задачу науки.

Естественная общность и культурная общность

Предположим, что какая-нибудь колоссальная катастрофа истребила всех немцев, так что от немецкого народа осталось лишь несколько детей в самом нежном возрасте. Вместе с немцами погибли и все немецкие культурные сокровища — все мастерские, школы, библиотеки и музеи. К счастью,

однако, дети несчастного народа получают возможность вырасти и положить начало новому народу. Будет ли этот народ немецким народом? Конечно, эти дети явились на свет с унаследованными качествами немецкого народа и их-то они не потеряют. Но язык, который они должны будут постепенно развивать, не будет уже немецким языком, — нравы и право, религию и науку, искусство и поэзию новый народ должен будет заново выработать в медленном процессе, и живущие среди столь совершенно изменившихся условий люди будут отличаться совершенно другими чертами характера, чем теперешние немцы.

Этот пример, который я заимствовал из одного реферата *Гатчека*, ясно показывает, что мы не вполне еще поняли сущность нации, пока мы рассматриваем ее только как естественную общность, как союз людей, связанных общностью происхождения. Ибо своеобразность отдельного индивидуума никогда не определяется одними только его унаследованными качествами, но также и теми условиями, в которых живет он сам: способами, которыми он добывает себе средства к жизни; количеством и качеством тех благ, которые дает ему труд; правами людей, среди которых он живет; тем правом, которому он подчиняется; тем мировоззрением, поэзией и искусством, влиянию которых он подвержен. Люди с одинаковыми от предков унаследованными качествами, но с раннего детства попавшие в иные культурные условия, образовали бы совершенно различные народности. Никогда нация не есть только естественная общность, она *всегда еще и культурная общность* (*Kulturgemeinschaft*).

Более того! Резкое разграничение национальных индивидуальностей никак нельзя объяснить одними только условиями возникновения естественной общности. Ибо во всякой естественной общности действует тенденция к беспрерывной дифференциации. Мориц Вагнер указал на то, что местная обособленность приводит к возникновению новых видов. Например, немецкие народности происходят от одного общего племени. Потомки этого племени рассеялись по большой территории. Жизненные условия, в которых живут отдельные народности, становятся совершенно различными: для жителей Альп иные, чем для жителей равнин, для жителей богемских плоскогорий иные, чем для жителей Waterkant'a[8]. Различные жизненные условия воспитывают в племенах различные особенности, различный характер. И эти различия не сглаживаются, так как местная обособленность препятствует заключению смешанных браков между различными народностями. Таким образом, эти народности должны были бы стать в конце концов различными нациями с совершенно различными унаследованными характерами. Как в древние времена кельты, германцы и славяне произошли от одного обще

го племени, так немецкий народ должен был бы в конце концов распасться на множество самостоятельных народов, а эти, в свою очередь, немедленно подпали бы под действие процесса дифференциации и в течение столетий опять образовали бы совершенно различные народы. Но история показывает нам, что этой тенденции к дифференциации противодействует другая тенденция к концентрации. Так, немцы в настоящее время связываются в нацию иначе и совершенно иными узами, чем, например, немцы в средние века: немцы прибрежья Северного моря в настоящее время имеют гораздо больше общего с немцами альпийских стран, чем это, например, было в XIV веке. Это объединение различных народностей в единую нацию не может быть объяснено фактами естественной наследственности, которыми, например, объясняется распадение одного народа на различные народности, а не возникновение единой нации из различных племен; эта тенденция к концентрации объясняется только лишь влиянием *общей культуры*. Ниже мы еще подробно рассмотрим этот вопрос *о возникновении единой нации различных племен*, живущих в различных жизненных условиях, при отсутствии смешанных браков между собой.

Но если мы нацию рассматриваем, *с одной стороны, как естественную общность, а с другой, — как культурную общность*, то тем самым мы вовсе не хотим сказать, что *здесь действуют различные причины, определяющие национальный характер*. Напротив, характер людей ничем иным не определяется, как их судьбой; национальный характер есть не что иное, как осадок истории данной нации. Условия, в которых люди производят средства для своей жизни и распределяют продукты своего труда, определяют судьбу всякого народа; на основе определенного способа производства и распределения средств к существованию создается определенная духовная культура. Но история народа, таким образом направленная, влияет на потомков двояким путем: с одной стороны, воспитанием в борьбе за существование определенных физических и духовных качеств и передачей этих качеств потомкам путем естественной наследственности, а с другой стороны, созданием определенных культурных ценностей, передаваемых посредством воспитания, права и нравов, благодаря сношениям людей между собой. *Нация есть не что иное, как общность судьбы. Но эта общность судьбы действует в двух направлениях: с одной стороны, путем естественной наследственности передаются качества, присвоенные нацией на почве общности судьбы, с другой, — передаются культурные ценности, создаваемые нацией на почве той же общности судьбы*. Стало быть, если мы считаем нацию и естественной и культурной общностью, то мы имеем в виду не различные определяющие характер людей причины, а *различные средства*, путем ко-

торых единообразно действующие причины — условия, в которых предки ведут борьбу за свое существование — влияют на характер потомков. С одной стороны, наследственная передача определенных качеств, с другой стороны, передача определенных культурных ценностей, — вот те два способа, посредством которых судьбы предков определяют характер потомков.

Когда мы рассматриваем нацию, как культурную общность, то есть исследуем, как национальный характер определяется полученными от прежних поколений культурными ценностями, то мы имеем под собой гораздо более твердую почву, чем в том случае, когда мы происхождение общности национального характера стараемся объяснить физическими качествами, переданными путем естественной наследственности. Ибо здесь мы ограничены сравнительно узким кругом точных наблюдений, а в остальном должны довольствоваться гипотезами, тогда как в первом случае мы стоим на твердой почве человеческой истории.

Современный капитализм и национальная культурная общность

С уничтожением феодальных отношений очищается путь для широкого воздействия капиталистических сил на сельское население. Сами эти силы изменили тем временем свою сущность; изменив характер подвластных им производительных сил, они увеличили, так сказать, свою наступательную силу. От кооперации, от одного лишь соединения выполняющих однородную работу рабочих, от мануфактуры, то есть мастерской, где работают рабочие, занятые ручным трудом, и которая основана на разделении труда, — капиталистическое производство поднялось к фабрике, давшей ему машину. Прядильная машина, механический ткацкий станок, паровая машина становятся орудиями промышленного капитала. Вооруженный этим новым оружием, капитал приступает прежде всего к коренному изменению всех социальных отношений в области сельского хозяйства.

Все эти колоссальные перемены влекут за собой, с одной стороны, *полное территориальное и профессиональное перераспределение населения, а с другой, — коренное изменение экономического положения, а вместе с тем и психологии крестьянина.* Крестьянскому сыну нечего больше делать в деревне: молотить осень рожь ему не приходится, так как она вымолочена еще на поле, сейчас же после жатвы, паровой молотилкой; ему не приходится сидеть зимой за ткацким станком, так как механический ткацкий станок положил конец домашней ткацкой промышленности; таким образом, ему ничего не остается, как оставить деревню и идти в крупные промышленные центры. Сельскохозяйственное население не увеличивается, но зато тем ско-

рее растет количество людей, занятых в промышленности и торговле. Колоссальные человеческие массы накопляются в крупных городах, в крупных промышленных областях. Оставшиеся же в деревне крестьяне становятся чистыми сельскими хозяевами. Продукты своего труда они предназначают уже для рынка, чтобы на полученные за них деньги покупать себе необходимые промышленные изделия.

Надо ли нам еще подробнее говорить о том, что все это означает для национальной культурной общности? Капитализм разорвал связь сельского населения с землей, к которой оно приковано было веками, он вырвал его из узких и тесных границ деревенского мира. Сыновья крестьян вовлечены им в город, где они встречаются с населением самых далеких частей страны, создают общую сферу влияния, смешивают свою кровь, где они вместо повторявшегося однообразия крестьянской жизни находят бьющую ключом жизнь большого города, жизнь, уничтожающую все их традиционные взгляды и представления — новый, вечно меняющийся мир. Постоянные перемены промышленной конъюнктуры бросают их конца в конец, из одной части страны в другую. Какая разница, скажем, между теперешним рабочим по металлу, который сегодня работает на железных магнатов рейнских провинций и которого завтра уже новая промышленная волна перебрасывает в Силезию; который в Саксонии сватает себе невесту, а в Берлине воспитывает своих детей, — какая разница между этим рабочим и его дедом, всю свою жизнь прожившим в заброшенной альпийской деревне, может быть два раза в году только, по случаю ярмарки или большого церковного праздника, посетившим свой уездный городок, и никогда не знавшим даже крестьян соседней деревни, если сношения между деревнями затруднялись каким-нибудь горным отрогом! Но зато какая перемена произошла и с братом нашего рабочего, унаследовавшим отцовское хозяйство в нашей горной деревне! Под влиянием сельскохозяйственных кооперации, колебаний курса, сельскохозяйственных выставок и т. п. пошли в сельском хозяйстве беспрерывные перемены, постоянные опыты; новый хозяин крестьянского имения стал настоящим дельцом, который хорошо знает цену своих товаров, знает, что сказать городскому торговцу относительно предлагаемой им цены, умеет хорошо пользоваться конкуренцией между торговцами; он стал таким же производителем и покупателем товаров, каким является торговец или производитель товаров в городе, он связан с городским населением всеми узами общественных сношений, он давно уже находится в сфере его культурного воздействия. Он, быть может, на велосипеде уже направляется в город, чтобы поторговаться там со своими покупателями; вместо старинной крестьянской одежды он носит уже городской костюм, покрой которого ясно обнару-

живает следы, если не самой последней, то предпоследней парижской или венской моды.

Эти психологические метаморфозы, вызванные капиталистическим развитием, изменили всю нашу *систему народного образования*, но они, в свою очередь, невозможны были бы без развития нашего школьного дела. Школа стала необходимым орудием современного развития; в более высоком уровне народного образования нуждался современный капитализм, так как без этого не мог бы функционировать сложный аппарат капиталистического предприятия; в нем нуждался современный крестьянин, так как иначе он никогда не развился бы в современного сельского хозяина; в нем нуждалось современное государство, так как без него оно никогда не создало бы современное местное управление и современную армию. Так XIX век является свидетелем импозантного развития дела народного образования. Нам незачем долго останавливаться на том, какое значение имеет для развития национальной культурной общности тот факт, что, например, дитя рабочего Восточной Пруссии, как и крестьянское дитя Тироля, учась по одной и той же хрестоматии, воспринимают одинаковые культурные элементы, усваивают одинаковые частицы нашей духовной культуры на одном и том же общенемецком языке!

То, что начинает школа, продолжает наша *армия*. Конскрипционная система должна была логически закончиться всеобщей воинской повинностью. Современная армия вышла из тех битв, в которых французская революция разбила абсолютистские силы старой Европы, это — народная армия, если еще не по своей цели и организации, то по своему составу; исполнение воинской повинности вырывает крестьянского сына из узкого круга деревенской жизни, связывает его с товарищами из города или других частей страны, подвергает его влиянию население того места, в котором живет гарнизон. Таким образом, наша военная система против воли революционизирует головы! Недаром в «Ткачах» Герхарта Гауптмана в роли человека, раздувающего тлеющие искры в пламя, выступает только что возвратившийся на родину солдат!

А то национально-культурное воздействие, которому ребенок подвергается в школе, юноша — благодаря всеобщей воинской повинности, завершается над взрослым человеком посредством *демократии*. Свобода союзов, свобода собраний, свобода печати, — все это составляет тот передаточный механизм, посредством которого великие вопросы времени проводятся в каждую деревню, в каждую мастерскую, посредством которого великие мировые события становятся в каждом отдельном человеке рычагом его культурного развития; всеобщее избирательное право, вкладывающее в руки каж-

дого гражданина избирательный бюллетень; заставляет партии бороться за последнего человека; в лозунге политических партий воплощаются и борются за каждого крестьянина, за каждого рабочего все великие завоевания всей нашей истории, всей культуры; каждая речь, каждый номер газеты передает кусок нашей духовной культуры последнему избирателю. И все они, эти избиратели, столь различные по происхождению, состоянию, профессии, политическому образу мыслей — все они охватываются одной культурной общностью, ибо все они — объект борьбы всех партий — подвергаются однородному культурному влиянию, ибо в индивидуальности каждого из них в отдельности проявляется *однородное культурное влияние, создавшее его* характер.

Но самым важным из всех исторических факторов, создавших, таким образом, современную нацию капиталистической эпохи, является *рабочее движение*. Уже только его непосредственное влияние необычайно велико. Ведь именно оно добилось по крайней мере для рабочих, такого сокращения рабочего дня, что и к ним может проникать теперь часть нашей национальной культуры; ведь именно оно настолько подняло заработную плату рабочих, что они в состоянии, не вырождаясь окончательно физически и духовно, принимать хоть некоторое участие в культурной общности нации. Но рабочее движение сделало еще больше этого! Оно вызвало господствующие классы на борьбу, пробудивши в них страх перед лицом надвигающегося социализма. Теперь и буржуа, и даже юнкер, вынуждены искать пути и способы влияния на массы. И вот они стараются организовать рабочих, но организовать их для своих целей; или же они объединяют ремесленников и крестьян для борьбы с рабочим классом. Так неистовствует социальная борьба на почве великого вопроса о собственности, неистовствует вокруг каждого отдельного человека. На каждую отдельную единицу влияют аргументы всех партий посредством печати, союзов, газет, и, таким образом, благодаря борьбе партий, к каждому в отдельности проникает теперь струя — как бы она тонка ни была — нашего общего культурного потока, становится действующей силой в его характере и всех нас объединяет в спаянную однородным культурным влиянием единую культурную общность.

Германцы эпохи Цезаря составляли культурную общность, но эта старая культурная общность распалась с наступлением оседлости, при переходе к земледельческому образу жизни. Место единой национальной общности заняли множество различных общностей, из которых каждая связана была в одно целое условиями данной местности, резко отличавшимися от условий другой местности. В нацию объединялись более высокой культурой одни только господствующие и имущие классы. *Лишь современный капитализм*

вновь создал действительно национальную, возвышающуюся над тесными деревенскими границами, культуру всего народа. Он выполнил это, вырвавши население из тесного круга местной жизни, перетасовавши его в процесс образования современных классов и профессий вдоль и поперек, и территориально, и профессионально. Он это дело сделал при посредством демократии, которая сама есть его создание, — посредством народной школы, всеобщей воинской повинности и равного избирательного права.

Может ли капитализм восхвалять свое дело? Разве он, столь опороченный, не совершил колоссальной работы, вновь создавши нацию, как культурную общность всего народа, а не одних только имущих классов? Конечно! Возникновение современной культурной общности стало возможно благодаря *росту производительных сил.* Именно то обстоятельство, что для нас работает паровая машина, что она приводит для нас в движение прядильную машину и ткацкий станок, что для нас функционируют исполинские доменные печи, выделывается бессемерова сталь, что развитие пароходства и железных дорог впервые для нас открыло плодородные нивы далеких частей света — все это именно и открыло всему народу доступ к культурным благам и этим сделало нацию культурной общностью. Развитию производительных сил, машин, мы обязаны той перегруппировкой населения, результатом которой является более высокий уровень нашего благосостояния. Это развитие производительных сил произошло, конечно, благодаря капитализму. Но именно то, что оно произошло благодаря капитализму, ставит процесс образования культурной общности в определенные границы. Рост производительных сил и происходящий в силу этого подъем уровня нашего благосостояния были условиями образования современной нации. Но тот факт, что эти производительные силы до сих пор развиваются только благодаря капитализму, только в интересах капитала, суживает, умаляет участие масс в культуре нации, заключает развитие национальной культурной общности в определенные границы.

Развитие производительных сил означает колоссальное увеличение производительности народного труда. Но растущее богатство лишь в ничтожной части становится достоянием масс, которые его создают. Право частной собственности на средства производства стало орудием присвоения огромной части постоянно увеличивающегося богатства. Только в течение одной части рабочего дня рабочий создает блага, идущие на удовлетворение его потребностей; в остальные же рабочие часы он производит то богатство, которое становится достоянием собственников средств и орудий труда. Материальная культура всегда составляет базу для духовной культуры. Таков *основной закон нашей эпохи, что работа одних создает культурные блага для*

других. Прибавочная стоимость, эксплуатация, выражающаяся в длинном рабочем дне, низкой заработной платы, плохом питании и плохих квартирных условиях рабочего, ставит непреодолимые границы воспитанию широких масс к участию в духовной культуре нации. *Эксплуатация тормозит, поэтому, процесс образования нации, как культурной общности, она является преградой для включения рабочего в национальную культурную общность.* А то, что относится к рабочему, верно также и по отношению к *крестьянину*, эксплуатируемому торговым и ипотечным капиталом; верно также по отношению к *ремесленнику*, стонущему под игом капиталистической торговли. Они трудятся с раннего детства до поздней старости; вечером, после тяжелой работы, они тщетно ищут покоя в своей переполненной людьми квартире; повседневная забота о поддержании жизни не дает им ни минуты отдыха и свободы. Что знают эти люди из того, что в нас, более счастливых, живет, в качестве воспитывающего фактора, что связывает нас в нацию? Что знают наши рабочие о Канте? Наши крестьяне о Гете? Наши ремесленники о Марксе?

Но капитализм является не только непосредственным тормозом национально-культурного развития; благодаря *необходимости защищать* свое право на *эксплуатацию*, он еще и тормозит развитие всего народа в национально-культурную общность. Конечно, капитализм развил дело *народного образования*, поскольку оно было ему необходимо. Но он отнюдь не стремится к тому, чтобы создать действительно национальное воспитание, которое вовлекло бы широкие массы в сферу воздействия всей нашей духовной культуры. И не только по той причине, что он, дабы не лишить себя возможности эксплуатировать детей, вынужден слишком укорачивать период школьного обучения, не только потому, что он скуп на расходы по школьному образованию, охотнее жертвуя свое богатство на усиление своей власти, но и главным образом потому, что массы, воспитанные к полному участию в культурной жизни нации, ни одного дня не терпели бы его господства. Капитализм боится народной школы, поэтому он старается превратить ее в орудие своего господства. Капитализм должен был ввести институт *всеобщей воинской повинности*. Но это вовсе еще значит, что он создал действительно национальную армию. Он запирает своих солдат в казармы, старается, насколько возможно, изымать их из сферы влияния местного населения; знаками внешних отличий, скрытой пропагандой своей идеологии он старается создать из них особое сословное чувство, чтобы держать их вдали от жизни масс. Капитализм создал *демократию*. Но демократия была лишь первой любовью буржуазии и она стала теперь грозой ее старости, так как превратилась в могучий фактор рабочего движения. В экономическо-отсталой Австрии

надо было теперь только завоевывать всеобщее избирательное право, в Германии отказываются ввести его для ландтагов, мечтают даже о том, чтобы отнять его у рейхстага. Свобода печати, собраний, союзов, — каждой из этих свобод состарившийся капитализм боится, как могучего орудия в руках его врагов. И он делает поэтому все, что может, чтобы задержать развитие нации. Полное развитие нации, как культурной общности, не в интересах капитализма, ибо каждая частица духовной культуры становится в руках рабочего класса той силой, тем оружием, которое со временем уничтожит господство буржуазии.

Мы радуемся, конечно, каждой попытке доставить рабочим часть нашей науки, часть нашего искусства. Но только фантазеры могут забыть тот факт, что если отдельные, незаурядные рабочие уже теперь могут стать культурными людьми, то совершенно невозможно, чтобы массы в настоящее время овладели всеми нашими культурными ценностями. Кто когда-либо видел наших рабочих, когда они, после девяти или десятичасового физического труда, стараются усвоить частицу колоссального богатства нашей духовной культуры, как они борются с усталостью, смыкающей им глаза, как они борются со своей плохой подготовкой, как они хотят постигнуть действие социальных законов, никогда не слыхавши про существование естественных законов, никогда не изучивши механики, как они хотят понять точные экономические законы, никогда не учившие математики, — тот откажется от надежды сделать когда-либо нашу культуру достоянием этих эксплуатируемых людей. Только льстецы пролетариата могут уговаривать рабочих, что они теперь, будучи пролетариями, в состоянии понять всю науку, постигнуть все искусство. Это ведь и составляет великую муку рабочего класса, что он не может пользоваться драгоценными сокровищами нашей национальной духовной культуры, хотя созданию ее он способствует вплоть до последнего чернорабочего. Все еще одни только господствующие классы сплачиваются общей культурой в национальную общность, тогда как трудящихся, эксплуатируемых и угнетенных масс, без труда которых эта культура не существовала бы ни одного дня, без которых она никогда и не возникла бы, довольствуются жалкими крохами этого несметного богатства. Но, конечно, теперь ближе, чем когда-либо, тот день, когда эти массы в состоянии будут наложить свою руку на эти великие богатства, чтобы духовную культуру, детище всего народа, сделать также достоянием всего народа. Тот день и будет *днем* возникновения национальной культурной общности.

Осуществление национальной культурной общности в социалистическом обществе

Увеличение производительности труда, как следствие обобществления средств производства и планомерного руководства процессом общественного труда, означает, с одной стороны, *уменьшение необходимого рабочего времени*, стало быть, *увеличение досуга*, а с другой, *–увеличение общественного богатства*, более полное удовлетворение человеческих потребностей. А так как вместе с правом частной собственности на средства производства *исчезнет* и эксплуатация, *прибавочный труд*, то уменьшение рабочего времени и увеличение общественного богатства пойдет на пользу всех вместе и каждого в отдельности. Трудящиеся люди будущего общества будут меньше работать, чем современные наемные рабочие, так как им не нужно будет содержать своим трудом класс капиталистов; они полнее будут удовлетворять свои потребности, так как планомерное руководство процессом общественного труда повысит производительность труда, каждый рабочий час будет вознаграждаться большим количеством продуктов. А досуг и полное удовлетворение непосредственных жизненных потребностей есть основное условие развития духовной культуры. *Только демократический социализм в состоянии будет вовлечь все население в круг национальной культурной общности.*

В социалистическом обществе участие всего народа в национальной культуре не только возможно, но и необходимо. Демократия предполагает всеобщее воспитание, ибо она всех призывает к участию в решении общественных вопросов. Стало быть, первой задачей социалистической культурной работы будет развитие *дела национального воспитания*. Школа возникла в качестве *буржуазной школы;* современный капитализм расширил ее до пределов *народной школы*. Но она все еще носит явные следы своего происхождения. Эта школа, став школой трудящихся масс, все еще не дает народу сведений, необходимых ему при его работе, а воспитывает его так, «как если бы все немцы готовились для канцелярских занятий»[9].

Школа будущего будет прежде всего школой трудящегося человечества; поэтому воспитание к труду станет в ней центром преподавания. Все великое богатство нашей духовной культуры она сделает достоянием своих учеников. Только социалистическое общество совершит то, чего не в состоянии сделать опасающееся народного образования капиталистическое общество, только социализм создаст действительно национальное воспитание. Это — то воспитание, о котором мечтал Иоганн Готлиб Фихте: Элементы своего образования оно «сделает отнюдь не собственностью, как до сих пор, а личной

составной частью воспитанника», оно, таким образом, в каждом воспитаннике, а это значит, *в каждом ребенке нации будет проявлять путем передачи национальной культуры его истинный национальный характер.*

А на основе национального воспитания вырастет и национальная культура. Культура членов будущего общества несомненно будет *культурой нового типа (neuartig).* Ведь впервые тогда *трудящиеся и пользующиеся благами жизни будут одни и те же люди!* Ведь впервые тогда творцы культуры будут также пользоваться ее благами, будут принимать в ней участие! Так возникнут совершенно новые личности, люди, одинаково отличающиеся, как от праздных тунеядцев, так и от бескультурных тружеников последнего тысячелетия. Эти люди будущего носят в себе корни своего происхождения — черты народности (*volksthümliche*), непосредственности (*naive*), память той великой борьбы, в которой они завоевали свое общество. Вместо традиционных культурных форм они будут вводить новые формы культурного творчества, новые символы. И эти новые люди будут пользоваться своей культурой не изолированно, как феодал в средние века, как князья эпохи Возрождения, как современный буржуа, а коллективно, социально, подобно гражданам Афин; своими творениями художник будет украшать уже не дом богатого банкира, а народные дома и аудитории, театры и концертные залы, школы и мастерские будущих людей. Но как ни оригинальна эта культура, она все же является преемницей всех предшествовавших культур. Все, что люди когда-либо придумали и изобрели, все, что они сотворили в поэзии и музыке, переходит теперь в наследство массам. Достоянием масс становится теперь то, что за сотни лет пели миннезингеры какой-нибудь знатной княгине, что художники эпохи Возрождения рисовали для богатого купца, что мыслители ранней капиталистической эпохи продумывали для тонкого слоя образованных того времени. Так из наследства предшественников и новых творений современников люди будущего созидают свою собственную культуру. Эта культура становится достоянием всех, определяющим моментом в характере каждого и объединяет, таким образом, нацию в общность характера. И подобно тому, как в этой культуре новое исходит от старого, с ним связывается и смешивается, в своих существенных чертах им определяется, так и наследственная культура нации, осадок ее истории, становясь теперь ее достоянием, в свою очередь, определяет и развивает ее характер. Прежде культурная история нации была историей имущих классов, теперь, когда ее плоды завоеваны массами, *история нации становится достоянием масс,* и теперь только она участвует в выработке духовной индивидуальности каждого члена нации в отдельности.

Только социализм включит широкие слои трудящихся народа в нацио-

нальную культурную общность. Но делая нацию автономной, давая ей возможность самой определять и направлять развитие своей культуры, он изменит также самую сущность этой культурной общности. В век товарного производства автономии нации не существует. Не потому, что воля масс не участвует в решении судеб нации; возможности *культурного самоопределения не имеют в настоящее время* даже господствующие классы. Ибо судьбы народов в настоящее время решаются не чьей-либо сознательной волей, а бесчисленными единичными действиями отдельных лиц, за спиной которых социальные законы действуют без сознания самих участвующих. Разъясним это на примере.

Как резко изменила характер немецкой нации описанная выше перегруппировка населения! Разве мы не стали другими людьми после того, как нас оторвали от земли, от пашен, которые мы возделывали, и бросили в большие города с их казарменными квартирами, в промышленные области с их копотью и дымом, воздух которых до того пропитан углем, что там вянет последний цветочек, последнее деревце. Сколь отличны люди наших промышленных центров от людей, выраставших в деревнях прежних времен! Что же, разве нация *обсудила и решила* произвести эту перемену всего своего бытия, это коренное изменение всего своего характера? Отнюдь нет. Процесс передвижения и перегруппировки населения прошел, конечно, через человеческое сознание, был определен человеческой волей. Но это была не воля нации, а бесчисленные, одна от другой независимые, единичные воли — воля бесчисленных капиталистов, на бумаге высчитавших, где производственные издержки возможно ниже, а прибыль возможно выше, воли бесчисленных рабочих, узнававших про свободное, лучше оплачиваемое место. И в результате всех этих отдельных воль, отдельных решений, продиктованных совершенно различными соображениями, — эта полная перемена в условиях жизни всей нации, сущности ее культуры, ее характера. Но кто или что дало отдельным единицам власть сделать из нации нечто совершенно иное, чем она была до сих пор? Это сделало *право частной собственности на орудия труда, которое означает, что нация отказалась от возможности самой определять свои судьбы,* доверивши их воле отдельных единиц. Эти единицы же решают не судьбы нации, а свою собственную судьбу, не подозревая, вовсе не думая о тех последствиях, какие их решения могут иметь для всего существования нации. И однако, судьба нации определяется ничем иным, как только миллионами отдельных единиц, совсем о нации не думающих и ничего о ней не знающих! Если же человек науки открывает тем не менее за этими будто бы случайными, отдельными волями действие определенных законов, то это — законы, о которых отдельные действующие

лица ничего не знают, законы, которые, по гениальному выражению Энгельса, производят свое действие, «помимо сознания участвующих».

Совершенно иначе обстоит дело в социалистическом обществе. Устройство новых мастерских, распределение населения по различным местностям будет в нем *сознательным делом организованного общества*. Будущее общество само будет обсуждать и решать, например, вопросы о том, нужно ли построить новую фабрику обуви в угольном бассейне, где промышленные издержки низки, или же в красивой лесной местности, где занятые в производстве обуви рабочие сумеют вести возможно более здоровый и приятный образ жизни. Общество возвратит себе право влиять на характер нации, определять ее судьбы: *будущая история народа будет созданием его сознательной воли*. Так нация будет в состоянии сделать то, что никогда не сумела и не сумеет сделать нация в производящем товары обществе: сама себя воспитывать, сама познать свое счастье, сама и сознательно направлять развитие своего характера. Лишь социализм даст нации полную автономию, истинное самоопределение, освободит ее от воздействия бессознательных, от нее не зависящих, стихийных сил.

А тот факт, что социализм делает нацию автономной, ее судьбы — делом ее сознательной воли, приводит *к растущей дифференциации национальностей* в социалистическом обществе, к более резкому разграничению их характеров, к более отчетливой выработке их коллективных индивидуальностей. Этот наш взгляд покажется парадоксальным: ведь как друзья, так и враги социализма считают установленным, что социализм сгладит или даже уничтожит всякие национальные различия.

Не подлежит сомнению, что в социалистическом обществе уравняется *материальное содержание* различных национальных культур. Эта работа начата уже современным капитализмом. Крестьянин докапиталистической эпохи жил и работал так, как жили и работали его предки, ничего не заимствуя от своего соседа, он работал старым плохим плугом, хотя в двух милях от него работали лучшим плугом, обеспечивающим более обильную жатву! Современный капитализм же заставляет нации учиться друг у друга; всякий прогресс техники становится в несколько лет собственностью всего мира, всякое изменение в праве изучается и заимствуется соседними народами, всякое направление в науке, течение в искусстве влияет на культурные народы всего мира. Не подлежит никакому сомнению, что социализм сильно разовьет эту космополитическую тенденцию нашей культуры, еще быстрее пойдет усвоение материального содержания различных культур, еще больше будут нации друг у друга учиться, друг от друга заимствовать. Но было бы поспешно заключать отсюда, что уравнение материального содержания

национальных культур уничтожит также различия между самими национальностями.

Наблюдатели английской жизни часто удивлялись поразительно консервативному характеру англичан, тому, как чрезвычайно медленно англичане воспринимают новые мысли, научаются чему-нибудь новому у других народов. Эта замечательная черта английского характера предохранила британцев от некоторых модных глупостей, упрочила у них иные ценные системы мыслей, препятствовала развитию всякой демагогии в Англии; но эта же черта, разумеется, иногда тормозила прогресс, страшно затруднила также проникновение социализма в Англию. Но здесь нам надо не критиковать, а только понять это явление. Одну из причин этого замечательного явления я вижу в старой английской демократии. Какой-нибудь деспот властен в короткое время привить своей стране какие-либо новые мысли; сегодняшний его каприз завтра становится модой во всех замках страны, сегодняшняя его воля завтра становится законом для всей страны. Совершенно иначе при демократии. Демократическую страну новое может завоевать в том случае, если оно завоевывает каждого гражданина, усваивается и приобретается каждым членом нации в отдельности; лишь тогда, когда оно стало волей миллионов единиц, оно становится коллективной волей страны. Это, разумеется, гораздо более длинный путь прогресса, но зато и несравненно более верный. Ибо если что-нибудь новое уже проложило себе путь в демократии, то оно прочно сидит в миллионах голов, и многое требуется, чтобы отнять его в этих миллионов, преодолеть в них это новое. Но то, что относится к демократии какой-нибудь капиталистической страны, еще гораздо более применимо к социалистической демократии. Ибо только социализм означает истинную демократию, истинное народное правление, так как только он даст народу господство над важнейшими факторами, над орудиями труда, только *социализм*, в сущности и создает почву для истинного народного господства, так как он весь народ объединяет в культурную общность, так как он каждую народную единицу, подверженную влиянию всей национальной культуры, призывает к решению общественных интересов. Новые мысли только в том случае проложат себе путь в какой-нибудь социалистической стране, если они завоюют каждую единицу народа в отдельности, каждую его единицу, ставшую высокоразвитой личностью, обладающей (благодаря социалистическому национальному воспитанию) всей национальной культурой. А это означает, *что новая мысль не просто воспринимается, а органически включается в содержание всего духовного бытия миллионов индивидуумов.* Подобно тому, как индивидуум не просто, не механически воспринимает что-нибудь новое, а вводит его в состав своего духовного бытия,

делает его частью своей личности, усваивает его всем своим духовным «я», его апперципирует, так и целая нация ничего нового не воспримет механически, а приспособит его ко всему своему бытию, изменит, переработает в процесс восприятия миллионами голов. Благодаря этому великому факту *национальной апперцепции*, ни одна мысль, заимствованная одной нацией у другой, не будет воспринята прежде чем она не будет переработана, приспособлена ко всему национальному бытию. Таким образом, новая поэзия и новое искусство, новая философия и новая система общественной воли и деятельности будут восприниматься не механически, а в переработанном виде. Приспособление же к существующей духовной культуре нации означает то, что *нация участвует в этом процессе всем своим прошлым, всей историей.* Как уже в настоящее время английский, французский или немецкий народ гораздо труднее перенимает в не переработанном виде какой-нибудь новый путь духовных ценностей, чем, например, японский или хорватский народ, так и в социалистическом обществе новые элементы духовной культуры найдут себе доступ к какой-нибудь нации не иначе, как растворив и претворив себя во всей ее национальной культуре. Вот почему автономия национальной культурной общности в социалистическом обществе означает *растущую дифференциацию духовной культуры наций, несмотря на уравнение материального содержания национальных культур.*

Вовлечение всего народа в национальную культурную общность, завоевание нацией полного самоопределения, увеличивающая духовная дифференциация наций — вот что означает социализм. Полная культурная общность всех членов нации, подобно национальной общности эпохи родового коммунизма, восстановит коммунизм великих наций после тысячелетнего существования классового общества, *разделение народа на членов и не членов, на верхи и низы нации.* Но с того времени совершенно изменилась самая основа нации. Культурная общность германцев покоилась на общности *происхождения* от одного первоначального народа; в нацию их всех объединяли одинаковые культурные элементы, унаследованные от общих предков. Другое дело культурная общность социалистического общества: она есть творение общества, *плод воспитания*, в котором имеют свою долю дети всего народа, плод коллективной национальной деятельности в процессе общественного труда. А это составляет колоссальную разницу. Ибо нация, покоившаяся на общности происхождения, носила в себе зародыши распада: чем больше обособлялись друг от друга потомки общих предков, тем больше они друг от друга отличались; так как они не смешивались взаимными браками, то они постепенно превращались в различные народы с различными диалектами, различного физического типа, в народы, различно реагировавшие

на одни и те же вещи, с различными нравами, различным правом, различными жизненными привычками, различным темпераментом. Но тогда как нация, покоящаяся на *общности происхождения*, носит в себе элементы *распада*, нация, покоящаяся на *общности воспитания*, характеризуется, напротив, тенденцией к *единству:* всех детей она одинаково воспитывает, все ее члены сообща работают в национальных мастерских, сообща вырабатывают общую национальную волю, совместно потребляют культурные блага нации. Так социализм носит в себе и гарантию *единства нации*. Общенемецкий язык этот, так сказать, входной билет к нашим культурным ценностям, которым массы все еще не овладели, он сделает родным языком немецких масс, судьбы нации он сделает фактором, определяющим характер каждого его члена, призванного направлять ее волю; *культурные ценности нации он сделает собственностью каждого немца, а каждого немца, вследствие этого, — созданием наших духовных ценностей.*

Общность происхождения есть царство случая, общность же воспитания и труда означает прочную гарантию единства нации. *Прежде чем стать полной и истиной, самоопределяющейся культурной общностью, нация должна стать общностью труда.*

Понятие нации

Теперь мы можем приступить к заключению общих выводов из приведенного материала и определить, таким образом, искомое понятие нации. В начале нашего исследования мы нацию определили, как относительную общность характера. Теперь мы можем точнее определить сущность этой общности характера.

В начале нашего труда мы национальный характер временно обозначили, как совокупность физических и духовных признаков, свойственных каждой данной нации, объединяющих ее в одно целое и отличающих ее от других наций. Однако, различные национальные качества отнюдь не равнозначны.

К национальному характеру несомненно относится особый уклад (*Bestimmtheit*) *воли*. В каждом акте познания воля проявляется во *внимании*; из целого ряда явлений, данных опытом, внимание останавливается лишь на некоторых и только их апперципирует: если немец и англичанин совершили одно и то же путешествие, то они возвратятся домой с очень разнообразными наблюдениями и впечатлениями; если немецкий и английский ученые исследуют какой-нибудь предмет, то методы и результаты исследования обоих будут чрезвычайно различны. Воля выражается еще непосредственно во всяком *решении*, во всяком действии: что немец и англичанин различно

действуют в одинаковых условиях, что они различно подходят к одной и той же работе, что они, желая развлечься, выбирают себе разнообразные удовольствия, что они, будучи одинаково состоятельны, предпочитают различный образ жизни, различные потребности удовлетворяют, — все это несомненно различает немецкий и английский национальный характеры.

Несомненно также и то, что различные нации имеют различные *представления* о вещах, различные *критерии*: различные понятия о справедливом и несправедливом, различные воззрения на нравственное и безнравственное, различные представления о приличном и неприличном, о красивом и некрасивом, различные религии и различные науки. Но эти различия знаний не просто сочетаются с различиями воли, а определяют собой и объясняют эти различия воли. Англичанин иначе реагирует на одни и те же вещи, чем немец, так как он иначе воспитан, иначе учился, находится под другими культурными влияниями. Стало быть, отношение определенного комплекса представлений к определенному направлению воли есть отношение причины к следствию.

То же относится и к *физическим качествам*. Пусть антрополога интересует различное строение черепа, — историческому исследователю, социальному теоретику, политику особенности строения черепа безразличны, поскольку им не приходится считаться с гипотезой, что различным физическим типам соответствуют различные духовные качества. Из опыта известно, что определенный физический тип либо прямо сопровождается определенными волевыми действиями, либо же ему соответствует известная способность, известный способ познания, который уже со своей стороны вызывает определенные волевые действия. Даже антисемит безразлично относился бы к еврейскому носу, если бы он не был того мнения, что физический тип еврея связан с определенными психическими качествами. Только то обстоятельство, что наличие антропологических признаков сопровождается определенным различием психических качеств и, в последнем счете, опосредованно или непосредственно — определенным направление воли, — хотя мы и не были бы в состоянии определить характер причинной зависимости между физическими признаками и направлением воли — придает интерес физическим свойствам какого-нибудь антропологического типа. Следовательно, данная совокупность физических качеств также находится в определенной функциональной связи, а, значит, и причинной зависимости с данным направлением воли.

Итак, мы пришли *к более точному понятию национального характера.* Под национальным характером мы прежде всего понимаем не совокупность всех физических и духовных качеств, свойственных нации, а только *особен*

ности в направлении воли, тот факт, что у различных наций одни и те же вещи вызывают различные реакции, одно и то же внешнее положение обуславливает различные волевые действия. А то, что различные нации характеризуются неодинаковым направлением национальной воли, обуславливается различием приобретенных нациями представлений или присвоенных нациям в борьбе за существование физических качеств[10].

Затем, мы задались вопросом, как возникает такая общность характера, и ответили, что одинаково действующие причины создают одинаковые характеры. И, таким образом, мы пришли к определению нации, как *общность судьбы* (*Schicksalsgemeinschaft*).

Но мы должны теперь точнее определить понятие общности судьбы. *Дело в том, что общность означает не только однородность.* Так, Германия проделала в XIX веке ту же капиталистическую революцию, что и Англия. В этом отношении силы, под влиянием которых складывался характер людей, были и тут и там одни и те же. Но из-за этого немец не стал все-таки англичанином. Ибо *общность судьбы означает совместное переживание одной и той же судьбы* на почве постоянных сношений и беспрерывного взаимодействия. Англичане и немцы пережили одну и ту же капиталистическую эволюцию, но пережили они ее в различное время, в различных местах и лишь в слабой взаимной связи. Одинаковые движущие силы создали большее, чем раньше, сходство между ними, но они никогда не смогли бы их превратить в единый народ. Не однородность судьбы, а коллективно пережитая, сообща выстраданная судьба, *общность* судьбы создает нацию. По Канту, общность означает «всеобщее взаимодействие между собой» (*durchgängige Wechselwirking untereinander*). Только пережитая в сплошном взаимодействии и в постоянной связи между собой, только *так* пережитая судьба создает нацию.

Итак, то, что нация есть продукт не однородности, а общности судьбы, то, что она возникает и живет только на почве постоянного взаимодействия товарищей по судьбе, *отличает ее от всяких других общностей характера.* Общность характера представляет собою, например, также и *класс*. Пролетарии всех стран отличаются однородными чертами характера. При всем различии между ними, одинаковое классовое положение все же запечатлело одинаковые черты характера в немецком и английском, французском и русском, американском и австралийском рабочим: все они, как пролетарии, отличаются одинаковым боевым настроением, одинаково революционным образом мыслей, одинаковой классовой моралью, одинаковым политическим хотением. Но эту общность характера создала не общность, а однородность судьбы. Ибо, хотя между немецкими и английскими рабочими и существу-

ют известные сношения, все же они далеко не так тесны, как связь между английским рабочим и английским буржуа, живущими в одном и том же городе, читающими одни и те же газеты, одни и те же плакаты, участвующими в одних и тех же политических событиях и делах спорта, нередко вступающими друг с другом в сношения, если не прямо, то косвенно, через различного рода посредников между капиталистами и рабочими. Язык есть орудие сношений. Если бы между английским и немецким рабочим существовали более тесные сношения, чем между английским буржуа и английским рабочим, то общий язык должны были бы иметь не английский буржуа с английским рабочим, а английский рабочий с немецким рабочим. Следовательно, национальная общность отличается от классовой общности тем, что между членами нации существует постоянное взаимодействие на почве опосредованных или непосредственных взаимных отношений. Возможно, что образ жизни, исторические судьбы создают между рабочими различных наций больше однородности, чем между различными классами одной и той же нации, что, поэтому, в характере рабочих различных стран гораздо больше сходства, чем между рабочими и буржуа одной и той же страны. Но это не опровергает того положения, что национальная общность характера создается общностью судьбы, а классовая общность характера — только однородностью судьбы.

Итак, нацию можно определить как *общность характера, вырастающую на почве* не однородности, а *общности судьбы* (*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft*). В этом отражается также значение *языка* для нации. Я создаю себе общий язык с теми людьми, с которыми я нахожусь в тесных сношениях; и, обратно, с теми людьми, с которыми я нахожусь в тесных сношениях, я имею общий язык.

Мы нашли *два фактора*, посредством которых действующие причины, условия борьбы за существование, спаивают людей в общность национальной судьбы.

Один путь — это путь *естественной наследственности*. Жизненными условиями предков определяется качественный состав протоплазмы, последовательно связывающей поколения между собой: путем естественного подбора определяется, какие качества передаются и какие не передаются по наследству. Жизненные условия предков определяют, таким образом, качества, наследуемые физическими потомками. В этом смысле нация представляет собой общность *происхождения*: она сохраняется общей кровью, по народному выражению, или общностью протоплазмы, как учит наука. Но соплеменники, связанные только общностью происхождения, образуют нацию лишь до того момента, пока они сохраняют общность сношений, пока

они путем взаимных браков сохраняют общность крови. Как только между соплеменниками прекращается половая связь, так немедленно возникает тенденция к образованию из народа, бывшего до тех пор единым, многих новых отличных одна от другой общностей характера. Чтобы нация могла существовать в качестве естественной общности, требуется не только общее происхождение, но и постоянные смешанные браки.

Однако, характер индивидуума это — не только совокупность унаследованных качеств, а также итог того воздействия, которое оказывает на него унаследованная культура: воспитание, право, которому он подвержен, нравы, которыми характеризуется его жизнь, те представления о боге и мире, о нравственном и безнравственном, о красивом и некрасивом, которые переданы ему по традиции, религии, философии, науки, искусство, политика, в сфере влияния которых он находится, а, главное, то, что определяет собой все эти явления, тот способ, которым он ведет среди соплеменников свою борьбу за существование. Таким образом, мы получаем *второй* великий важности фактор, посредством которого борьба за существование определяет характер индивидуума: *передача* из уст в уста *культурных ценностей*. Никогда нация не бывает только естественной общностью, она всегда также и культурная общность. Здесь также, как и при естественной общности, судьбы предшествующих поколений определяют характер индивидуума, дитя подвержено влиянию уже существующего общества, с определенным укладом экономической жизни, правовым строем, определенной духовной культурой. Но и здесь общность характера поддерживается лишь беспрерывной общностью сношений. Великое орудие этих сношений — язык. Язык — это орудие воспитания, орудие всевозможных экономических и духовных сношений. Сфера культурного влияния велика постольку, поскольку язык обеспечивает возможность взаимного понимания. Общность сношений тесна лишь в той степени, поскольку велика общность языка. Язык и общность сношений взаимно обуславливаются: язык есть условие всяких тесных сношений и именно поэтому необходимость общих сношений создает общность языка, как и наоборот, разрыв общности сношений постепенно дифференцирует некогда общий язык. Я могу, разумеется, изучить чужой язык, но все же не стану вследствие этого членом чужого народа, так как никогда чужой язык не может подвергнуть меня культурному влиянию чужого народа в той же мере и точно таким же образом, как родной язык: культура, переданная мне посредством родного языка, влияла на меня в период моего детства, в самые впечатлительные и восприимчивые годы моей жизни, под ее влиянием стал складываться мой характер; все позднейшие впечатления приспособляются в уже сложившейся индивидуальности, причем сами под-

вергаются изменениям в процессе восприятия. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что чужим языком никогда нельзя овладеть в такой же мере, как родным языком, что наиболее тонкие и глубокие оттенки его, большей частью, теряются: даже на образованного немца английское или французское художественное произведение лишь очень редко влияет с такой силой, как немецкое. Нельзя себе представить, чтобы нация сохранила себя, как культурную общность, без общности языка, этого важнейшего орудия человеческих сношений. Напротив, общность языка сама по себе не обеспечивает еще национального единства: датчане и норвежцы, католические хорваты и православные сербы, несмотря на общность языка, все же подвержены влиянию различных культур. Но, по мере того, как уменьшается дифференцирующее влияние религии, сербы и хорваты становятся единой нацией, так как их связывает общность сношений на почве одинакового языка, так как они подвержены однородным культурным влияниям. Отсюда ясно также национальное значение победы общего языка над различными наречиями: необходимость более тесных сношений создает общий язык, а единый общий язык подвергает всех, владеющих этим языком, однородному культурному влиянию. Все они объединяются в культурную общность благодаря существующему между ними взаимодействию. Это отношение между культурной дифференциацией и общностью языка ясно обнаруживается на примере голландцев. Хотя они и возникли из трех осколков немецких племен, они все же не принадлежат больше к немецкому народу. Иное экономическое развитие Нидерландов создало здесь и совершенно иную культуру. Отделившись от немцев экономически и культурно, они разорвали общность сношений с немецкими племенами: связь, образовавшаяся между ними, была слишком тесна, связь с остальными немецкими племенами стала слишком слаба. И вот они выработали свой особый язык, в качестве орудия своей культуры, и перестали принимать участие в процессе культурного объединения посредством единого немецкого языка.

Естественная общность и культурная общность могут совпадать: судьбы предков могут определять характер внуков, с одной стороны, путем передачи по наследству качеств предков, с другой стороны, путем передачи по традиции выработанной предками культуры. Но естественная и культурная общность не должны обязательно совпадать: естественные науки и культурные науки не всегда одни и те же. Ибо в естественную общность объединяются лишь лица, отличающиеся общим происхождением, тогда как культурная общность объединяет всех тех, кто подвергается общему культурному влиянию на почве постоянного взаимодействия. Чем сильнее это культурное влияние, чем больше отдельный индивидуум усваивает культур-

ные богатства какого-нибудь народа, чем больше эта культура влияет на его индивидуальность, тем скорее он станет членом этой нации, тем больше отразится на нем ее национальный характер, хотя бы он и не принадлежал к ней, в силу естественной общности. Таким образом, возможен даже сознательный выбор другой национальности. Так Шамиссо говорит о самом себе: «я стал немцем посредством языка, искусства, науки и религии».

Но действительно ли человечество так разделено на нации, что каждый индивидуум может принадлежать только к одной, а не одновременно к нескольким нациям? Одна только естественная связь человека *с двумя* нациями ничего не изменяет в факте строгой дифференциации национальностей. В пограничной полосе двух стран, где сталкиваются две нации, люди часто смешиваются, так что кровь обеих наций течет в жилах каждого жителя этой полосы. Тем не менее это, вообще говоря, не приводит к слиянию наций. Здесь именно *различие культурной общности резко разграничивает нации вопреки кровному смешению.* Примером служит национальная борьба в Австрии. Кто в борьбе между чехами и немцами видит расовую борьбу, тот обнаруживает лишь свое историческое невежество. Немецкие и чешские крестьяне, может быть, еще сохранили в известной степени чистоту своей крови; но те слои обеих национальностей, которые ведут борьбу, которые являются субъектами, а также и объектами национальной борьбы — интеллигенция, мелкая буржуазия, рабочий класс — до такой степени смешали свою кровь путем взаимных браков, что ни относительно немецкой, ни относительно чешской нации не может быть и речи, как о естественной общности. Тем не менее, обе нации отнюдь не слились воедино. Различные культуры, передаваемые посредством разных языков, воспроизводят их, как самостоятельные, резко разграниченные нации. Совершенно другое дело, если какой-нибудь индивидуум принимает равномерное или почти равномерное участие в *культуре* двух или нескольких наций. Таких индивидуумов тоже не мало имеется в пограничных или в национально-смешанных областях. С раннего детства они говорят на двух языках, они находятся почти под одинаковым влиянием судьбы, культурных особенностей двух наций и, таким образом, они, по характеру своему, становятся членами обеих наций или, если угодно, индивидуумами, ни к какой нации не принадлежащими. Ибо индивидуум, на которого воздействует культура двух или нескольких наций, характер которого является равнодействующей различных национальных культур, не просто сочетает в себе черты характера двух наций, а обладает совершенно оригинальных характером, подобно тому, как химическое смешение нескольких элементов дает совершенно новое химическое образование. Это и есть причина того, что индивидуум, являющийся культурным

плодом нескольких наций, большей частью находится в загоне, что к нему относятся подозрительно, а во времена национальной борьбы считают даже предателем и перебежчиком; смешение культурных элементов создает новый характер, который делает этого индивидуума одинаково чуждым обеим нациям, он для них такой же чужой, как и член всякой другой нации. Но не следует обманываться этой, хотя бы и понятной, антипатией к таким продуктам культурной амальгамы. Самые крупные личности очень часто воплощают в себе результаты культурного воздействия двух или нескольких наций. Наши ученые, наши великие художники часто находятся почти под одинаковым культурным влиянием нескольких наций. В лице такого человека, такой индивидуальности, как Карл Маркс, скристаллизовалась история четырех великих наций, евреев, немцев, французов и англичан, и потому-то его произведение могло войти в историю всех современных великих наций, потому-то без его произведения нельзя понять истории культурных наций нашего времени.

Но воздействие нескольких национальных культур на один и то же индивидуум встречается не только как единичное, но и как *массовое явление*. Так, вся чешская нация несомненно находилась под очень сильным воздействием немецкой культуры. Отчасти это верно, когда говорят, что чехи — это те же немцы, только говорящие по-чешски, и в устах немца это составляет — с точки зрения национального способа оценки — не порицание, а величайшую похвалу. Однако, массовое восприятие чуждых культурных элементов никогда не уравнивает национальных характеров, разве только несколько сглаживает различия между ними. Ибо никогда чужая культура не влияет на индивидуум с той же силой, как первоначальная национальная культура: элементы чужой культуры воспринимаются лишь в переработанном виде, приспособляются в процессе восприятия в уже существующей национальной культуре. Мы знаем уже это явление *национальной апперцепции*.

Тот факт, что одни и те же действующие причины, условия человеческой борьбы за существование, объединяют людей в нацию путем двух различных факторов, — с одной стороны, через наследственную передачу присвоенных в борьбе за существование качеств, а с другой, — посредством передаваемых по традиции культурных ценностей, — этот факт придает явлениям национальной жизни то многообразие, которое мешает найти здесь единство действующих причин. Вот мы имеем нации, в которых естественная и культурная общность совпадают, в которых физические потомки являются также преемниками исторической культуры; там перед нами продукт естественной амальгамы, но составляющий тем не менее единую нацию, с единой культурной общностью; здесь — лица одного национального происхождения, но

характер которых формировался под влиянием двух или нескольких культур; наконец, существуют нации вовсе лишенные общности происхождения и образовавшие единый крепкий национальный организм единственно лишь на почве общности культуры. Но во всяком случае, *лица одинакового происхождения, но не связанные культурной общностью, не составляют нации*, ибо не существуют нации без взаимодействия соплеменников, возможного только посредством общего языка и передачи одних и тех же культурных ценностей. Естественная общность, не составляющая в то же время и культурной общности, может, в качестве расы, интересовать антрополога, но она не образует нации. Условия борьбы человека за существование *могут* создавать нацию *двумя* путями — и естественной, и культурной общности; но если они передают свое влияние только одним током, путем только одного фактора, то это — *обязательно фактор культурной общности.*

Наше исследование показало нам, что общая культура, связывающая людей в нацию, носит совершенно различный характер в зависимости от того социального строя, которому она соответствует. По существу, перед нами прошли *три типа национальной культурной общности.*

Первый тип, представленный в нашем историческом этюде германцами эпохи родового коммунизма, показывает нам нацию, все члены которой связаны как общностью крови, так и общей культурой предков. Мы неоднократно говорили о том, как это национальное единство распадается с переходом к оседлости: с прекращением смешанных браков между обособившимися территориально племенами, подвергающимися действию различных условий борьбы за существование, дифференцируются полученные от предков качества; с другой стороны, общая, унаследованная от первоначального народа культура, развивается каждым из обособившихся племен в различном направлении. Так нация этого типа носит в себе зародыши распада.

Второй тип представлен нацией классового общества. Массы народа попрежнему подвержены знакомому нам процессу дифференциации: при отсутствии половых сношений между ними, они все больше различаются даже в физическом отношении; не связанные никакими другими узами сношений, они развивают первоначально общий язык в различные диалекты; подверженные различным условиям борьбы за существование, они развивают разнородные культуры, которые, со своей стороны, создают различные характеры. Таким образом, массы народа тем больше теряют национальное единство, чем больше с течением времени пропадает первоначальная общность унаследованных качеств, чем больше первоначально общая культура вытесняется и разлагается позднее возникшими разнородными культурными элементами. *Нацию связывает уже не кровное и культурное единство масс, а*

культурное единство одних только господствующих классов, командующих этими массами и живущих их трудом. Только они и их социальные спутники связываются в общность половыми и всякого рода культурными сношениями: так образуют нацию средневековое рыцарство или класс образованных лиц в Новое Время. Широкие массы же, трудом которых нация существует — крестьяне, ремесленники, пролетарии — составляют лишь нищий слой, фон нации.

Наконец, третий тип представляет социалистическое общество будущего, которое снова объединит всех соплеменников в автономное национальное целое. Но нацию свяжет тогда уже не общность происхождения, а общность воспитания, труда, совместное пользование культурными ценностями. Нации, поэтому, не будет угрожать больше опасность распада, напротив, общность воспитания, пользование всеми культурными благами, тесная связь общественной жизни и общественного труда — все это составить прочную гарантию национального единства.

Итак, мы представляем себе нацию, не как нечто застывшее, раз навсегда данное, а как беспрерывный процесс образования; в основе же этого процесса лежат те условия, при которых люди ведут борьбу за существование и за продление рода. А так как нации еще нет в ту эпоху, когда люди пользуются для поддержания своей жизни готовыми, никому не принадлежащими дарами природы, так как нация возникает лишь на той ступени развития человечества, когда человек вынужден трудом отвоевывать у природы необходимые ему для жизни блага, — то нация и ее характерные особенности обуславливаются *способом производства*, орудиями труда, которыми люди пользуются, *производительными силами*, которыми они обладают, *отношениями*, в которых они становятся друг к другу в процессе производства. Объяснить возникновение нации вообще и каждой данной нации в отдельности, как один из результатов *борьбы человека с природой*, — это великая задача, разрешение которой стало возможным, благодаря историческому методу Карла Маркса.

Национальный материализм считал нацию своеобразной материальной субстанцией, обладающей таинственной силой создавать из себя общность национального характера. История человечества представлялась ему, поэтому, историей борьбы и взаимного смешения постоянных, неизменных расовых, наследственных субстанций. В последние годы этот ненаучный способ исследования испытал — особенно под влиянием Гобино — любопытное возрождение; но дарвинизм сумел оказать ему успешное противодействие. Даже среди тех, которые придают особенное значение унаследованным расовым характерам, начинает преобладать тот взгляд, «что недостаточно лишь кон-

статировать различие расы, а что надо это различие объяснить»[11]. Если же это говорится серьезно, то раса становится лишь одним из путей, посредством которых передается действие условий борьбы за существование, посредством которых производительные силы образуют национальную общность характера.

Национальный спиритуализм считал нацию таинственным народным духом, историю нации — саморазвитием народного духа, мировую историю — борьбой народных духов, которые, в силу своих особенностей, то дружат, то враждуют друг с другом. Но вот даже Лампрехт, например, который ставит развитие национального сознания в центр своей национальной истории и полагает, что открыл всеобщий закон развития народного духа, все же эволюцию национального сознания и народной души объясняет изменениями, происходящими в народном хозяйстве; развитие народной души уже не представляется ему самостоятельным движущим фактором, а лишь результатом изменений в способе народного труда. Если же он не довольствуется тем, что процесс образования нации объяснить развитием производительных сил, метаморфозами производственных отношений, если он хочет и развитие национального сознания, народную душу подвести под действие каких-то всеобщих законов, которые не объясняют уже отдельных исторических факторов, а описывают лишь самые общие явления эволюции, то здесь дело идет вовсе не о законах, а лишь, как думает Зиммель, о «предварительных шагах для выработки законов», о «провизорных обобщениях исторических явлений, о первой ориентировке в массе отдельных фактов»[12].

Материалистическое понимание истории, подготовленное, с одной стороны, дарвинизмом, преодолевшим национальный материализм, а с другой — исторической наукой, объясняющей процесс исторической жизни, а, стало быть, и процесс образования нации, не свойствами какого-то мистического народного духа, а фактами экономического развития, в состоянии объяснить нацию, как никогда не завершающийся продукт беспрерывно развивающегося процесса, последней движущей силой которого являются условия борьбы человека с природой, развитие производительных сил, изменения в отношениях труда. С этой точки зрения нация есть *историческое в нас* (*Historische in uns*). В индивидуальном своеобразии, связывающем каждого индивидуума со всеми остальными индивидуумами его народа в национальную общность, осела история его (естественных и культурных) предков, — его *характер это — кристаллизованная история* (*erstarrte Geschichte*). Общность национального характера мы составляем потому, что личные особенности, индивидуальность каждого из нас сложились в борьбе за существование предшествовавших общностей.

Различие между национальными характерами есть факт, данный опытом, и отрицать его может лишь то доктринерство, которое видит только то, что оно хочет видеть и поэтому не видит того, что все видят. Вопреки очевидности, постоянно отрицается различие национальных характеров и утверждается, что нации ничем иным не различаются, как только по языку. Такое мнение мы встречаем у многих теоретиков, стоящих на почве *католического* вероучения. Оно было заимствовано из гуманистической философии эпохи *буржуазного Просвещения*. Оно перешло также в наследство некоторым *социалистам*, которые хотели обосновать этим мнением точку зрения пролетарского космополитизма: последний же, как мы дальше еще увидим, есть первая и самая примитивная позиция, занятая рабочим классом по отношению к национальной борьбе буржуазного мира. Это беспочвенное мнение о том, будто нация лишена какого бы то ни было значения, в настоящее время все еще сохраняется в жаргоне австрийской социал-демократической прессы, которая предпочитает вести речь о товарищах, говорящих на немецком и чешском «языках» вместо того, чтобы говорить о немецких и чешских товарищах. Тот взгляд, национальные развития суть не что иное, как различия языка, покоится на *атомистически-индивидуалистическом понимании общества*, по которому общество есть только сумма индивидуумов, внешним образом связанных; с этой точки зрения нация представляет собою также простую сумму людей, связанных внешним образом, и именно, посредством языка. Кто стоит на этой точке зрения, тот повторяет ошибку Штаммлера, который видит конститутивный признак социальных явлений во внешнем регулировании, в договорах и правовых установлениях. Для нас же общество не только сумма индивидуумов, — каждый индивидуум есть для нас продукт общества. Стало быть, и нация не есть для нас сумма единиц, вступивших друг с другом в сношения посредством общего языка, а, напротив, каждый индивидуум есть продукт своей нации, его индивидуальный характер иначе и не мог возникнуть, как только в процессе беспрерывного взаимодействия с другими индивидуумами. Это общение определило характер каждого из этих индивидуумов, всех их связало в общность характера. Нация проявляется в *национальности* каждого соплеменника, это значит, что характер каждого соплеменника определяется судьбой всех соплеменников, пережитой сообща в процессе постоянного взаимодействия. Что касается языка, то он — не более, как орудие этого взаимодействия, правда, орудие, всегда и везде совершенно необходимое, подобно тому, как внешние регулирующие нормы вообще составляют форму сотрудничества связанных в общность индивидуумов. Кто не верит своим глазам, кто не верит очевидности различий между национальными характерами, тот пусть, по крайней

мере, согласится с теми теоретическими соображениями, что различные судьбы, пережитые в постоянной общности сношений, необходимо создают различные национальные характеры.

Но наш взгляд на сущность нации отнимает почву не только у индивидуалистического отрицания реальности национального характера, но пресекает возможность гораздо более опасного злоупотребления этим понятием. Национальный характер есть не что иное, как направление воли отдельного соплеменника, определяющееся на почве общности судьбы со всеми остальными соплеменниками. Продукт определенных социальных условий, раз вызванный к жизни, национальный характер создает этим ложное о себе представление, как о самостоятельной исторической силе. Различие национальных характеров означает различие волевых направлений. Следовательно, при одинаковых внешних условиях каждая нация будет иначе действовать, чем все другие нации. Например, развитие капитализма вызвало среди англичан, французов и немцев, хотя в общем и очень сходные, но в частностях все же различные движения. Таким образом, национальный характер кажется исторической силой. Если теория объясняет его как продукт истории, то повседневному опыту он представляется, напротив, творческой силой, которая сама двигает историю. Если теория учит, что национальный характер есть осадок взаимоотношений людей, то непосредственному опыту кажется, напротив, что эти сношения определяются и регулируются национальным характером. Это есть *фетишизм национального характера*. Наша теория рассеивает этот призрак одним ударом. Ничего таинственного нет в том, что национальный характер как будто определяет желания и действия каждого члена нации, раз мы полагаем, что каждый индивидуум есть продукт своей нации, что национальный характер есть не что иное, как то определенное направление воли, в котором проявляется как его индивидуальная особенность, общность судьбы его нации. Национальный характер уже не представляется самостоятельной силой, раз мы понимаем его как осадок национальной истории. В будто бы самостоятельном историческом влиянии национального характера мы видим не что иное, как продукт исторического развития: история предков, условия их борьбы за существование, производственные силы, которые над ними господствовали, их производственные отношения, — все это продолжает жить и определять поведение их естественных и культурных потомков. Если мы выше пришли к заключению, что естественная наследственность и передача культурных ценностей суть только средства, которыми судьбы предшествовавших поколений определяют характер потомков, то теперь и национальный характер является для нас только средством, которым в истории предков влияет и на жизнь

потомков, на их мышление, чувствование, желание и образ действия. Именно тем, что мы признали реальность национального характера, мы отняли у него его кажущуюся самостоятельность и определили его, как орудие других национально-исторических сил. А благодаря этому, национальный характер теряет в свою будто бы *субстанциональность*, то есть ту видимость, будто в текучести общественных явлений он представляет собою постоянное и неизменное. Не будучи ничем иным, как только осадком истории, он изменяется с каждым часом, с каждым новым событием, пережитым нацией, он столь же изменчив, как тот процесс, который в нем отражается. Включенный в ход мирового процесса, он не есть уже какое-то неизменное бытие, а постоянное движение, постоянный процесс образования нового и исчезновения старого, отживающего.

Но наша теория должна пройти еще через одно испытание, — она должна ответить на вопрос, о который до сих пор разбивались все попытки определить сущность нации. Дело идет о том, как разграничиваются национальная общность, с одной стороны, и более узкие, провинциальные и племенные общности характера внутри одной и той же нации, с другой. Конечно, общность судьбы связала немцев в общность характера. Но разве это не относится также к саксонцам или баварцам? К тирольцам и штирийцам? Более того — к населению какой-нибудь замкнутой в горы альпийской долины? Разве различные судьбы предков, различия в способе поселения и распределения земли, в плодородности почвы и климате не создали резко выраженных общностей характера из населения Циллерской, Пассейревской и других альпийских долин? Где граница между теми общностями характера, которые можно рассматривать как самостоятельные нации, и теми общностями, которые мы считаем более тесными групповыми образованиями внутри нации?

Здесь нам надо вспомнить, что эти более тесные общности характера нами встречались уже, как *продукты разложения* первобытной нации, основанной на *общности происхождения*. Потомки первоначального германского народа становились все различнее с тех пор, как они друг от друга обособились, как земледелие приковало их к пашне, с того момента, как они, без взаимных сношений, без смешанных браков стали жить совершенно обособленной жизнью. Их исходной точкой была, конечно, общность происхождения и культуры, но они стали на путь образования самостоятельных, резко разграниченных естественных и культурных общностей. Все эти группы, вышедшие из недр *единой* нации, имеют тенденцию превратиться в самостоятельные нации. Трудность разграничить понятие этих более тесных групповых общностей в понятие нации вообще обусловливается, значит, тем, что

эти общности сами по себе являются различными ступенями в развитии нации.

Этой тенденции к национальному раздроблению противодействует, как мы уже знаем, другая тенденция к созданию более тесной национальной связи. Но эта противодействующая тенденция вначале проявляется лишь по отношению к господствующим классам. Средневековое рыцарство, класс образованных периода раннего капиталистического развития, она объединяет в тесную национальную общность, резко отличающуюся от всяких других культурных общностей; она приводит их в тесную экономическую, политическую и общественную связь, создает им общий язык, подвергает их влиянию одной и той же духовной культуры, одной и той же цивилизации. Эти тесные узы культурной общности сначала скрепляют лишь господствующие классы. Никто не станет сомневаться относительно какого-нибудь образованного человека, является ли он немцем или голландцем, словенцем или хорватом, ибо национальное воспитание и общенациональный язык резко разграничивают даже родственные нации. Напротив, считать ли крестьянина какой-нибудь пограничной деревни нижнегерманцем или нидерландцем, словенцем или хорватом, — это можно решить лишь произвольно. Резкими, отчетливыми границами обведен лишь круг, так называемых, членов нации, а не широких народных масс, образующих лишь фон нации.

Современный капитализм постепенно разграничивает и низшие классы различных национальностей, ибо и они получают долю в национальном воспитании, в общенациональном языке, в общей культуре нации. Тенденция к единству, к национальной концентрации охватывает и трудящиеся массы. Но полную победу доставит ей лишь социалистическое общество. Путем национального воспитания и национальной цивилизации оно все народы так резко разграничит, как теперь разграничены лишь классы образованных различных национальностей. Правда, и внутри социалистической нации будут более тесные общности характера; но в ней не будет самостоятельных культурных общностей, так как каждая провинциальная общность будет находиться под влиянием всей национальной культуры, в тесном культурном общении, в процессе постоянного обмена представлений со всей нацией.

Теперь, наконец, мы имеем полное определение понятия нации. *Нация это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы. На почве общности судьбы* — этот признак отличает национальную культурную общность от интернациональных общностей профессии, класса, народа, составляющего государство, — словом, от всяких таких общностей, которые покоятся на однородности, а не на общности судьбы. *Вся совокупность* — это отличает нацию от более тесных групповых общностей

внутри нации, никогда не образующих самостоятельных естественных и культурных общностей, а находящихся, напротив, в тесном общении, со всей нацией и разделяющих, поэтому, ее судьбы. Трем стадиям в развитии человеческого общества — эпохе родового коммунизма, современному классовому обществу и будущему социалистическому обществу — соответствуют три различные стадии в развитии нации. Резко отграничилась нация в эпоху *родового коммунизма*: нацию составляла тогда совокупность всех тех, которые происходили от одного первоначального народа и духовное существо которых определялось, в силу естественной наследственности и передачи культурных ценностей, судьбами этого первоначального народа. Нации вновь резко разграничатся в *социалистическом обществе*: нацию будут составлять тогда совокупность всех тех, которые будут пользоваться национальным воспитанием и национальными культурными ценностями и характер которых будет складываться под влиянием общенациональной судьбы. В обществе же, основанной *на праве частной собственности на орудия труда*, нацию образуют господствующие классы — совокупность всех тех, в которых одинаковое образование, передаваемое посредством общего языка и национального воспитания, формирует родственные характеры. Широкие же массы народа не составляют нации — *уже не* составляют, так как древняя общность происхождения их уже не охватывает достаточно крепкими нитями, *еще не* составляют, так как создающаяся общность воспитания на них пока еще мало распространяется. Трудность, о которую разбивались все попытки найти удовлетворительное определение понятия нации, обуславливается, стало быть, *исторически*. Нацию искали в нашем классовом обществе, в котором древняя, резко отграниченная общность происхождения разложилась на множество местных племенных групп, а создавшаяся новая общность воспитания еще не объединила эти маленькие группы в одно национальное целое.

Итак, наши искания сущности нации раскрыли перед нами грандиозную историческую картину. Вначале — в эпоху родового коммунизма и кочевого земледелия — единая нация, как общность происхождения. Затем, с переходом к оседлому земледелию и с развитием частной собственности — распадение старой нации на культурную общность господствующих классов, с одной стороны, и на низший слой, низы нации, с другой: расчленение этого низшего слоя на узкие групповые общности, — продукты разложения старой нации. Далее, с развитием общественного производства в капиталистической форме — расширение национальной культурной общности; трудящиеся и эксплуатируемые классы все еще остаются под почвой нации, но тенденция к национальному единству на почве национального воспитания

постепенно усиливается на счет противоположной тенденции к разложению старой нации на все резче расходящиеся местные группы. Наконец, с того момента, когда общество разобьет капиталистическую форму общественного производства — возрождение единой нации, как общности культуры, труда и воспитания. Развитие нации отражает историю собственности и форм производства. Подобно тому, как из общественного строя родового коммунизма возникает частная собственность на орудия труда и частное производство, а затем вновь рождается общественное производство на основе общественной собственности, так первоначально единая нация распадается на членов и не членов нации, на множество местных общностей, которые, с развитием общественного производства, опять начинают сближаться, чтобы, в конце концов, совершенно раствориться в единой социалистической нации будущего. Нация классового общества, разделенная на членов и не членов нации, расколотая на множество местных групп, — эта нация есть продукт разложения коммунистической нации прошлого и материал для образования социалистической нации будущего.

Следовательно, в двояком отношении нация является историческим явлением. Она есть историческое явление со стороны *материальной*, так как живущие в каждом члене нации национальный характер есть осадок исторического развития, национальность каждого члена нации есть отражение истории общества, создавшем каждого члена нации есть отражение истории общества, созданием которого является каждый индивидуум. Она также историческое явление *с формальной* стороны, так как на различных стадиях общественного развития в нацию связываются различные общественные круги, связываются различным образом и различными средствами. История общества определяет не только то, какие конкретные качества членов нации образуют национальный характер; даже форма, в которую исторические факторы отливают общность характера, обусловлена исторически.

Национальное понимание истории, то еть та историческая теория, которая борьбу нации считает движущей силой всего происходящего, стремится контролировать механику национальной жизни. По этой теории, нации являются неразложимыми элементами, твердыми телами, сталкивающимися в пространстве, механически влияющие друг на друга посредством давления и удара. Мы же понимаем нацию, как процесс. Для нас история не есть отражение борьбы наций, а, наоборот, сама нация является отражением исторической борьбы. Ибо нация иначе не проявляется, как только в национальном характере, *в национальности индивидуума;* а национальность индивидуума есть не что иное, как *часть его «я», определяемого историей общества,* процессом и отношениями труда.

Национальное сознание и национальное чувство

Пока человек встречается только со своими соплеменниками, он не сознает своего сходства с ними, а замечает только то, что его от них отличает. Если я всегда встречаюсь только с немцами, только о немцах слышу, то я вообще не имею случая сознавать, что люди, которые мне знакомы, сходны со мной в одном отношении, а именно, в национальном, — напротив, я замечают лишь существующие между мной и ними различия: он — шваб, я — брюнет; он — угрюм, я — весел. Сходство между мной и моими соплеменниками я сознаю лишь тогда, когда сталкиваюсь с другими народами: эти люди мне чужды, меж тем как все те, с которыми я встречался до сих пор, и многие миллионы других принадлежат вместе со мной к одной нации. Предпосылкой национального сознания является знакомство с чужой национальностью. Недаром первое знаменитое стихотворение в честь немецкого народа начинается словами: «Lande had' ich viel gesehen»[13]. Поэтому национальное сознание скорее всего появляется у купца, у военного человека, у рабочего, заброшенного в чужие страны; оно особенно развито в пограничных областях, в которых сталкиваются несколько национальностей.

Взятое само по себе, национальное сознание есть не что иное, как познание того факта, что я схожусь со всеми соплеменниками в известных общих физических качествах, в обладании известными культурными ценностями, в направлении воли — и тем самым отличаюсь от людей, принадлежащих к другим нациям; теоретически же оно есть познание того, что я и мои соплеменники суть продукты одной и той же истории. Следовательно, национальное сознание вовсе не означает любви к нации или воли к политическому единству нации. Кто хочет разбираться в общественных явлениях, тот должен, пользуясь соответствующей терминологией, ясно разграничить столь различные психические образования. Он, поэтому, в национальное сознание не вложит другого смысла, как только познание своей национальной принадлежности, оригинальности своей нации и отличия ее от других национальностей.

Нация, как общность характера, определяет образ действий отдельного члена нации даже в том случае, если он не сознает своей национальности. Ведь национальность индивидуума есть одно из средств, которым социально-исторические силы определяют волевые действия каждого в отдельности. Но эту связь с своей национальностью индивидуум сознает лишь тогда, когда он познал себя членом определенной нации. Следовательно, лишь национальное сознание делает национальность *сознательной* движущей силой человеческой и, в частности, политической деятельности.

Этим объясняется тот факт, что национальному сознанию приписывали такое большое значение для объяснения сущности нации. В национальном сознании видели даже конститутивный признак нации: нация это, мол, группа людей, сознающих свою принадлежность друг к другу и свое отличие от других наций. Так, Рюмелин говорит: «Мой народ это — те, которых я считаю моим народом, которых я называют моими, с которыми я вижу себя связанным неразрывными узами». Эта *психологическая* теория нации казалась тем более приемлемой, что все попытки найти какой-нибудь объективный признак нации, открыть узы, связывающие нацию, как целое, в общности языка, происхождения или в общей принадлежности к одному государству, до сих пор разбивались о многообразие форм национальной жизни. Между тем, эта психологическая теория не только неудовлетворительна, но прямотаки неправильна. Она *неудовлетворительна*, ибо если в согласиться с тем, что нацию образуют все те люди, которые сознают свою принадлежность друг к другу, то все же остается вопрос: почему же я сознаю свою национальную связь именно с этими, а не с теми людьми? Каковы, собственно, те «неразрывные узы», которые связывают меня в моем сознании с остальными членами нации? Что я, собственно, сознаю, когда я сознаю свою национальность? Что оно такое то нечто, которое навязывает мне мое сознание единства именно с немцами, а не с англичанами и французами? Но психологическая теория нации не только неудовлетворительна, но и *неправильна*. Разве, в самом деле, все члены нации сознают свою взаимную связь? Разве только тот является немцем, который понял свою принадлежность к немецкой нации? Разве швейцарский учитель, никогда в жизни не думавший о своей национальной связи с берлинскими рабочими, не является, поэтому, немцем? Ни одно представление не возникает в моем сознании без соответствующего опыта. Немец, знающий только немцев, слышавший только о немцах, не может сознавать своего отличия от других национальностей, стало быть, и своего сходства со своими товарищами по нации, своей национальной принадлежности, — он лишен национального сознания. Но его характер, может быть, именно поэтому чаще в национальном отношении, чем характер других немцев, испытывающих влияние других национальных культур, именно он может быть с головы до ног немцем.

Правда, в настоящее время можно действительно говорить, что каждый, кто вообще принадлежит к культурной общности нации, вместе с тем и сознает свою национальную принадлежность. Но это широкое распространение национального сознания есть, главным образом, продукт нашей капиталистической эпохи, которая своими колоссальными средствами сообщения так сближает нации между собой, что каждому, принимающему участие

в культуре своей нации, не остаются чужды и другие нации. Даже тот, кто никогда не встречался лицом к лицу с людьми другой национальности, все же узнает о чужих нациях из литературы, из газет, хотя бы и в карикатурном виде; даже в нем на почве такого знакомства с чужими нациями возникает сознание своей национальности. И только в такое время и мог возникнуть неправильный взгляд, что национальное сознание связывает людей в нацию.

Национальное сознание же становится фактором, определяющим человеческие действия, благодаря тому, что с ним связывается своеобразное чувство — *национальное чувство*. Национальным чувством мы называем то своеобразное чувство, которое всегда сопровождает национальное сознание, то есть познание своеобразия своей и различия других национальностей.

Сила этой любви к собственной нации неодинакова у различных индивидуумов или у различных классов. Крестьянин, не знающий других людей, кроме своих односельчан, других нравов, кроме исконных обычаев своего тесного круга, других представлений, кроме тех, которые внушены ему его матерью, сельским учителем, священником, не знающий никаких перемен, кроме извечно повторяющейся смены времен года с вытекающими для него отсюда последствиями, — крестьянин менее кого бы то ни было способен воспринимать необычное, учиться чему-нибудь новому, свои старые представления приспособлять к новым явлениям, у него, в силу этого, инертность апперцепции особенно сильна, наблюдение всего чужого связано у него с особенно сильным чувством неудовольствия; непривычная ему одежда, чужие нравы возбуждают в нем недоверие, легко переходящее в ненависть. Корни крестьянского национального чувства лежат не в чем ином, как только в ненависти ко всему чужому со стороны людей, тесно связанных своим унаследованным от отцов, традиционным образом жизни. Другое дело современный буржуа или современный промышленный рабочий. Кипучая жизнь большого города уже научила их встречать все новое, все чужое без особого чувства неудовольствия. У них любовь к собственной нации имеет другие источники, чем ненависть к чуждым особенностям других национальностей.

Одним из этих источников кроется в том факте, что представление о моей нации временно и пространственно ассоциируется у меня с другими представлениями, и что чувства, сопровождающие эти последние, переносятся на мое представление о нации. Когда я думаю о своей нации, то я вспоминаю при этом милую родину, родительский дом, первые детские игры, моего старого учителя, мою первую любовь, — и ассоциирующееся со всеми этими представлениями чувство удовольствия распространяется также на тесно с ними связанное представление о нации, к которой я принадлежу.

Более того! Национальное сознание вообще означает познание не чужой, а моей собственной национальности. Когда я сознаю свою принадлежность к какой-нибудь нации, то это означает, что я познал связывающую меня с ней общность характера, культуры, общность судьбы определившую мою индивидуальность. Нация есть для меня не что-то чужое, а часть моего «я», часть того самого, что существует и в моих соплеменниках. Таким образом, представление о нации ассоциируется с представлением о моем «я». Кто позорить нацию, тем самым позорит меня самого; слава моей нации есть моя собственная слава. Ибо нация существует только во мне и во мне подобных. Таким образом, с представлением о нации связывается сильнейшее чувство удовольствия: чувство любви к моей нации пробуждает во не мнимая или действительная общность *интересов* с моими соплеменниками, а познание общности *характера*, познание того, что национальность есть не что иное, как форма моей собственной индивидуальности. Себя самого люблю я, так как во мне живет инстинкт самосохранения; нация представляется мне ничем иным, как частью моего «я»; национальная особенность воплощается в моем характере; вот почему я люблю нацию. Стало быть, любовь к нации не есть какая-нибудь нравственная победа, результат нравственной борьбы, которым я мог бы гордиться, а только проявление инстинкта самосохранения, любви к себе самому, каков бы я ни был вообще, любви, распространяющейся на всех тех, с которыми меня связывает общность национального характера.

Но ко всем этим источникам национального чувства присоединяется еще один — энтузиазм, который, по словам Гете, вызывает во мне изучение *истории*. У человека, знающего историю, с представлением о нации ассоциируется представление о ее судьбах, о ее героической борьбе, о вечном стремлении к знаниям и искусствам, о ее триумфах и поражениях. В любви к посетительнице этой многообразной судьбы, к нации, выражается то участие, которое человек настоящего может принимать в боровшемся человеке прошлого. В сущности, это не есть еще один новый момент, а лишь расширение двух предыдущих: подобно тому, как воспоминание о своей молодости, ассоциирующееся у меня с представлением о нации, вызывает во мне теплое к ней чувство, так представление о тех людях, с которыми познакомила меня история, научивши их любить и почитать, возбуждает во мне новую любовь к нации; и подобно тому, как и я люблю свою нацию, познавши в ее особенностях мой собственный характер, так мне становится дорога ее история при мысли о том, что в ее далеких исторических судьбах заключаются силы, определяющие характер моих предков, а через них и мою собственную индивидуальность. Всякая такая романтическая любовь к давно прошедших вре-

менах становится, таким образом, источником национальной любви. Отсюда и национальное влияние национального художественного произведения — скажем, «Мейстерзингеров» Вагнера: оно знакомит меня с историей нации и тем самым научает меня ее любить.

Знакомство с национальной историей возбуждает живое национальное чувство прежде всего в интеллигенции. Но чем шире, благодаря народной школе, газете, реферату, книге проникают в массы исторические сведения, тем сильнее и интенсивнее становится национальное чувство и в широких массах народа.

Возникающее же таким путем национальное чувство является источником своеобразной *национальной оценки* (*nationale Wertung*) вещей. Раз с представлением о немецкой нации у меня ассоциируется чувство удовольствия, то я готов называть немецким все то, что причиняет мне радость и удовольствие. Когда я говорю о ком-либо, что он «истинно немецкий человек», то этим я не только определяю его национальность, но выражаю ему и свое одобрение, свою похвалу. «Настоящее немецкое» — эти слова выражают похвалу, «не немецкое» — порицание. Имя народа становится формой оценки: я называю какое-нибудь явление «немецким», когда отношусь к нему положительно, и называю его «не немецким», когда его порицаю. Этим и объясняется то удивительное романтическое чувство, которое мы, немцы, по словам Бисмарка, ощущаем, когда говорим о немецком народе.

Таким образом, наука в состоянии объяснить нам возникновение национального чувства из национального сознания, а возникновение своеобразного способа национальной оценки из национального чувства. Более того, она в состоянии и критиковать этот национальный способ оценки вещей. И эта задача довольно важная. Ибо только критика национальной идеологии может создать ту атмосферу спокойствия и хладнокровного отношения к вещам, в которой только и возможен успешный и плодотворный анализ национальной политики.

Критика национальных ценностей

Своеобразное явление национальной оценки, тот факт, что мы все хорошее называем «немецким» и все немецкое, каково бы оно ни было на самом деле, считаем хорошим, коренится в первоначальной связи индивидуума с его нацией. Так как индивидуум есть дитя своей нации, ее создание, то все особенности его родной нации кажутся ему хорошими, ибо он в себе отражает эти особенности; воспринять элементы, противоречащие его национальности, он может лишь преодолевши сильнейшее чувство неудовольствия, так

как для того, чтобы преодолеть свою национальность, он должен переработать, пересоздать самого себя.

Но человек есть не только существо познающее, приходящее к сознанию своей первоначальной связи со своей нацией, — он прежде всего существо хотящее, действующее, ставящее своей деятельности известные цели и выбирающее соответствующие этим целям средства. А этот факт является источником иного способа оценки, идущего вразрез с национальной оценкой. Спрашивается, каково отношение этого рационалистического способа оценки к национальной оценке, вытекающей из национального чувства?

Рационалистическая оценка и национальная оценка *могут* совпасть. Например, борьба Лессинга против влияния французской культуры на немецкую образованность проистекала из национальной оценки, так как она была борьбой за сохранение и возрождение национальной индивидуальности. Но она проистекала в то же время и из рационалистической оценки, ибо придворная французская культура не соответствовала идеологии нового класса буржуазии, противореча, как его эстетическому, так и нравственному идеалу. Если великие идеологи немецкой буржуазии защищали тогда немецкую самобытность от иноземных влияний, то это объясняется тем, что особенности немецкой нации являлись в их глазах более ценными элементами, что немецкую культуру они считали более подходящим средством для достижения своей высшей цели, своего этического и эстетического идеала. Здесь, стало быть, рационалистическая и национальная оценка совпадают.

Но это лишь игра исторического случая, исторической необходимости здесь нет никакой. Ибо национальная индивидуальность есть продукт национальной судьбы; в судьбе же нации господствует не какой-нибудь разумный мировой дух, по напоминанию которого все разумное становится действительным, а действительное разумным, — она определяется действием слепой борьбы за существование. Отсюда следует, что если качества, присвоенные нации в борьбе за существование, представляются позднейшим поколением ценными, подходящими средствами для достижения своей цели, то это является лишь игрой случая. Например, ряд тяжелых ударов судьбы — гибель раннего немецкого капитализма, упадок немецкой буржуазии, вследствие перемещения центров мировой торговли, возникновение абсолютистского государства, подчинение крестьян тяжкому гнету феодально-капиталистического поместья, ужасы тридцатилетней войны — сделали рабское смирение национальной чертой немцев XVII столетия. Но позднейшим поколениям эта черта немецкого национального характера вовсе не могла казаться чем-то ценным, поведение, обусловливаемое этой национальной чертой, не могло приближать их к поставленному себе идеалу. Таким обра-

зом, национальная оценка и рационалистическая оценка не непременно совпадают.

Этому-то действующему в человеке антагонизму национальной и рациональной оценки существующие классовые и политические противоположности придают большое социальное значение.

Национальные особенности являются плодом унаследованного от прошлого общественного строя. И вот когда возникают революционные движения, цель которых свержение существующего порядка и замена его новым, то лица, заинтересованные в его сохранении, т. е. господствующие и имущие классы, ссылаются на то, что национальный характер создан и обусловлен существующим общественным порядком и что уничтожение их прав, их собственности уничтожит или изменит этот, завещанный историей, национальный характер. Таким образом, национальная оценка становится в их руках орудием их классовой борьбы. Когда капитализм боролся с феодальным общественным строем, то класс помещиков доказывал, что феодальные учреждения обусловлены национальным «народным духом»; капитализм есть-де чужеродное растение, которое уничтожит национальные особенности, и потому каждый хороший немец обязан защищать национальный институт крепостничества от посягательств иноземного буржуазного равенства. Когда демократия стала проникать в Среднюю Европу, то власть имущие выставляли ее иноземным — английским или французским — созданием, враждебным национальному характеру немцев; каждый добрый немец должен-де, поэтому, поддерживать абсолютизм и феодальное господство. Аналогичными аргументами борются в настоящее время против свободного деления крестьянских имений: оно-де соответствует чужеродному «римскоязыческому праву», напротив, немецким правовым институтом является наследственное право.

Как орудие реакционной борьбы, национальный способ оценки приобрел величайшее значение в *России*. Там уже в течение десятилетий существует направление, которое борется со всякой реформой в западноевропейском духе; из нищеты и невежества мужика, из произвола чиновничества, из абсолютной власти и суеверии греческой церкви оно создало особую смесь, какую-то национально-славянскую сущность, которую во что бы то ни стало надо, мол, предохранить от всякого западноевропейского влияния. Борьба между *славянофильством* и западничеством имеет там целые десятки лет, принимая каждый раз различные формы. Влияние славянофильства и теперь еще отражается в некоторых политических направлениях и отраслях русской литературы; его влияния временами не избегли даже прогрессивные и революционные партии.

Но если имущие и господствующие классы желают сохранить особенности своей нации и выставляют себя охранителями национальных ценностей, то те классы, которые должны лишь завоевать общественную власть, эксплуатируемые классы, придерживаются рационалистического способа оценки. Ибо всякие традиции, на которые опираются господствующие классы, не имеют никакой ценности в их глазах, — ведь их борьба направлена именно против этих традиций. В их глазах национальная индивидуальность есть не что иное, как индивидуальность тех классов, которые господствуют над нацией и ее эксплуатируют; значит, национальные институты, которые якобы соответствуют национальному характеру и одни только и могут его сохранить, являются для них цитаделями господства и эксплуатации враждебных им классов. Как глубоко презирали дореволюционные немецкие демократы болтовню тех людей, которые невыносимые политические и общественные условия Германии оправдывали «христианско-германским народным духом»! С каким презрением относились они к национально-исторической школе, «к школе, которая сегодняшнюю гнусность узаконивает вчерашней низостью, которая каждый крик крепостного крестьянина против господского кнута объявляет бунтом только потому, что это старый кнут, знатный, исторический кнут»[14]. Если все консервативные классы придерживаются национальной оценки, то оценка всех революционных классов, напротив, рационалистична.

Это относится и к современному рабочему классу. Говорит же о нем молодой Маркс: это «класс с радикальными целями, класс, живущий в буржуазном обществе, не будучи классом этого общества, сословие, являющееся уничтожением всех сословий, сфера, носящая универсальный характер, благодаря своим универсальным страданиям, но не требующая какого-либо особого права, так как она страдает не от того или иного частного правонарушения, а от бесправия вообще, сфера, претендующая уже не на какое-либо историческое, а лишь только на человеческое право, находящаяся не в одностороннем антагонизме с последствиями, а в всестороннем антагонизме с предпосылками немецкого государства, наконец, такая сфера, которая не может эмансипировать себя, не эмансипировавши всех остальных общественных сфер, одним словом, сфера, являющаяся полной гибелью человека и, поэтому, могущая сама себя найти лишь путем нового полного завоевания человеческой личности. Это уничтожение общества, как особого сословия, есть пролетариат»[15]. Так как рабочий класс еще не составляет класса нации, то он не может быть классом националистичным. Не будучи допущен к пользованию культурными ценностями, он считает эти ценности чужими владениями. То, что другие считают блестящей историей национальной

культуры, в его глазах является нищетой и рабством тех, на широких плечах которых покоится всякая национальная культура со времени разрушения первобытного родового коммунизма. Его идеал состоит не в сохранении национального своеобразия, а в свержении существующего общественного строя, так как тогда лишь он станет членом нации. Поэтому он ко всему, что передано историей, подходит с ножом своей критики. Поэтому вещь приобретает ценность в его глазах не тем, что она передана по наследству, а лишь в том случае, если она служит целям рабочего класса. Он, поэтому, смеется над всеми теми, которые доказывают ему, что его классовая борьба идет вразрез с национальной индивидуальностью, так как только лишь эта классовая борьба может сделать его членом нации. Так как национальные культурные ценности не являются культурными ценностями пролетариата, то национальная оценка не есть пролетарская оценка. Тот факт, что рабочий класс исключен из участия в национальной культуре, составляет его муку, но в нем также источник его величия. Его праотцов помещик когда-то согнал с дворов, выгнал из их домов, чтобы расширить за их счет свои владения; его отцы вынуждены были оставить деревню, в которой предки жили столетиями, быть может, еще со времени перехода к оседлости, и таким образом, лишены были каких бы то ни было традиционных связей; сам он был предан изменчивой судьбе большого города, вовлечен в его повседневную жизнь; игрой конъюнктуры рабочих бросает из стороны в сторону, по всем градам и весям страны. Так рабочий класс лишен всяких исторических корней; от парализующей власти традиций он свободнее какого бы то ни было класса, существующего *когда-либо до него. Он стал поэтому воплощением* рационализма, он не видит ничего святого в том, что лишь старо, что передано по традиции, лишь обычно; напротив, все традиционное он от себя отстраняет и *он не знает другого критерия, как только свой идеал*, за который он борется, как те средства, которыми он должен пользоваться для достижения этого идеала. Все новое он встречает с сочувствием; из нового и чужого он берет себе все то, что для него ценно; традиционный национальный характер в его глазах не более, как превзойденная им узость. Из Германии русский рабочий заимствует свои идеалы, у бельгийцев и русских немец учится новым методам борьбы, англичанам он подражает в своей профессиональной деятельности, французам — в политической борьбе; всякое новое течение немедленно возбуждает его внимание, — часто он склонен даже переоценивать это новое именно потому, что оно ново, невиданно, необычно, именно из-за противоположности тому, что для других является национальной культурой, национальным характером. Нет такого класса, который внутренне был бы более свободен от всякой национальной оценки, чем восходя-

щий в борьбе со всеми традиционно-историческими силами пролетариат, освобожденный от всяких традиций расшатывающей разрушающей силой капитализма, лишенный возможности пользоваться культурными ценностями своей нации[16].

Но чем рациональнее становится пролетариат, тем милее делается национальная оценка его непосредственному врагу, буржуазии. Разумеется, именно в устах капиталиста этот способ оценки производит странное впечатление. Кто же, как не капитал, уничтожил унаследованные особенности национального характера, так круто изменил все существо каждой нации? Пока буржуазия была молода, ей тоже чужда была национальная оценка; во времена своей молодости она презирала историческую рухлядь, тогда она мечтала об общественном порядке, построенном по указаниям ее классового разума. Но по мере того, как все более возрастает мощь пролетариата, буржуазии становится все симпатичнее национальный способ оценки.

Борьба пролетариата против буржуазии — это борьба за собственность. В давнопрошедшие времена частная собственность обеспечивала каждому то, что он сам себе вырабатывал. В капиталистических мастерских ее содержание изменилось и теперь она означает, что господину принадлежат продукты труда других. Но и здесь она не сразу потеряла всякий смысл. Ибо с правом собственности на орудия труда связывалось не только притязание на получение прибавочной стоимости, но и определенная общественная функция, руководство процессом производства. Однако, и эта последняя общественная функция все более отделяется от права собственности: в акционерных обществах, картелях, трестах, в организации банковского дела собственник лишен всякой общественной функции, в процессе труда он уже никакого участия не принимает и ему остается только голое притязание на продукты чужого труда. Таким образом, собственность претерпела в своей эволюции полную метаморфозу: когда-то она означала, что трудящемуся обеспечен продукт его труда; теперь она означает не что иное, как только притязание на чужой труд, как право на эксплуатацию. Собственник не может больше ссылаться на какую-либо выполняемую им общественную функцию, а лишь на тот факт, что его собственность унаследована, что его собственность есть продукт исторического развития. *У него нет другого правового основания, как только историческое.*

Молодая буржуазия боролась с традиционными государственными учреждениями; старая буржуазия боится демократии и цепляется за монархию и бюрократию, как за своих союзников в борьбе с пролетариатом. Молодая буржуазия конструировала «государство разума» (*Vernunftstaat*); одряхлевшая буржуазия защищает историческое право монархии.

Таким образом буржуазия ценит ныне все историческое, так как только истории она обязана своим собственным господством; но ценя все историческое, она ценит также историческое в нас, национальность. Она все более становится борцом за национальную самобытность, все больше усваивает способ национальной оценки, — считает же она возможным защищать традиционный общественный строй ссылками на то, что он вырос на основе национальной самобытности и что этот строй, в свою очередь, необходим для сохранения этой национальной самобытности. Это — не случайность, что буржуазные теоретики ныне опять стараются изменять сохранение национальной индивидуальности в нравственный долг; что национальный спиритуализм празднует свое возрождение; что в юридических науках и политической экономии, преподаваемых в университетах, господствует историческая школа; что наши романы, наше искусство вскрывают теперь нашу национальную самобытность.

Национальная оценка и рационалистическая оценка обуславливаются различными сторонами человеческого существа, неизбежно возникают в каждом человеке, в каждом из нас в отдельности находятся в постоянной вражде между собою. Но это противоречие внутри нас становится, благодаря классовой борьбе, явным антагонизмом существующего общества. Национальная оценка все более и более становится способом оценки господствующих и имущих классов, рационалистическая оценка — способом оценки рабочего класса. А различные оценки составляют основу различной политики.

Национальная политика

Может ли нация обойтись без стремления к сохранению своей самобытности? Не скрывается ли за этим стремлением инстинкт самосохранения, присущий всякому живому существу? Разве культурный космополитизм, препятствуя сохранению национального своеобразия, не грозит гибелью самостоятельному существованию нации? Не стремится ли он к смешению человечества в одну кучу, в которой исчезло бы всякое национальное многообразие?

Мы не раз уже высказывались против этого взгляда, ссылаясь на *национальную апперцепцию.* Мы знаем. что нация, которую мы привели в пример, в течение столетий воспринимала культурные элементы самых различных наций. Древние германцы сначала находились под сильным влиянием более развитых кельтов, потом — под воздействием римской культуры. Христианство ввело в состав их национальной организации элементы восточной,

греческой и римской культур. В эпоху феодализма особенно велико было влияние южно-французской культуры; в эпоху крестовых походов сюда присоединилось влияние итальянской и восточной культур. Капиталистическое товарное производство прокладывает путь для влияния итальянского гуманизма и итальянского возрождения. Следующие затем века опять являются свидетелями сильного французского влияния. Вновь пробудившаяся буржуазия подвергается влиянию античной культуры, французских, английских, нидерландских наук и искусств. В XIX же столетии наше культурное богатство увеличивается, благодаря влиянию самых различных наций, даже других частей света. И вопреки всему этому, об исчезновении национального своеобразия не может быть и речи! Этот факт объясняется национальной апперцепцией: ни одна нация не воспринимает инонациональных элементов в неизменном виде; каждая приспосабливает их ко всему своему бытию, подвергает их в процессе восприятия внутренней переработке. Французские культурные элементы были восприняты как немцами, так и англичанами. Но в головах англичан элементы французской культуры стали чем-то иным, чем в головах немцев. *Уравнение материального содержания различных национальных культур отнюдь не означает уничтожение национальной индивидуальности.* Никогда еще сознание существующего между нациями различия не было так отчетливо, как в наше время, хотя именно теперь каждая нация учится у других наций и перенимает от них гораздо больше, чем когда-либо раньше.

Но национальный характер подвергается беспрерывным изменениям и помимо национальных влияний, и все же нация никогда не перестает быть общностью характера, отличающейся от всех других наций. Какой огромный переворот произвел, например, XIX веке в национальной индивидуальности немецкого народа! Для примера мы здесь укажем только на *одну* сторону этих многообразных изменений.

В то время, когда на западе шла великая борьба буржуазии с абсолютизмом и классом феодальных помещиков, а в Германии буржуазия находилась еще под гнетом отсталых экономических и политических отношений, мадам де Сталь однажды выразилась в том духе, что в Германии нечего делать тому, кто не заботится о всем земном шаре. Немецкая интеллигенция восприняла тогда все знания своего времени: разработанное в Голландии, Англии и Франции современное естествознание, французскую и английскую государственную науку и, выросшую на основе обеих этих научных отраслей философию. Но заимствованные от западных наций понятия в Германии совершенно иначе перерабатывались, чем во Франции и Англии. Ибо здесь непосредственная классовая борьба, еще невозможная в тогдашней Германии, не отводи-

ла глаз от принципов, здесь принципы были еще в почете, так как необходимость практической разработки не приводила еще к компромиссу идеи с действительностью, как в Англии или во Франции после революции. таким образом, Германия стала классической страной принципов, страной, где они последовательно продумывались до их конечных выводов. На этой основе выросла наша философия, вырос тот последовательный рационализм, который всякое, даже самое незначительное действие, оправдывал не иначе, как включив его в определенную систему. Только в Германии Вишер мог выразиться, что он не может себе представить политического деятеля, не изучавшего и не продумавшего «Логику» Гегеля. И этот образ мысли господствовал не только в узком кругу интеллигенции; в разжиженной форме он проникал и в широкие массы, — школьный учитель, священник, газета, зачатки политической агитации были его проводниками. Недаром Фихте говорит: «все мы видим и все. я думаю, это признают, что все в наше время стремится к тому, чтобы внести свет в неясные чувства и доставить исключительное господство ясному познанию вещей». Нельзя понять революции 1848 года, не принявши во внимание этой особенности немецкого национального характера того времени. Даже еще в настоящее время этот способ мышления живет отчасти в немецком рабочем; он подтверждает известное выражение Энгельса, что немецкие рабочие являются наследниками немецкой классической философии, немецкие социалисты — потомками Канта, Фихте и Гегеля.

Но капитализм и находящаяся во власти юнкеров и буржуазии конституционная монархия совершенно изменили эту своеобразную черту немецкого национального характера. Духовная культура современной Германии характеризуется каким-то бессодержательным историзмом и эмпиризмом, погоней за успехом, исканием никчемных деталей, той реальной политикой, которая, по выражению Маркса, принимает за реальность лишь то, что лежит перед самым ее носом. Буржуазный рационализм уже невозможен, пролетарский же рационализм изгоняется буржуазным государством, которое стремится закрыть доступ ко всякой практической деятельности каждому человеку с «подозрительным образом мыслей». С академической молодежью наших тридцатых и сороковых годов находится в духовном родстве не немецкая, а русская интеллигенция. При том, и эта эволюция национального характера, подобно упомянутой выше, произошла не в одном только верхнем слое немецкого образованного общества; это новое направление национального характера также просачивается через множество каналов в широкие массы. ревизионизм в германской социал-демократии есть его детище: его источником является тот отказ от «непрактичных» принципов, та оппор-

тунистическая позиция, которая вытеснила прежний рационализм, то направление мысли, которое всякую деятельность рассматривает не с точки зрения высшего, теоретически правильного идеала, а лишь с точки зрения непосредственного, осязательного успеха, как бы мизерен ни был этот успех.

И такую колоссальную перемену в национальной индивидуальности капитализм произвел в течение лишь нескольких десятилетий. Но значит ли это, что немецкий народ лишился своей национальной индивидуальности, что немцы стали поэтому англичанами или американцами? *Нет, изменение национальной индивидуальности отнюдь не означает отказа от национальной индивидуальности.*

Из этого-то положения вытекает идея национальной политики, отличной от той, о которой мы говорили выше. Наша задача не в том, чтобы будущие поколения были похожи на нынешнее, а в том, чтобы наши потомки, связанные в общность характера, вообще составляли нацию. Как велик, однако, будет круг людей, охваченных национальной общностью? Национальной политикой мы можем называть и такую политику, которая ставит себе задачу путем планомерного сотрудничества вовлечь весь народ в национальную культурную общность и сделать, таким образом, весь народ общностью национального характера. Эту политику я, в отличие от уже известной нам консервативно-национальной политики, называю *эволюционно-национальной политикой*. Мы можем называть ее эволюционной, так как она порывает с тем взглядом, будто мы должны сохранить нацию в том виде, как она создана историей; этому неправильному представлению она противопоставляет другое — развитие, эволюцию национального характера. Но эволюционной ее можно назвать еще в более глубоком смысле, так как она ставит себе целью не только дальнейшее развитие национального характера, взятого сам по себе, а превращение всего народа в нацию. Ее задача состоит *не только в развитии нации, но и в развитии всего народа в нацию*[17].

Эта эволюционной национальная политика есть политика современного рабочего класса. Конечно, рабочий класс преследует свою политику не ради нации, а ради себя самого. Но так как пролетариат борется за обладание культурными ценностями, создаваемыми его трудом, то неизбежным следствием его политики должно быть вовлечение всего народа в культурную общность, а, стало быть, превращение всего народа в нацию.

Но как бы велики ни были успехи этой борьбы, рабочий класс знает, что в капиталистическом обществе он никогда не достигает полного обладания национальной культурой. Только социалистическое общество сделает национальную культуру достоянием всего народа, а тем самым превратит весь

народ в нацию. И поэтому-то эволюционная национальная политика, в какой бы области общественной жизни она ни применялась, неизбежно является *социалистической* политикой.

Противоположность консервативной и эволюционной национальной политики ясно обнаруживается также в отношении к местным и племенным группам внутри нации. Стремление сохранить традиционную национальную одежду, укрепить местные диалекты в ущерб общенациональному языку лишь последовательно вытекает из точки зрения национального способа оценки. Мы же относимся к этим специфическим особенностям внутри нации, как к тормозу культурной общности: кто не знает общенемецкого языка, тот не может иметь доступа к нашей литературе, науке и философии, тот находится вне сферы воздействия нашей национальной культуры и не входит членом в общность характера немецкого народа. Слов нет, наследование местных наречий заслуживает полного внимания, нам понятно так же эстетическое удовольствие, доставляемое племенными разновидностями; но мы не должны забывать, что именно эти особенности, обязанные своим происхождением крестьянской изолированности и быстро исчезающие под влиянием капитализма, демократии и современной школы, составляют препятствие к развитию *единства нации*. И консервативно-национальная политика просто антинациональна, когда она стремится к сохранению и развитию этих племенных особенностей внутри нации: романтическое наслаждение, испытываемое при наблюдении этих особенностей, ведет к разрушению культурного единства нации. Истинную национальную политику мы ведем лишь тогда, когда мы, критически относясь ко всякого рода традиционным национальным особенностям, боремся за то, чтобы каждый в отдельности воспринял всю культуру своей нации, ставши, таким образом, продуктом, детищем своей нации.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Принцип национальности

Переворот в унаследованных государственных системах совершился в XIX столетии под знаком *принципа национальности* (*Nationalitätsprinzip*). Каждая нация должна образовать одно государство! Каждое государство должно состоять только из одной нации! Борьба за единство Германии, свободу Италии, освобождение Греции, Румынии, Сербии и Болгарии от турецкого владычества, борьба ирландцев за гомруль, поляков за восстановление польского

государства — все это формы проявления великой борьбы за осуществление принципа национальности.

Явление это настолько поразительно, что многие теоретики стали находить конституционный признак нации в воле к сожительству в самостоятельном политическом обществе. Например, Репан[18], Кирхгоф[19] считают нацией совокупность людей, вместе живущих в самостоятельном обществе, защищающих это общество, готовых нести за него жертвы. Это есть *психологическая* теория нации. Но если уже знакомая нам психологическая теория нации ищет конституционный признак нации в национальном сознании и, поэтому, интеллектуалистична, то теория, усматривающая сущность нации в воле к политическому единству и к свободе, волюнтаристична[20].

Против этой теории мы выставляем те же возражения, какие мы выставили против психологически-интеллектуалистического направления. Эта теория так же, как и та, *неудовлетворительна*, так как она избегает вопроса, почему именно те, а не другие люди хотят жить в одном политическом обществе. Но она и *неправильна*, так как, во-первых, совершенно неверно, что все люди, желающие принадлежать к одному политическому обществу, составляют на этом основании нацию — например, некоторые чехи придерживаются того мнения, что существование Австрии необходимо для их нации и разделяют мнение Палацкого, что если бы Австрии не было, ее надо было бы изобрести, но из этого, конечно, не следует, что они принадлежат к какой-то австрийской нации — и, во-вторых, столь же неверно, что все, принадлежащие к одной нации, хотели бы составлять с ней единое национально-политическое целое — например, швейцарские немцы или австрийские немцы отнюдь не имеют желания образовать всенемецкое единое государство.

Тот факт, что национальное государство (*Nationalstaat*) составляет правило, а государство национальностей (Nationalitätenstaat) — исключение, пережиток прошедших времен, привел к опасной путанице научно-государственной и политической *терминологии*. Так, часто понимают под нацией не что иное, как совокупность граждан или совокупность жителей какой-нибудь экономической области. В Германии национальной называют ту политику, которая дает существующему классовому государству потребные ему орудия власти — солдат, пушки, броненосцы; во Франции считается национальной политика «реванша» и расширение колониальных владений. Когда говорят о национальной политической экономии, то при этом имеют в виду не экономию нации — например, немцев во всех странах — а экономию германской экономической области, которая, с одной стороны, не всех немцев обнимает, а, с другой стороны, охватывает французов, датчан, поляков, ев-

реев, в меньшем же количестве — представителей всевозможных наций. Если говорят об «охране национального труда», то это вовсе не означает охраны немецкого труда в Австрии или в Соединенных Штатах, а охрану труда, произведенного в германской хозяйственной области и т. д. До нации в *этом* смысле нам здесь нет дела. Это словоупотребление покоится на смешении нации с населением государства и экономической области[21].

Когда речь заходит о взаимоотношении нации и государства, то теория обыкновенно довольствуется утверждением: если каждая нация хочет стать государством, то это «естественно». Но этим проблема не решена, а только поставлена. Мы спрашиваем, почему это людям кажется «естественным», разумным, чтобы каждая нация и всегда только одна нация составляли государство? Принцип национальности заключает, очевидно, два требования: во-первых, волю к национальной *свободе*, отражение иноземного господства, «каждая нация — государство!»; во-вторых, волю к национальному *единству*, борьбу с партикуляризмом, «вся нация — одно государство»!. И вот надо объяснить, как оба эти требования возникают в XIX столетии, как они могли стать настолько могущественными, чтобы совершать полный переворот в завещанных нам историей государственных системах.

Несомненно, что толчок к национально-государственному движению дан стремлением *отразить иноземное господство*. Там, где национальное господство является в то же время формой угнетения и эксплуатации всей нации, желание освободиться от иноземного владычества не нуждается в объяснениях. Например, такова была революция *сербов*. Сербы тяжко стонали под игом эксплуатировавших и угнетавших их воинственно-феодальных турок, резко отличаясь от них по своей национальности и религии. Турецкие господа присваивали себе значительную часть продукта труда крестьянской нации; право на существование эта нация должна была покупать у своих господ поголовным налогом; ненавистные законы, как запрещение носить оружие или ездить на оседланной лошади, ежедневно давали презренным «раям» (стаду) повод чувствовать свое иго. Народ, таким образом угнетаемый, должен был подняться против своих угнетателей тотчас же, как только к тому представилась возможность. И действительно, когда, благодаря внутренней дезорганизации турецкой империи и русской балканской политике, эта возможность представилась, то порабощенный народ восстал, чтобы завоевать себе свою свободу, свое национальное государство. Но иначе дело обстояло и там, где — как в Греции — масса народа была порабощена, тогда как наряду с ней существовала чиновная знать и богатая буржуазия, классы, имевшие большую долю в эксплуатации своего народа господствовавшим государством. В данном случае, национальная революция есть революция

порабощенной массы; но и буржуазия принимала в ней известное участие. Богатая буржуазия менее других классов в состоянии переносить презрение господствующей нации; сыновья греческой денежной и чиновной аристократии учились в западноевропейских университетах и возвращались на родину, проникнутые стремлением к свободе и идеями 1789 года; призывал же такой человек, как Шиллер, греческих студентов, бывших среди его слушателей, бороться за освобождение своего народа! Так в буржуазии порабощенной нации пробуждается стремление к самостоятельности, она становится руководительницей национальной борьбы, ибо она же должна получить господство в имевшем быть завоеванным национальном государстве.

Иначе обстоит дело там, где иноземное господство не ухудшает, а, может быть, даже улучшает экономическое положение народных масс. Так, польские восстания были прежде всего бунтами дворянства, шляхты; они потерпели неудачу, благодаря равнодушию, отчасти даже противодействию крестьян, опасавшихся, что с восстановлением польского государства возобновится безграничная эксплуатация их помещиками. Стало быть, здесь национально-государственная революция означает прежде всего возмущение господствующего класса угнетенной нации, который вместе с национальным государством теряет и свое господство, но не движением широких трудящихся масс, положение которых в национальном государстве было бы не лучше, а, может быть, даже хуже, чем под чужеземным господством. Тем не менее, и в этом случае национально-государственные стремления широко распространены среди народных масс. То же явление мы видим в Германии под господством Наполеона I. Когда большие части Германии подпали под господство французов, то это, правда, означало, что господствующие классы нации лишились своей власти, но зато широким массам это чужеземное господство принесло значительные выгоды: участие в великих завоеваниях французской революции, уничтожение феодальных оков, введение нового буржуазного правопорядка. Несмотря на это, освободительные войны это — движение не одних только потерявших троны дворов и бюрократий, а также широких народных масс. Откуда же это явление? Откуда, чем объясняется то замечательное явление, что широкие народные массы даже так восстают против инонационального господства, где они, в крайнем случае, переменили только гнет одного господина на угнетение другого, даже там, чужеземное господство улучшило их положение?

Мелкая буржуазия, крестьяне, рабочие находятся в каждом, даже национальном государстве под чужим господством, эксплуатируются и угнетаются помещиками, капиталистами, бюрократами. Но это господство можно скрыть, оно не наглядно, оно должно быть *понято*. Напротив, *господство*

чужой нации наглядно, непосредственно видно. Когда рабочий приходит по своим делам в какое-нибудь учреждение, когда он является в суд, то он не понимает, что это чужая власть господствует над ним в лице чиновника, в лице судьи, ибо чиновник и судья являются органами его нации. Если же чиновник и судья принадлежать к другой нации, если они говорят на другом языке, то факт господства над массами чужих сил становится очевидным, а потому — невыносимым. Крестьянский сын, служа в армии, является орудием чужого господства и в национальном государстве. Но эта чужая власть, господствующие классы, умеют скрыть те цели, каким армия служит; она знает, как уверить народ, что армия есть орудие всей нации. Когда же офицеры армии принадлежат к другой нации, когда команда раздается на чужом языке, тогда и крестьянский сын понимает, как он, вынужденный слушаться команды, подчиняется чужой власти. В национальном государстве феодал, капиталист являются общественными органами, доверенными лицами нации, возложившей на них задачу руководить производством и распределением; если же они принадлежат к чужой нации, то несущий барщину крестьянин, наемный рабочий немедленно должны почувствовать, что они находятся в услужении чужих, что их работа идет на пользу чужим для них людям. *В том и состоит великое значение национального государства, что оно делает наглядным, непосредственно видимым, а потому невыносимым, всякое угнетение, всякую эксплуатацию, которые надо понять, уразуметь в национальном государстве.*

К этому присоединяется еще то, что массам особенно ненавистно всякое новое, не освященное веками господство чужой власти. Происходит это потому, что наивное мышление всегда видит причину какого-нибудь несчастья в его непосредственном виновнике. Подобно тому, как по наивным правовым воззрениям мало развитых народов, за ущерб отвечает непосредственный виновник, а судья не интересуется намерениями, мотивами, не спрашивает о подстрекателях и соучастниках, так немецкий крестьянин эпохи освободительных войн не думал о том, что несчастья французских войн навлекли на его голову немецкие государи, которые вооружились против французской революции из ненависти к политической и экономической свободе граждан и крестьян; он видит лишь французских солдат, пришедших в страну с оружием в руках, французские армии, убивающие его сыновей, уничтожающие его богатство, и вот в нем пробуждается ненависть против французов. Как мог он после всего этого переносить господство французов над его страной? Вся злоба, вся жажда мести, вызванная войной, направляются, таким образом, не против господствующих классов своей собственной нации, инсценировавших войну, а против французов, которые непосредственно уби-

вают сыновей народа, посягают на честь его дочерей, опустошают его поля. Таким образом, ненависть, вызванная войной, возбуждает в народных массах стремление к национальному единству.

Можно доказать, что движущей силой всех национально-государственных движений XIX века было стремление освободиться от иноземного господства. Заговор европейского абсолютизма против французской революции угрожал французскому народу подчинением чужой воли, угрожал уничтожением всех завоеваний французской революции под натиском чужой, иноземной силы; поэтому революционная борьба французов стала национальным делом. Затем, когда армии Наполеона I покорили Германию, то и здесь возгорелась жажда национальной свободы: Арно, ненавистник французов, идет впереди Шенкендорфа, императорского герольда. Борьбой против иноземного господства является также борьба за свободу итальянцев, ирландцев, поляков, греков и славян Балканского полуострова. Ненависть против инонационального господства была также источником стремления к национальной свободе «молодой Кврпы».

Из этой ненависти возникло также стремление к *политическому единству* нации. Ведь только сильное общество, объединяющее всю нацию, могло, казалось, освободиться от иноземного господства и навсегда обеспечить себе независимость. Если немцы стремились к сильной единой империи, то это, по выражению Трейчке, объясняется тем, что в Германии господство многих стало рабством всех.

В том же направлении действуют и те силы, которые вызваны развитием *современного капитализма*. Капитализм нуждается в большой, богатой населением экономической области; необходимость капиталистического развития идет поэтому вразрез с политическим раздроблением нации. Если бы капиталистические государства были связаны между собой путем свободного обмена, слиты в *одну* экономическую область, то капитализм мог бы вполне примириться с раздроблением наций на множество самостоятельных государств. В действительности же государство капиталистического мира почти всегда становится более или менее самостоятельной экономической областью: товарный обмен между различными государствами ставится в узкие пределы, благодаря таможенным тарифам, налоговой политике, системе железнодорожных тарифов, благодаря различию существующего у них права. К тому же большая масса производственных в каком-нибудь государстве товаров находит себе сбыт в самом государстве. Поэтому капитализм, стремясь к большой экономической области, стремится вместе с тем к созданию большого государства. Попытаемся наметить те причины, которые сделали необходимым развитие больших государств в XIX столетии.

Чем больше население экономической области, тем многочисленнее и тем крупнее могут быть предприятия, в которых изготовляется какой-нибудь товар. *Величина* предприятия, как известно, означает уменьшение издержек производства, рост производительности труда. Но и большее *число* однородных предприятий имеет то же значение. Во-первых, в отдельных предприятиях может быть проведено большее *разделение труда*, большая специализация, что значительно повышает производительность труда; например, не подлежит сомнению, что невероятное быстрое промышленное развитие Соединенных Штатов Северной Америки в значительной степени объясняется величиной ее экономической территории, допускающей там гораздо большее разделение труда, чем в европейских государствах. Далее, благодаря существованию большого числа однородных предприятий в одном месте, уменьшаются *расходы по обновлению и починке* производственного аппарата: в Ланкашире, где одна прядильня стоит около другой и где все прядильные фабрики обслуживаются общими ремонтными мастерскими, издержки по ремонту гораздо ниже, чем там, где отдельная прядильная фабрика должна отдельно для себя содержать ремонтные мастерские. Точно также уменьшаются *издержки по подготовке и завершению работ* — красильные, аппретурные предприятия и т. под., — если одновременно обслуживается много однородных предприятий. Наконец, большое число однородных предприятий, сосредоточенных в одном месте, дает возможность улучшить *средства сообщения*, чем опять-таки уменьшаются издержки производства: там, где много заводов и фабрик работает рядом, прокладываются железные дороги, прорываются каналы, между тем, как там, где эти средства передвижения сооружаются лишь для небольшого числа фабрик, они обходятся очень дорого для каждой фабрики, для каждого груза в отдельности. Гораздо ниже и расходы по воспитанию *квалифицированных рабочих сил* — от директора до последнего квалифицированного наемного рабочего — там, где профессиональные учебные заведения обслуживают какую-нибудь крупную отрасль промышленности, чем там, где требуется лишь небольшое количество квалифицированных рабочих сил для немногих предприятий. Лучше также могут быть использованы *отбросы производства*, когда крупная индустрия дает их в достаточно большом количестве.

Следовательно, по отношению в *производству продуктов* мы находим двоякую причину превосходства больших экономических областей: во-первых, производительность труда обыкновенно увеличивается с увеличением размеров производства; во-вторых, каждая область лучше и обильнее покрывает свои потребности путем свободного обмена, чем в том случае, если она сама производила бы все необходимые для себя продукты[22]. Однако, превосход-

ство большой экономической области покоится не только на выгодах производства, но и на более правильном *обращении* капитала.

Сколько опускается писем за день в какой-нибудь определенный почтовый ящик, зависит от случая: один день больше, другой — меньше. Если же мы подсчитаем письма, вынутые из всех почтовых ящиков какого-нибудь большого города, то окажется, что их число всегда более или менее одинаково, так как случайный излишек одного пункта компенсируется случайной недостачей другого почтового пункта. Число самоубийств в какой-нибудь деревне или маленьком городе непостоянно и, по-видимому, не находится под влиянием какого-нибудь определенного закона: в одном году не происходит ни одного самоубийства, в следующем году вдруг лишают себя жизни десять человек. Когда же мы подсчитаем, сколько случаев самоубийств было за год в какой-нибудь большой стране, то нас поражает регулярность, с какой повторяются одни и те же числа: случайные отклонения от среднего уровня в одном месте уравниваются противоположными отклонениями в другом и, таким образом, получается одна и та же общая цифра для всей страны. Этот закон больших чисел имеет очень большое значение и для обращения капитала. В маленькой стране обращение капитала нарушается даже градом или пожаром, — в большой же экономической области случайные бедствия или недостаток продуктов какой-нибудь провинции покрываются избытком другой. Если где-нибудь в маленькой экономической территории наступает внезапная нужда, то этот тотчас же отражается на каждом ее отдельном предприятии: подымается спрос на денежный капитал, подымаются цены, увеличивается процент. В большой же экономической области сосредоточены большие денежные капиталы, так что какая-нибудь местная нужда отнюдь еще не ведет к увеличению процента. И наоборот, если где-нибудь в какой-нибудь большой экономической территории наступает местный кризис, то это едва чувствуется во всей области в целом; в маленькой же экономической области, вследствие таких местных нарушений обычного хода дел, немедленно задерживается кругообращением товаров по всей стране. В маленькой экономической области частный кризис немедленно обращается в общий, напротив, в большой экономической территории положение дел почти не меняется от частных или местных кризисов, ибо там оно находится под действием великих законов, определяющих конъюнктуру всякого капиталистического хозяйства.

Действие всех этих причин так сильно, что маленькие государства никогда не могут замкнуться в совершенно самостоятельные экономические области и им приходится вступать в обмен с другими странами, как бы в них ни было сильно стремление к охранительным тарифам. Но товарный

обмен маленькой экономической области наталкивается на большие трудности.

Препятствием к межгосударственному обмену служат прежде всего различия *валюты, налогового законодательства, гражданского и процессуального права.* Каждое государство может быть более или менее осведомлено лишь о состоянии внутреннего рыка, редко когда знание рынка в другом государстве так точно, как знание своего собственного рыка. Государственное регулирование *путей сообщений* может быть делом только большого государства, точно также, как и целесообразная железнодорожная политика; маленькое государство, разделяющее право собственности на *одну* какую-нибудь железную дорогу со многими другими маленькими государствами, может только затруднять сообщение, а не содействовать экономическому развитию планомерной тарифной политики.

Все эти трудности большие государства стараются преодолеть путем всевозможных договоров: монетными союзами, торговыми договорами, таможенными договорами, договорами относительно юридической помощи, права на патент, межгосударственным регулированием систем железнодорожных тарифов и т. д. Но и при *заключении договоров* с соседними государствами маленькие экономические области оказываются в невыгодном положении. «Внешняя торговля какой-нибудь маленькой области очень обширна в сравнении с ее производством и имеет, поэтому, большое значение для этой страны; для заграничных же больших государств, из которых эта небольшая экономическая территория импортирует товары, эти торговые сношения имеют слишком малое значение в сравнении с их производством. Ввиду этого, маленькому государству плохо удается надлежащая охрана своих интересов при заключении договоров с другими государствами, оно не может побуждать их приспособлять свою торговую политику к его потребностям»[23].

Понятно также, что маленькое государство слабее не только экономически, но и *политически.* Ибо капитализм всегда нуждается в сильной поддержке государства, чтобы осуществлять свои стремления к расширению. Мог ли бы немецкий капитал искать себе выгодного приложения в чужих странах, немецкий купец объезжать чужие рынки, если бы он не чувствовал за собой военного могущества своего государства! Маленькое государство, которое не в силах защитить в достаточной степени интересы своих граждан, представляется капиталисту плохим и несовершенным орудием для его господства. Тем более, что маленькое государство является к тому же и очень дорогим орудием. Ибо, при прочих равных условиях, управлением большим государством дешевле, тяжесть налогов меньше, чем в маленьких государствах.

Все эти преимущества большого государства нации XIX века видели ясно, непосредственно: они все видели, как расцвела Франция с тех пор, как были уничтожены таможенные линии, разделявшие французские провинции. Неудивительно, если у немцев и итальянцев усилилось стремление образовать из Германии, из Италии одну цельную экономическую область.

И действительно, мы видим, как немецкая буржуазия становится во главе движения за образование единой великой немецкой экономической территории: в лице Фридриха Листа она борется за таможенный союз, за развитие немецкой железнодорожной сети. В 1833 году заключают таможенный союз Пруссия, оба Гессена, Бавария, Вюртемберг и Саксония. В 1847 году впервые после долгого перерыва снова возникает единое немецкое право, а именно — что бросает такой яркий свет на характер этого движения к единству — вексельный устав, за которым последовал свод немецких торговых законов для всех германских государств.

Однако, преимущества больших экономических территорий объясняют только то, почему немцы хотели иметь большое государство. Но почему они стремились к национальному государству? Почему именно границы нации должны были стать границами государства? Дело в том, что здесь связывается влияние экономических потребностей с последствиями *политических переворотов*.

Мы не раз уже говорили о том, что буржуазия до тех пор рационалистична, пока она ведет борьбу с государственным строем, завещанным историей: исторические предания не имеют для нее никакого значения, хотя бы они были облечены в правовые формы; то, что претендует на право существования, должно прежде доказать свою целесообразность перед верховным судом буржуазного классового разума. Буржуазия, ведущая борьбу с абсолютистским государством, государством, ограничивающий свободу ее руководящих элементов, заключающим в тюрьмы ее сыновей, притесняющим ее печать, преследующим литературные произведения, закрывающим ее союзы, — это завещанное историей государство буржуазия презирает, она стремиться к *естественному государству*, к разумному государству. Это презрение ко всему тому, что может быть оправдано только историей, питается также переворотами *наполеоновской эпохи*. Если Люневильский мир положил бесславный конец множеству маленьких государств, то на каком основании должны были существовать оставшиеся государства? А когда по окончании освободительных войн венский конгресс приступил к пересмотру географической карты Европы, к тому, чтобы заново устроить систему государственных отношений, то разве не было бессмыслицей, пережитком давно прошедших времен преградить путь к дальнейшему государственному раз-

витию? Таким образом, усиливается. укрепляется мысль о естественном, о разумном государстве. Каковы, однако, границы этого естественного государства?

В ответ на этот вопрос национальное сознание и национальное чувство, получившие широкое распространение благодаря развитию буржуазного общества, укрепившиеся под влиянием войн наполеоновской эпохи, указывают на нацию, как на «естественную» основу государства, и формируют эту мысль в принцип национальности: каждая нация — государство! Каждое государство — только одна нация! Для феодала и крестьянина основой государства является территория, а естественные границы территории — естественными границами государства; напротив, буржуа и рабочий капиталистической эпохи считают государство прежде всего организацией людей, служащей человеческим целям, стало быть, то, что разделяет людей, должно служить и границами государств. Государство является для меня внешней принудительной силой, нация же живет внутри меня, она есть живая действующая сила, проявляющаяся в моем характере. Таким образом, нация представляется *естественным образованием*, государство же — *искусственным продуктом*. Если завещанные историей государства не соответствуют больше потребностям времени — не предохраняют от опасности чужеземного господства, не удовлетворяют потребности в больших экономических территориях, то не естественнее ли всего приспособить искусственный продукт, государство, естественному созданию человеческой истории — нации, сделать нацию субстратом государства? Разве те трудности, которые создаются в государстве национальностей, которая разделяет нации одного государства, не доказывают, что государство национальностей есть искусственное образование? Не естественно ли, не разумно ли объединить в форме государства общность национального характера, отделить ее государственными границами от других наций?

Чрезвычайно ясно выражает эту мысль Гердер. Нация это — естественное растение: «Нация это — такое же растение природы, как и семья, — в ней только больше разветвлений. Поэтому, ничто не противоречит в такой степени целям правительств, как неестественное увеличение государств, как дикое смешение различных человеческих родов под одним скипетром»[24].

Попробуем разграничить отдельные мысли, заключающиеся в этом положении. Его основой служит, очевидно, то требование, что государство, как продукт человеческой воли, должно приспособиться к природе, должно ей следовать. Старое требование стоиков, *naturam sequi*[25], возобновляется эпохой Руссо. Природа это — неизменное, данное, государство — изменчивое, подвижное; поэтому, государство должно приспособляться к требованиям

природы. Нация же это — естественное явление произведение природы[26]. Поэтому государство должно приспособиться к нации, государство должно всю нацию, и, притом, одну только нацию, объединить политически.

Но действительно ли нация есть произведение природы, а государство — искусственный продукт? Для нас это различие потеряло свой прежний смысл. Старое, существующее со времен Платона и Аристотеля противоречие между *политическим рационализмом*, считавшим государство искусственным продуктом, который должен изготовляться человеческой волей по требованиям разума, *политическим материализмом*, который понимает государство как произведение природы, находящееся под действием «вечных, железных, великих законов», — это старое противоречие уничтожено современной теорией познания. В настоящее время мы знаем, что здесь только *различие точек зрения*, а не неизбежная альтернатива. Когда мы подходим к государству с *научной* точки зрения, то оно для нас такое же явление природы, подверженное определенной закономерности, как и всякое другое; наша задача в данном случае состоит в том, чтобы наследовать законы, господствующие в зарождении, жизни и смерти государств. С *политической* же точки зрения, с точки зрения политического деятеля, государство есть, конечно, создание человеческой воли, объект нашей деятельности. Дело не изменяется от того, что сама эта воля, создающая государство, может составить предмет научных исследований, что наука может изучать ее в ее причинной зависимости после того, как она свершилась, или даже, предвидя будущее, объяснить процесс волеобразования и тем самым определить направление будущей политической деятельности. Но как государство, так и нация может быть произведением природы и продуктом человеческой деятельности, смотря по тому, с какой точки зрения ее рассматривать. С одной стороны, мы можем изучать, как общность судьбы создает нацию путем передачи присвоенных предкам качеств и выработанных общих культурных ценностей. А с другой стороны, политик смотрит на нацию, как на создание своей воли, для него она искусственный продукт; ибо он может поставить себе задачу сохранить или изменить национальный характер, расширить или сузить круг национальной общности. Если же как государство, так и нация, могут быть и произведением природы, т. е. составлять предмет научных исследований, и искусственным продуктом, т. е. созданием нашей воли, то, спрашивается, какой смысл имеет положение Гердера, что государство, как искусственный продукт, должно приспособиться к нации, как к произведению природы?

Эту мысль Гердера, лежащую в основе всякой мотивировки принципа национальности, мы должны понять *исторически*. в ее историческом проис-

хождении. Буржуазия революционной эпохи вела борьбу с государством, со всем старым правопорядком: абсолютистское государство сохранило феодальные и цеховые правовые формы или во всяком случае не устранило их окончательно и тем тормозило развитие капитализма; малый размер экономических территорий стал тормозить развитие производительных сил; экономическая и политическая опека абсолютистского государства стала невыносимой для современной буржуазии, которая сама хотела собой управлять; сложившееся исторически маленькое государство не в силах было защитить ее от чужеземного господства. Ввиду всего этого, буржуазия повсюду стремится свергнуть существующий правовой строй, уничтожить существующее государство. Но это не значит, что она хочет уничтожить государство вообще, — она хочет лишь заменить его другим государством, так как государство ей необходимо для охраны ее собственности; дело лишь в том, что теперь государство должно стать орудием ее господства после того, как оно само долгое время над ней господствовало. как же определить границы нового государства? И вот буржуазия спрашивает: если мы уничтожим все действующее положительное право, весь существующий государственный строй, то разве этим в самом деле будет уничтожено все социальное? И она приходит к заключению, что существуют такие социальные явления, которые независимо от действующего, враждебного им права, враждебной им власти, могут эту власть пережить, хотя бы они для своего возникновения и существования нуждались в каком-нибудь определенном правовом порядке; ибо источником всего социального является не какая-либо внешняя сила, а сами индивидуумы, внутри которых оно живет. Таким путем буржуазия приходит ко взгляду на нацию, как на общность.

Когда Палацкий в минуту злобы говорит, что чехи были еще до основания австрийского государства и что они будут существовать и после того, как оно распадется, то он выражает мысль, лежащую в основе принципа национальности: та общность, которая живет в каждом отдельном индивидууме, есть действующая сила, которая, однажды возникнув, становится независимой от всякого действующего положительного права, от всякой существующей власти. Национальная общность существует и помимо государства, ибо она живет в каждом отдельном индивидууме. Эта мысль приходит буржуазии в голову в период ее революционного рационализма. Ведь разрушая существующее государство, рассуждает она, мы не разрушаем общностей, живущих в каждом индивидууме в отдельности, стало быть, субстратом нового государства должна быть именно эта неразрушимая общность, она-то должна стать основой нового общества. *Буржуазия относится к государству, как к искусственному продукту, потому что она хочет пересоздать, — к на-*

ции, как к произведению природы, потому что она остается и после того, как существующее государство распадется. Следовательно, в основе этого противопоставления государства, как искусственного, и нации, как естественного продукта, лежит противоположность не *каузального и телеологического* объяснения вещей, а *противоречие внешней силы и внутренней общности.* Желая уничтожить враждебное ей, не отвечающее ее потребностям традиционное государство и заменить его новым, революционная буржуазия противопоставляет враждебное ей внешней силе государства постоянную внутреннюю общность нации: требованием ее становится, таким образом, то, *чтобы эта внутренняя общность стала носительницей внешней силы, внешняя сила — охранительницей внутренней общности.* В этом — источник принципа национальности.

Как ни велика роль этого требования в истории XIX века, — его все же не удалось целиком осуществить. Нам, значит, надлежит исследовать те силы, которые противодействовали этому принципу, те силы, благодаря которым сохраняются существующие *государства национальностей.* Изучив эти силы, мы должны будем ответить на дальнейший вопрос: будут ли эти силы всегда действовать, будут ли они настолько велики, чтобы помешать полной победе принципа национальности, или несуществующие государства национальностей являются только пережитками прошлого, которые будут устранены будущим развитием и заменены чистыми национальными государствами. Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны произвести анализ государства национальностей. Обратимся же теперь к изучению Австрии, этого наиболее развитого из государств национальностей в Европе. Человек, знающий условия общественной жизни за границей, легко отличит, какие из исследуемых ниже социальных отношений свойственны только Австрии и какие общи всем остальным государствам национальностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пивным (*нем.*). — *Прим. пер.*
2. *Walker Bagehot.* Der Ursprung der Nation. Leipzig, 1874. P. 25.
3. *Karl Kautsky.* Neue Zeit. Vol. 23, № 2. P. 464.
4. Этот вопрос, имеет ли немецкий рабочий более общих отличительных признаков с немецким буржуа, чем с французским пролетарием, вовсе не совпадает с вопросом, должен ли немецкий рабочий вести классовую или национальную политику, должен ли он соединиться с пролетариями всех стран против интернационального капитала, или с немецкими буржуа против всех остальных народов. Ибо решение этого вопроса зависит от соображений совершенно иного характера, чем от соображений о степени интенсивности различных общностей характера.
5. *Werner Sombart.* Die deutsche Volkswirtschaft im XIX. Jahrhundert. B., 1903. P. 128.

6. Об ошибочности этих воззрений, в частности, относительно вопроса о происхождении права, см.: *Rudolph Stammler.* Wirtschaft und Recht. Leipzig, 1896. P. 315.

7. *Фихте* еще глубже определяет это метафизическое понятие нации, которое он формулирует следующим образом: «Народ — это совокупность людей, живущих общей жизнью, постоянно воспроизводящих себя физически и духовно и подверженных все вместе действию особого закона внутреннего развития Божественного. Общность этого особого закона и связывает эту массу людей в вечном, а также и во временном мире в одно естественное, проникнутое самим собой целое» (*Johann G. Fichte.* Reden an die Deutsche Nation. Leipzig, 1909. P. 116). Каждый человек есть, стало быть, не что иное, как одна из бесчисленных форм Божественного, но Божественное подвержено действию различных законов, и нацию образуют те проявления Божественного, которые находятся под действием одного и того же закона. Народный дух — одно из проявлений Божественного, а индивидуум — проявление народного духа. До этого метафизического понимания сущности нации Фихте дошел несмотря на то, что он раньше (P. 52) был очень близок к правильному эмпирическому пониманию нации. Для после-кантовского догматического идеализма характерно то, что даже в том случае, когда он в состоянии быть правильно понять какое-нибудь явление в смысле эмпирически-историческом, он этим не довольствовался, а правильно понятое эмпирическое явление считал проявлением особой, отличной от него метафизической сущности.

8. Приморского края (*нем.*). — *Прим. ред.*

9. *Gurlitt.* Der Deutsche und seine Schule. B., 1905.

10. Гарри Граф Кесслер (*Harry Graf Kessler*) хочет еще точнее определить понятие национального характера. Он тоже разграничивает два момента: различный способ реагирования на одни и те же внешние явления и определенный комплекс представлений. Но тот признак, по которому нации различаются, он видит лишь в различной степени быстроты реагирования на какое-нибудь внешнее явление, национальный характер становится в его глазах своеобразным «*темпом души*» (*Tempo der Seele*). («Zukunft» от 7 апреля 1906 г.). Конечно, различная степень подвижности воли составляет один из тех признаков, которые охватываются понятием о направлении воли, и которое мы считаем национальным характером в более узком смысле слова, всем, например, известна легкая подвижность французского и тяжеловесность голландцев. Но дело, разумеется, не только в том, как быстро реакция вызывается каким-нибудь внешним возбуждением, а также и тем, какое направление и какую силу эта реакция имеет. Значит, Кесслер слишком узко понимает понятие национального характера.

11. *Schallmayer.* Vererbung und Auslese im Lebenslaufe der Völker. Jena, 1903. P. 174.

12. *Georg Simmel.* Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Leipzig, 1905. P. 4.

13. Много стран я повидал (*нем.*). — *Прим. ред.*

14. *Karl Marx.* Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie // Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle / Hrsg. von Franz Mehring. Stuttgart, 1902. Bd. 1. S. 386.

15. Ibid. S. 397.

16. Может быть, это покажется странным, что я называю пролетариат воплощением рационализма, — ведь именно теория пролетариата, марксизм, и выступала так решительно против всякого рационализма в социальных науках и научила нас все понимать в исторической закономерности. Но не следует смешивать здесь различных понятий. Маркс объясняет все существующее, все создающее в его исторической зависимости, в его закономерности. Но ведь он на этом основании не думал отказываться от рационалистической критики исторических институтов, не думал их оправдывать на том основании, что он объяснил их историческое происхождение. Никто так резко не боролся с этими приемами «исторической школы права»,

как именно Маркс! Напротив, именно он помог нам понять историческое происхождение пролетарского рационализма.

17. Разумеется, «эволюционное» не противоречит здесь понятию «революционного». Революция, внезапный переворот, есть только определенный метод, способ развития, фаза эволюции.

18. *Ernest Renan*. Qu'est ce qu'une nation? P., 1882.

19. *Alfred Kirchhoff*. Zur Verstandigung uber die Begriffe «Nation» und «Nationalitat». Halle, 1905.

20. Мы можем теперь сгруппировать рассматриваемые нами теории нации: 1. *Метафизические* теории нации: национальный материализм и национальный спиритуализм; 2. *Психологическая* теория нации психологически-интеллектуалистическая и психологически-волюнтаристическая; 3. *Эмпирическая* теория нации, ограничивающаяся перечислением «элементов», присущих нации. Всем этим теориям мы противопоставляем нашу теорию нации, как общности характера, выросшей на почве общности судьбы, возникшую на основе материалистического понимания истории.

21. О различии между народом и нацией см. вышеуказанное произведение *Fr J. Neumann'a*.

22. Надо иметь в виду, что мы говорим здесь об увеличении производительности труда, достигаемом благодаря соединению нескольких областей в одну большую экономическую территорию, а не благодаря тому, что на одной и той же почве производится больше продуктов. Поэтому, мы не касаемся здесь, например, закона убывающего плодородия земли или влияния повышающейся земельной ренты.

23. *Richard Schuller*. Schutzzol und Freihandel. Wien, 1905. S. 247.

24. *Johann Herder*. Ideen zur Geschichte der Menschheit. B. 9, IV.

25. Следуй природе (*лат.*). — *Прим. пер.*

26. С точки зрения Гердера — нация представляет собой произведение природы в более тесном смысле слова: для него нация есть общность происхождения. Но в корне этот ход мыслей не меняется и в том случае, если мы будем смотреть на нацию не только как на естественную, но и как на культурную общность, как на общность, созданную в борьбе за существование не только путем наследственности, но и путем передачи культурных ценностей.

МИРОСЛАВ ХРОХ

ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ К ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ НАЦИИ: ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА НАЦИЙ В ЕВРОПЕ

Нация составляет неотъемлемый фон новейшей европейской истории. Можно иронизировать по поводу прошлых и настоящих хроник «национализма», критиковать его роль и по ходу дела навешивать хорошие или скверные ярлыки на различные группы, личности и даже нации. Есть публика, которой по вкусу такое занятие, но его не следует путать с научным подходом к теме. Историки — не судьи: их задача состоит в том, чтобы объяснять реальные исторические трансформации. В последние годы появилось значительное количество новой литературы о нациях и национализме, большая часть которой создается учеными, выдвигающими теоретические соображения, а затем иллюстрирующими свои обобщения подобранными примерами. Историки предпочитают начинать с эмпирического исследования, а потом переходить к более широким заключениям. Целью моей собственной работы было не создание теории национального строительства, а скорее выработка эффективных методов, позволяющих классифицировать и оценивать опыт создания нации как процесса, происходящего в рамках более глобальной социальной и культурной истории. Иными словами, процесс создания нации понимается не как неисчислимое множество единичных и неповторимых событий, а как часть масштабной трансформации общества, поддающаяся контролируемым обобщениям[1]. Впрочем, важно сразу же подчеркнуть то обстоятельство, что нам далеко не под силу объяснить все основные проблемы, поставленные формированием современных наций. Всякий историк, исследующий национальные движения, согласился бы с тем, что наше понимание этих процессов затрудняют многочисленные лакуны, связанные с недостатком информации. В этом смысле любые обоснованные заключения остаются не более чем отдельными открытиями и выводами, а все «теории» приходится рассматривать как планы дальнейших исследований. На это кто-то может полемично заметить, что в настоящее время мы имеем дело с перепроизводством теорий и застоем в области сравнительного исследования по данной теме.

Полагаю, что этот печальный факт отчасти связан с широко распространенной путаницей в понятиях. Ибо сегодня процесс, в ходе которого в Европе сформировались нации, обычно подается как развертывание или распространение идей «национализма». Пожалуй, это особенно справедливо в отношении современной англоязычной литературы[2]. На мой взгляд, данный способ трактовки предмета кардинально уводит нас от сути дела. Ведь распространение национальных идей могло бы происходить только в особых социальных условиях. Созидание нации никогда не являлось исключительно целью амбициозных или самовлюбленных интеллектуалов, да и идеи не могли бы расходиться по всей Европе благодаря одной своей вдохновляющей силе. Интеллектуалы способны «изобретать» национальные сообщества только в том случае, если уже существуют определенные объективные предпосылки для образования нации. Карл Дойч еще очень давно заметил, что, дабы возникло национальное самосознание, должно сначала возникнуть нечто такое, что оно будет осознавать. Сами по себе разрозненные открытия в области национального чувства никак не объясняют того, почему эти открытия имели место столь во многих странах и происходили независимо друг от друга, при различных условиях и в различные эпохи. На эту проблему может пролить свет только такой подход, при котором будет выявлено основное сходство мотивов, побуждающих людей впервые идентифицировать себя с определенной нацией. Эти мотивы можно облечь в слова, но ниже уровня «высокой политики» они чаще всего остаются невысказанными.

Итак, «нация», безусловно, является не вечной категорией, а продуктом долгого и сложного процесса исторического развития в Европе. В соответствии с нашими целями необходимо для начала определить ее как большую социальную группу, цементируемую не одним, а целой комбинацией нескольких видов объективных отношений (экономических, политических, языковых, культурных, религиозных, географических, исторических) и их субъективным отражением в коллективном сознании. Многие из этих связей могли взаимно меняться ролями, играя особенно важную роль в одном процессе национального строительства и не более чем подчиненную в другом. Но три из них остаются абсолютно незаменимыми: (1) это «память» об общем прошлом, толкуемом как «судьба» группы или хотя бы ее ключевых элементов; (2) плотность и интенсивность языковых или культурных связей, которые обеспечивают более высокий уровень социальной коммуникации в рамках группы, чем за ее пределами; (3) концепция равенства всех членов группы, организованных в гражданское общество.

Процесс, в ходе которого вокруг таких ключевых элементов формировались нации, не был предопределен и необратим. Он мог прерываться, равно как и возобновляться после долгой паузы. Если взять Европу в целом, очевидно, что он происходил в два различных этапа неравной длительности. Первый из них начинается в период Средних веков и приводит к двум весьма разным результатам, ставшим полярными отправными точками для второго этапа — перехода к капиталистической экономике и гражданскому обществу. В этот момент путь к современной нации в полном смысле этого слова начинался с одной из двух полярных социально-политических ситуаций (хотя, разумеется, были и промежуточные варианты). По всей Западной Европе — в Англии, Франции, Испании, Португалии, Швеции, Нидерландах, — но также и дальше на восток, в Польше, раннее современное государство складывалось в условиях господства одной этнической культуры, будь то абсолютистское государство или же сословно-представительская монархия. В большинстве таких случаев позднефеодальный режим впоследствии преобразовывался — путем реформ или революций — в современное гражданское общество *параллельно* с формированием национального государства как сообщества равноправных граждан. С другой стороны, на большей части Центральной и Восточной Европы «чужеземный» правящий класс доминировал над этническими группами, которые занимали компактную территорию, но не имели «собственных» знати, политического единства или продолжительной литературной традиции. Мои личные исследования относились к ситуации именно второго типа. Однако было бы ошибочным полагать, что ничего подобного никогда не существовало в Западной Европе. Так случилось, что статус «недоминантной этнической группы» обычно ассоциируется с землями Восточной и Юго-Восточной Европы — с судьбой эстонцев, украинцев, словенцев, сербов и прочих. Но поначалу немало аналогичных сообществ существовало и в Западной, и в Юго-Западной Европе. Однако там большинство из них поглотило средневековое государство или же государство раннего Нового времени, хотя значительное количество отдельных древних культур в процессе интеграции сохранило свою самобытность — это ирландская, каталонская, норвежская и прочие культуры (в Восточной Европе аналогом им, по-видимому, служит греческая культура)[3]. Имел место также и немаловажный ряд переходных случаев, когда этнические сообщества располагали «своим собственным» правящим классом и литературными традициями, но не имели общей государственности: это немцы и итальянцы и позднее — после раздела Речи Посполитой — поляки.

Что же касается ситуаций второго типа, на исследовании которых была сосредоточена моя собственная научная деятельность, то началом современ-

ного этапа строительства наций можно считать тот момент, когда отдельные группы в пределах не доминантной этнической общности принялись обсуждать свою собственную этническую принадлежность и воспринимать свою этническую группу как имеющую шансы превратиться в будущем в полноценную нацию. Рано или поздно они усмотрели те конкретные черты, которых недоставало их будущей нации, и стали прилагать усилия к тому, чтобы восполнить одну или некоторые из них, пытаясь убедить своих соотечественников в важности сознательной принадлежности к нации. Я называю эти организованные попытки по обретению всех атрибутов полноценной нации (которые не всегда и не везде бывали успешными) *национальным движением*. Нынешняя тенденция говорить о них как о «националистических» приводит к значительным несуразицам. Ибо национализм *stricto sensu*[4] представляет собой нечто иное, а именно мировоззрение, в рамках которого придается *абсолютный приоритет ценностям нации над всеми иными ценностями и интересами*. В Центральной и Восточной Европе XIX или начала XX века многие патриоты — участники национальных движений были чрезвычайно далеки от того, чтобы считаться националистами в этом точном смысле слова. Данный термин едва ли может быть применен к таким типичным представителям национальных движений, как норвежский поэт Вергеланн, который пытался создать язык для своей страны, польский писатель Мицкевич, страстно желавший освобождения своей родины, или даже чешский ученый Масарик, который, отдав всю жизнь борьбе против чешских националистов, сформулировал и реализовал программу национального суверенитета. Национализм являлся лишь одной из многих форм национального сознания, которым предстояло родиться в русле этих движений. Позднее национализм действительно зачастую становился существенной силой в своем регионе — как это произошло в более западном секторе наций-государств, — своего рода политикой силы с иррациональными обертонами. Но у классического национального движения была программа иного типа. Ее цели охватывали три группы требований в соответствии с тремя ощутимыми недостатками национального бытия: (1) развитие национальной культуры, основанное на местном языке и его нормальном использовании в образовании, управлении и экономической жизни; (2) обретение гражданских прав и политического самоуправления — сначала в форме автономии, а в конечном счете (обычно это происходило довольно поздно, когда становилось уже настоятельной потребностью) и независимости[5]; (3) создание завершенной социальной структуры, пронизывающей всю этническую группу и включающей образованные элиты, классы чиновников и предпринимателей, но также, где это необходимо, свободных крестьян и организованных рабочих.

Относительные приоритеты и сроки осуществления всех трех видов требований в каждом случае оказывались различными. Но траектория любого национального движения исчерпывалась только тогда, когда все они были выполнены.

В промежутке между отправным пунктом любого конкретного национального движения и его успешным завершением можно выделить три структурные фазы, согласно характеру и роли действующих в них сил и степени национального самосознания, развивающегося в рамках этнической группы как целого. В течение начального периода, который я назвал фазой А, энергия активистов национального движения была прежде всего направлена на тщательное исследование языковых, культурных, социальных и иногда исторических черт недоминирующей группы и на закрепление этих фактов в сознании соотечественников, однако в целом они не настаивали на том, что восполнение таких пробелов в познании представляет собой специфическую национальную потребность; некоторые из них даже не верили в то, что из их этнической группы может развиться нация. Во втором периоде, или в рамках фазы В, появилось новое поколение активистов, которые отныне пытались завоевать как можно больше сторонников из числа представителей своей этнической группы для реализации планов по созданию будущей нации, и делали это при помощи патриотической агитации, призванной «разбудить» в них национальное самосознание. Поначалу эти активисты, как правило, не достигали заметных успехов (в первой полуфазе), но позднее (во второй полуфазе) обнаруживали, что аудитория становится все более восприимчивой к их пропаганде. Как только подавляющая часть населения начинала придавать особое значение своей национальной идентичности, формировалось массовое движение, которое я назвал фазой С. Только на этой, финальной фазе обретала жизнь завершенная социальная структура и движение подразделялось на консервативно-клерикальное, либеральное и демократическое крылья, каждое из которых имело свою собственную программу.

ЧЕТЫРЕ ТИПА НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Предлагаемая мной периодизация призвана способствовать вдумчивому сопоставлению национальных движений — следовательно, достижению чего-то большего, чем простой синхронный обзор тех процессов, которые в одно и то же время происходили в разных частях Европы прошлого века, — то есть исследованию сходных форм и фаз исторического развития национальных движений. Для такого сравнения требуется выбрать определенный набор параметров, в понятиях которых можно было бы анализировать раз-

личные национальные движения. Чем сложнее феномен, подлежащий сравнительному исследованию, тем, разумеется, большим должно быть число таких подходящих параметров. Но, как правило, более целесообразными оказываются постепенные действия, накопление результатов сравнения шаг за шагом, чем одновременное использование слишком большого числа параметров. Вот несколько наиболее важных ориентиров, частью которых уже пользовался я сам или кто-то другой, в то время как иные исследователи оставляют их в качестве темы для будущего изучения: это социальная принадлежность и распределение по территории страны ведущих патриотов и активистов; роль языка как символа и способа идентификации; место театра (а также музыки и фольклора) в национальных движениях; выдвижение или невыдвижение требований гражданских свобод; значение, придаваемое историческому сознанию; положение школьной системы и степень грамотности членов этнической группы; участие церкви и влияние религии; вклад женщин как активисток движения и символов его зрелости. Однако, помимо всего этого, в ходе своих собственных исследований я обнаружил, что основополагающее значение для любой типологии национальных движений в Центральной и Восточной Европе (но не только там) имеет *соотношение* между переходом в фазу B, а затем в фазу C, с одной стороны, и переходом к конституционному обществу, основанному на равенстве всех перед законом, с другой, — процесс, который часто характеризуют как момент «буржуазной революции». По разному соединяя эти две цепи перемен, мы можем выделить четыре типа национальных движений в Европе:

1. В первом случае ростки национальной агитации (фаза Б) приходятся на время существования старого абсолютистского режима, а массовый характер она приобретает в период революционных преобразований в политической системе, когда организованное рабочее движение также начинает заявлять о себе. Лидеры фазы B создавали свои национальные программы в условиях политического кризиса. Так происходила чешская агитация в Богемии, так было в венгерском и норвежском движениях; все они вступили в фазу B около 1800 года. Норвежские патриоты добились либеральной конституции и декларации независимости в 1814 году, между тем как чехи и мадьяры сформулировали, хотя и в абсолютно иной манере, свои национальные программы в период революций 1848 года.
2. Во втором случае национальная агитация также стала набирать обороты еще при старом режиме, но переход к массовому движению, или фазе C, здесь был отложен до совершения конституционного переворота. Это отличие последующей ступени могло быть вызвано либо иным уровнем эко-

номического развития, если взять, например, Литву, Латвию, Словению или Хорватию, либо иноземным господством, как в Словакии или на Украине. В Хорватии началом фазы В можно считать 1830-е годы, в Словении — 1840-е, в Латвии — конец 1850-х, а в Литве — начало 1870-х; соответственно фаза С в Хорватии была достигнута в 1880-х, в Словении — в 1890-х, а в Латвии и Литве только во время революции 1905 года. Насильственная мадьяризация Словакии после 1867 года затормозила ее переход в фазу С, и к таким же последствиям привела деспотичная русификация на Украине.

3. В третьем случае национальное движение приобрело массовый характер уже при старом режиме, то есть до того, как сформировались гражданское общество или конституционный порядок. Движения этого типа приводили к вооруженным восстаниям и ограничивались территориями Оттоманской империи в Европе — Сербией, Грецией и Болгарией.
4. В последнем случае национальная агитация впервые возникла в конституционных условиях, при более развитом капиталистическом устройстве, характерном для Западной Европы. Одни национальные движения этого типа могли достигать фазы С весьма рано, как это произошло на земле Басков и в Каталонии, тогда как другие достигали ее, только пройдя долгую фазу В, как это было во Фландрии, или не достигали вовсе — как в Уэльсе, Шотландии или Британии.

Ни один из пройденных нами этапов — от дефиниции к периодизации, а от нее к типологии — не является, конечно, целью сам по себе. Они не объясняют ни истоков, ни итогов различных национальных движений. Они представляют собой всего лишь отправные пункты для решения подлинной задачи любого исторического исследования — каузального анализа. Чем объясняется успех большей части этих движений, принадлежащих эпохе, которая окончилась в Версале, и чем объясняется поражение остальных? На счет чего записать различия в их эволюции и развязке? Если очевидно, что расхожий взгляд, согласно которому нации в Европе были придуманы националистами, не имеет под собой оснований, то монокаузальные объяснения лишь немногим более утешительны. Всякое удовлетворительное рассмотрение должно искать многих причин и достигать разных уровней обобщения; кроме того, ему надлежит охватывать весь хронологически обширный период неравномерного европейского развития.

ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВУ НАЦИИ

Всякое такое объяснение должно начинаться с «прелюдии» к национальному строительству, которая разыгрывалась в позднюю средневековую эпоху и раннее Новое время и имела великий смысл не только для наций-государств Запада, но и для тех этнических групп в центре и на востоке континента, а равно где-то еще, которые по-прежнему оставались или вновь оказывались под господством «внешних» правящих классов. В исторической действительности встречаются, конечно, не только эти два идеальных типа, но и много промежуточных вариантов. Большое количество средневековых государств, имевших собственную письменность, не переросли успешным образом в государства-нации, а наоборот, потеряли, отчасти или полностью, свою автономию, в то время как их население в целом сохранило свою этническую принадлежность. Это относится к чехам, каталонцам, норвежцам, хорватам, болгарам, валлийцам, ирландцам и прочим народам. Даже в случае с более «чистыми» в типологическом смысле недоминантными этническими группами — например, словенцами, эстонцами или словаками — мы не можем обходить вниманием их общее прошлое как всего лишь миф. Вообще говоря, наследие первой стадии процесса строительства нации, даже если он прерывался, часто обеспечивало существенные ресурсы для следующей. Вот из чего, в частности, они состояли:

1. Очень часто сохранялись некоторые отпечатки прежней политической автономии — как ни странно, ценимые членами тех сословий, которые относились к «правящей» нации, — и проистекающие отсюда трения между сословиями и абсолютизмом, что порой обеспечивало импульсы для последующих национальных движений. Эти проявления можно было наблюдать во многих частях Европы конца XVIII века — например, в протесте венгерских, богемских и хорватских аристократов против централизма Иосифов Габсбургов, в реакции финской знати на неоабсолютизм Густава III, в оппозиции землевладельцев-протестантов Ирландии усилиям по централизации управления, проводимым английскими властями, или в ответе местных бюрократов Норвегии на датский абсолютизм.
2. «Память» о былой независимости или государственности, даже относящихся к очень далекому прошлому, могла играть важную роль в стимулировании национально-исторического самосознания и этнической сплоченности. Это самый первый аргумент, который был использован в фазе В патриотами в чешских землях, Литве, Финляндии, Болгарии, Каталонии, да и вообще повсеместно.

3. Во многих случаях более или менее уцелела средневековая письменность, что облегчало развитие норм современного языка и собственной литературы на нем, как это, в частности, показывает пример чехов, финнов и каталонцев. Однако в XIX веке контраст между случаями наличия подобного рода наследия и случаями его отсутствия был в значительной мере преувеличен, и временами стали звучать заявления, будто оно соответствует противоположности «исторических» народов «не историческим», тогда как на самом деле этот контраст бывал заметным только в моменты пульсации уже нарождающегося исторического сознания нации.

Однако во всех случаях ясно то, что современный процесс строительства наций начинался со сбора информации об истории, языке и обычаях недоминантной этнической группы, — информации, которая стала решающим элементом первой фазы патриотической агитации. Исследователи-эрудиты фазы А «открывали» этническую группу и закладывали основу для последующего формирования «национальной идентичности». Тем не менее их интеллектуальную деятельность нельзя назвать организованным политическим или социальным движением. Большинство патриотов вообще не выдвигало никаких «национальных» требований. Превращение их целей в планы социального движения за культурные и политические преобразования явилось результатом фазы В, и вопрос о причинах, по которым это произошло, попрежнему остается в значительной мере открытым. Почему научные интересы превратились в эмоциональную привязанность? Как пристрастие или преданность человека своему региону выросли в его самоидентификацию с этнической группой как будущей нацией?

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И КОММУНИКАЦИИ

В первом приближении можно было бы выделить три процесса, играющих решающую роль в подобного рода трансформации: (1) социальный и/или политический кризис старого порядка, характеризующийся новыми горизонтами и уровнями напряженности; (2) возникновение разногласий между влиятельными группами населения; (3) утрата веры в традиционные нравственные системы, а кроме того, упадок религиозного авторитета, даже если это касалось только малого числа интеллектуалов (но не считая тех, которые находились под влиянием рационализма Просвещения, а также представителей иных раскольнических течений). В целом нам ясно, что будущие исследования должны будут уделить больше внимания этим разнообразным аспектам кризиса, а также тому, насколько патриоты были способны или

готовы дать своей реакции на эти аспекты национальное — а не просто социальное или политическое — выражение. Если на данном этапе определенные группы интеллектуалов начинали проводить по-настоящему националистическую агитацию, то впоследствии это приводило национальное движение к критической фазе В. Однако отсюда автоматически не следовало рождения новой нации, для формирования которой требовались еще и другие условия. Поскольку мы еще должны поставить вопрос: при каких обстоятельствах такая агитация способствовала в итоге успешному переходу к массовому движению фазы С, способному полностью воплотить в жизнь национальную программу?

Ученые в области социальных наук выдвигали различные теории, чтобы объяснить подобную трансформацию, но они едва ли могут нас удовлетворить, поскольку не соответствуют эмпирическим данным. Например, Эрнест Геллнер самым тесным образом связывает рост «национализма» с функциональными потребностями индустриализации[6]. Тем не менее большинство национальных движений в Европе родились как раз до появления современной промышленности и, как правило, проходили решающую в своем развитии фазу В до всякого соприкосновения с ней, причем многие из них, кстати сказать, в преимущественно аграрных условиях. Но если подобные изъяны характерны для большей части социологической литературы, то мы, с другой стороны, не можем просто ограничиться индуктивными описаниями, столь любимыми историографами традиционалистского толка. Поэтому давайте рассмотрим два фактора, по-разному обозначаемых разными авторами, но по существу своему являющихся объектами некоторого согласия в данной сфере. Приняв словарь Карла Дойча, мы можем назвать эти факторы социальной мобильностью и коммуникацией[7]. В этом пункте ситуация кажется на первый взгляд сравнительно однозначной. Мы можем подтвердить, что в большинстве случаев члены патриотических групп принадлежали к профессиям с довольно высокой вертикальной мобильностью и в них никогда не преобладали рекруты из групп с низкой социальной мобильностью, вроде крестьян. Таким образом, высокий уровень социальной мобильности, по-видимому, служил благоприятным условием для принятия патриотических программ на фазе В. И все бы шло хорошо, однако, к сожалению, нам известно, что это также часто способствовало успешному выдвижению тех же самых групп наверх и принятию их в ряды правящей нации. Сходным образом и социальная коммуникация, как способ передачи информации о действительности и о подходах к ней, безусловно, сыграла важную миссию в приближении современного капиталистического общества, и если мы проанализируем занятия патриотов, то придем к выводу, что их нацио-

нальная агитация была в первую очередь обращена к тем членам недоминантных этнических групп, которые имели возможность пользоваться наилучшими каналами подобного рода коммуникации. Территориальный анализ дает тот же самый результат: регионы с наиболее развитой сетью коммуникаций были в наибольшей степени восприимчивы к подобной агитации. Поэтому нам кажется оправданной точка зрения Дойча, согласно которой рост национальных движений (он имел в виду национализм) происходил бок о бок с прогрессом социальных связей и мобильности, которые также развиваются не сами по себе, а в рамках более всеобъемлющей трансформации общества[8].

Тем не менее необходимо сопоставить эту гипотезу с исторической реальностью, по крайней мере в двух экстремальных случаях. Как одну из таких крайностей нам следует взять пример района Полесья в Польше в период между первой и второй мировыми войнами — области с минимальной социальной мобильностью, очень слабо связанной с рынком и малограмотной. Когда во время переписи 1919 года ее жителей спросили об их национальности, большинство из них дали незамысловатый ответ: «Тутошние мы»[9]. Такая же картина преобладала в Восточной Литве, Западной Пруссии, Нижних Лужицах и разных регионах Балкан. Но как обстоит дело в противоположном случае? Могут ли интенсивный рост коммуникации и высокий коэффициент мобильности считаться причинами успеха на фазе B? Никоим образом, поскольку опыт таких земель, как Уэльс, Бельгия, Британия или Шлезвиг, напротив, показывает, что эти факторы вполне могут сочетаться со слабой восприимчивостью населения к национальной агитации в условиях, когда решающее значение имеет вызревающий конституционный порядок.

КРИЗИС И КОНФЛИКТ

Помимо социальных перемен и высокого уровня мобильности и коммуникации, был необходим еще один мощный фактор, который обычно способствовал ускорению национальных движений. Я назвал этот фактор конфликтом интересов в национальной сфере; иначе говоря, это социальное напряжение или противоречие, которое могло бы наложиться на языковые (а подчас и религиозные) различия. В XIX веке общим примером такового служил конфликт между новыми выпускниками университетов, происходящими из не-доминантных этнических групп, и замкнутой элитой правящей нации, имевшей наследственную монополию на ведущие позиции в государстве и обществе[10]. Кроме того, были и столкновения интересов крестьян из подчиненной в этническом отношении группы с земельной аристократией из до-

минантной, между ремесленниками из первой и крупными торговцами и промышленниками из второй, и так далее. Важно отметить, что такие конфликты интересов, которые сказывались на судьбе национальных движений, невозможно свести к классовым конфликтам, поскольку национальные движения всегда привлекали в свои ряды членов нескольких классов и групп, так что их интересы определялись широким спектром общественных отношений (включая, конечно, и отношения классовые).

Почему социальные конфликты такого рода в одних частях Европы успешно выражались в национальных понятиях, а в других частях — нет? Парадоксально, но мы вправе сказать, что в XIX веке национальная агитация часто начиналась ранее и делала более мощные рывки вперед в тех областях, где недоминантные этнические группы в целом, то есть, как правило, включая и их лидеров, были весьма скудно политически образованы и фактически совсем не имели политического опыта вследствие гнета абсолютизма, под которым они развивались. Богемия и Эстония — только два примера из многих подобных. В таких обстоятельствах не было места более развитым формам политической логики или аргументации. Обеим сторонам данного конфликта легче удавалось выражать социальное противостояние или враждебность в категориях национальных, то есть представлять их как опасность для общей культуры или отдельного языка, или этнического интереса. Это была основная причина, по которой западноевропейские национальные движения демонстрируют характерное отклонение от остальных (см. тип 4). Именно более высокий уровень политической культуры и опыта позволял выражать конфликты и интересы в большинстве западных областей Европы в политических терминах. Поэтому фламандские патриоты уже в истоках фазы B поделились на два лагеря — либеральный и клерикальный, — и большая часть избирателей-фламандцев выразила свои политические предпочтения голосованием за либеральную или католическую партии, оставив собственно фламандской партии лишь меньшинство голосов. То же явление сегодня можно наблюдать в Уэльсе или Шотландии. В таких условиях национальной программе было нелегко завоевать массовую поддержку, и в некоторых случаях движению так и не суждено было перейти в фазу C. Урок, который из этого стоит извлечь, состоит в том, что недостаточно учитывать только формальный уровень социальной коммуникации, достигнутой в данном обществе, — необходимо также учитывать комплекс того содержимого, которое транслируется посредством нее (даже если оно в некоторой степени бессознательно). Если национальные цели и лозунги, используемые агитаторами для выражения социального напряжения, действительно соответствуют непосредственному повседневному опыту, уровню грамотности и си-

стеме символов и стереотипов, принятой большинством представителей недоминантной этнической группы, то достижение фазы С возможно в относительно короткое время.

Модель успешного национального движения, таким образом, включает в себя как минимум четыре элемента: (1) кризис легитимности, связанный с социальными, моральными и культурными деформациями; (2) базисный уровень вертикальной социальной мобильности (некоторое количество образованных людей должно прийти из недоминантной этнической группы); (3) довольно высокий уровень социальной коммуникации, в том числе грамотности, школьной подготовки и рыночных отношений; и (4) конфликты интересов национального характера. Такая модель не претендует на объяснение всех проблем в долгой и сложной истории национальных движений. Позвольте мне проиллюстрировать это, предложив вашему вниманию некоторые из проблем, которые по сей день остаются неразрешенными, несмотря на обилие новых «теорий национализма».

БРЕШИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ЭТОЙ МОДЕЛИ

Мои собственные сравнительные исследования сосредоточены на стечении социальных обстоятельств, характерном для фазы В в европейских национальных движениях XIX века. Для фазы С до сих пор аналогичные исследования не проводились[11]. Здесь тоже крайне необходим сравнительный анализ, и не только социальных групп, мобилизующихся в то время, когда национальная программа становится привлекательной для масс, но также и того, какое значение имеет каждый из трех принципиальных компонентов ее собственной повестки. До сих пор эти компоненты еще ни разу не составляли идеального комплекса. Мы должны исследовать взаимоотношения между культурными, политическими и социальными задачами национальных программ того времени, равно как и внутреннюю структуру каждой, и те специфические требования, которые исходят из них. Мы уже знаем, что они могут широко варьироваться. Более того, едва в национальной программе получают отчетливое выражение политические требования, движение неизбежно становится полем битвы за власть, и не только в рамках борьбы против правящей нации, но и в рамках борьбы за лидерство внутри национального движения как такового. При таких обстоятельствах руководство национальным движением, как правило, переходило от интеллектуалов к профессиональным слоям в более широком смысле этого слова.

Другой жизненно важной сферой сравнительного исследования является социальная физиогномика лидеров национальных движений — или в целом

национальной интеллигенции в регионе. Некоторые предварительные сопоставления чешских, польских, словацких и немецких интеллектуалов того периода, которые я уже проводил, позволяют предположить, что остается еще масса неиспользованных возможностей для толкования национальных стереотипов, политической культуры и социальных чувств патриотов. Разительные отличия в социальном происхождении чешской и немецкой интеллигенции того периода проливают новый свет на национальные движения каждой из этих групп в Богемии[12]. Но мы также должны отметить, что слишком мало исследований было посвящено тем интеллектуалам, которые, в силу своего образования и этнического происхождения, могли бы принять участие в национальном движении, но не стали этого делать. Нам необходимо знать больше и об этой национально не ангажированной или ассимилированной интеллигенции.

Последний и значимый пробел в современном исследовании национальных движений прошлого века выглядит несколько неожиданно. Немало иронии было растрачено на исторические легенды и фантазии на тему прошлого, припасенные патриотами той эпохи[13]. Но на самом деле нам не слишком много известно о реальной роли истории в возникновении и росте национальных движений. Ведь к тому времени, безусловно, сложился подлинный фонд исторического опыта, на основе которого многие из них поднялись, — все это материалы, накопленные первой, до-современной стадией процесса собственно национального строительства; и кроме того, были разные формы, в которых эти материалы впоследствии находили свое отражение в сознании недоминантной этнической группы. Обычно склад исторического мышления, который возникал на заре национального движения, существенно отличался от склада исторического мышления, развивавшегося к его окончанию. В этом смысле нам представляются особо поучительными сравнения Западной Европы с Восточной, правящих наций с управляемыми. Сопоставив немецкие и чешские исторические романы той эпохи, что я и проделал недавно, мы получим внушительные результаты: в то время как герои первых в большинстве своем взяты из представителей (главным образом прусской) власти и аристократии, в последних этот социальный слой находит отражение крайне редко[14].

«НОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ» РЕЗЮМИРУЕТ СТАРЫЙ

В какой степени вышеописанная модель, полученная на основе исследования национальных движений в Европе XIX века, способствует пониманию «новых типов национализма» в Центральной и Восточной Европе сегодня?

Расхожее представление о том, что нынешние беспорядки есть следствие освобождения иррациональных сил, которые долго были подавлены — точнее сказать, «глубоко заморожены» — при коммунизме, а теперь, после пятидесятилетнего коллапса, полностью ожили, является, несомненно, поверхностным. Подобного рода понимание является нелепым: оно ближе к миру волшебных сказок, чем к миру исторического процесса. Гораздо более оправданно было бы рассматривать силы, реформирующие Центральную и Восточную Европу на протяжении последнего десятилетия, как «новые национальные движения», цели которых во многом аналогичны целям национальных движений в XIX веке, хотя в ряде существенных отношений они и отличаются от последних.

Самое сильное сходство между двумя разновидностями национальных движений заключается в том, что сегодня воссоздается та же самая триединая комбинация задач, которая составляла национальную программу сто лет назад. Конкретные цели, преследуемые ныне, естественно, не тождественны целям прежних национальных движений, но общий пафос тесно связывает их друг с другом. Вновь на поверхность с большой силой выступили языковые и культурные требования — прежде всего, конечно, на территории бывшего СССР. Здесь никогда не было официальной политики подавления местных наречий в том духе, как это часто происходило при царской власти, что фактически даже способствовало усилению роли местных языков в межвоенный период, в течение которого народные украинские, белорусские, кавказские и центральноазиатские диалекты стали языками школьного обучения и печати. Но на западных землях, приобретенных СССР после войны, никакие подобные меры не осуществлялись, и русский язык постепенно все более навязывался там как язык общественной жизни. Отсюда сегодняшняя важность языковых проблем в этих районах: Эстония, например, провозгласила, что знание ее языка является условием обеспечения гражданских прав, а Молдавия вернулась к латинскому алфавиту. В странах к западу от Буга и Днестра языковые требования были менее насущными. Но и здесь одним из первых признаков развала Югославии в семидесятых и восьмидесятых годах явилась кампания по выделению хорватского языка как полностью независимого от сербского; равным образом и Институт словацкой литературы (Матика) положил начало доводам в пользу национальной независимости Словакии, основанным на тезисе самобытности языка.

Если значение языкового компонента сегодня варьируется от региона к региону, то политический компонент во всех случаях занимает центральное положение. Обе главные цели, которые находят выражение в этой области, имеют свои параллели в прошлом. С одной стороны, призыв к демократии

соответствует требованию гражданских прав в программе «классических» движений. С другой стороны, жажда абсолютной независимости воспроизводит увлеченность идеей этнической автономии в XIX веке. В большинстве случаев, хотя и не всегда (исключение составляют Словения, Хорватия или Словакия), довоенный опыт независимой государственности решающим образом определяет здесь характер модели. К 1992 году политическая независимость была уже, разумеется, полностью вновь подтверждена на большей части Восточно-Центральной Европы; в то время как на территории бывшего СССР все республики, ранее входившие в его состав, наконец-то стали юридически суверенными государствами. В этих условиях энергии движений предстояло работать уже в новых направлениях, связанных с полученной независимостью, то есть в решении проблем о мерах сосуществования с внешними соседями, а также с внутренними меньшинствами.

И наконец, новые национальные движения выражают иную социальную программу, соответствующую условиям, для которых типична быстрая смена правящих классов. Лидеры этих движений стремятся к достижению весьма конкретной цели: обеспечить целостность социальной структуры нации, создав капиталистический класс по образцу западных государств, в котором они сами могли бы занять видное положение. Здесь аналогии с прошлым также поражают воображение.

Более того, кроме всего вышеперечисленного, есть и еще ряд значительных сходств. В XIX веке переход к фазе В происходил в то время, когда старый режим и его социальный порядок были на грани полного разложения. По мере ослабления или исчезновения традиционных связей тяга к новой коллективной идентичности заставляла людей из различных социальных сословий, а затем и приверженцев различных политических течений объединяться в единое национальное движение. Так же дело обстоит и сегодня: после краха коммунистического правления и плановой экономики привычные связи разрушились, оставив общее чувство тревоги и незащищенности, в атмосфере которого национальная идея начинает успешно монополизировать роль фактора интеграции. В условиях сильного стресса людям обычно свойственно переоценивать чувство комфорта и защищенности, которое может дать им единство с собственной национальной группой.

В свою очередь, отождествление с национальной группой предполагает, как это происходило и в предыдущем веке, создание персонифицированного образа нации. Славное прошлое такой персоналии должно жить в личной памяти каждого гражданина, а ее поражения — возмущать его, как неудачи, о которых невозможно забыть. Одно из последствий подобного олицетворения заключается в том, что люди начинают рассматривать свою нацию,

то есть самих себя, как единый организм в более чем метафорическом смысле слова. Даже если малую часть нации настигнет какая-нибудь беда, она будет ощущаться всей нацией как целым, и если какой-нибудь ветви этнической группы — даже живущей далеко от своей «материнской нации» — будет грозить ассимиляция, члены персонифицированной нации смогут расценивать это как ампутацию части национального тела.

Само собою понятно, что персонифицированный национальный организм, как и в XIX веке, требует себе собственного отдельного пространства. И ныне, как тогда, претензии на такое пространство основываются на обращении к двум различным критериям, отношения между которыми часто весьма натянуты: с одной стороны, на принципе области, характеризующейся этнической однородностью своего населения как группы с общим языком и культурой; а с другой стороны, на понятии исторической территории с ее традиционными границами, в которых часто заключены и другие этнические группы со статусом меньшинства. В XIX веке второй критерий приобрел особую важность для так называемых «исторических наций». Так, чехи считали все земли в границах Богемии и Моравии принадлежностью своего национального организма; хорваты рассматривали все три части средневековых королевских владений как свою собственность; литовцы полагали, что польско-еврейский город Вильно является их настоящей столицей. Сегодня эта модель имеет еще больший потенциал широкого распространения, поскольку, наряду с теми нациями, которые в прошлом веке расценивались как «исторические», теперь еще появились нации, снискавшие себе соответствующего рода историю до войны, когда эстонцы или латыши добились независимого государства, или даже во время войны, когда словаки и хорваты обеспечили себе протекторат под нацистским покровительством. В этих условиях лидеры новых национальных движений снова склоняются к провозглашению государственных границ национальными границами и к тому, чтобы считать этнические меньшинства на «их» территориях аутсайдерами, которым можно отказывать в национальной идентичности, а членов группы высылать за пределы страны. В Европе снова играет большую роль психологическая география, так как дети в начальной школе постоянно видят перед собой официальные карты своей страны[15].

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОНИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА

Может возникнуть вопрос: почему этнические и языковые аргументы так часто играют решающую роль в программах многих новых национальных дви-

жений в Центральной и Восточной Европе, тогда как западный мир пытается проститься с принципом этнической принадлежности как организационным принципом экономической жизни? Некоторое объяснение нам дает опыт классических национальных движений этого региона[16]. Когда их активисты впервые начали свою агитацию в XIX веке, члены недоминантной этнической группы не были политически образованы и не имели опыта общественной деятельности в гражданском обществе. В этих условиях обращение к политической логике гражданских или человеческих прав в подобных едва ли могло быть эффективным. Для чешского либо эстонского крестьянина «свобода» означала отмену феодального «рэкета» и возможность беспрепятственно пользоваться землей на своей собственной ферме, то есть отнюдь не парламентский режим. Действительность общего языка и обычаев была гораздо более доступной для понимания, чем заумные концепции конституционной свободы. Сегодня ситуация в известном смысле аналогична: спустя полвека диктаторского правления уровень образованности в гражданском обществе по-прежнему в основном недостаточен, и языковые и культурные апелляции вновь могут выступить в качестве замены четко выраженным политическим требованиям, как это можно наблюдать в бывших республиках Югославии, в Румынии, государствах Прибалтики. На практике такое случается даже там, где официальная пропаганда созвучна разговорам о демократии и гражданских правах.

Конечно, языковые и этнические требования не везде имеют одинаковое значение. Но, например, во многих республиках бывшего Советского Союза язык господствовавшей нации часто оставался символом политического угнетения, каково бы ни было формальное положение основного местного языка. В XIX веке борьба национальных движений эпохи против немецкоязычной бюрократии империи Габсбургов, или российской бюрократии в царской империи, или чиновничества Оттоманской империи в основном разворачивалась вокруг языковых проблем. И сегодня диалект всякой маленькой нации, сражающейся за свою независимость, автоматически рассматривается как язык свободы. Однако здесь на кону нечто большее, чем вопросы престижа и символики. Нежелание членов господствующей нации допустить истинное языковое равенство всегда приводило недоминантную этническую группу к определенному материальному поражению. Люди, говорящие на немецком и венгерском языке, во времена австро-венгерской монархии отказывались учить или использовать языки других этнических групп, проживающих на «их» территории. Затем с распадом империи и возникновением новых независимых государств в 1918—1919 годах многие из них внезапно обнаружили, что их статус свелся до уровня официального

меньшинства. Но, как правило, они и после этого не желали смириться с преобладанием языка малых — но теперь господствующих — наций, под управлением которых им приходилось жить: чехов, румын, поляков и других. Это была взрывоопасная ситуация, последствия которой с приходом Третьего рейха в Германии стали зловещими. Сегодня происходит такой же процесс понижения национального статуса, как, в частности, статуса русских, которые в отдаленных республиках становятся меньшинством в независимых государствах, формирующихся благодаря национальным движениям. Подобные исторические параллели между положением *Volksdeutsche*[17] и положением, так сказать, *«Volksrussen»* поразительны и внушают тревогу.

СПЕЦИФИКА ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Какова роль национально окрашенных социальных конфликтов в современных условиях? Теоретически можно было бы предположить, что они не возникли бы там, где столкновения интересов способны находить непосредственно политическое либо социальное выражение. Но, хотя наше знание на сей счет остается весьма ограниченным, уже понятно, что некоторые такие конфликты нынче приобретают национальную заостренность. Случаи, когда местная интеллигенция выступает против номенклатурной элиты другой этнической группы, которая отказывается учить местный язык (хрестоматийный пример в этом плане — ситуация в Прибалтике), в этом плане не самые распространенные. В действительности большинство социальных конфликтов, имеющих национальное значение, сегодня весьма отличаются от классического положения вещей в XIX веке и свидетельствуют о колоссальном несходстве между социальными структурами Центральной и Восточной Европы в прошлом и настоящем.

Ибо текущая ситуация в регионе носит во многих отношениях уникальный в европейской истории характер. Старый порядок, основанный на плановой экономике и власти номенклатуры, в одночасье исчез, оставив после себя политический и общественный вакуум. В этих условиях ведущее положение в обществе быстро заняли новые элиты, воспитанные старым режимом, но ныне вставшие во главе национальных движений. Образованные слои недоминантных этнических групп в XIX веке боролись за те же цели, но каждую позицию им приходилось отвоевывать у официальных элит правящей нации, и условием их успеха было принятие традиционных форм жизни, свода моральных норм и правил игры стоящих над ними классов. Напротив, в настоящее время вертикальная социальная мобильность в на-

правлении высших уровней благосостояния или власти, не зависит ни от каких традиционных норм, а зачастую просто оказывается результатом личного или национального эгоизма. Вакуум на вершине общества создал возможность для очень стремительных карьерных продвижений, и сегодня складывается новый правящий класс, рекрутированный из слияния трех принципиальных потоков: начинающих политиков (некоторые из них — это бывшие диссиденты), ветеранов бюрократии (это самые опытные управляющие из сферы старой командной экономики) и нарождающихся предпринимателей (порой обладающих финансовыми ресурсами весьма сомнительного происхождения). Борьба внутри этих групп и между ними за привилегированные позиции пока породила лишь более сильный конфликт интересов в посткоммунистическом обществе; и там, где члены различных этнических групп проживают на одной территории, она вызывает сегодня основные трения специфически-национального характера.

Разрушительные последствия такой ситуации существенно усиливает другое заметное отличие современного стечения обстоятельств от предыдущего. В XIX веке национально окрашенные конфликты интересов, как правило, вызывались процессами экономического развития и социального совершенствования, которые сталкивали ремесленников-традиционалистов с промышленниками-модернизаторами, мелких крестьян с крупными землевладельцами или скромных предпринимателей с большими банкирами в борьбе за соответствующий кусок пирога, неуклонно прибавляющего в размерах. Однако сегодня конфликты этого рода принимают безобразно непомерные очертания на фоне экономической депрессии и упадка, в условиях которых пирога становится все меньше и меньше. В подобных обстоятельствах не приходится удивляться тому, что диапазон конфликтов в пределах самих национальных движений оказывается заметно шире, чем в прошлом. Одно из последствий этого заключается в том, что обширный спектр политических позиций, представленных в программах даже подлинно «националистических» партий нашего времени, которые могут значительно разниться друг с другом в целях и методах, делает все более затруднительным разговор о единой национальной программе. В то же самое время существенно возросший уровень социальной коммуникации, обеспечиваемый современными электронными средствами массовой информации, позволяет националистической агитации быстрее получать отклик у широких слоев населения. Появилось больше возможностей манипулировать публикой и внедрять национальные интересы там, где их раньше не существовало. Контроль над средствами массовой информации в Центральной и Восточной Европе — это жизненно значимая ставка в борьбе за власть, поскольку их про-

фессиональное применение сообщает необычайную власть «контролерам». Безусловно, мы уже видели, к каким последствиям это приводит.

Однако современная конъюнктура имеет еще одну отличительную черту, которая может противодействовать этим последствиям. В XIX веке национальное движение, процесс национального строительства, а также национализм были характерны для каждой части Европы. Новые национальные движения Центральной и Восточной Европы, наоборот, появляются на арене в такой момент, когда в западной части континента уже воплотилась в историческую реальность идея европейской интеграции. Форма, которую эта интеграция может принять, разумеется, остается весьма спорной, поскольку конституционное будущее ЕС определяют сегодня две противоречивые тенденции: одна к тому, чтобы Европа стала континентом для граждан безотносительно к их этнической принадлежности, а другая крепко держит ее в тисках понятий о традиционных этнических различиях и ведет к созданию в Европе единства раздельных наций-государств. Как бы ни разрешился данный конфликт, нельзя игнорировать то обстоятельство, что лидеры всех новых национальных движений заявляют о своем желании войти в пространство объединенной Европы. В этом плане мы можем говорить о двух комплиментарных (в субъективном смысле) процессах самоидентификации этнических групп в Центральной и Восточной Европе: национальном, основанном на историческом опыте различных этнических групп региона и способствующем разрастанию упомянутых выше конфликтов, и европейском, отражающем новые надежды и горизонты. Если бы мы применили свои критерии периодизации классических национальных движений к процессам собственно европейской интеграции, то, без сомнения, увидели бы, что вторая ступень фазы В была успешной в Западной Европе, в то время как ее самое начало едва различимо в Центральной и Восточной, то есть там, где в любом случае важно делать различия между конъюнктурными экономическими декларациями о приверженности европейским идеалам и культурными или политическими стремлениями к ним.

ПЕРСПЕКТИВА КАТАСТРОФЫ?

К каким же последствиям, скорее всего, приведут новые национальные движения в бывших коммунистических частях континента в целом? Трагические процессы, которые происходят сегодня там, где еще вчера была Югославия, делают вполне очевидными все опасности подобного стечения обстоятельств. Бескомпромиссный упор на этнических характеристиках нации быстро приводит к политике национализма в истинном смысле этого слова.

Стоит только дать волю такому ходу событий, как все этические и гуманистические призывы неизбежно будут оказываться напрасными — отнюдь не от недостатка таланта у тех, кто их произносит, а в силу того, что, едва эти новые движения приобретают массовый характер, они, как показывает опыт их предшественников, уже не поддаются ни разумной аргументации, ни давлению со стороны политических сил (которое может даже спровоцировать их более радикальные проявления). А потому насколько же они угрожают не только интеграции, но и стабильности в Европе?

Всем известно, что наиболее разрушительным последствием классических национальных движений этого региона была их роль как катализаторов первой мировой войны. Сегодня критики «нового национализма» в Центральной и Восточной Европе предупреждают нас об опасностях повторения такого рокового последствия. Однако они забывают о том, что к войне в первую очередь привела националистическая политика великих держав, тогда как конфликты между малыми государствами и их националистически настроенными политиками были не более чем лучиной, использованной великими державами. Современный «этнонационализм» — это явление, характерное главным образом для малых этнических групп или наций, которые не обладают значительным весом на международной арене. Конфликты, которым он дает начало, действительно являются факторами нестабильности в регионе, но они не угрожают миру в Европе таким же образом, как это было на рубеже веков, — во всяком случае, они не станут угрожать ему до тех пор, пока какая-нибудь из великих держав не попытается обратить их в выгоду для себя. В настоящее время такая перспектива кажется весьма отдаленной, поскольку все основные европейские государства, за исключением России, сегодня объединены в Европейском Сообществе. Тем не менее было бы неразумно полностью сбрасывать со счетов возможность того, что определенные заинтересованные партии или политики ведущих западных государств захотят использовать некоторые новые национальные движения для расширения зоны собственного влияния. Немецкие инициативы в Словении и Хорватии кое-кем истолковываются именно в таком свете[18]. Есть, конечно, и другая проблема, нависшая сегодня над регионом, которая напоминает скорее о периоде между двумя мировыми войнами, чем о прошлом веке. Речь идет о положении меньшинств в пределах посткоммунистических государств. Эти меньшинства делятся на два типа. Первый включает в себя этнические группы, проживающие в относительно компактных областях государства, в котором преобладает другая нация; эти группы в то же время принадлежат к нации, находящейся по ту сторону границы: например, мадьяры в Словакии или Трансильвании, сербы в Хорватии, поляки в Мора-

вии, русские в Эстонии, албанцы в Косово. Этническое население второго типа рассредоточено внутри государства, которое не является государством этой нации, как, в частности, словаки или немцы в Венгрии, румыны в Сербии, турки в Македонии и цыгане повсюду. В любом случае движения меньшинств могут возникать в той же форме, что и движения национальные, но их решающее отличие заключается в том, что они даже не смеют надеяться на достижение независимого национального государства. Наивысшей целью этих движений может быть политическая автономия или пересмотр границ. Но и подобные цели, при случае, разумеется, могут иметь более взрывоопасный характер, чем задачи новых собственно национальных движений.

В заключение вполне можно поставить следующий вопрос: исходя из своих знаний о классических национальных движениях в Европе XIX столетия, что мы вправе считать изменяющимся, а что неизменным в динамике новых движений? Главной предпосылкой всех национальных движений — и вчера, и сегодня — является глубокий кризис старых порядков, сопровождающийся упадком системы всех его норм, а также ценностей и чувств, которые поддерживали его. В случае с нынешними движениями этот кризис сочетался с экономической депрессией и угрозой широкого распространения социальной разрухи, которые все больше усугубляли бедственное состояние общества. Но в обе эпохи третьим, решающим элементом этой ситуации был низкий уровень политической культуры и опыта широких масс населения. Стечение этих трех обстоятельств — кризиса общества и государства, экономического спада и политической неискушенности — отличает современную конъюнктуру, при которой их последствия усугубляются колоссальным повышением плотности и скорости общественных связей. Как только господствующий порядок — абсолютизм или коммунизм — подвергается некоторой либерализации, социальные или политические движения против него становятся неизбежными. Для их перехода в национальные необходимо наличие еще двух факторов: если этнической группе чего-то реально недостает для полнокровной национальной жизни и если имеются существенные трения, которые в условиях неравномерного развития этносов могут выражаться как национальный конфликт. Когда такие национальные движения приобретают массовый характер, идет ли речь о прошлом веке или о нынешнем, их уже не способны остановить ни властный запрет, ни применение силы. Самое большее, что сегодня возможно сделать, — это, вероятно, направить их по псевдоевропейскому пути, воспитывая гражданское сознание в школах и через средства массовой информации, и посредством официальных мер обеспечить разумный этнический баланс в общественной занятости. Вот только ограниченность подобных мер чересчур очевидна. Единствен-

ным поистине эффективным избавлением от опасностей нынешней ситуации является, увы, самое утопическое: разрешение экономического кризиса в регионе и приход эры нового процветания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. мои работы: *M. Hroch*. Social Conditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985; *M. Hroch*. Narodni Hnuti v Evrope 19. Stoleti. Prague, 1986.

2. Собственно термин «национализм» в научных дискуссиях стал употребляться довольно поздно, вероятно, не раньше выхода в свет исследований американского историка Карлтона Хейеса, и прежде всего его произведения «Историческая эволюция современного национализма». См.: *C. Hayes*. Historical Evolution of Modern Nationalism. N. Y., 1931. Этот термин довольно редко использовался в Европе межвоенного периода, как это явствует из обзорного труда А. Кемилайнена «Национализм. Проблемы слова, концепции и классификации». См.: *A. Kemilainen*. Nationalism. Problems concerning the Word, the Concept and the Classification. Jyvaskla, 1964. Первым авторитетным европейским ученым, открывшим это понятие для системного анализа, был Е. Лемберг. См.: *E. Lemberg*. Der Nationalismus. 2 vols. Hamburg, 1964.

3. Таким образом, если мы сравним сферы действия национальных движений в Западной и Восточной Европе в XIX веке, то количество древних культур окажется приблизительно равным. Но это соотношение изменится, если мы посмотрим, сколько автономных средневековых культур были интегрированы или уничтожены в каждом из двух регионов. Поскольку на Западе только некоторые такие культуры сохранились и легли в основу последующих национальных движений, а другие — нижненемецкая, арабская, провансальская и прочие — не сыграли подобного рода роли. Западные монархии в основном демонстрировали гораздо больше способностей к поглощению «негосударственных» культур и обществ, чем империи Габсбургов, Романовых или Оттоманская.

4. В строгом смысле этого слова (*лат.*). — *Прим. пер.*

5. Некоторые национальные движения очень рано ставили своей целью независимость; к их числу относятся национальные движения норвежцев, греков или сербов. Но гораздо больше было таких, которые пришли к этой цели значительно позже, причем в чрезвычайных обстоятельствах первой мировой войны, — среди них можно назвать чешское, финское, эстонское, латвийское и литовское движения, — в то время как иные (словенское или белорусское) не сформулировали ее и тогда. Каталонцы являют собою живой пример того, каким образом даже мощное национальное движение может обойтись без постановки такого требования, как обретение своей независимой государственности.

6. См.: *Ernst Gellner*. Nation and Nationalism. Oxford, 1983, *passim*. [Имеется русский перевод: *Геллнер Э.* Нации и национализм / Пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной; ред. и послесл. И. И. Крупника. М.: Прогресс, 1991. — *Прим. ред.*].

7. См. работу: *Karl Deutsch*. Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass., 1953. Другие ученые также подчеркивали значение социальной коммуникации для понимания национального чувства, при этом не следуя взглядам или терминологии Дойча. См., например: *Benedict Anderson*. Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. L., 1983 (2nd enlarged ed 1991). [Имеется русский перевод: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. статья С. Баньковской. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. — *Прим. ред.*].

8. Отто Бауэр был первым, кто уловил связь между процессом строительства нации и об-

щей капиталистической трансформацией общества. См.: *Otto Bauer. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*. Vienna 1907.

9. В западной литературе этот эпизод не становился предметом анализа. См.: *J. Tomaszewski*. Zdziejow Polesia 1921—1939. Warsaw, 1963. P. 25, 32 ff.

10. Впервые я указал на роль этого национально окрашенного конфликта в своей книге: *M. Hroch*. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegungen bei den kleinen Völkern Europas. Prague, 1968. Более подробный дальнейший анализ проблемы безработных интеллектуалов см. в книге: *A. D. Smith*. The Ethnic Revival in the Modern World. Cambridge, 1981.

11. Недостаток в исследованиях случаев этой проблемы объясняет то, почему Эрик Дж. Хобсбаум не мог проанализировать социальную структуру фазы С в своей последней работе. См.: *Eric J. Hobsbawm*. Nation and Nationalism 1789—1945. Cambridge, 1990. [Имеется русский перевод: *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. А. А. Васильева. Спб.: Алетейя, 1998. — *Прим. ред.*]

12. Некоторые частные результаты опубликованы в моей работе: *M. Hroch*. Das Bürgertum in den Nationalen Bewegungen des 19. Jahrhundert — ein europäischer Vergleich // Bürgertum in 19. Jahrhundert / Ed. J. Kocka. Vol. 3. Munich, 1988. P. 345 ff.

13. Типичный пример такой поверхностной реакции см.: *W. Kolarz*. Myths and Realities in Eastern Europe. L., 1946.

14. Die burgerliche Belletristik als Vermittlerin des bürgerlichen Geschichtsbewusstsein: deutsches und tschechiches Geschichtsbild im Vergleich. Bielefeld, ZIF, 1987.

15. О психологической географии как факторе национальной идентичности см.: *F. Barnes*. Us and Them: The Psychology of Ethnonationalism. N. Y., 1987. P. 10 ff.

16. Национальные движения «Востока» и «Запада» значительно менее сопоставимы, чем в период до 1918 года. Западные национальные движения (например, каталонское, баскское, валлийское, бретонское или шотландское) по-прежнему в основном находятся на фазе С, или даже на фазе В, которая началась у них еще в XIX веке, в то время как большинство восточных движений (например, чешское, эстонское, литовское или польское) добились национальной независимости после первой мировой войны, а другие (например, белорусское или украинское) теперь возвращаются к прерванной фазе В либо (как словацкое или хорватское) фазе С.

17. Этнических немцев (*нем.*). — *Прим. пер.*

18. Хрох имеет в виду сепаратное — без проведения предварительных консультаций со своими европейскими союзниками — признание 23 декабря 1991 года правительством Коля—Геншера независимости Словении и Хорватии, которое, по мнению многих исследователей, стало одним из мощных катализаторов югославской трагедии, подстегнувших вооруженную развяз-

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР

ПРИШЕСТВИЕ НАЦИОНАЛИЗМА. МИФЫ НАЦИИ И КЛАССА

Это теоретический очерк. Его цель — предложить общее, принципиальное объяснение тех масштабов сдвигов, которые произошли в жизни общества в XIX и XX столетиях в связи с появлением национализма. То, что я собираюсь здесь показать, в целом сводится к следующему:

1. В жизни человечества произошла важная и отчетливая перемена. Новый мир, в котором *национализм*, то есть соединение государства с «национальной» культурой, стал общепринятой нормой, в корне отличается от старого, где это было явлением редким и нетипичным. Существует огромное различие между миром сложных, переплетенных между собой образцов культуры и власти, границы которых размыты, и миром, который складывается из единиц, четко отграниченных друг от друга, выделяющихся по «культурному» признаку, гордящихся своим культурным своеобразием и стремящихся внутри себя к культурной однородности. Такие единицы, в которых идея независимости связана с идеей культуры, называется «национальными государствами». В течение двух столетий, последовавших за Французской революцией, национальные государства стали нормой политической жизни. Как и почему это произошло?
2. Для ответа на этот вопрос я предлагаю теоретическую модель, основанную на правдоподобных и в некотором смысле бесспорных обобщениях, которые вкупе с известными нам данными об изменениях, происходивших в обществе в XIX в., вполне объясняют это явление.
3. Соответствующий эмпирический материал укладывается в данную модель практически полностью.

Это ответственная заявка. Если это в самом деле удастся сделать, то проблема национализма, в отличие от большинства других крупных проблем, связанных с историческими изменениями в обществе, получит исчерпывающее решение. Было уже немало попыток объяснить различные масштабные исторические сдвиги, однако до сих пор дело ограничивалось в основном выявлением интересных возможностей или разработкой правдоподобных, но

частичных решений, не дающих в конечном счете ответа на поставленные вопросы. Решения эти редко отличались определенностью и не были, как правило, ни достаточными, ни убедительными. В данном же случае речь идет именно об убедительном и неоспоримом объяснении национализма.

МОДЕЛЬ

Лучше всего прямо приступить с описания самой модели. В ее основу положены весьма обобщенные представления о двух различных типах общества. Рассматривая различия между ними, мы сосредоточимся главным образом на том, какую роль в них играют структура и культура.

АГРО-ПИСЬМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Есть несколько признаков, отличающих общество данного типа. Прежде всего, *это общество, основанное на сельском хозяйстве (включая скотоводство)*, то есть на производстве и хранении продуктов питания. Для такого общества характерна довольно стабильная технология: хотя время от времени здесь возникают нововведения и усовершенствования, они не являются частью постоянной изыскательской или изобретательской деятельности. Этому обществу совершенно чужда идея (пустившая такие глубокие корни *у нас*), что природа является познаваемой системой, успешное изучение которой позволяет создавать новые мощные технологии. Мировоззрение на котором зиждется это общество, *не* предполагает (в отличие от нашего) интенсивного познания и освоения природы, результатом которого является неуклонное улучшение условий человеческого существования. Оно предполагает, скорее, устойчивое сотрудничество между природой и обществом, в ходе которого природа не только доставляет обществу скромное, хотя и постоянное продовольствие, но одновременно как бы санкционирует, оправдывает общественное устройство и служит его отражением.

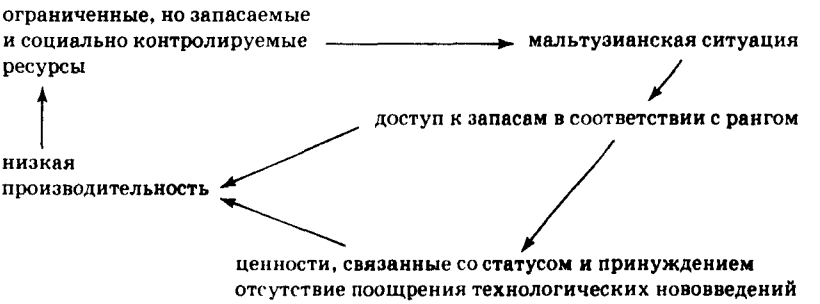
Наличие стабильной, раз навсегда заданной технологии имеет множество последствий. Недостаток гибкости производства продуктов питания и сравнительно невысокий «потолок» его продуктивности приводят к тому, что ценности в таком обществе в основном связаны с иерархией и принуждением. Для члена этого общества имеет значение прежде всего позиция, которую *он занимает в соответствующей «табели о рангах»*, но не продуктивность и не эффективность его производственной деятельности. Путь повышения продуктивности не лучший для него способ (или даже вообще не способ) повышения своего статуса. Характерной для такого общества ценностью яв-

ляется «знатность», соединяющая высокий статус с успехами на военном поприще.

Такая ориентация является логическим следствием ситуации, которая складывается в обществе, имеющем устойчивый потенциал продуктивности: индивид или группа не получают ничего, повышая эффективность своего труда, но они получают практически все, если завоевывают благоприятную позицию в обществе. Повышение продуктивности может быть выгодной лишь для власть имущих, находящихся в привилегированном положении, но не для тех, кто добился этого повышения. В то же время индивид, который успешно стремился к высокому положению и попал в число власть имущих, получает всевозможные выгоды, оправдывающие его усилия. Поэтому он должен стремиться только к власти и положению, не расходуя сил на повышение производительности труда.

Данная тенденция значительно усиливается благодаря еще одной особенности такого общества, — которая также вытекает из стабильности технологии, — ситуации, описанной Мальтусом. Дело в том, что возможности увеличения производства продуктов питания ограничены, а возможности роста населения — нет. В обществе данного типа обычно ценится плодовитость, по крайней мере, наличие потомства мужского пола, необходимого для роста трудового и оборонного потенциала. Вместе с тем поощрение плодовитости должно, хотя бы время от времени, доводить население до той критической численности, за которой общество уже не может всех прокормить. Это, в свою очередь, способствует укреплению иерархической, военизированной структуры: когда наступает голод, он не настигает всех в равной степени и одновременно. Люди голодают в соответствии со своим статусом, и стоящие ниже на иерархической лестнице оказываются в худшем положении. Механизмом, который это обеспечивает, служит социальный контроль, ограничивающий доступ к охраняемым запасам продовольствия. В Северной Африке центральное правительство до сих пор часто обозначают термином «макзен», происходящим от того же корня, что и магазин, склад. Действительно, правительство прежде всего контролирует склады и является держателем продовольственных запасов.

Механизмы, с помощью которых такое общество поддерживает свое существование, могут быть представлены следующей схемой:



Под действие всех этих факторов в агро-письменной обществе возникает сложная, но довольно стабильная статусная организация. Самым важным для члена такого общества становится обладание статусом и соответствующими правами и привилегиями. Человек здесь — это его *положение*, ранг. (Совершенно не так будет в обществе, которое придет ему на смену, где человек — это прежде всего его *культура* и (или) банковский счет, а ранг является чем-то эфемерным.)

Как же поддерживается баланс в этой исторически более ранней системе? Вообще есть две возможности поддерживать порядок в обществе: принуждение и согласие. Остановить тех, кто преследуя свои цели, покушается на статусную систему, можно угрозами, приводимыми иногда в исполнение, а можно и с помощью внутренних ограничений, то есть системы идей и убеждений, которые человек усваивает и которые затем направляют его поведение по определенному руслу. В действительности функционировали, конечно, оба механизма, ибо они не изолированы друг от друга, а работают во взаимодействии и так переплетены, что бывает невозможно вычленить вклад какого-то одного из них и поддержание социального порядка.

И все же, какой из этих факторов считать более важным? Это чрезвычайно трудный вопрос. По крайней мере, мы не можем ожидать, что в любых обстоятельствах ответ на него будет одним и тем же. Марксистская точка зрения заключается, по-видимому, в том, что общественное устройство обусловлено не принуждением и не согласием (обе точки зрения марксист заклеймит как «идеалистическое»), но *способом производства*. Неясно, однако, что может означать такая прямая зависимость общественного устройства от способа производства, не опосредованная ни принуждением, ни идеями. Орудия труда и технологии не могут сами по себе заставить человека принять определенный способ распределения: для этого нужно либо принуждение, либо согласие, либо какой-то сплав того и другого. Каким же образом

способ производства порождает свой собственный способ принуждения? Трудно удержаться от подозрения, что привлекательность и живучесть марксизма в какой-то мере обусловлена непроясненностью в нем этого вопроса.

Действующая в обществе система идеологии обеспечивает стабильность системы не только тем, что убеждает членов общества в законности этой системы. Роль ее и сложнее, и шире. Она, в частности, делает возможным само принуждение, ибо без нее неорганизованная кучка власть имущих не смогла бы действовать эффективно.

В обществе данного типа существует не только более или менее стабильная сельскохозяйственная основа, но также и письменность. Она позволяет фиксировать и воспроизводить различные данные, идеи, сведения, формулы и т. д. Нельзя сказать, что в дописьменном обществе начисто отсутствуют способы фиксации утверждений и смыслов: важные формулы могут передаваться и в устной традиции, и ритуальным путем. Однако появление письменности резко расширяет возможности сохранения и передачи идей, утверждений, информации, принципов.

Грамотность усугубляет свойственную этому обществу статусную дифференциацию. Она является результатом упорного и довольно длительного посвящения, называемого «образованием». Аграрное общество не обладает ни ресурсами, ни мотивами, необходимыми для того, чтобы грамотность распространялась широко, не говоря уже о том, чтобы она стала всеобщей. Общество распадается на тех, кто умеет читать и писать, и на тех, кто этого не умеет. Грамотность становится знаком, определяющим положение в обществе, и таинством, дающим пропуск в узкий круг посвященных. Роль грамотности как атрибута статусных различий становится еще более ярко выраженной, если на письме используется мертвый или какой-нибудь специальный язык: письменные сообщения отличаются тогда от устных не только тем, что они написаны. Благоговение перед письменами — это прежде всего благоговение перед их таинственностью. Культ ясности проявляется в истории человечества значительно позднее, знаменую собой следующую революцию, хотя так никогда и не становится абсолютным.

Рядовые члены общества данного типа осваивают культуру, набирая свой запас символов и идей «в движении», так сказать, по ходу жизни. Процесс этот является частью взаимодействия, происходящего изо дня в день между родственниками, соседями, мастерами и подмастерьями. Живая культура — не закодированная, не «замороженная» в письменах, не заданная никаким набором жестких формальных правил, — передается, тем самым, непосредственно, просто как часть «образа жизни». Но такие навыки, как владение грамотой, передаются иначе. Они осваиваются в процессе длительного спе-

циального обучения, прививаются не в ходе обычной жизнедеятельности и не обычными людьми, а профессионалами, способными воспроизводить и демонстрировать некие высшие нормы.

Есть глубокое различие между культурой, передаваемой в повседневной жизни, «в движении», неформально, и культурой, которой занимаются профессионалы, не занятые кроме этого ничем другим, выполняющие четко очертанные обязанности, детально зафиксированные в нормативных текстах, манипулировать которыми индивид практически не может. В первом случае культура неизбежно отличается гибкостью, изменчивостью, региональным разнообразием, иногда — просто чрезвычайно податливостью. Во втором она может оказаться жесткой, устойчивой, подчиненной общим стандартам, обеспечивающим ее единство на большой территории[1]. При этом она может опираться на обширный корпус текстов и разъяснений и включать в себя теории, обосновывающие ее ценностные установки. В частности, в ее доктрину может входить теория происхождения фундаментальной истины — «Откровение», — подтверждающая остальные теории. Таким образом, теория откровения является частью веры, а сама вера утверждается откровением.

Характерной чертой общества данного типа является напряжение между высокой культурой, передаваемой в процессе формального образования, зафиксированной в текстах и постулирующей некие социально трансцендентные нормы, и, с другой стороны, одной или несколькими низкими культурами, которые не заданы в отчужденной письменной форме, существуют лишь в самом течении жизни и, следовательно, не могут подняться выше нее, здесь и теперь происходящей. Иначе говоря, в таком обществе имеется разрыв, а иногда и конфликт между культурой высокой и низкой, который может проявляться по-разному: с одной стороны, высокая культура может стремиться навязывать свои нормы низкой, с другой — носители низкой культуры могут стремиться по возможности усвоить нормы высокой, чтобы упрочить свое положение. Первое типично для ислама, второе — для индуизма. Однако такого рода усилия редко бывают успешными. В конечном счете между носителями высокой и низкой культуры возникает заметный разрыв, а часто и пропасть взаимонепонимания. Разрыв этот функционален. Человек вряд ли будет стремиться к состоянию, которого он не в силах понять, или противостоять доктрине, которая, как он знает, выше его разумения. Культурные различия определяют общественные позиции, регулируют доступ к ним и не позволяют индивидам их покидать. Но границ общества в целом они не определяют. Лишь при переходе от аграрного общества к индустриальному культура перестает быть средством, которое задает по-

зиции в обществе и привязывает к ним индивидов. Вместо этого она очерчивает масштабную и внутренне подвижную социальную целостность, *внутри* которой индивиды могут свободно перемещаться, как того требуют задачи производства.

Принимая такую модель старых аграрных обществ, можно задать вопрос: какими должны быть здесь взаимоотношения между культурой, с одной стороны, и политической легитимностью и границами государств — с другой? Ответ однозначен: между этими двумя сферами не будет *почти никакой* связи.

Общество данного типа постоянно генерирует внутри себя культурные различия. Оно порождает в высшей степени дифференцированную статусную систему, каждый элемент которой должен иметь свои ясно различные признаки, знаки, свои внешние проявления. Это, по сути, и есть культура. Юрий Лотман описывает российского аристократа XVIII века, который использовал различные формы обращения к людям в зависимости от того, владельцами скольких «душ» они были. Репертуар приветствий зависел, таким образом, от имущественного положения его собеседников. В романе Грэма Грина герой отмечает нотки неуважения, которые проскальзывают в обращении к нему банковского клерка, и размышляет о том, что тот говорил бы с ним совершенно иначе, не будь превышен его кредит.

Такая чрезвычайная семантическая чувствительность к статусным и имущественным нюансам позволяет преодолевать неопределенность и избегать трений. Не должно быть статусных различий, не выявленных наглядно, и, с другой стороны, всякий наглядный знак должен иметь оправдание в социальном положении индивида. Когда в стратификации общества возникают какие-то резкие изменения, культура тут же дает знать об этом, демонстрируя не менее драматические перемены в одежде, речи, поведении, образе жизни. Речь крестьян при этом всегда отличается от речи дворян, буржуа или чиновников. Известно, например, что в России XIX века отличительным признаком представителей высшего света была манера объясняться по-французски. Или другой пример: к моменту объединения Италии в 1861 г. лишь два с половиной процента населения страны говорили на «правильном» итальянском[2].

Аграрное общество порождает различные сословия, касты, гильдии и иные статусные разграничения, требующие дифференцированного культурного оформления. Культурная *однородность* такому обществу совершенно неведома. Больше того, попытки унифицировать стандарты культуры рассматриваются как преступные, порой в самом прямом, уголовном смысле. Тот, кто вступает в культурное соревнование с группой, к которой не принадле-

жит, нарушает общественный протокол, покушается на систему распределения власти. Такая дерзость не может остаться безнаказанной. И если наказание является лишь неформальным, виновный может считать, что ему повезло.

В дополнение к функциональной, иерархической дифференциации здесь существует еще дифференциация, так сказать, горизонтальная. Члены такого общества не только стремятся сформировать стиль жизни, который отличает их друг от друга и удерживает от покушения на тех, кто стоит выше по социальной лестнице. Для сельскохозяйственных сообществ характерна также тенденция культивировать особенности, отличающие их от соседних в географическом смысле сообществ, имеющих такой же статус. Так, в неграмотной крестьянской среде диалекты варьируют от деревни к деревне. Замкнутый образ жизни благоприятствует развитию культурных и лингвистических отклонений, и разнообразие возникает даже там, где вначале оно отсутствовало.

Правители в таком обществе не заинтересованы в том, чтобы оно становилось культурно однородным. Напротив, разнообразие им выгодно. Культурные различия удерживают людей в их социальных и географических нишах, препятствуют появлению опасных и влиятельных течений и групп, имеющих последователей. Политический принцип «разделяй и властвуй» гораздо легче применять там, где население уже разделено культурными барьерами. Правителей волнуют налоги, десятины, рента, повинности, но не души и не культура подданных. В результате в аграрном обществе культура разъединяет, а не объединяет людей.

Подводя итог, можно сказать, что в обществе данного типа единство культуры не может служить основой формирования политических единиц[3]. В такой ситуации термин «нация», если он вообще используется, обозначает скорее размытое составное целое, включающее главным образом представителей так называемого свободного дворянства, живущего на определенной территории и готового участвовать в политической жизни, нежели всю совокупность носителей культуры. Например, польская «нация» состояла в свое время из представителей шляхты Речи Посполитой, но включала также лиц, говоривших на украинском языке. Иначе говоря, понятие «нация» объединяло граждан не по культурному, а по политическому основанию.

Как правило, в таком обществе политические единицы оказываются либо более узкими, либо более широкими, чем единицы культурные. Родовые общины или города-государства редко охватывают всех носителей какой-то культуры: ареал ее распространения оказывается обычно шире. С другой стороны, границы империи, как правило, определяются военным могуществом

или географическими условиями, но отнюдь не границами распространения культуры. Рассказывают, что предводитель мусульман, покоривших Северную Африку, направил своего коня прямо в Атлантический океан, чтобы показать, что дальше дороги нет, но его не остановила культурная и языковая пропасть, которая отделяла завоевателей от населявших эти земли берберийских племен.

Итак, люди, живущие в аграрно-письменном обществе, занимают в нем различные позиции и включены в многообразные вертикальные и горизонтальные отношения, среди которых найдутся, вероятно, и такие, которые отдаленно напоминают то, что впоследствии будет названо «национальностью»; но в основном это отношения совершенно иного рода. Здесь существует разнообразие культур и существуют сложные политические единицы и союзы, однако между двумя этими сферами нет ярко выраженной зависимости. Политические иерархии и культурные поля отнюдь не соотнесены между собой с помощью такого образования, как «национальность».

РАЗВИТОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Сегодня в мире существует и стремительно распространяется иной тип общества, в корне отличный от того, который описан выше. Прежде всего, иной является его экономическая основа: оно сознательно ищет опору в непрерывной, упорной инновационной деятельности, в экспоненциальном наращивании производительных сил и продукции. Общество это исповедует теорию познания, которое дает возможность проникнуть в тайны природы, не прибегая к помощи откровения, и одновременно позволяет эффективно манипулировать силами природы, используя их для достижения изобилия. Вместе с тем, природа уже не может служить источником принципов, обосновывающих организацию общества. Действительно, первым принципом, который оправдывает устройство общества данного типа, является экономический рост, и любой режим, неспособный его обеспечить, оказывается в затруднительном положении. (Вторым является национальный принцип, — он и станет здесь нашей главной темой.)

Общество, к рассмотрению которого мы перешли, не является уже более мальтузианским: темпы экономического роста превышают в нем темпы роста демографического, который по разным причинам идет на спад или даже полностью прекращается. В культуре этого общества уже не так ценится (или вообще не ценится) плодовитость: чистая, мускульная рабочая сила мало что решает как с точки зрения властей, так и с точки зрения индивидов, как в мирное время, так и во время войны. (Правда, на первых порах индустри-

альная эпоха вызвала к жизни всеобщую воинскую повинность и породила огромные армии, по своему составу крестьянские: крестьяне ценились как «пушечное мясо». Однако в наше время — время войн на Фолклендах и в Персидском заливе — решающим фактором является уже не численность войск, а технология и подготовленность личного состава.) ныне полезны лишь образованные люди, а образование стоит дорого. В любом деле теперь играет роль не количество, а качество работников, которое зависит от технологии производства культурных людей, иначе говоря, от «образования». Власти более не видят в плодовитости источник оборонного или экономического потенциала; родители не видят в детях тех, кто обеспечит их жизнь в старости. Производство потомства обходится дорого и вынуждено конкурировать с другими запросами и формами самоудовлетворения и самореализации.

В корне изменился и характер труда. В аграрном обществе «работа» была вещью необходимой, но отнюдь не престижной. Это был физический, ручной труд, связанный главным образом с сельскохозяйственным производством. Такая работа заключалась в основном в приложении человеческой мускульной силы к материальным объектам. Ее тяжесть удавалось время от времени облегчить благодаря использованию силы животных и некоторых простых механизмов, позволяющих утилизировать силу воды или ветра. В развитом индустриальном обществе картина уже совершенно иная. Физический труд как таковой здесь фактически исчез. Отныне трудиться физически вовсе не значит дни напролет махать киркой или лопатой: теперь для этого требуется знание машин, которые не всегда просты в управлении. То есть большинство людей в своей работе вообще не сталкиваются «лицом к лицу» с природой. Их труд состоит в постоянном манипулировании людьми и знаками при помощи компьютеров или, на худой конец, телефоном, телефаксом и пишущих машинок.

Все это имеет серьезные последствия для культуры, то есть для системы циркулирующих в обществе символов. Стремительный обмен сообщениями между анонимными, далеко друг от друга отстоящими собеседниками был бы попросту невозможен, если бы смысл посланий зависел от особенностей местного диалекта и тем более от одного какого-то контекста, не говоря уже о контекстах действительно сложных. Однако сам метод такой коммуникации уничтожает контекст. Нельзя, скажем, передавать таким образом смыслы, заключенные в жестах, выражении лица, интонациях, темпе речи, сопровождающих высказывание. Ничего не добавляет к тексту и статус индивида, да и сам текст не может на этот статус повлиять. Все это просто не проходит по каналу коммуникации: так уж этот канал устроен. В живой речи

такие элементы, как жест, поза и т. д., играли роль как бы определенных фонем, влиявших на смысл устного сообщения. Но это были фонемы, употребимые и значимые в очень узких границах, — что-то вроде неконвертируемой муниципальной валюты. Между тем универсальная система коммуникации предполагает использование только таких знаков, которые имеют универсальное значение, отвечают всеобщим стандартам и не зависят от контекста.

Существенно, что смысл заключен теперь только *внутри* самого сообщения. Те, кто передает сообщения, так же как и те, кто их принимает, должны уметь вычитывать этот смысл, следуя общим для них правилам, определяющим, что является текстом, а что — нет. Люди должны быть обучены вычленению элементов, *безусловно* влияющих на смысл, и абстрагированию от специфического местного контекста. Способность различать релевантные и соответствующие *стандартам* элементы сообщения является тонкой и достигается отнюдь не просто. Это требует длительного обучения и огромной семантической дисциплины. Чем-то это напоминает результаты армейской муштры — готовность немедленно реагировать на формализованные слова команды, требующие четко определенных действий, — однако диапазон возможных команд в данном случае является неизмеримо более широким, чем тот, который принят в любой из армий. Но смысл должен быть предельно ясным, хотя потенциальное поле смыслов является поистине гигантским, пожалуй, даже бесконечным.

Все это говорит о том, что впервые в истории человечества *высокая* культура становится всеобъемлющей: она операционализируется и охватывает общество в целом. Люди могут воспринимать культурные значения в их полном объеме, реагировать на все бесконечные смыслы, заключенные в языке. Иными словами, они весьма далеко ушли уже от того мужика-новобранца, который обучился в свое время правильно реагировать на десяток уставных команд, да и то лишь случае, если их произносит человек с необходимым количеством лычек на погонах и в понятной ситуации. Последствия этого невероятно важны, хотя они и не были до сих пор как следует ни осознаны, ни изучены. Значение универсального образования, необходимость в котором продиктована фундаментальной структурой современного общества, выходит далеко за пределы невнятных причитаний и восторгов о расширении культурных горизонтов (пусть даже такое расширение действительно существует). Мы подходим здесь вплотную к нашей основной теме — распространению национализма. Высокая культура представляет собой упорядоченную и стандартизованную систему идей, которую обслуживает и насаждает с помощью письменных текстов особый отряд клириков. Грубо го-

воря, мы имеем здесь следующий силлогизм. Человеческий труд стал по своему характеру семантическим. Его неотъемлемой частью является безличная, свободная от контекста массовая коммуникация. Это возможно лишь в том случае, если все люди, включенные в этот массовый процесс, следуют одним и тем же правилам формирования и декодирования сообщений. Иными словами, они должны принадлежать в одной культуре, причем культура эта неизбежно является высокой, ибо соответствующие способности могут быть освоены лишь в процессе формального обучения. Из этого следует, что общество в целом, если оно вообще станет функционировать, должно быть пронизано единой стандартизованной высокой культурой. Такое общество не сможет уже терпеть дикого произрастания разнообразных субкультур, связанных каждая своим контекстом и разделенных ощутимыми барьерами взаимонепонимания.

Есть и еще одно обстоятельство, способствующее стандартизации культуры. Дело в том, что главным критерием оценки эффективности общества становится не благополучие как таковое, а постоянное *возрастающее* благосостояние. То есть даже не просто благосостояние, но неуклонный экономический рост. Неустанное совершенствование — вот что определяет устройство современного общества. Когда-то хороший урожай был свидетельством того, что король хорош. Теперь же правомерным считается режим, который обеспечивает неуклонный рост производительности в промышленности. Проклятый край с негодным правителем во главе — это сегодня страна с нулевым или отрицательным приростом продукции. И наоборот, чем выше прирост продукции, тем более мудрым и мужественным считается правитель. Философским выражением такой установки является идея прогресса.

Цена роста — нововведения и непрерывные, нескончаемые преобразования структуры рабочих мест. Общество данного типа просто не может иметь стабильной ролевой структуры, в которой индивиды получали бы постоянную «прописку», как это было в аграрном обществе. Значимыми являются здесь бюрократические позиции — в промышленности и в других сферах, — однако сами бюрократические структуры неизбежно нестабильны. (Именно стабильность некоторых ненормальных структур, таких как коммунистические иерархии, служит свидетельством, а вероятно и причиной их низкой эффективности.) Больше того, многие должности (быть может, и не большинство должностей, но, по крайней мере, существенная их часть) требует владения сложными техническими навыками, а это означает, что они распределяются по принципу способности и компетенции, но не рождению и не наследственно, как это было в прежние времена, когда речь шла только об укреплении и упрочении основ стабильной структуры.

Все это делает наше общество принципиально эгалитарным: в нем трудно раз и навсегда присвоить индивиду какой-то ранг, ибо ранг этот может в один прекрасный день войти в противоречие с реальной эффективностью его деятельности. Необходимость распределения должностей в соответствии с личными возможностями и компетентностью индивидов исключает старый принцип распределения их в соответствии с неизменным, однажды присвоенным и неотделимым от личности рангом. Внутренняя подвижность этого общества влечет за собой его эгалитаризм, но не эгалитаризм является причиной подвижности. Таким образом, тенденция к возрастанию неравенства, сопровождаемая в доиндустриальную эпоху процесс усложнения структуры общества, сменяется на прямо противоположную[4]. Равенство, порожденное новым устройством общества, не включает, конечно, того, что по своему благосостоянию, власти и жизненным шансам люди в действительности далеко не равны. Тем не менее, эгалитаризм безусловно воспринят в этом обществе как принцип, как социальная норма, является значимым и в определенном смысле оказывает существенное влияние на ход общественной жизни.

Существующие ныне различия между людьми распределены по шкале неравенства равномерно и плавно: это совсем не то, что резкие перепады и непреодолимые барьеры, существующие в прошлом между сословиями или кастами. Сегодня различия носят, так сказать, статистический, вероятностный характер, определяются личным везением, а не формальными привилегиями. И ни жертвы такого неравенства, ни те, кого оно ставит в выгодное положение, не считают его неотъемлемой частью своего «я», ибо оно не априорно, а требует в каждом случае конкретного практического объяснения. Когда неравенство слишком бросается в глаза, о нем говорят с осуждением. Иными словами, в нашем обществе не принято подчеркивать привилегии. «Очень богатые люди чем-то отличаются от нас», — заметил однажды Скотт Фицджеральд в разговоре с Хемингуэем. «Да, — ответил Хемингуэй, — тем, что у них много денег». И он был прав, хотя и Фицджеральду нельзя отказать в наблюдательности. Хемингуэй выразил современную точку зрения: человек это одно, а его положение — нечто совсем другое. Романтик Фицджеральд продемонстрировал внутреннюю приверженность миру, где дело обстояло наоборот. Однако, как утверждал Токвиль, мир существенно изменился, — сегодня это скорее мир Хемингуэя, чем мир Фицджеральда, — и люди отличаются друг от друга внешне, но не внутренне.

Но, главное, формальные правила жизни в обществе, будто то в сфере производства или в сфере политики, позволяют и, более того, *требуют*, чтобы люди имели одинаковую культуру. Потом свободной от контекста информации является элемент, необходимым для функционирования общества во

всех его аспектах. Сама информационная сеть устроена таким образом, чтобы в любой момент и в любом звене к ней мог подключиться каждый, ибо сегодня уже невозможно резервировать какие-то позиции для определенных категорий людей. Информационная сеть имеет стандартные входы и выходы, допускающие подключение любых пользователей, а не только тех, кто обладает каким-нибудь особым статусом. Всякий, кто не может участвовать в этом обмене сигналами, рассматривается как помеха, как отщепенец. Такой человек вызывает раздражение, враждебность и вынужден обычно испытывать унижения.

Каковы же последствия такой социальной организации для взаимоотношений, которые складываются между культурой, с одной стороны, и государством и обществом — с другой?

Итак, общество данного типа не только не препятствует, но определенно способствует распространению однородной культуры. Это должна быть культура *особого рода* — «высокая» культура (*излишне говорить*, что термин этот употребляется здесь в социологическом, а не в оценочном смысле), подчиненная сложной системе норм и стандартов. Ее распространение требует неординарных усилий в области обучения, и действительно, в этом обществе последовательно и практически полно осуществлен идеал универсального образования. Дети растут здесь не держась за материнский подол, а с малолетства включаясь в систему образования.

Гигантская, дорогостоящая стандартизованная система образования перерабатывает целиком весь человеческий материал, которому предстоит влиться в общество, превращая это биологическое сырье в социально приемлемый культурный продукт. Подавляющую часть затрат на образование берет на себя государство или представляющие его местные власти. В конечном счете только государство (или чуть более широкий сектор, включающий также некоторую часть «общественности») может вынести на своих плечах тяжкое бремя этой ответственности, одновременно осуществляя контроль за качеством продукции в этой важнейшей из всех отраслей — в производстве социально приемлемых человеческих существ, способных делать необходимую для этого общества работу. Это становится одной из главных задач государства. Общество необходимо гомогенизировать (*gleichgeschaltet*), и руководить этой операцией могут только центральные власти. В условиях столкновения различных государств, пытающихся контролировать бассейны рек, единственный способ, которым данная культура может защитить себя от другой культуры, имеющей покровительствующее ей государство, это создать свое собственное, если такового у нее еще нет. Как у каждой женщине должен быть муж, желательно собственный, так же и у культуры должно

быть государство, лучше всего свое. Государства-культуры начинают затем соревноваться друг с другом. Так и возникает внутренне подвижное, атомизированное эгалитарное общество, обладающее стандартизованной письменной культурой «высокого» типа. При этом заботу о распространении и поддержании культуры и об охране границ ее ареала берет на себя государство. Можно сказать короче: одна культура — одно государство; одно государство — одна культуры.

Предлагаемая теория национализма является материалистической (хотя и совсем не марксистской) в том смысле, что, объясняя это явление, она выводит его из способа, которым общество поддерживает свое материальное существование. В исторически более раннем обществе, основанном на сельскохозяйственном производстве и на стабильной технологии, неизбежно должны были получить развитие военно-клерикальные структуры, иерархия, культурный плюрализм, напряжение между культурой высокой и низкой, а также политическая система, опирающаяся на аппарат насилия и религиозную идеологию, но в целом безразличная к культурным общностям. В нем умножались различия, связанные с социальными позициями, но не с политическими границами. В новом обществе, основанном на развитии технологии, на семантическом, а не речном труде, на системе широкой, безличной, а иногда и анонимной коммуникации, в которой функционируют сообщения, свободные от контекста, и на подвижной структуре занятий, не могла не распространиться стандартизованная высокая культура, насаждаемая с помощью системы образования и равномерно распределенная среди всех членов этого общества. Его политическая структура и принятая система власти определяются двумя соображениями: тем, насколько они обеспечивают устойчивый экономический рост и насколько способствуют развитию, распространению и охране культуры, характерной для данного общества. Таким образом, государство и высокая культура оказываются тесно между собой связанными, а старые связи государства с религией или династией распадаются или становятся нефункциональными и превращаются в чистую декорацию. Государство является защитником и покровителем культуры, а не религиозной веры.

Аргументация, приведенная в подтверждение этих зависимостей, представляется мне просто евклидовой по своей убедительности. Кажется, невозможно, проследив эти связи, не прийти к тем же выводам. Как говорил Спиноза, нельзя, ясно высказав истину, не добиться согласия. Увы, это не всегда так, но в данном случае все связи, по-моему, очевидны. (Я твердо стою на этом, хотя должен признать, что многие люди не согласились с этой теорией, даже ознакомившись с доказательством).

Конечно, нескромно сравнивать себя с Евклидом и глупо надеяться, что в гуманитарной области вообще возможна евклидова убедительность. До некоторой степени меня извиняет лишь то, что говорю я об этом с иронией, и не из тщеславия, а в порядке самокритики. Да, я убежден, что эта аргументация обладает евклидовой ясностью, но должен также заметить, что мир, в котором мы живем, является евклидовым лишь отчасти. Существует множество данных, иллюстрирующих эту теорию, но существует и множество других, которые ее как будто подтверждают. Здесь требуется исследование. Есть что-то подозрительное в рассуждении, которое выглядит убедительным, но (хотя бы частично) противоречит фактам. Вероятно, хотя это еще только предстоит выяснить, — упрямые факты могут найти объяснение в действии иных, усложняющих общую картину факторов, не учтенных в первоначальной модели, но значимых и действующих в реальности.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ

До сих пор мы ограничивались описанием двух абстрактных идеальных типов общества. Это аграрное общество, не склонное к национализму и даже обладающее по отношению к нему определенным иммунитетом, и развитое индустриальное общество, в котором организующим началом вряд ли может что-нибудь иное, кроме национализма. Последнее означает, что в рамках каждой политической единицы существует единая стандартизированная культура, *или — если зайти с другого конца — что всякая стандартизированная культура стремится обрести свое государство.* Но мы пока ничего не сказали о *пути*, следуя которому общества или государства переходят из первого состояния во второе. Между тем, если речь идет о сколько-нибудь развитой теории, она безусловно должна содержать какие-то указания по этому поводу. Это тем более важно, что одно из выдвигаемых мною теоретических положений состоит в том, что национализм проявляет себя наиболее ярко не в конце пути, а как раз в некоторых переходных, транзитных точках.

Можно предположить, что между миром империй, построенных не по этническому принципу, и микро-политических образований, с одной стороны, и миром государств, гомогенных в национальном отношении, с другой, существует пять характерных переходных стадий.

1. Отправная точка. Существует ми, в котором этническое начало еще не выражено со всей очевидностью и почти полностью отсутствуют политические идеи, так или иначе связывающие его с легитимностью власти.

2. В мире по-прежнему сохраняются политические структуры и границы, доставшиеся в наследство от предыдущей стадии, но уже появляется националистическая идея, выдвигаемая как политический принцип. Это — стадия националистического ирредентизма[5]. Здесь получает размах националистическая агитация, направленная против старых государств и старых границ.
3. Триумф и поражение национал-ирредентизма. Происходит распад многонациональных империй, а вместе с ними и всех привычных форм динамического и религиозного оправдания власти. Их место занимает национальный принцип. Возникает ряд более мелких государств, и каждое заявляет о своем намерении вести по особому национальному пути ту этническую группу, с которой оно отождествляется. Вместе с тем, ситуация эта оборачивается поражением национализма, его самоопровержением, ибо в каждой из этих новых политических единиц возникают проблемы национальных меньшинств, ничуть не меньшие, если не большие, чем все проблемы государств, существовавших прежде. Они наследуют все слабые места прежней системы, но одновременно приобретают ряд новых.
4. Nacht und Nebel[6]. Здесь я использую термин, употребляющийся нацистами для обозначения некоторых своих операций в ходе второй мировой войны. То ли благодаря покрову военной секретности, то ли в пылу борьбы и страстей, а может быть под действием благородного негодования, — как бы то ни было, но в такой ситуации моральные стандарты оказываются заниженными и принцип национализма, который требует, чтобы компактные этнические группы вписывались в определенную территориально-политическую структуру, начинает осуществляться с невиданной жестокостью. Для этого используется уже не старый добрый метод ассимиляции, но массовые убийства или насильственные переселения целых народов.
5. Высокая степень насыщения общества результатами националистической политики, возросшее благосостояние и культурная конвергенция — все это ведет к уменьшению — хотя и не к исчезновению — злокачественных последствий национализма.

Остановимся на каждой из этих стадий более подробно.

Отправная точка

На самом деле Европа накануне Французской революции ушла уже достаточно далеко от описанного выше идеального аграрного общества. Здесь уже

в течение тысячи лет наблюдался неуклонный экономический рост, шли необратимые политические и идеологические изменения. Большого размаха достигла урбанизация, и во многих государствах получил развитие эффективный бюрократический аппарат. Реформация существенно изменила правила игры в познавательной и законодательной области, принесла идею прямого личного обращения к социально независимым авторитетам — вначале к Писанию и к совести, а затем — к индивидуальному разуму. После этого началась научная революция, повлекшая вскоре разработку ее философских оснований и следствий. В эпоху Просвещения была сформулирована система светских, индивидуалистических и натуралистических, взглядов на мир и общество. В экономике и даже в военной области центр тяжести переместился на северо-запад Европы: в Англии и Голландии было создано гражданское общество, введен институт разделения властей. Как ни странно, по своей военной мощи либеральные государства оказались по крайней мере равными централизованным монархиям с традиционно милитаристской ориентацией (если не более сильными). В XVIII веке нация лавочников неоднократно побеждала на поле брани нацию военных-аристократов. (Последним удавалось одерживать победу, только действуя в союзе с другими — заокеанскими-лавочниками.) На больших пространствах северо-западной Европы в сфере семейных отношений действовал индивидуалистический принцип: браки здесь были поздними и заключались по личному выбору партнеров, а не служили продолжением системы родовых взаимоотношений более широких социальных групп[7]. Во многих областях среди населения была распространена грамотность, которая использовалась для светских целей. Во всех этих отношениях и, несомненно, во многих других Европа уже очень давно начала двигаться к современному миру, который лишь в XIX веке приобрел наконец весьма определенные очертания.

Тем не менее, когда после потрясений Французской революции и наполеоновских войн зашла речь об оформлении легитимных политических единиц и установлении границ между ними, мир вновь вернулся к испытанным династическим принципам. Позиции монархов значительно укрепились в результате Реформации и религиозных войн, уничтоживших идею всеобщего авторитета, способного судить и легитимности власти, и тем утвердивших абсолютный суверенитет независимых государств и правителей. Большинство нововведений, появившихся в XVIII веке, возникли благодаря усилиям «просвещенных» абсолютных монархов, но не сколько-нибудь широких движений. Надо сказать, что абсолютизму был не раз брошен вызов как в теории, так и на практике, однако англичане, например, после экспериментов с республикой и с реставрацией пришли в конце концов к выводу, что

их свободы лучше защищены в условиях ограниченной монархии, нежели в условиях ее полной отмены. Голландская республика тоже постепенно переросла в монархию. Выборные республиканские институты были в общем редки, мало каким городам-государствам удалось выжить, и представительные формы правления действовали в конечном счете с большими ограничениями. Правда, к концу XVIII века возникла одна *новая* республика, которая была установлена вопреки воле одной влиятельной европейской монархии (хотя и при поддержке другой), но это было за океаном.

Большинство аграрных государств были монархиями, а переход к индустриальному обществу заставлял двигаться к демократии. Это отчасти объясняется внутренней предрасположенностью индустриального общества к эгалитаризму. В аграрном обществе монархические тенденции возникают, вероятно, вследствие общей логики ситуаций борьбы за власть: в любых конфликтах для победителя лучше уничтожить побежденного, чтобы не допустить реванша, а для всех остальных лучше заручиться расположением победителя, власть которого становится в результате более крепкой. Это «эффект снежного кома» объясняет в большинстве случаев устойчивость в аграрном обществе монархических структур. Впрочем, здесь есть и исключения, относящиеся, например, к кочевникам, пасущих стада на больших открытых пространствах, к земледельцам, живущим высоко в горах, или, иногда, к торговым сообществам. Они могут уйти от действия этого эффекта и выработать собственные представительные, внутренние сбалансированные политические институты. Скотоводы могут избежать централизации благодаря подвижности своего имущества и привычке к коллективизму, в котором они нуждаются для самозащиты; горцы имею в своем распоряжении неприступные крепости, возведенные самой природой; купцам не нужен простор для инициативы, а абсолютная власть снижает эффективность их деятельности.

Индустриализация общества переносит центр тяжести со стяжания власти на стяжание богатства. Путь здесь пролегает от богатства к власти, а не наоборот. Обратный путь, хотя и не исключен полностью, но не имеет уже прежнего значения. Эффект «снежного кома», приводивший ранее к концентрации власти, перестает действовать. В области богатства этот эффект тоже не срабатывает (марксистский прогноз оказался в этом отношении неверным). Таким образом, власть и богатство образуют более сбалансированную систему.

К этому можно еще добавить, что в аграрном обществе высокое положение не требует того, кто его занимает, ни подготовки, ни талантов. С другой стороны, таланты имеют здесь вообще мало шансов для развития. Попросту

говоря, всякий дурак может быть королем либо бароном. Некоторые личные качества, такие как жестокость, агрессивность, храбрость, хитрость, могут давать здесь определенные преимущества, но в целом обязанности, которые накладывает привилегированное положение, рассчитаны на то, что их не будет выполнять случайный человек, получивший это положение, например, по наследству, — как это чаще всего и происходит в аграрном обществе. Такой принцип может сохранять силу лишь до тех пор, пока общество не освободится от жестких структур или пока не появятся особые обстоятельства, которые заставят, заполняя эти структуры, осуществлять отбор людей по другим критериям (например, с учетом их способности выполнять сложную специализированную работу.)

Иными словами, в аграрном обществе социальные роли распределяются случайным образом, ибо этим распределением заведует высшая трансцендентная инстанция. То есть вопрос о назначении на высокие должности решается на небесах. В противоположность этому, в индустриальном обществе роли распределяются с учетом личных данных, которые (по крайней мере на уровне принципа) должны соответствовать интересам дела. Действием этой тенденции в области распределения высоких государственных должностей можно, хотя бы отчасти, объяснить и более широкие происходящие в этом обществе демократические преобразования. Равный (пусть только в принципе) доступ к высокому общественному положению логически исключает ограничение доступа к власти на всех уровнях, предоставление права принятия решений какой-либо узкой привилегированной социальной группе.

В теориях, развивших идею подотчетного, представительного, ограниченного в своих полномочиях, плюралистичного и т. д. правительства, — которые предваряли, сопровождали или обосновывали опыт политических преобразований XVIII и XIX веков, — не было единой точки зрения на природу и границы политических единиц, долженствующих иметь собственное правительство. Общество должно стать демократическим, но *какое именно общество*? Этот вопрос не играл сколько-нибудь заметной роли в политических дискуссиях того времени. Считалось, что общества уже существуют, — это казалось вполне очевидным, — и речь шла только о том, как, на каких принципах и кто должен ими управлять, но не в том, где должны проходить их границы.

Но исторические события XIX в. дали ответ на этот вопрос — оставшийся, впрочем, незаданным, — какие единицы должны иметь свое правительство. Оказалось, что это *нации*. Однако целостность, называемая сегодня «нацией», не похожа ни на что существующее в прошлом. Это обширная со-

вокупность анонимных индивидов, которые приобщены либо к определяющей данную нацию высокой культуре, либо к культуре низкой, но находящейся в зависимости от этой высокой культуры, попадающей в ее потенциальной ареал и дающей своим носителям шанс войти когда-нибудь в число носителей высокой культуры. Таких единиц раньше попросту не было. Теперь же, когда они стали политической нормой, все единицы иного типа воспринимаются как аномалии.

В начале современной эпохи, в 1815 г., нации, существовали они или нет (в действительности их еще не было), не принимались в расчет при установлении новых политических границ. Тем не менее, уже когда мир достаточно созрел, чтобы вскоре прислушаться к проповеди национализма, утверждавшей, что легитимными являются только те политические единицы, которые имеют своим фундаментом нацию, — какое бы содержание не вкладывалось к это понятие.

Ирредентизм

Эпоха национализма или ирредентизма — это время, когда неуклонно растет стремление воплотить в жизнь формулу «одна культура — одно государство». Старый мир, отличающийся огромным культурным разнообразием, множеством нюансов и полутонов, никак не связанных с политическими границами, — мир этот начинает восприниматься как политический пережиток, анахронизм. На смену ему должен прийти новый мир, где каждая культура станет развиваться под собственной политической крышей, а государство и правительство будут считаться законными только в том случае, если они представляют конкретную культуру, охраняют ее и заботятся о ее процветании. Чрезвычайно сложную лингвистическую или культурную карту Европы, скажем, 1815 года, когда культурно-лингвистические границы, по сути, никак не соответствовали границам политическим, предстояло заменить новой картой, относящейся, скажем, к 1848 году, когда такая корреляция стала если еще не абсолютной, то, по крайней мере, уже вполне очевидной.

Существуют разные методы, позволяющие достичь такого соответствия — *той или иной ценой.*

1. Можно изменять людей, прививая им новую культуру, включающую, в числе прочего, новый образ «я» и способность проецировать этот образ так, чтобы его воспринимали другие. Тогда новая культура займет место их прежней культуры, где были другие образы, которые они носили в себе и

проецировали в общении. Отправной точкой может в данном случае быть какой-то диалект или культура, близкая к той, которую им предстоит освоить, или достаточно от нее удаленная. Процесс этот может развиваться спонтанно, даже почти неосознанно. Он может быть результатов директив правительства или руководителей сферы образования, а может осуществляться самодеятельными культурными активистами, не зависящими от властей и даже действующими вразрез с их указаниями.

2. Людей можно убивать. Тех, кто не вписывается в желаемую этнически равномерную социально-политическую целостность, можно травить газом, расстреливать, морить голодом и т. д.
3. С другой стороны, людей, неудобных с точки зрения будущей культурно-политической организации данной территории, можно выселять в какое-то другое место (независимо от того, занято это место или нет и готовы ли члены существующей там социально-политической общности принять переселенцев). Такие перемещения могут быть откровенно принудительными, когда жандармы просто усаживают людей на подводы или в грузовики, или же, в некотором смысле, добровольными, то есть жители могут сами решить покинуть место, где они до этого жили, поскольку оставаться там считают небезопасным.
4. Наконец, можно менять политические границы, проводя их таким образом, чтобы культурно родственные общности оказывались вместе. Учитывая сложность этнографической карты Европы XIX столетия, надо признать, что метод этот не мог оказаться достаточно эффективным, *если только не* сочетать его с другими методами, указанными выше.

В действительности все эти методы находили себе применение. Их иногда комбинировали, иногда использовали последовательно: вначале один, затем другой. В эпоху ирредентизма, которая охватывает период с 1815 по 1918 год, в основном применялись более мягкие методы 1 и 4. Методы 2 и 3, хотя и были к тому времени уже известны, стали по-настоящему применяться сравнительно поздно — на 4-й стадии. Указание на конкретные комбинации методов, которые использовались для приведения в порядок политико-этнической карты, — один из путей типологического анализа процессов трансформации мира-не-знавшего-национализма в националистический мир.

Следует отметить, что ирредентизм, будучи безусловно влиятельным, не был при этом всемогущим. Он весьма способствовал бурным событиям периода 1815—1914 годов, однако реальные плоды его были *немногочисленны*. Восточная Европа по-прежнему оставалась поделенной между тремя поли-этническими империями. В тот период ирредентизм способствовал по-

явлению пяти или шести новых буферных государств на Балканах, объединению Германии и Италии, а также произвел одно изменение в Скандинавии и одно в Нидерландах. Но до 1918 года он отнюдь еще не шел напролом. Жестокие методы тогда почти не использовались: это был период ассимиляции и контр-ассимиляции или «пробуждения», то есть национальной агитации, призывавшей к созданию новых государственных культур на базе сырого, неформализованного материала культур крестьянских, которое рассматривалось как альтернатива присоединению к культурам, *уже привязанных* к государственному аппарату. Термин «пробуждение» чрезвычайно характерен для самоописания этих движений. Он намекает на существование неких перманентных, не дремлющих «рациональных» целостностей, которые только ждут, что их кто-то разбудит. В действительности, конечно, эти целостности не пробуждались, а *создавались*.

Триумф и поражение ирредентизма

Великая война 1914—1918 гг. положила конец веку национал-ирредентизма, удовлетворив по воле победителей и тех стран, которым они покровительствовали, многие его требования. Принимая во внимание этнографическую карту Европы, можно было бы заранее сказать, что удовлетворение *одних* интересов будет означать ущемление других. Наиболее отчетливо это проявилось в регионе, который мы обозначим как третий часовой пояс, где находились сложные многонациональные империи. Две из них к 1918 г. исчезли — по-видимому, навсегда — в результате двух балканских войн, а затем — первой мировой войны.

На месте уничтоженных империй возникли более мелкие политические единицы, созданные вполне сознательно по национальному принципу. Каждое из этих новых государств призвано было стать политическим опекуном «нации», то есть культуры, обеспечивающей моральную основу личности тем, кто ее принимает. Тем самым государство должно было странным образом выражать и представлять интересы нации, а не всей совокупности своих граждан.

Принцип «самоопределения наций», применявшийся в ходе переговоров о мире, должен был обеспечить легитимность принимаемых политических решений. Конечно, он применялся нечестно: победители и приближенные к ним государства несомненно извлекли из этого принципа больше пользы, чем побежденные и те, кто не сумел правильно сориентироваться на переговорах. Однако дело было не только в этом. Учитывая сложность и размытость этнических границ, можно утверждать, что *всякие* политические границы

шли вразрез с чьими-то интересами и были несправедливы в самом очевидном смысле этого слова. В ситуации этнического разнообразия, характерного для Восточной Европы, бесспорная и справедливая политическая карта была просто невозможна.

Это и определило пороки новой системы. Новые государства были меньше и тем самым слабее, чем империи, которым они пришли на смену. Но это сокращение размеров и потенциала отнюдь не было компенсировано их этнической однородностью и, следовательно, большей сплоченностью населения. Проблема меньшинств встала в них не менее остро, чем она стояла в исчезнувших империях — пресловутых «тюрьмах народов». Они сами стали провинциальными тюрьмами для своих меньшинств. Причем *новые меньшинства*, то есть те, кто внезапно приобрел здесь статус меньшинства и все сопутствующие ирредентистские настроения, в прошлом нередко входили в состав этнических или лингвистических групп, культура которых была доминантной. Новый статус оказался для них непривычным и вызывал естественное негодование и сопротивление. Они могли искать покровительства у своего родного государства, призванного защищать их собственную культуру. Во всяком случае, им не надо было возрождать или изобретать былое величие своей нации, ибо они были живыми его свидетелями и воспоминания об этом — теперь горькие — еще стояли у них перед глазами.

Итак, новый международный порядок, установленный во исполнение принципа национализма, имел все пороки системы, которую он сменил, плюс — целый ряд своих собственных. Последствия этого не заставили себя ждать. Как только укрепилась идеологическая диктатура в России и был установлен *националистический режим в Германии, все здание рухнуло как* карточный домик. Военное сопротивление Польши измерялось неделями, Югославии (официальное) и Греции — днями. Другие вновь созданные национальные государства вообще не сопротивлялись (удивительным исключением была только Финляндия). Гитлер и Сталин легко поделили между собой разделявшие их территории, не встретив почти никакого сопротивления, — по крайней мере, со стороны государственных структур.

Nacht und Nebel

Последовавший за этим период отличался тем, что мягкий метод достижения гомогенности — ассимиляция — уступил место методам не столь мягким — массовым убийствам и принудительному переселению народов, которые стали применяться в устрашающих масштабах. Конечно, методы эти были в ходу и раньше: достаточно вспомнить массовые убийства армян или

депортации, происходившие в начале 1920-х гг. во время греко-турецкой войны. Однако во время второй мировой войны и в период репрессий, который за ней последовал, можно было наблюдать действительно широкое их применение (впрочем, вначале они использовались скрытно). Секретность военного времени, а затем благородный гнев стран-победительниц, не преминувших воспользоваться своими правами, сделали возможными такие вещи, которые в более нормальной обстановке были бы просто немыслимы.

Массовые убийства и принудительные переселения (тоже не обходившиеся без убийств) позволили привести в порядок этническую карту Восточной Европы, хотя, конечно, не полностью. Уничтожению подверглись прежде всего некоторые народности, которые никак не вписывались в картину будущей Европы, воплощавшую националистическую идеал: соцветие гомогенных сообществ, радостно исповедующих каждое свою культуру и чувствующих себя в безопасности под защитой политической организации, озабоченной в первую очередь охраной и процветанием этой культуры. Кто-то однажды дал определение грязи как материальной субстанции, находящейся в неподобающем месте, — так вот в этой Новой Европе меньшинства трактовались как культуры, локализованные не там, где положено. Однако были и такие культуры, которые оказывались в неположенном месте, *где бы они ни находились*. Они создавали, так сказать, универсальное, даже — абсолютное загрязнение этнического пространства, являли собой форму грязи, с которой нельзя бороться, перемещая ее с места на место. Нации, жившие в диаспоре, — особенно если их представители были сосредоточены в среде торговцев и финансистов, а позднее в среде интеллектуалов и творческих работников и, следовательно, оторваны от живительного физического труда, от самой природы, — воспринимались как носители особых патогенных качеств — хитрости и коварства, — которые с точки зрения романтико-биологической философии коммунизма глубоко противоречили представлениям об общественном здоровье. Именно так нацисты (принадлежавшие к разным национальностям) воспринимали евреев. Евреи были оскорблением националистического принципа, вызовом для людей с общинно-этническим сознанием — не потому, что они жили в неподобающем месте, а потому что вообще жили.

Такого рода метафизика чрезвычайно интересна. Она составляет неотъемлемую и очень важную часть интеллектуальной истории Европы. Метафизика романтического национализма была вначале гуманной и мягкой. В общем она сводилась к утверждению, что человеку свойственно или желательно реализоваться в народной культуре — в песнях и танцах на фоне

деревенского пейзажа, — а не в формальных, холодных светских ритуалах. Пусть народная культура была несколько более раскованной, чем куртуазная, пусть пляски здесь были более дикими, напитки более грубыми и крепкими, а кухня не такой изысканной, — все это было отнюдь не смертельно. Больше того, народная культура, рекомендованная с некоторых пор к употреблению взамен культуры высшего класса, считалась даже более тонкой, ведь в конечном счете аристократический стиль — это стиль профессиональных военных. Уже на этом этапе ценностный аспект неизбежно смещался с разума на чувства. Однако внимание к чувствам, бытующим в слоях общества, далеких от власти, не имеющих доступа к настоящему оружию и не включенных в жесткую централизованную организацию, не несло еще в себе как будто ничего угрожающего.

Но будем осторожны! Мягкий коммунизм, который всего лишь романтизировал крестьянскую жизнь и народные песни, был вскоре дополнен новой доктриной, утверждавшей, что подлинная сущность человека и путь его самореализации лежит в области чувств, а холодное умствование разъедает душу и является мертвящим, нездоровым началом. Антипод витального крестьянина — горожанин-торгаш, работа которого состоит из вычислений и манипуляций и не имеет ничего общего с энергичным, располагающим к сотрудничеству физическим трудом на земле. В середине XIX в. эти аргументы коммунистов получили дополнительную поддержку со стороны дарвинизма. Энергия, напор и чувство хороши не только потому, что они неотделимы от прекрасной народной культуры, но и по той причине, что они являются двигателем соревнования, способствующим выживанию сильнейших и тем открывающего дорогу подлинной красоте. Как уродливы эти городские торгаши с их дряблым телом и бегающими глазами, — и как прекрасны земледельцы! Как отвратительны мыслители и красивы воины! Примечательно, что такого рода взгляды (и чувства) отличали не только будущих убийц, но нередко и их будущих жертв.

Когда к ополчившемуся против интеллекта романтизму применяется такое сочувствие и такая агрессия, он уже теряет свою былую невинность. И можно себе представить, к каким результатам приведет распространение этих идей и переживаний, если они получат поддержку формальных организаций и политических институтов. Но именно это и означает пришествие национализма.

Национализм представляет собой восстание деревенской вегетирующей культуры против «холодного» универсализма — будь то универсализм куртуазный, индустриальный или бюрократический. Национализм — это деревня, пошедшая против Версаля, или Хофбурга и венских кафе, или против

Манчестера. Но в действительности у самих деревенских жителей нет ни цели, ни средств, ни организационных возможностей, ни просто желания сражаться за свою культуру с городом, двором, светом или промышленным комплексом. Заботы их являются более приземленными, и если они и бунтуют, то, как правило, вовсе не из-за культуры. На самом деле люди, которые ведут такого рода культурную агитацию и организуют такую борьбу, — это атомизированные, анонимные члены индустриального общества или общества, ступившего на путь индустриального развития. Они боятся, что их принадлежность к «неправильной» культуре приведет к ущемлению их прав, и поэтому делают все, чтобы культура, носителями которой они являются, стала политически доминирующей. В этом они видят гарантии своей социальной успешности и психологического комфорта.

Какую же форму принимает их организация? Ядром популистского романтизма является культ действия и чувства. Соответственно, образцом националистического клуба становится спортивное или гимнастическое общество. Национализм главным образом наследует символику Turn-verein[8]. Для его целей гимнастика подходит как нельзя лучше — гораздо лучше, чем соревновательные или индивидуальные виды спорта. Гимнастика — это самый дюркгеймовский спорт: в нем современное общество находит ритуал, позволяющий выражать солидарность очень больших анонимных общностей, имеющих сходную культуру. Например, чешский национализм был почти тождественен с обществом «Сокол»: быть Соколом означало то же самое, что быть патриотом, хотя, по иронии судьбы, основателями этого общества были двое немцев. Чешская нация поклонялась себе самой как массовому сбору (*Slet*). Когда коммунисты пришли к власти после переворота 1948 г., они приняли мудрое, с их точки зрения, решение — сохранили общество «Сокол» вместо того, чтобы запретить его или вступить с ним в борьбу.

Таким образом, национализм выступал как идеология, соединявшая исторически более раннее и сравнительно мягкое течение мысли, которое поэтизировало деревенскую культуру и деревенский образ жизни, с метафизикой энергетического физического самоутверждения и с недоверием (если не с откровенной враждебностью) к холодному рассудочному мышлению. Дарвин в интерпретации Ницше выступил своего рода дополнением к Гердеру. Считалось, что естественный отбор открывает дорогу к здоровью и совершенству, в то время как универсализм, бескровный космополитический интеллектуализм и сострадание ведут ко всякого рода уродству и патологии. При этом предполагалось, что естественный отбор действует главным образом не на уровне индивидов и не на уровне человечества в целом, а на уровне наций, которые более всего напоминают биологические виды. Нации стали

рассматриваться как реалии социального мира, существующие от века. И если на более ранних исторических этапах они не проявляли себя открыто, то только потому, что они еще «спали», а главная задача националиста состоит в том, чтобы их «*разбудить*». Противостоять жестоким межнациональным конфликтам означает солидаризоваться с патогенными силами, ведущими к деградации. Проводниками и носителями этих идей, чувств и ценностей были молодые люди, сплоченные не столько общей академической подготовкой, сколько участием в коллективных физических действиях. В те годы националисты готовили себе хороших солдат. Они много занимались спортом, ходили в походы, штурмовали горные вершины, были меткими стрелками, одним словом, находились в отличной физической форме и умели четко выполнять распоряжения своих начальников. Привычка к энергичной коллективной деятельности на лоне природы способствовала впоследствии их успехам на поле брани: население тех частей Европы, которые входят в зону романтического популизма, сражалось во время войны более умело и эффективно, чем выходцы из тех стран, где были приняты более рафинированные развлечения.

Эта жестокая версия национализма — далеко превосходившего то, что было нужно для поддержания культурной гомогенности и внутренней мобильности национальных государств, — была выражением поэзии иррационализма. Общинный дух, дисциплина, иерархия и жестокость — вот достоинства, призванные удовлетворить подлинные человеческие потребности. Эти качества являются эффективными не *вопреки* их иррациональности, а *благодаря* ей. Бескровный и бесплодный универсалистский разум не позволяет идти навстречу глубинным чаяниям человека и, скоре, служит патогенным силам (в этом, грубо говоря, заключалась ницшеанская точка зрения). Когда в 1940 года немецкая армия с триумфом шла по Европе, она поражала всех не только своей мощью, но и своей красотой. («Как они прекрасны», — говорит Сартр устами своего героя, французского военнопленного, в романе, посвященном падению Франции). Это служило своеобразным оправданием агрессии и оккупации. Немецкий солдат сражался не только потому, что знал, что в противном случае будет застрелен, но и потому также, что он был движим мощным esprit de corps[9]. Прусскую дисциплину дополнял романтический дух товарищества (*Kameradschaft*). Нацизм, которому удалось вновь ритуализовать политику, привнес в анонимное индустриальное общество (*Gesellschaft*) мощную иллюзию общности (*Gemeinschaft*). Он соединил, и весьма эффективно, дисциплину индустриального общества с дисциплиной монархии, сплотив на эмоциональном уровне культурно-однородную группу.

Итак, сценарий предполагал очищение единого, сплоченного национального государства не только от компактных национальных меньшинств, оказавшихся на его территории, но и — прежде всего — от «вечных» меньшинств, интеллектуализм и (или) коммерциализм которых делал их заведомо несовместимыми с *любой* народной культурой. Массовые уничтожения, происходившие в 1940-х годах, не были потому случайными и отнюдь не лежали в стороне от магистральных событий. Люди, которые отдавали соответствующие приказы, так как и те, кто их исполнял, делали это не из личной корысти, но по велению долга, во имя общего блага, очищения и красоты. Сами эти массовые убийства были засекречены: они носили чудовищный характер, и поэтому были все основания для того, чтобы держать их в тайне. Однако если завеса секретности играла роль средства, то само действие вовсе не было таковым. Оно было wertrational[10], то есть представляло собой достижение цели, значимой самой по себе Один из нацистов, обосновывая планы массовых уничтожений, ссылался при этом на Канта, и, надо сказать, то, что он говорил, не звучало абсурдно: мы делаем это из принципа, а не преследуя личные интересы. В самом деле, массовые уничтожения едва ли способствовали удовлетворению интересов тех, кто их осуществлял, — скорее наоборот. Отрицать это или стыдливо об этом умалчивать означало бы создавать в корне неверное представление об одном из важнейших моментов развития мысли и чувства в Европе.

Ханна Арендт — один из ведущих экспертов по проблемам тоталитаризма XX в. — считает, что идеология нацизма выпадает из истории европейской мысли, что она не имела прецедентов и проникла в культуру незаконным путем из какого-то тайного концептуального подземелья[11]. Мне это кажется совершенно неправильным. Конкретное соединение составивших эту идеологию элементов, таких как отрицание универсализма, утверждение культурной сплоченности и одновременно жестокости, необходимой в борьбе за существование, социальной дисциплины и иерархии в противовес анархии рынка и т. д., — не может, конечно, считаться итогом европейской интеллектуальной традиции, но вместе с тем и не выходит за ее пределы. Натурализм этой идеологии делает ее продолжением идей Просвещения, ее коммунализм, культ местных особенностей говорит о ее прямой связи с романтизмом, возникшим как реакции на Просвещение.

Таким образом, четвертая стадия развития национализма — стадия упорядочения этнической карты с использованием любых, в том числе невообразимо жестоких методов, — не была ни случайностью, ни каким-то отклонением (возникшим под покровом секретности военного времени), которое, будь обстановка более нормальной и подконтрольной общественному мне-

нию, приобрело бы гораздо более благоприятные формы. Наоборот, стадия эта была неизбежной: в истории европейской мысли она была, так сказать, заранее вписана в повестку дня. В сложной этнической ситуации, сложившейся в Европе — особенно в Центральной и Восточной, — *всякое* решение проблемы политических границ должно было идти вразрез с интересами многих и многих людей. Ярость, которая высвобождалась в результате ущемления этих интересов, получила поддержку в социальной метафизике, которая санкционировала любые жестокости, и все это было еще многократно умножено благодаря тому, что движение, исповедующее эту метафизику, временно одержало победу и обрело не только волю, но и средства, необходимые для воплощения диктуемых ею идей.

Снижение накала этнических переживаний

Новая эра настала в 1945 году. Те, кто поддерживал романтический культ агрессии и национальной общины, потерпели поражение — по иронии судьбы, в той самой инстанции, которую они считали высшим и окончательным судом, — на поле брани. Это был негативный урок. Но вскоре за ним последовал урок позитивный. Послевоенный период оказался временем беспрецедентного роста благосостояния, если и не всеобщего, то, по крайней мере, имевшего очень широкий размах и масштабы. Однако не все оказались в этом плане в равном положении: больше всех процветали те, кто проиграл войну. Они были поэтому лишены возможности дальше культивировать коллективную агрессию и потеряли значительную часть своих территорий. С позиций успеха и естественного отбора этика воинственности потерпела фиаско. В то же время производственно-коммерческая этика оказалась по-своему привлекательной, и достижения на этом поприще быстро стали вполне очевидными, несмотря на большие территориальные потери. Потребительское общество опрокинуло традиционные понятия о «чести», с которыми не смогли в свое время справиться чистая коммерция. Жизненное пространство (*Lebensraum*), как выяснилось, ничего не определяет. На недостаток пахотных земель стали смотреть как на псевдопроблему — такой же пережиток, как культ военных доблестей. В противоположность прогнозам Маркса, *потребление*, а не *накопление* стало Моисеем и пророками нового порядка.

Эти обстоятельства подрывали основы экспансионистского национализма. В той мере, в какой он был рациональным (или считался таковым), он строился на предположении, что обладание территориями является признаком или предпосылкой национального величия и (или) процветания. Теперь же стало ясно, что это не так. Кроме того, иррациональные ценности, застав-

лявшие преклоняться перед агрессией и военными доблестями, были существенно подорваны ценностями потребительского общества. Однако все это затрагивало лишь уровень идеологии. Вместе с тем, главной областью, где действует и обретает плоть националистическое чувство, является уровень обыденной, частной жизни. В конечном счете, люди становятся националистами, поскольку убеждаются в ежедневном общении — на работе и в свободное время, — что их «этническая» принадлежность существенно влияет на отношение окружающих, которые либо испытывают к ним уважение и симпатию, либо — ненависть и презрение. Источником национализма является не идеология, а конкретный повседневный опыт. Человек, принадлежащий к культуре А, и находящийся в постоянных сношениях с экономической, политической и гражданской бюрократией, принадлежащей к культуре В, подвергается унижениям и дискриминации. Избежать всего этого он может, став либо сторонником ассимиляции, либо националистом. Зачастую он колеблется между двумя этими стратегиями.

Именно на этом уровне на поздних, относительно благополучных этапах развития индустриального общества национализм получает все меньшее подкрепление. Во-первых, здесь срабатывает тезис о «конвергенции», который в применении к индустриальному обществу действительно содержит зерно истины. По отношению к культурам, достаточно далеко отстоящим друг от друга, тезис этот, по-видимому, не всегда верен. Скажем, индустриально развитые страны Европы и Дальнего Востока могут сохранять существенные различия в области культуры несмотря на то, что уровень жизни и основные технологии там и здесь примерно одни и те же. Однако если речь идет о странах, изначально культурно близких, например, странах Европы, то на поздних стадиях развития производственной и потребительской конкуренции в них наблюдается заметная культурная конвергенция. Так, в области молодежной культуры страны, расположенные по обе стороны Атлантики, практически идентичны, и именно в этой области Советский Союз впервые капитулировал перед Западом — задолго до начала перестройки, открывшей такую возможность в других сферах. Советская пепси-кола появилась в те времена, когда никто еще не помышлял о романе Советов с идеей рыночной экономики. Для развитых индустриальных наций, имеющих достаточно близкие стартовые позиции в культуре, различия постепенно становятся не столько семантическими, сколько фонетическими: люди владеют и оперируют одинаковыми «вещами» ((изготовленными одинаковым образом, а часто в одном и том же месте), применяют по отношению к ним одинаковые понятия и обозначают их словами, различными по звучанию, но совпадающими по значению.

Наша теория национализма связывает его возникновение с изменениями в области труда: общая культура становится необходимой тогда, когда труд перестает быть физическим и становится семантическим. Члены одного сообщества, в рамках которого они взаимодействуют, должны разделять один и тот же стандартизованный код, и человек идентифицируется при помощи кода, в рамках которого он может действовать. Но если это так, то почему национализму суждено ослабевать по мере того, как семантизация труда достигает наивысшей точки своего развития, тогда как в пору ее зарождения национализму было суждено находиться на подъеме своих сил? И почему *универсальному* феномену было суждено проявить себя подчеркиванием приоритета *отличающихся друг от друга* этнических единиц? Ответ кроется в необычности процесса индустриализации, который увеличивает неравенство и противоречия на ранней стадии, когда мир семантической работы только начинает вступать в свои права. Поэтому дело обстоит таким образом, что в организация своих собственных государственно-культурных единиц — в интересах участников, вступающих в игру несколько позже[12].

Другим фактором, снижающим накал националистических переживаний в обыденной жизни, является сокращение экономического неравенства. Чтобы понять его действие, надо сравнить современную ситуацию с той, которая преобладала в тот период, когда национальные чувства переживали свою кульминацию, то есть на ранних стадиях развития индустриального общества. В то время экономическая дистанция между теми, кто только входил в эту систему, и теми, кто уже получал в ней прибыли, была гигантской. Первые наемные рабочие, обитатели наспех сколоченных бараков, практически лишенные каких бы то ни было материальных, моральных или политических средств, в самом деле не имели ничего, кроме своей рабочей силы, которую они продавали, вынуждены были продавать за бесценок, едва обеспечивая себе (и то не всегда) минимум, необходимый для выживания. Они замечали разницу своего положения и положения тех, кто оказался более удачлив, и это действительно служило причиной классовой ненависти, которую постулировал Маркс и отмечали более беспристрастные наблюдатели, такие как Токвиль. Но, несмотря на Марксов прогноз, ненависть эта не разрасталась, если не находила подкрепления и в этнических различиях. Если обездоленные способны заметить, что те, кому улыбнулось счастье, отличаются от них в культурном отношении (например, по своему языку), то возникают сильные и стабильные переживания, которые правомерно назвать этническими независимо от того, существуют или нет термины, выражающие это различие как различие наций. Бедные оценивают условия своего существования, сравнивая их с условиями существования богатых, и если

богатые вдобавок отличаются от них по своей культуре, бедные вскоре отмечают, что эксплуататоры (во всяком случае те, кто превосходит их экономически) одновременно обижают и ранят их еще и своим пренебрежением. Но это может быть классовой обидой — обидой людей одного рода на людей другого рода — только в том случае, если между ними существуют устойчивые *культурные различия*. Таким образом, культурные различия становятся значимыми, выступая в роли катализатора социального расслоения и противостояния, если они более или менее сращены с заметными, но культурно нейтральными экономическими различиями, характерными для ранних этапов развития индустриального общества. Только в этом случае взаимное презрение вкупе с экономическим неравенством порождает новые противостоящие друг другу классы. Тогда по обе стороны барьера возникает ненависть нового типа. Те, кто находится в привилегированном положении, видят в бедных, иных по своей культуре, угрозу — не только для существующего порядка в целом, но и для себя лично и своей семьи. Эти грязные люди, склонные к насилию, наводняют город и делают жизнь в нем небезопасной, иначе говоря, представляют собой особый вид заразы, социального загрязнения среды.

На поздних стадиях развития индустриального общества дело обстоит совершенно иначе. Здесь по-прежнему имеется огромное экономическое неравенство, которое иногда также коррелирует с культурными различиями, порождая социальный сепсис. Предположим, что некая культурная группа А является в целом более преуспевающей, чем культурная группа В. Это вызывает возмущение среди представителей группы В и страх — среди представителей группы А. Но если уровень жизни обеих групп достаточно высок (а в эпоху развитого индустриализма это обычно так и есть), то, хотя «объективно» разрыв между ними может быть гигантским, субъективно он уже не вызывает особых эмоций. Соответственно, обида и возмущение тоже не так велики. Эта разница между нищетой и умеренным благополучием оказывается принципиальной: во всяком случае, психологически она гораздо более значима, чем разница между значительным благополучием и *весьма* значительным благополучием. Но на поздних стадиях индустриализма различия между культурными группами относятся скорее ко второму роду, чем к первому. Единственная группа, очевидно лишенная многих привилегий, образуется не по культурном или «этническому», а скорее по медицинскому или персональному признаку: это инвалиды, люди, изолированные от общества и т. д. Но они не выдвигают «националистических» лозунгов. (Это общее рассуждение неприменимо, конечно, к ищущим работу мигрантам, которые ущемлены в правах, культурно обособлены и несомненно являются источ-

ником националистических переживаний, возникающих и у них самих, и у тех, кто их окружает).

Таким образом, хотя общая, освобожденная от контекста и осваиваемая в системе образования высокая культура остается необходимым условием морального гражданства и эффективного участия в экономической и политической жизни, тем не менее в эпоху позднего индустриализма она уже не продуцирует сколько-нибудь заметных националистических настроений. Национализм теперь можно приручить, как удалось приручить в свое время религию. Сегодня есть шанс переместить вопросы, связанные с национальностью, из общественной сферы в сферу частную, сделать вид, что это личное дело каждого, которое, наподобие половой жизни, не может влиять на социальную активность индивида и не допускает принуждения. В этом есть, конечно, значительная условность. Она обеспечивается наличием одной доминирующей культуры, доступной для всех и выступающей в качестве своеобразной общей валюты, которая позволяет индивидам подключаться по своему усмотрению и к каким-то иным культурам, используя их в своей домашней жизни или в других ограниченных зонах.

В такой ситуации становятся возможными любые формы федерации или конфедерации. Политические границы во многом утрачивают значение, теряют свой навязчивый символизм: теперь люди уже не так озабочены тем, чтобы «наша» граница проходила по этой реке или по гребню этой горной гряды. Никто уже не проливает слез, не пишет и не декламирует стихов в связи с тем, что таможенная служба расположена вдали от этой прекрасной местности, за которую наши храбрые мальчики проливали свою кровь. Теперь кажется достаточным, чтобы все культурные группы имели равную мобильность и доступ к различным преимуществам и чтобы у каждой культуры было при этом свое надежное пристанище, где ее воспроизводство поддерживает национальный университет, национальный музей, национальный театр и т. д. Такого рода организация существует уже (или близка к осуществлению) во многих регионах, хотя из этого еще не следует, что она будет осуществлена и получит распространение во всем мире.

Описанные стадии являются, так сказать, естественными фазами перехода от аграрного мира, где культура задает иерархию и социальные позиции, но не определяет политических границ, к миру индустриальному, где культура *определяет* границы государств, но будучи стандартизованной, существует безотносительно к позициям. Я не вижу других вариантов, других траекторий, которым мог бы следовать этот переходный процесс. Вначале имеются динамические или религиозные единицы, которые накладываются поверх местных общин и сосуществуют с ними. Затем появляется ирре-

дентизм, призывающий к совмещению целостностей культуры и государства и обреченный в большинстве случаев на неудачу, ибо сложность этнической карты не позволяет удовлетворить одновременно чаяния всех этнических групп. Национализм — это не просто игра вничью, это всегда игра на выбывание, так как большинство участвующих в ней культур неизбежно проигрывают. Культур слишком много, и если бы каждая из них образовала свое государство, то такое количество жизнеспособных государств просто не уместилось бы на Земле. Поэтому *в большинстве своем* культуры не смогут осуществиться в том брачном союзе между нацией и государством, заключить который призывает их националистическая теория. Но гнев и ярость, высвобождаемые в этом процессе, соединяясь с дарвиновской культом жестокости, ницшеанским утверждением чувств в противовес разуму, с масштабными социальными сдвигами, закономерно приводят к безудержному кровопусканию (достигая апогея в 1940-е гг., но случавшемуся здесь и другие периоды). И наконец, в эпоху позднего индустриализма, — благодаря росту благосостояния, уменьшению дистанций между культурами, появлению всемирного рынка и стандартизации образа жизни, — накал националистических страстей постепенно снижается.

Такова, вкратце, цепочка событий, которую можно было бы предвидеть теоретически и которую мы в самом деле обнаруживаем, рассматривая многие факты. В то же время схема эта отнюдь не универсальна — даже для Европы. Есть целый ряд причин, помешавших ее полной реализации в действительном историческом процессе. Например, в Европе механизм, приводивший в движение эти события, по-разному срабатывал в разных часовых поясах. На этих различиях стоит остановиться.

1. Централизация, осуществляемая государством. Представим себе, что существует политическая единица, учрежденная по динамическому принципу еще в до-националистическую эпоху, которая охватывает относительно — разумеется, не полностью — гомогенную в культурном отношении область. На этой территории есть множество местных диалектов (то есть носителей языка, не имеющих собственной армии и военного флота), которые вместе с тем достаточно близки к языку, используемому в государственном аппарате данной державы, чтобы их можно было считать *его* диалектами. Носителей этих диалектов можно убедить, что формальный стандартизированный язык, который им предлагают освоить для общения с чиновниками, — это «правильная» версия того языка, которым они пользуются у себя дома[13]. Люди *должны* говорить именно так. Благодаря культурным привычкам членов этих сообществ и их генетически наследуемым чертам, они мо-

гут легко, без особых конфликтов и без труда принять «национальную» я-концепцию, которую предлагает или навязывает господствующая высокая культура. Такая ситуация сложилась в целом на западном — атлантическом — побережье Европы. Крепкие динамические государства с центрами в Лондоне, Париже, Мадриде и Лиссабоне существовали еще на заре Нового времени и могли легко перерасти в однородные национальные государства (хотя для этого требовалась определенная перестройка в Ирландии и некоторые менее значительные организационные изменения в других регионах). Установление централизованной культуры отнюдь не опиралось при этом на культуру крестьянства, а было направлено *против* него. Крестьян надлежало превратить в настоящих граждан, но не учитывать особенности их культуры, определяя культуру нации. Поэтому этнография не имела в данном случае касательства к формированию нации. Какой смысл фиксировать то, что намереваешься разрушить? Интерес к бессознательной культуре крестьянства возникает лишь в тех ситуациях, где новая культура нации опирается на нее в процессе своего становления и инкорпорирует ее элементы.

2. Непосредственно к востоку от этой зоны, включавшей крепкие динамические государства, озабоченные только тем, чтобы «цивилизовать» своих крестьян, лежала другая зона — второй часовой пояс, — где построение национальных государств шло по пути унификации. Мы находим здесь сильную, осознанную, уверенную в себе высокую культуру, точнее — две таких культуры. Это стандартизованный, нормированный немецкий язык, существовавший со времен тевтонского вторжения в Восточную Европу или, по крайней мере, со времен Реформации. И не менее нормированный и стандартизованный литературный язык итальянцев, сформировавшийся в период среднего Средневековья или раннего Ренессанса. Судя по всему, эти языки в их нормативной версии были достоянием меньшинства (как было показано, в Италии еще в XIX в. меньшинство это было абсолютным) и не проникали в нижние слои общества или в отдаленные области.

Главной проблемой такой культуры было создание единой политической крыши на всей территории, где она уже доминировала, — но не создание новой культуры. Если бы этого удалось достичь, встала бы следующая задача — такая же, как и в первом часовом поясе: цивилизовать крестьянство. Но задачей номер один была политическая унификация, и на ней было сфокусировано основное внимание. Экспансия высокой культуры — то есть «образование» — было делом второстепенным. Такого рода национально-государственное строительство выдвигало на передний план государственных деятелей, дипломатов и солдат, а мыслителей, поэтов и просветителей дела-

ло фигурами менее важными, — хотя они и существовали, и пользовались определенным уважением. В этой зоне необходимо было прежде всего собрать воедино россыпь мелких или средних государств, изгоняя в некоторых случаях неугодных правителей. Для этого надо было заметно изменить баланс власти в Европе, действуя иной раз вразрез с интересами сильных и законных правительств. Это вряд ли было возможно без вооруженных столкновений, и действительно, национальные государства выковывались здесь в войнах и в напряженной дипломатической борьбе.

3. Следующий часовой пояс, расположенный дальше на восток, рождает наиболее известные образцы «национального строительства». Здесь существуют культуры (или считается, что они существуют), не имеющие собственного государства, которое требовало бы только «просвещение» масс, и не стоящие перед необходимостью объединения разрозненных политических единиц (и изгнания неугодных правителей) под эгидой единой высокой культуры. Напротив, эти культуры вообще не обладают ни политической организацией, ни собственной кодификацией, то есть внутренней формально выраженной нормативной основой.

Внутри этой категории различают обычно «исторические» и «неисторические» нации. Первые имели когда-то свое государство, но потеряли его; вторые никогда его не имели. Первые требуют «возрождения» политической единицы, исчезнувшей в результате династических или религиозных конфликтов. Вторые — создания новой единицы, необходимость которой обосновывается только культурным своеобразием данной территории, но не историческим прецедентом. Различие между этими случаями, пожалуй, не столь принципиально, как это принято считать.

Действительно важно здесь то, что такой вариант развития требует появления активистов-пропаганлистов-просветителей, стремящихся «пробудить» нацию — то ли призывами возродить ее былую славу, то ли просто попытками обратить внимание на ее культурное своеобразие, не подкрепленными ссылками на политическую историю. Как бы то ни было, эти люди действуют на свой страх и риск или под эгидой организации, не получившей благословения у существующих политических властей. У них еще нет государства, которое бы их поддержало. Это — главное, что отличает данный вариант развития от «централизации сверху»[14].

4. Наконец мы доходим до четвертого часового пояса. В определенном отношении события развивались здесь так же, как и в третьем: между 1815 и 1918 гг. были пройдены две первые стадии — динамически-религиозной по-

литики и иррендентистской реакции на нее. В 1815 г. Восточная Европа была поделена между тремя империями. При этом царская империя следовала, казалось, тем же путем, что и Оттоманская, и империя Габсбургов. Все три империи в общем устояли перед атаками национализма — впрочем, Оттоманская с некоторыми потерями, — и все три, несмотря на то, что во время войны они были на разных сторонах, рассыпались в прах в 1918 г.

Затем, однако, страна Самодержавия и Православия пошла по совершенно иному пути, чем территории, принадлежавшие двум другим империям, развитие которых следовало влиянию идеологических коктейлей, представленных в широком ассортименте. Их неизменным ингредиентом был национализм. Но в мелких государствах, наследовавших империям, национализм смешивался в различных пропорциях с популизмом, демократией, фашизмом, клерикализмом, модернизацией, династической реставрацией и т. д. Смеси эти не были, впрочем, особенно впечатляющими — ни в качестве продуктов мышления, ни в роли социальных катализаторов.

В краю бывшего самодержавия ситуация складывалась совсем по-другому. Спустя несколько лет после полного военного поражения империя была восстановлена под эгидой нового правительства и новой идеологии, которая отнюдь не была слабым оппортунистическим коктейлем, но, напротив, представляла собой одно из самых влиятельных из созданных когда-либо убеждений[15]. Оглядываясь назад, можно заметить, что марксизм бы как будто специально создан для мятущейся русской души XIX столетия, раздираемой, с одной стороны, желанием копировать и догонять Запад, а с другой — мессианско-народническим стремлением осуществить, опираясь на местные традиции, сове особое предназначение. Заявляя о себе как об учении научном и материалистическим, марксизм обещал объяснить, в чем секрет силы и преуспевания Запада, и сообщить рецепт, следуя которому его можно не голько догнать, но и обрести еще большие богатство и власть. В то же время марксизм был готов предоставить гарантии, что общество, созданное по этому рецепту, будет свободно от эксплуатации и насилия и моральных издержек, компромиссов и лжи, свойственных западному индустриализму. Путь, предначертанный марксизмом, ведет в конечном счете к чудесному удовлетворению извечного стремления к единению душ и *одновременно* — стремления индивидов к независимости. Человек будет совершенно свободен и в то же время окружен своими товарищами. Такова цель существования человечества, достижению которой препятствовало до сих пор несовершенство общественного устройства. Марксизм поставил обществу точный диагноз и в будущем обещал ему полное исцеление. Для осуществления этой программы было необходимо создать особый Светский Орден, объединяющий людей

дисциплинированных, преданных идее и готовых на все ради конечной цели. Знание истины в последней инстанции освобождало бы их от необходимости следовать каким-либо формальным процедурам. Будучи сами воплощением справедливости, они могли судить высшим судом и не нуждались в формальном правосудии, которое служило всегда лишь препятствием на пути движения общества к цели.

Дух и буква этой доктрины попали на почву, где уже долгое время развивались централистские, авторитарные и мессианские традиции и стояли чрезвычайно сложные задачи модернизации и обороны. Хорошо известно, к каким ужасающим последствиям это привело, и вряд ли стоит останавливаться на этом подробно. Отметим лишь несколько моментов с точки зрения истории европейского национализма. Прежде всего, марксистский рецепт оказался в конце концов весьма сомнительным: он не помог догнать Запад, а наоборот, привел к увеличению экономического разрыва и страшному отставанию. Однако сила идеологии и порожденных ею институтов в течение семидесяти дет не позволяла бывшей царской империи следовать по тому пути, которым пошли бывшие Оттоманская империя и империя Габсбургов. Вера в конечном счете иссякла, но не в результате сталинского террора, который она была в состоянии оправдать, а под воздействием нищеты и убожества брежневской эры застоя.

Я думаю, что эта система убеждений, возведения впервые в ранг государственной религии, потеряла власть над умами своих приверженцев не потому, что она была светской и, следовательно, более уязвимой при сопоставлении с непреложными историческими фактами (обычно такие испытания лишь укрепляют веру), но по той причине, что она слишком сакрализировала мир, не оставив никакой собственной мирской области, где ее адепты могли бы переводить дух в периоды спада религиозного рвения. Вера, которая сакрализировала экономику, не может выдержать длительных периодов хозяйственного разложения и застоя. Пока аппаратчики убивали друг друга, вера сохраняла свою трепетность, но она немедленно улетучилась, как только они стали давать друг другу взятки. Когда система продемонстрировала свою полную экономическую и военную неконкурентоспособность и была вынуждена, чтобы выжить, пойти на либерализацию, выяснилось, что в прежние идеалы не верит уже никто. Нацисты верили в войну и потерпели поражение на поле боя. Большевики верили в экономику, и приговор им был вынесен ситуацией полного экономического краха.

Сегодня общества, попавшие в ловушку этой системы, возвращаются к той точке, в которой их развитие было заморожено семьдесят (в некоторых случаях сорок) лет тому назад. Правда, социальная база для этого развития те-

перь уже совсем иная. Семьдесят лет назад наблюдалось *относительное* (в сравнении с Западом) отставание, но было и заметное улучшение в сравнении с собственным прошлым. Была почти уже достигнута всеобщая грамотность, быстрыми темпами шла урбанизация, и в целом экономика шла в гору — по крайней мере, многим людям было уже что терять.

Ныне развитие системы может устремиться по трем направлениям, соответствующим трем пропущенным стадиям развития национализма, которые в течение всего этого времени были для нее закрыты. С одной стороны, здесь может буйным цветом расцвести безответственный ирредентизм, который приведет к возникновению новых политических единиц, где будут разыграны в меньших масштабах (и, следовательно, в более острой форме) этнические конфликты, порожденные развалом империи. С другой стороны, могут разыграться трагические события по сценарию «Ночь и туман» — с массовыми убийствами и принудительными или вынужденными миграциями. И, наконец, не исключен определенный спад националистических настроений, характерный, как можно надеяться, для развитого индустриального общества. В современной ситуации есть предпосылки для каждого из этих трех вариантов, и пока еще трудно сказать, какой из них станет преобладающим. Можно не сомневаться в том, что в той или иной степени проявят себя все три. Но какой перевесит? Ответ на этот вопрос будет определяющим для развития Советского Союза в 1990-е гг.

К этому остается добавить, что схема, основанная на делении Европы по четырем часовым поясам, нуждается в некоторой исторической корректировке. Есть обширная область, лежащая между Балтикой, Адриатикой и Черным морем, принадлежавшая в период между двумя мировыми войнами к третьему поясу, которая была силой присоединена к четвертому поясу в 1944—1945 гг., во время наступления советской армии, и оставалась там до 1989 г.

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Предложенная здесь периодизация существенно отличается от той, которую приводит в своей известной, хорошо аргументированной и опирающейся на солидную источниковую базу работе Мирослав Хрох[16]. Как отмечает Эрик Хобсбаум, «работа Хроха... открывает новую эру в изучении национально-освободительных движений»[17]. Хрох делает интересную попытку сохранить *обе* точки зрения: и марксизм, и национализм. Он исходит из того, что нации действительно существуют и выражают себя в националистических дви-

жениях, а вовсе не являются порождением этих движений. В то же время главным событием мировой истории, считает он (вслед за Марксом), является смена одного способа производства другим, а развитие национализма (автономное?) идет с ним вразрез. Фундаментальное исследование Хроха заслуживает пристального анализа, хотя я и не согласен с ним по обеим позициям: нации, на мой взгляд, не существуют «в реальности» (они возникают как особая форма соединения культуры и государства, возможная при определенных экономических условиях); а Марксова схема перехода от феодализма к капитализму может быть, по-моему, принята лишь в том случае, если ее интерпретировать как переход от аграрного мира к миру индустриальному.

Итак, Хрох создает свою типологию и периодизацию, накладывая одну на другую две системы понятий. Одна связана с представлением о стадиальности развития общества в целом; вторая — с определенной последовательностью в развитии самого национального движения. Первое различие двойственно: оно, в свою очередь, предполагает различение феодализма и абсолютизма, с одной стороны, и капитализма — с другой. Книга написана с откровенно марксистских позиций, и если бы это было не так, то в то время, когда автор над ней работал, он вряд ли мог бы рассчитывать на ее публикацию в Праге. Из этого, впрочем. Не следует, что марксистская аргументация является для него только ширмой. Я считаю неуместным обсуждать здесь этот вопрос, но, тем не менее, это — часть социального фона, на котором возникла работа, и игнорировать его было бы тоже неверно.

Привлечение марксистской теории общественно-экономических формаций заставляет сделать несколько замечаний. Как я уже сказал, Хрох соединяет в *одной* стадии феодализм и абсолютизм[18]. Конечно, можно включить то и другое в одно родовое понятие, назвав его «феодализмом». Действительно, там и здесь статус связан с землей. Там и здесь есть четкая система рангов, сопряженных с несимметричными обязанностями и правами, имеющая форму пирамиды, на вершине которой находится монарх. В обоих случаях в обществе ценятся прежде всего военные доблести, гораздо меньше — продуктивная деятельность, а коммерция и торговля вызывают по крайней мере двойственное к себе отношение. И вся задающая иерархию терминология в ситуации централистского абсолютизма — та же, что и при феодализме в узком смысле, ибо она получена от него в наследство. Так что эти два периода действительно имеют ряд общих черт.

В то же время между ними существуют и различия — не менее, если не более важные. Абсолютистское государство опирается на профессиональную армию, где дворяне могут служить в качестве офицеров, но они обыкновен-

ное не приводят с собой всю свою вассальную общину, поставленную «под ружье». Полк, подчиненный тому или иному знатному лицу (или названные его именем), — это стандартное подразделение, имеющее стандартное вооружение, обмундирование и такую же организационную структуру, как и все остальные полки; это — не его домочадцы, дворня и свита, мобилизованные для военной кампании, вооруженные, одетые и управляемые в соответствии с местным обычаем. Абсолютный монах контролирует всю территорию принадлежавшего ему государства и не делегирует местной знати судебной и политической власти в отдельных и труднодоступных районах. Как замечает Адам Смит, такое делегирование, не санкционированное законом, наблюдалось до 1745 г. в горных районах северной Шотландии, однако именно в силу этого северная Шотландия была в централизованном государстве совершенно особой областью[19]. В условиях абсолютизма дворянство, приобретенное военной службой (*noblesse d'épée*), постепенно уступает место дворянству, приобретенному службой гражданской (*noblesse de robe*), то есть, в сущности, бюрократии. Это новое дворянство с его новой этикой служения практически вытеснило старую земельную аристократию при Тюдорах.

Примечательно, что в библиографии Хроха вовсе нет фамилии Токвиля. Никак не фигурирует и не обсуждается в книге мысль, что Французская революция довершила дело, начатое французской монархией, а не шла вразрез с ее начинаниями. Вообще Французская революция упоминается только однажды (хотя родовое понятие «буржуазная революция» мелькает часто и занимает заметное место в аргументации). Но и это единственное упоминание Французской революции содержится в методологической части, где автор отстаивает свою марксистскую позицию, которая выражается во внимании прежде всего к классовым различиям, а не к поверхностным различиям социальных позиций[20].

Трудно, однако, удержаться от подозрения, что именно в этом месте рассуждение автора страдает не от избытка, а как раз от недостатка марксизма. Полагая феодализм-абсолютизм как единую (и однородную?) формацию, в рамках которой нет еще национализма, автор лишает себя возможности хотя бы только поставить вопрос о его предыстории. Но совершенно очевидно, что вопрос этот просто нельзя не задать. В самом деле, как соотносится национализм с переходом от в подлинном смысле феодального, политически раздробленного общества, где, в общем, нет еще бюрократии (за исключением, может быть, церковной), к обществу «абсолютистскому», где светская бюрократия играет уже значительную роль?[21] Ведь на этой более поздней стадии в сфере администрирования начинает широко использоваться пись-

менность и образуется та связь между централизованным государством и литературной, нормированной, кодифицированной высокой культурой, которая и составляет суть принципа национализма. Националистических движений в этот период еще нет, но совершенно очевидно, что централизация, бюрократизация и стандартизация готовят здесь для них почву. Так это на самом деле или не так, но такой вопрос по крайней мере должен быть поставлен. И хотя я сам придерживаюсь точки зрения, что национализм в том виде, в каком он нам известен, существует лишь на протяжении двух последних столетий, тем не менее теория национализма будет, по всей видимости, неполной, если, решительно полагая в качестве его нижней границы феодализм-абсолютизм, она не поставит вопрос о его более ранних корнях.

Есть и другие кандидаты на роль прародителей национализма, в частности, Реформация и, может быть, хотя и в меньшей степени, — Возрождение. Обращение протестантов к языкам различных народностей, распространение ими грамотности и провозглашение принципа прямого контакта верующего со Словом Божиим (на доступном ему языке) — точки совпадения с социальной картиной зарождения национализма здесь очевидны. Организация духовенства по национальному, а не международному принципу, распространение грамотности на все общество не могли в конечном счете не повлиять на возникновение идеала «одна культура» — одно государство — одно общество. Распад универсалистской политической схемы, дробление верховной власти, очевидно, являются частью предыстории (если не самой истории) национализма. И когда св. Жанну — в версии Бернарда Шоу — сжигают на костре: католики — за протестантизм, а англичане — за национализм, такой ли уж существенный это анахронизм? Странно также, что в именном указателе чешской книги о национализме нет имени Яна Гуса.

Таким образом, мы можем только еще раз повторить, что эта замечательная книга страдает не от избытка, а от недостатка марксизма. Главное социальное изменение, с которым автор связывает появление национализма, — это переход от феодализма-абсолютизма, взятого как одно целое, к капитализму. А потому вопрос о возможных более ранних изменениях, которые могли иметь к этому касательство, в данном случае просто не встает. Сам я, будучи уверен, что национализм — дитя индустриального общества, не могу целиком отвергнуть такой подход и даже не возражаю против использования термина «капитализм» вместо более точного «индустриализм», — такова условность марксистской терминологии, продиктованная идущим еще от самого Маркса отрицанием тезиса о конвергенции капиталистически-социалистического индустриализма, — впрочем, в данном случае каждый волен переводить термин так, как ему нравится. Тем не менее, остается ощу-

щение, что мысль о сотворении мира в конце XVIII в. проводится здесь излишне последовательно.

В связи с этим нельзя не заметить, что в книге также опущен вопрос о роли национализма при переходе от капитализма к *социализму*. Конечно, это весьма деликатная тема. Однако автор все же цитирует работу, в которой предпринята попытка определить значение национального фактора в советском обществе (принадлежащую покойному Ю. Бромлею).

Подход Хроха состоит, следовательно, в том, чтобы связать национализм с некоторой абсолютной исторической фазой, а именно с переходом от доиндустриального к капиталистическому обществу. Что же именно оказывается столь тесно связанным с этим базисным изменением социальной структуры?

Ответ: феноменология национализма. Здесь Хрох использует уже не бинарный, а троичный принцип классификации, постулируя три стадии развития национализма. Он выделяет: стадию А, на которой появляется научный интерес к изучению национальной культуры; стадию В — период национальной агитации, когда интеллектуалы не ограничиваются этнографическими штудиями, а идут в народ, чтобы пробуждать его самосознание; и, наконец, стадию С, на которой возникают массовые национальные движения.

Эта типология отражает главным образом опыт «малых» наций (автор признает это сам), не имеющих, так сказать, собственной политической крыши. Следуя этой логике, можно предположить (хотя автор этого не делает), что наряду с формально введенными двумя измерениями (традиция/капитализм и три стадии пробуждения национального самосознания) существует *еще* и третье, на оси которого большие, обладающие собственным государством нации противопоставленные малым, «угнетенным». В этом последнем противопоставлении наличие собственного государства, по-видимому, представляется автору более важным фактором, чем размеры как типовые, ибо он относит датчан к «большим» нациям, что в количеством смысле не совсем верно[22]. Таким образом, получается, что датчане составляют большую нацию, а украинцы — малую.

Формально говоря, данная ось или переменная не входит в область определения функции, так как работа Хроха, по его собственному утверждению, касается лишь национализма «малых» наций, то есть тех, которым еще *предстоит* обзавестись собственной политической единицей. Но, несмотря на то, что формальным предметом книги является национализм в таком узком смысле, мне представляется вполне естественным считать, что речь об исследовании национализма вообще, и лишь фокусируя внимание на «малых

и угнетенных» нациях, мы получаем типологическое сужение темы. Это — конкретное применение теории, которая сама по себе относится ко всем нациям — «большим» и «малым».

Но все-таки книга сосредоточена главным образом на взаимоотношениях двух типов общества и трех стадий развития национализма. Накладывая их друг на друга, Хрох получает четыре типа национализма[23].

Первый тип он называет «интегрированным». Переход от академического интереса к активной агитации совершается здесь до наступления индустриальной и буржуазной революций. За этим следует окончательное «формирование современной нации». Только после этого зарождается рабочее движение.

Второй тип, по терминологии Хроха, — «запаздывающий». В этом случае националистические агитаторы также приходят на место ученых еще до индустриальной и буржуазной революций, рабочее движение появляется до перехода от агитации к массовому движению или одновременно с этим переходом, а формирование целостной современной нации замыкает все упомянутые процессы.

Третий тип Хрох называет «повстанческим»: агитаторы сменяют ученых еще при феодализме и в рамках феодальной формации возникает современная нация. «Национальное движение приобретает массовый характер еще в условиях феодализма». Нация формируется прежде, чем появляется буржуазное общество[24].

Наконец, есть еще четвертый тип, который он называет «дезинтегрированным». В этом случае национализм делает свои первые шаги уже после буржуазной и индустриальной революций, и тогда национальная агитация не обязательно переходит в стадию массового движения. Из этого можно сделать вывод (и автор говорит об этом, хотя несколько иными словами), что ранняя индустриализация может оказаться фатальной для национализма.

Подход Хроха проявляется с любопытной стороны, когда он раскрывает значение первой фазы процесса формирования нации (тип А). «У начала национального возрождения всякий раз стоит группа людей, как правило, интеллектуалов, которые с энтузиазмом и страстью приступают к изучению языка, культуры и истории угнетенной нации» (p. 22). Как верно замечает автор, эти исследователи сами далеко не всегда принадлежат к изучаемой этнической группе. Иначе говоря, «пробуждение» вовсе не обязательно приходит изнутри, — часто его привносят пришельцы.

Представления об этой фазе, которая зафиксирована и описана здесь весьма точно, можно употребить с пользой, превратив их в *переменную величину* и рассмотрев в контексте общей теории национализма, охватывающей как

«малые», так и «большие» нации. Это гораздо более продуктивно, чем считать ее *величиной постоянной*, рассматривая в контексте изучения одних только «малых» наций, как это делает Хрох (имея в виду, как уже было сказано, не столько размеры, сколько наличие государства и правящего класса, принадлежащего к данной этнической группе). Принимая такой подход, мы увидим, что эта стадия играет важную роль в одних часовых поясах Европы и отсутствует в других, — и сможем понять почему. В самом западном поясе национальное единство создается не в союзе с крестьянством, а в противоборстве с ним. Слова «крестьянин», «мужик» в странах этого региона звучат скорее оскорбительно, чем благожелательно[25]. Чувство принадлежности к нации формируется здесь в «якобинском» духе, национальное единение возникает в результате экспансии существующих уже центральных институтов и прямо ассоциируется с высокой культурой. Этому только препятствует региональная самобытность крестьянского населения, — его надо как можно скорее привести к единому знаменателю, и это становится одной из основных задач системы образования. Во втором часовом поясе особенно в Германии — уже встречается популистский романтизм. В раздробленных политических единицах, которые предшествовали появлению единой нации, при дворе часто были приняты иностранная речь и манеры, и тогда интерес к местной культуре был частью противостояния этому чужеродному стилю. Тем не менее, чтобы достичь национального единения, надо нивелировать, а не акцентировать региональные диалекты и культурные особенности. Поэтому этнография, в принципе, не является служанкой национализма. Когда Муссолини призывал итальянцев с юга страны и из области Венеция переселиться в Валле-д'Аоста, он пытался таким образом бороться, с одной стороны, с правильной французской речью правящего класса савояров, привыкших искать себе невест скорее в Шамбери, чем в Италии, а с другой — с диалектом населявших эту область крестьян.

Наиболее ярко выраженной, необходимой и повсеместной является этнографическая «фаза» в третьем часовом пояса. Здесь национальные и государственные культуры создаются не в оппозиции к местной народной культуре, а на ее основе. Конечно, она нуждается еще в просеивании, очистке и стандартизации, но тем не менее, чтобы использовать ее как материал для рациональной, кодифицированной высокой культуры, способной служить государству и нации, ее надо сначала изучить в «сыром» виде. Известное различение исторических и неисторических наций не играет при этом особой роли, ибо не так уж важно, была ли данная диалектная группа в прошлом связана с некоторой политической единицей и с культурой своей аристократии или такой связи не существовало. Это может повлиять лишь на ха-

рактер создаваемой национальной мифологии. Так, чехи или литовцы могут предаваться воспоминаниям о своем славном средневековом прошлом, а эстонцы, белорусы или словаки не имеют такой возможности. В их распоряжении — только крестьянский фольклор да рассказы о благородных разбойниках, но нет жизнеописаний монархов и победоносных завоевательных эпопей. Впрочем, это не имеет большого значения.

Четвертый часовой пояс соединяет в себе первого и третьего. Вдохновленные славянофильскими и народническими идеями, этнографические исследования играли здесь чрезвычайно важную роль. Однако их целью не было создание национального самосознания как основы нового государства: государство уже существовало и было тесно связано в церковью, которая немало сделала для формирования национальной культуры. То, что известно как «хождение в народ», было скорее стремлением по-новому определить содержание этой культуры, а не попыткой ее *создания*. Вопрос заключался в том, должна ли она опираться на ценности крестьянского образа жизни и религиозные ценности или ей надлежит ориентироваться на элитарные образцы преимущественно западного происхождения. В то же время населявшие империю нерусские этнические группы развивались скорее по типу, характерному для третьего часового пояса. Они относились к той части Европы, которая во второй половине 1940-х гг. была искусственно присоединена к четвертому поясу. В странах, насильственно обращенных в коммунизм в ходе наступления советской армии, развитие национализма было приостановлено на период примерно с 1945 по 1989 гг. Драматические последствия этого процесса мы наблюдали в 1991 г. в Югославии.

Итак, в течение двух столетий, прошедших со времени Французской революции, на смену государствам динамически-религиозным пришли, став нормой европейской жизни, национальные. Они либо вырастали из прежде существовавших государств и (или) высоких культур, либо извлекали свою культуру из существовавших народных традиций и уже на основе полученной таким образом новой высокой традиции строили политическую единицу. В последнем случае надо было наполнять содержанием сознание и память нации, и поэтому этнографические изыскания (а в действительности — кодификация и конструирование) играли в этом процессе заметную роль. Это — «стадия А» по Хроху. Однако в первом случае народная традиция должна была получить не дар памяти, а дар забвения. Великим теоретиком такого пути формирования нации был, конечно, Эрнест Ренан[26]. На Востоке вспоминают то, чего не было, на Западе — забывают то, что было. Именно Ренан признал французов в интересах единства отказаться от этнографических и этнологических изысканий. Границы Франции никогда не следовали

этническому принципу, и до сих пор они вызывают геополитические споры, но не споры о народной культуре. Ренан также красноречиво доказывал, что единство нации обеспечивается не памятью, а ее потерей. В национальном французском якобинском государстве французов заставляли забывать о своем происхождении, в то время как в Оттоманской империи, построенной отнюдь не по национальному принципу, в основе социальной организации лежало требование, чтобы каждый знал свои этнические и религиозные корни. Оттоманское законодательство и сегодня еще живо в Израиле благодаря парламентскому равновесию, которое обеспечивается религиозным голосам признание в большинстве коалиций, и поэтому, в частности, каждый человек может вступать в брак только по законам своей религиозной общины.

Таким образом, в некоторых частях Европы этнографические исследования имеют отношение к формированию наций. Однако в других частях они отсутствуют (или никак не связаны с политикой), и это является важной особенностью формирования здесь национализма. В Западной Европе национализм исходно игнорирует этническое разнообразие. Так что выбор здесь между сотворенной памятью или вызванным к жизни забвением. По иронии судьбы, огромное влияние на формирование западной социальной антропологии оказали работы Бронислава Малиновского, который стал в этой области по существу основоположником британской школы. Разработанные им идеи, относившиеся к этнографии культурных ценностей, первоначально использовались на востоке Европы в интересах культурного и национального строительства, но затем были приняты на Западе в качестве методологической базы эмпирических исследований[27].

Впрочем, главной особенностью примечательной книги Хроха является не то, что она акцентирует этот характерный для Центральной Европы момент влияния этнографии на процесс формирования наций, а то, каким образом пытается увязать общий сценарий социально-экономических трансформаций в Европе с появлением национализма. И здесь он сталкивается с одним из наиболее трудных в этой области вопросов: кто главные действующие лица данной исторической драмы — нации или классы?

Начинает он, казалось бы, с заявления о своей приверженности марксистским принципам. «Не будем скрывать, что процедуры, которые мы используем в общественных отношениях, прямо следуют из марксистского взгляда на историческое развитие»[28]. В то же время его позиция любопытным образом отрицает всякий редукционизм по отношению к нациям. «В противоположность субъективистскому пониманию нации как продукта национализма, национальной воли и духовных сил, мы выдвигаем концепцию нации как неотъемлемого элемента социальной реальности, имеющего

историческое происхождение. Появление современной нации мы рассматриваем как первичную реальность, а национализм — как феномен, обусловленный существованием самой нации»[29].

Утверждение вполне ясное и однозначное: нации (или, странным образом, «появление современной нации») являются частью базовой социальной онтологии, а не просто побочным продуктом каких-то структурных изменений (хотя, по-видимому — р. 4, — характеристики, определяющие нацию, нестабильны).

Позиция автора оказывается, таким образом, полумарксистской: нации имеют самостоятельное историческое бытие и значение, не сводимое к изменениям классовой структуры общества, и все-таки остаются главными героями драмы, сюжетом которой является переход от феодализма-абсолютизма к капитализму. Вопроса о последующем переходе к социализму автор тщательно избегает, — и это понятно, — хотя косвенно он все время его касается, обращаясь к теме вооруженной борьбы рабочего класса, которая, надо думать, возвещает наступление новой эры. Хрох нигде не утверждает, но и не отрицает, что эта борьба в конце концов приведет к победе и к появлению совершенно новой общественной формации. Читателю книги ничто не мешает предположить, что дело закончится именно этим. Однако, учитывая, что книга была написана в условиях режима, где официально господствовала точка зрения, что это уже произошло, и факт этот было запрещено отрицать публично, заслуживает интереса то обстоятельство, что автор нигде не утверждает этого открыто и прямо.

Таким образом, общий вывод книги заключается в том, что нации существуют в истории независимо и самостоятельно, и вместе с тем историческая реальность является по своей сути изменением классовых отношений, о котором говорил Маркс. Поэтому появление современных наций необходимо соотнести с этим фундаментальным изменением. Эту задачу автор и решает на протяжении всей книги, привлекая огромный эмпирический материал и демонстрируя незаурядное концептуальное тщание. Он полагает, что ни один из двух процессов — движение к индустриализму (в его терминологии — к «капитализму») и движение к национализму — не может служить объяснением для другого. От всякого редукционизма книга совершенно избавлена: и марксисты, и националисты получают в ней свою область, и им запрещено командовать друг другом. Автор делает вывод, что данные области независимы. Такой вывод представляется мне ошибочным, так как на самом деле эти области суть разные стороны *одного переходного процесса*.

Но что можно сказать о выводах книги, учитывая содержащийся в ней богаты фактический материал? Подтверждает ли он эти выводы, или на его

основе можно прийти к иным заключениям? Думаю, скорее — последнее. Причем, альтернативная концепция будет, с одной стороны, гораздо более редукционистской по отношению к нациям, ибо она лишит их статуса безусловной реальности, а с другой — не станет принимать очень уж всерьез марксистскую теорию общественных изменений. Было бы глупо становиться при обсуждении этих вопросов на догматические позиции или спорить с Хрохом, утверждающим, что здесь предстоит еще много работы. Тем не менее, я рискну утверждать, что, несмотря на все данные Хроха (или как раз в свете этих данных), альтернативная концепция прямо вытекает из фактов и сводится приблизительно к следующему. Доиндустриальный мир (по Хроху — феодализм-абсолютизм) имеет сложнейшую лоскутную культурную ткань и весьма разнообразные образцы политического устройства. Некоторые культуры распространены здесь среди группировок, составляющих правящий класс и политический аппарат государства. Они в конечном счете становятся основой тех единиц, которые Хрох называет «большими нациями» (хотя речь не идет о размерах как таковых). Другие культуры (культуры «малых наций») не имеют таких преимуществ: среди их носителей нет людей, которые обладают властью и занимают ключевые позиции в обществе. Такие общности должны *создать* собственную высокую культуру, лишь после этого они могут мечтать о создании государства, которое стало бы защищать их интересы.

Хрох соглашается, что подлинный современный национализм не существует на доиндустриальной стадии и что относящиеся к этому периоду территориальные движения («Landespatriotismus») нельзя считать формой национализма, как это делают некоторые авторы, например, Ганс Кон. Принцип национализма начинает по-настоящему действовать только при новом социальном устройстве, когда значительно увеличивается социальная мобильность и неизменно возрастает роль высокой письменной культуры. В этом мы с Хрохом единомышленники.

Характерной чертой доиндустриального мира является наличие страт, «знающих свое место», то есть сословий. Мир индустриальный, напротив, состоит из страт, которые «своего места *не знают*», то есть из классов. Классовая принадлежность не фиксирована раз навсегда. Если такое изменение считать сутью «буржуазной революции», то эта революция действительно происходит повсеместно. Но есть ли в истории хоть один пример изменения классовых отношений по Марксу? И почему мы должны считать, что такие изменения не зависят от развития национализма?

На самом деле национальные революции происходили в тех случаях, когда классовые и культурные различия накладывались друг на друга. Клас-

сы, не имевшие культурных отличий, никогда ничего не достигали, так же как и культурное («этническое») своеобразие, не подкрепленное классовыми различиями, не приводило ни к чему. Настоящий революционный потенциал возникал только в случае из сопряжения. Вот что пишет об этом Хрох. «Классовая борьба сама по себе не вела ни к каким революциям, и национальная борьба без конфликтов между стратами мобильного индустриального общества оказывалась неэффективной... конфликты интересов между классами и группами, члены которых были в то же время разделены языковыми барьерами, несомненно усиливали национальное движение. Таким образом, к поляризации отношений в сфере материального производства добавлялись независимые национальные различия, и в результате конфликты интересов проявлялись не на социально-политическом уровне (или не только на нем), но на уровне националистических требований» (p. 185). То есть, классовые конфликты получали развитие, только будучи подкреплены культурно-этническими различиями. В то же время, «когда национальное движение было не в состоянии опираться в ходе националистической агитации на интересы отдельных классов и групп, оно не достигало успеха» (p. 185—186). То есть, национальные движения оказывались эффективными только в том случае, если они подкреплялись классовым противоборством. Иначе говоря, без этнического фактора классы слепы, а этнические группы без классового фактора — беспомощны. Ни классы, ни нации сами по себе не порождают структурных изменений. Это способно сделать только их совпадение в условиях индустриального общества.

Еще раз процитируем Хроха: «Новая интеллигенция угнетенной нации, — если она не подверглась ассимиляции, — наталкивается на трудности, мешающие ее социальному росту. Когда принадлежность к малой нации начинает трактоваться как своего рода неполноценность, она становится фактором, трансформирующим социальный антагонизм в национальную борьбу. Именно наличие культурных барьеров, препятствующих необходимой в индустриальном обществе мобильности, ведет к социальным преобразованиям. Индустриальное общество открывает дорогу не классовым войнам, а образованию национальных государств» (p. 189). Итак, перед нами открывается картина, в которой нет места ни нациям, ни классам как таковым.

Индустриализм порождает мобильные, культурно однородные единицы. Он ведет к национальным революциям, которые происходят, когда классовые и национальные интересы накладываются друг на друга. Хрох пытается соотносить их как независимые сущности, однако его стратегия не срабатывает, ибо они оказываются политически эффективными только и только тогда, когда присутствуют и действуют вместе. Хрох сам говорит об этом:

классовый конфликт как таковой не ведет к революции. Но если в своем подавляющем большинстве культурные различия не могут найти и не находят политического выражения, нет смысла считать нации самостоятельными сущностями. Априори мы можем лишь фиксировать бесчисленные культурные различия, но мы не в состоянии сказать, какие из них приведут к появлению «нации». *Задним числом* мы знаем, какой нации удалось кристаллизоваться, но это еще не основание, чтобы утверждать, будто она существовала «от века» и только ждала, чтобы ее «пробудили». Ни национальную, ни классовую идеологию не следует принимать за чистую монету. Антагонистические нации, так же как и антагонистические классы, могут возникнуть в один прекрасный момент, но совсем не так, как это представляют себе марксизм. Дело в том, что они возникают только в сопряжении друг с другом.

Работа Хроха ценна не только выдающимся и беспрецедентным подбором эмпирического материала и не только той изобретательностью, с которой автор использует этот материал, следуя избранному им сравнительному методу. Книга эта имеет также немалую теоретическую ценность, ибо Хрох ставит перед собой задачу, по-моему, глубоко ошибочную и, упорно пытаясь ее решить, в действительности убедительно демонстрирует ее слабость. Все усилия Хроха сводятся в конечном счете к тому, чтобы придать академическую основательность двум великим мифам XIX и XX столетий — марксизму и национализму. Он пытается это сделать, сохраняя марксистскую теорию общественно-экономических формаций (по крайней мере, ее усеченный фрагмент) и соединяя ее с представлениями о пробуждении наций, имеющими силу для того европейского региона, который мы обозначили как «третий часовой пояс». Кроме того, для упрочения националистического мифа он объявляет нации, которым удалось «пробудиться», элементами исторической реальности, существующими априорно и независимо.

Картина эта в конечном счете крайне уязвима. История не является *ни* конфликтом классов, *ни* конфликтом наций. В ней существуют бесчисленные типы конфликтов, не сводимых в общем к этим двум разновидностям, объявленным здесь фундаментальными. В условиях определенной социально-экономической организации, которую лучше ввсего описать как «индустриализм», возникают и становятся политически значимыми классы (расплывчатые, не имеющие четких границ страты рыночного общества) и нации) анонимные категории людей, выделяемые и сознающие себя по признаку культурного подобия). Когда они действуют в унисон, происходит изменение политических границ. Экономическое напряжение, выраженное и усиленное культурными различиями, обретает политический потенциал

и заставляет перекраивать карту. Но по отдельности ни экономическое напряжение, ни культурные различия не способны породить сколько-нибудь существенных перемен. То и другое является скорее побочным продуктом, чем перводвигателем истории. В этом марксизм прав, хотя он и ошибается во многих деталях.

Подлинной реальностью, определяющей ход исторического развития, является, на мой взгляд, переход от одного типа связи между культурой и властью к другому. Два соответствующих типа общественного устройства в самом деле опираются на экономический фундамент, но не так, как это описывает марксизм[30]. В доиндустриальном мире очень сложные образцы культуры и власти существовали в переплетении, но не смыкались друг с другом и не приводили к возникновению национальных государств. В условиях индустриализма и культура, и власть претерпевают стандартизацию, начинают служить основанием друг для друга и в конечном счете смыкаются. Политические единицы обретают четкие очертания, совпадающие с границами культур. Каждая культура требует себе политической крыши, и принципом легитимации государственной власти становится прежде всего охрана интересов данной культуры (и обеспечение экономического роста). Это — общая схема, и мы видели, как она осуществляется в различных частях Европы. Но ни классы, ни нации не являются неизменными сущностями, образующими ландшафт истории. Аграрное общество имело сложную стратификацию и огромное разнообразие культур, однако ни то, ни другое не приводило к появлению широких и влиятельных группировок. В индустриальном обществе происходит временная экономическая поляризация и несколько более *долговременная* стандартизация культуры. Смыкаясь между собой, они порождают изменения политической карты. В общем, эта теория лучше согласуется с данными Хроха, чем его собственная теория, вызванная к жизни стремлением сохранить как «классовый», так и «националистический» взгляд на историю. Но ни один из этих мифов нам сегодня уже не нужен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ср.: *J. Goody*. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge, 1986

2. *Eric J. Hobsbawm*. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge, 1990

3. Изложение противоположной точки зрения см.: *Anthony D. Smith*. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.

4. Ср.: *G. Lenski*. Power and Privilege: Theory of Social Stratification. N. Y., 1966.

5. Ирредентизм (от итальянского irredento — неосвобожденный) — политическое движение в Италии в конце XIX—начале XX в. за присоединение пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением. — *Прим. пер.*

6. Ночь и туман (*нем.*). — *Прим. пер.*

7. Ср.: *Alan Macfarlane*. The Origins of English Individualism. Oxford, 1978.

8. Гимнастическое общество (*нем*). — *Прим. пер.*

9. Корпоративный дух (*фр.*). — *Прим. пер.*

10. Ценностно-рациональным (*нем.*). — *Прим. пер.*

11. *Hannah Arendt*. The Origins of Totalitarianism. N. Y., 1951.

12. Ср.: *Roman Szperluk*. Communism and Nationalism. Oxford, 1988.

13. Ср.: *E. Weber*. Peasants into Frenchmen. L., 1979.

14. Контраст между вторым и третьим часовыми поясами лежит в основании различия, на котором построен замечательный очерк Джона Пламенаца «Два типа национализма» (*John Plamenatz*. Two types of nationalism // Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea / Ed. E. Kamenka. L. 1976). Относительно мягкий и либеральный национализм объединительных движений XIX столетия Пламенац противопоставляет энергичным и нередко жестоким действиям тех, кто вынужден был не возводить политическую крышу над уже существующей культурой, а *выдумывать* национальную культуру там, где ее на самом деле не было.

15. Тот факт, что другие идеологические системы представляли собой мешанину идей, интеллектуально совершенно несостоятельную, сам по себе позволял им быть социально успешными и эффективными. Например, стремление кемалистов модернизировать турецкое общество принимало формы весьма грубого схоластического секуляризма. Они были выдержаны в духе *улемов* — знатоков богословских догм, историко-религиозного предания и этико-правовых норм ислама, то есть несли на себе явственный отпечаток того, против чего были направлены, и втягивали турецкую элиту в тяжелую и ненужную культурную борьбу (*Kulturkampf*). Тем не менее эта идеология оказалась в конечном счете более жизнеспособной, чем марксизм, и просуществовала дольше, может быть, как раз потому, что не связывала руки элите в социальной и экономической областях. Отсутствие ясной социальной доктрины оказалось, таким образом, ее преимуществом.

16. *Miroslav Hroch*. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 1985.

17. *Eric J. Hobsbawm*. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge, 1986.

18. *M. Hroch*. National Revival. P. 10, 25. Например, на с. 25 автор говорит о «периоде, когда главной чертой социального конфликта является борьба против феодализма и абсолютизма».

19. Ср.: *Adam Smith*. The Wealth of the Nations.

20. *M. Hroch*. National Revival. P. 17.

21. *Perry Anderson*. Lineages of the Absolutist State. L., 1974.

22. *M. Hroch*. National Revival. P. 8.

23. *M. Hroch*. National Revival. P. 27.

24. То, что внимание автора было сосредоточено на Европе, не позволило ему рассмотреть, для сравнения, ситуации возникновения националистических настроений в обществах отчасти феодальных, но имеющих еще и выраженные черты племенной организации. Примером могли бы послужить сомалийцы, курды и, может быть, некоторые этнические группы, живущие на территории Советского Союза.

25. В тонком романе Ангуса Уолсона «Англо-саксонское отношение», повествующем об историках, есть сцена, в которой возникает взаимонепонимание между двумя женщинами, принадлежащими к среднему классу, — француженкой и скандинавкой. Для француженки крестьянин — уничижительное понятие, и она просто не понимает, о чем идет речь, когда ее собеседница говорит о крестьянстве с восхищением и ностальгией, характерными для популистского романтизма.

26. *E. Renan*. Qu'est-ce qu'une nation? P., 1882. Перепечатано также в книге: Ernest Renan et l'Allemagne. N. Y., 1945.

27. *R. Ellen, E. Gellner, G. Kubica, J. Mucha* (eds.). Malinowski between Two Worlds. Cambridge, 1988.

28. *M. Hroch*. National Revival. P. 17.

29. Ibid. P. 3.

30. По поводу марксистской онтологии наций и классов см.: *R. Szporluk*. Communism and Nationalism. N. Y.; Oxford, 1988.

ДЖОН БРОЙИ

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ НАЦИОНАЛИЗМА

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В этом очерке будут подвергнуты критическому рассмотрению определения и трактовки, данные национализму историками, а затем выскажу свои доводы в пользу того, что предпочтительнее других подходов должны быть те, что рассматривают национализм как аспект современности. Потом я исследую один из таких подходов, концентрирующийся на отношении между национализмом и развитием современного государства, и предложу некоторые примеры догадок и озарений, к которым подобный подход может нас привести.

Следует четко понимать, что имеет право называться «теорией», касающейся такого предмета, как национализм. Для начала, сама теория должна подвергаться некоторого рода проверке очевидностью. Поэтому очень важно оформить ее таким образом, чтобы она допускала подобную проверку. С этим есть кое-какие проблемы. Общее понятие, которое помогает сформировать подход к предмету, не может быть столь же фальсифицируемым, как частное суждение о конкретном явлении. Здесь речь скорее пойдет о том, как следует применять подобные понятия с целью получения частных суждений. Без некоторых ясных определений и понятий невозможно выделить и исследовать ни один частный случай. Опасность не опирающейся на теорию истории заключается в том, что она либо протаскивает в дискуссию непризнанные определения и понятия, либо подменяет ясное аналитическое описание и объяснение обычным повествованием с неверно расставленными акцентами. Теория, которая не может применяться в историческом исследовании, лишена ценности, а историческое исследование, не подкрепленное теоретическим знанием, лишено цели.

Первая проблема, которую нам предстоит решить, — это договориться о том, что мы имеем в виду под национализмом. Основная трудность, препятствующая ясным дебатам, заключается в том, что различные теоретики и историки понимают под этим термином разные вещи. При самом первом приближении я нахожу здесь три области интересов: доктрину, политику, чувства.

В первую очередь национализм, вероятно, должен быть определен как доктрина, как «изм». Однако, такое определение может оказаться весьма непол-

ным и сгодиться только в качестве отправного пункта для исследования политики и чувств. С другой стороны, в работах таких авторов, как Кедури и Талмон, в центре внимания находится именно становление доктрины, а затем уже то, как она может применяться в политике[1]. Тип теории и истории, который далее возникает, объемлет собою идеи, а также тех, кто эти идеи генерирует, то есть прежде всего интеллектуалов или в целом всю группу, определяемую как интеллигенция. Кроме того, классификация различных типов национализма при подобном подходе строится на основе выделения разных видов доктрин, таких, как либеральный и интегральный национализм[2].

В данной точке зрения на национализм, в сущности, нет ничего неправильного. Проблемы возникают потом, когда те, кто захочет применить этот подход к предмету, попытаются распространить свое понимание на национализм как политику или как чувства. Нетрудно показать, что не слишком целесообразно рассматривать националистическую политику как плод деятельности интеллигенциий, а национальные чувства — как результат политических движений, обслуживающих националистические доктрины, как это зачастую делают подобные авторы. В националистической политике часто ведущая роль принадлежит иным группам, а возникновение национальных чувств следует увязывать с куда более сложным комплексом перемен, чем простое распространение доктрины от интеллектуалов-творцов к широким слоям населения.

Другая крайность заключается в том, что национализм трактуют в понятиях развития национального чувства или «национального сознания» у широких слоев населения[3]. Такое население здесь часто именуется «нацией», хотя вопрос о том, насколько правомерно приравнивать нацию к группам, осознающим и разделяющим чувство национальной идентичности, как мы увидим в дальнейшем, чрезвычайно непрост. Однако и в этом подходе, взятом в отдельности, нет ничего неправильного. Работа, которая ведется на его основе, концентрируется на таких темах, как исчезновение местной и региональной автономии в рамках некой «рациональной» территории, толкуемое в понятиях политической централизации, распространения рыночных отношений, роста географической и социальной мобильности и усиления культурной однородности. И напротив, национальное чувство может рассматриваться и как отрицательная реакция на такие тенденции в том случае, если они выражают поползновения более влиятельных культурных групп, которые начинают восприниматься как инородцы.

И в такой точке зрения тоже в принципе нет ничего неверного. Однако и здесь проблемы возникают потом — когда данный подход распространяется на другие аспекты определения национализма. Так, на его основе национа-

листические идеи или политика понимаются как результат развивающегося чувства национальной идентичности в рамках нации, — идентичности, вероятно выражающей интересы основных групп, вовлеченных в процесс централизации или распространения рынка, либо выражающей ценности ряда групп, которые обрели национальное самосознание благодаря преобразованиям в экономике, коммуникациях и политике. Хотя нам известно, что националистические доктрины и националистическая политика часто возникают в таких регионах и обществах, где у большинства населения отсутствует сколько-нибудь сильное или отчетливое чувство национальной идентичности. Мы также можем указать на ряд случаев, когда национальные чувства разделялись очень многими, но при этом они не связывались ни с выработкой националистических доктрин, ни с появлением значительных националистических политических движений.

Наконец, в фокусе такого подхода иногда бывает политика. Это подход, с которым я согласен, но важно признать его ограничения. Сами по себе значение и успехи националистического политического движения ничего не говорят нам об истории националистической доктрины или о том, до какой степени населением, на представительство интересов которого претендует националистическое движение, владеют национальные чувства. Я, однако, уверен, что историки иногда придают такую важность теме национализма в силу того, что имеют дело со значительным националистическим течением. Мало кто стал бы изучать работу интеллектуалов, которые развивали националистические доктрины и поддерживающие их мифы, если бы все это не применялось политически значимым образом. Что же до национальных чувств, то они столь размыты и переменчивы, что историки обычно избирают их в качестве объекта для изучения только тогда, когда эти чувства мобилизуются под влиянием политического движения.

Есть еще ряд других терминов, таких, которые тесно связаны с национализмом, и таких, которые необходимо отделять от него. В различении между «патриотизмом» и «национализмом» я не нахожу большой аналитической ценности. В первом звучит что-то похвальное, во втором — оскорбительное. Поэтому если термины «нация», «национальность» и «национальная группа» имеют какое-нибудь значение помимо осознанного чувства принадлежности к группе людей (то есть национального чувства), то это значение должно относиться к чертам, которые обычно считаются общими для всех членов нации, независимо от того, с кем они себя идентифицируют. Кое-кто из исследователей пытается соотносить национализм — в любой из его трех основных форм — с такими объективными групповыми характеристиками, но их аргументы никогда не бывают исчерпывающими и всегда сопровож-

даются признанием множества «исключений». Равным образом я бы отделил друг от друга понятия вроде *народности* и этничности, с одной стороны, и национализма, с другой, особенно когда первые рассматриваются в ряду объективных групповых характеристик.

Второй вопрос из области определений касается содержания положений националистических доктрин или целей националистического политического движения, или ценностей, ассоциируемых с национальными чувствами. Например, понятно, что приверженность идее территориальной экспансии национального государства и изгнание «чужаков» с национальной территории совершенно различны. Одни и те же люди могут разделять оба эти интереса, но отнюдь не обязательно, что они будут их разделять, и во многих случаях они их, очевидно, не разделяют. В одной националистической доктрине может утверждаться, что нация есть плод активной субъективной приверженности, а в другой — подчеркиваться, что нация — это расовая, языковая или религиозная общность, формирующаяся независимо от мнений ее членов.

Меня национализм интересует как политика. Если говорить о содержании этой политики, то, по моему определению, оно состоит из трех убеждений:

1. Существует нация — конкретная группа, обособленная от всех остальных человеческих существ.
2. Объектом политической идентификации и лояльности в первую очередь и главным образом является нация.
3. Нация должна иметь политическую автономию, лучше всего — в форме суверенного государства[4].

Я бы подчеркнул, что политические движения, в которых звучат такие заявления, характерны именно для современности, — это в значительной степени движения двух последних столетий. За прошедшее время они стали самыми значимыми из всех политических движений и внесли основной вклад в перекраивание политической карты мира. Они также способствовали закреплению господствующей политической идеи современности, согласно которой большая часть мира разбита на ряд государств, каждое из которых представляет собою нацию, и если в некоторых частях света этого пока не случилось, то, значит, должно случиться.

Наиболее важная цель всякой общей теории национализма — это объяснение того, почему подобные движения в настоящее время стали иметь такое большое значение.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ НАЦИОНАЛИЗМА

В самом широком плане я выделил бы четыре подхода к национализму: «первоначальный», функциональный, повествовательный и современный. Современный, и единственный общий подход, состоятельность которого не вызывает у меня сомнений, я бы, в свою очередь, поделил на несколько различных подходов.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ

Первоначальный подход

Грубейшую из форм, которые может принимать «первоначальный» подход, придают ему сами националисты. Основная идея заключается в том, что их нация существует издавна. Ее историю можно проследить через века. В некий былой период эта нация знала величие, и прежние герои и золотые века способны вдохновлять ее сегодняшних членов.

Проблема этого подхода в том, что он слишком сильно расходится с очевидными фактами. Национализм как доктрина вполне современен, даже если Кедури, вероятно, несколько преувеличивает, когда заявляет, что он был «изобретен» в начале XIX века[5]. Национализм как политика также весьма современен. До XVIII века политическое действие обосновывалось только в династических либо религиозных терминах, хотя временами можно было различить слабые ссылки на национальную идентичность[6].

Более приемлемая версия такого подхода недавно была предложена на обсуждение Энтони Смитом[7]. Смит утверждает, что этническая идентичность не является новым изобретением. Уже давно существовали *народности*, историю которых можно проследить — по крайней мере в Европе и на Среднем Востоке — в течение веков, если не тысячелетий. Он определяет *народности* как «носящие определенное имя человеческие популяции с общими мифами происхождения, историей и культурой, с привязанностью к конкретной территории и чувством солидарности»[8].

Смит выступает против таких теоретиков, как Геллнер, в чьей модели аграрной империи не остается места (или, в лучшем случае, оно является маргинальным) для чувств идентичности, которые овладевали различными сословиями в пределах определенного региона[9]. Он, напротив, полагает, что модель аграрной империи не исчерпывает всех характеристик аграрных обществ. Бывают общества и другого типа: города-государства, автономные крестьянские общины. Бывают и иные отношения между различными груп-

пами — более сложные, чем те, что могут сложиться в рамках аграрной модели. Затем он переходит к классификации различных типов *народностей*, подразделяя их, например, на горизонтально-аристократические и вертикально-демотические типы. Очевидно, что такое деление может быть тесно связано с делением наций Центральной Европы на «исторические» и «неисторические» или различием между доминирующими и подчиненными культурными группами, такими, как венгры и славяне[10].

Смит признает, что между *народностями* и современными нациями нет сколько-нибудь прямых или причинно-следственных связей. Помимо выше определенных характеристик, присущих *народностям*, современные нации обладают юридическим, политическим и экономическим единством. Он знает, что многие *народности* так и не стали современными нациями. В своей более поздней книге[11] он ясно обозначил те современные трансформации, которые необходимы для того, чтобы из *народности* выросла нация. И все-таки он готов настаивать на том, что объективная реальность прошлых *народностей* имеет значение для современных наций. Без того, что он называет «мифо-символическими комплексами», которые образуют и выражают этническую идентичность, современный национализм был бы не более чем вздорным и беспочвенным измышлением. Сегодняшний националист-интеллектуал или политик развивает свои идеи, опираясь на существующие этнические идентичности. Чем идентичность сильней и устойчивей, тем успешнее оказывается современный национализм.

Между прочим, Смиту удается нащупать некую разумную середину между теми националистами, которые просто утверждают, что нация имеет продолжительную историю, и теми, которые рассматривают нацию как специфичный и современный конструкт. Однако, не споря с его положением о том, что этническая идентичность все же имела какой-то вес в прошлые времена и что она может накладывать некоторые ограничения на претензии, выдвигаемые современным национализмом, я не нахожу данный подход особо полезным для того, чтобы хоть в какой-то степени понять национализм.

Во-первых, очень важно разобраться с функциями и значением этнической идентичности. Лично мне даже в собственных аргументах Смита очень важным кажется то, что досовременная этническая идентичность не была институционализирована. Интересно, что три элемента современной национальности, которые, по Смиту, отсутствовали в до-современных *народностях*, — это юридическая, политическая и экономическая идентичность. Вот именно они и составляют важнейшие институты, в которых национальная идентичность способна обрести форму. Проблема идентичности, складыва-

ющейся вне институтов, особенно таких, которые способны объединять людей, рассредоточенных на огромных социальных и географических пространствах, — в том, что она неизбежно фрагментарна, прерывиста и слабо ощутима. Это, например, касается этнической идентичности родственных групп. Обычно когда мы определяем какую-либо до-современную этническую идентичность, то, как правило, она относится к более крупным институтам — таким, как церковь или правящие династии. Однако такие институты несут в себе иную идентичность, яростно конфликтующую с идентичностью этнической группы.

Сложно узнать, какую роль играли для отдельных священников или королей их «этнические высказывания», но можно предположить, что они могли делаться, только пока выполняли какую-то функцию[12]. И также почти невозможно узнать, какое значение эти заявления и связанные с ними мифы и символы имели для большинства населения, которое так или иначе было связано с подобными институтами. По-видимому, мы можем выделять общие культурные модели сравнительно широкого уровня (например, в художественных стилях), но мы не знаем, какое значение это имело в терминах чувства идентичности, а равно не можем быть уверены в том, что данная модель не является прежде всего продуктом наших собственных эстетических категорий.

Во-вторых, больше всего бросается в глаза отсутствие преемственности между прежней этнической и современной национальной идентичностью. Да, националисты — интеллектуалы и политики — действительно монополизируют мифы и символы, унаследованные от прошлого, и вплетают их в свою аргументацию, призванную закреплять национальную идентичность и оправдывать национальные притязания. Однако крайне трудно соотнести степень их успеха с «объективной» важностью таких мифов и символов. Нам известно, что во многих случаях современные националисты сами придумывали мифы; на ум приходит, в частности, эпос об Оссиане, сыгравший такую важную роль в современной националистической мысли валлийцев. Принимая во внимание то почтение, которое националисты испытывают к истории, доказательство того, что этот эпос представляет собой современное творение, очевидно, должно было вызвать у них глубокий стыд, — но это скорее имеет отношение к вопросу о националистическом видении истории, чем к вопросу о силе этнической идентичности. Более того, понятно, что современный национализм видоизменяет подобные мифы и игнорирует те, что идут вразрез с его собственными целями. Также известно, что многие влиятельные националистические движения современной эпохи преуспели и невзирая на то, что богатая национальная история имела к ним слабое отно-

шение. Можно ли всерьез заявлять, что ливийская идентичность в чем-то менее прочна, чем египетская; или что идентичность словаков не столь сильна, как у венгров? В ряде случаев выработка богатого «мифо-символического комплекса» не принимает легко узнаваемых «интеллектуальных» форм, и она остается далека от тех высоко культурных интересов, что вдохновляют большинство исторических исследований. Например, стены большинства зданий в протестантской, равно как и в католической части Белфаста, покрыты граффити, пробуждающими сильное чувство национальной идентичности, каковое в случае протестантов не находит существенного отражения в работах интеллектуалов.

Понятно, что должно было существовать *нечто такое*, к чему националисты могли бы апеллировать. Бессмысленно затевать большую игру с языком и языковыми различиями, если на самом деле серьезных различий между языками нет. Поэтому о румынском языке вполне можно сказать, что он есть одна из объективных основ, на которых строится румынский национализм. Однако и здесь я хотел бы остановиться на отсутствии преемственности между старым и новым национализмом. Сведение нескольких употребительных диалектов в единый письменный язык является современным и творческим достижением, которое в зависимости от научных и политических интересов может давать разные результаты. Идея, согласно которой язык — это основа политических различий, является современной. Только с тех пор, как язык был сделан институционально значимым — в трех современных составляющих национальности: праве, государственности, экономике, — он приобрел и значение политическое. Официальная языковая политика, такая, как при Иосифе II, вынуждала, например, тех, кто говорил по-венгерски, изменять своему латинскому lingua franca и противопоставлять венгерский язык немецкому. Расширение структуры «общественного мнения», выражающееся в умножении числа популярных газет, периодики и брошюр и часто связанное с возрастающим значением выборных органов, которые решают государственные вопросы, также способствовало важности выбора и стандартизации языка. Все усиливающееся значение языка для судов, пользующихся одним определенным наречием, особенно в устной форме, сделало выбор языка предметом всеобщей заинтересованности. Распространение рыночных отношений, и особенно соседство различных языков или этнических групп в одних регионах (как правило, городах, но также и шахтерских поселках), возможно, имело аналогичный эффект. Наконец, именно в современный период произошел скачок в развитии массового образования. Например, использование местных языков в начальном образовании, благословленное Иосифом Вторым, одновременно подогрело

интерес к употреблению румынского и славянских языков и было воспринято как угроза теми, кто говорил по-венгерски.

Другими словами, язык начинает иметь значение не только как кладезь национальной культуры и памяти, как хранилище мифов, но также как сфера политического, экономического, юридического и образовательного интересов. Я бы даже хотел подчеркнуть, что когда он являет собою *не более* чем первое, то его значение действительно крайне ограничено и сводится к интересам разве что самозваных культурных элит. Иногда такие элиты берут власть, как в Ирландии, и используют государство для форсирования мер в отношении языка, но ясно, что это имеет очень ограниченные последствия. Английский остается господствующим языком, даже притом, что во всех школах изучают гэльский. В Шотландии и Уэльсе, где государственная власть играет куда меньшую роль в решении подобных вопросов (в Уэльсе большую, чем в Шотландии), гэльский и валлийский языки уцелели только как языки сообществ в высокогорных районах, либо их сохраняют маленькие группы энтузиастов от культуры. Во всех других случаях язык вымирает. И потом уже никто не помнит о том, что когда-то существовал язык, с которым связывался потенциал национальной идентичности, — поскольку не осталось никого, кто мог бы развивать этот потенциал в теории либо на практике. Забвение, наряду с памятью, играет большую роль в аргументации, касающейся древних истоков современных наций.

Единственными институтами в аграрных обществах, стоящими над всей местной спецификой и способными упорядочивать и воспроизводить «мифосимволические комплексы» этнической идентичности, были церкви и властвующие династии. Хотя именно для этих институтов и представляет угрозу современный национализм. В ряде случаев в Европе позднего средневековья и ранней современности можно обнаружить и такие династии, которые опирались на собственный «рациональный» образ, — как правило, в качестве средства борьбы с институтами, выражавшими притязания универсального характера, такими, как католическая церковь или Священная Римская империя. Однако я сказал бы, что их политика имела весьма ограниченные успехи, если только она не сочеталась с расширяющимся влиянием таких институтов, которые тоже могли противостоять монархической власти, как, например, английский парламент[13].

Более важным и более трудным является понимание отношений между этнической идентичностью и религией. Я готов согласиться с доводом Геллнера о том, что для аграрных империй, в которых велико влияние церкви, характерно, что духовенство отвечает за кодификацию доктрин, притязающих на универсальную значимость[14]. Эти религии, особенно если они прозе-

литского типа, как христианство или ислам, не могут мириться с местной специфичностью и замкнутостью этнической принадлежности. В лучшем случае они станут использовать эту принадлежность как средство своего проникновения в сообщества, чтобы затем подорвать или отодвинуть на второй план местечковые суеверия и их хранителей.

Тем не менее очевидно, что церкви явились основным рычагом для развития современной национальной идентичности. Например, в империи Габсбургов греческая православная и униатская церкви сыграли главную роль в развитии румынского националистического движения. В Османской империи независимые христианские институты имели решающее значение для раннего развития греческого, болгарского и сербского национальных движений[15].

Отчасти это следствие *поражения* идей универсалистского толка. Османы отказались на своих европейских территориях от исламской прозелитской миссии. Единственные церкви, которым они предоставили формальную региональную автономию, были христианские. Эти церкви явились естественным объединяющим институциональным началом для движений за независимость в XIX веке, возникших как реакция на крушение и распад Османской империи.

На большей части Европы поражением универсального христианства стала Реформация. Акцент на важности использования местного языка и протест против иерархической власти духовенства способствовали тому, что церковь стала гораздо ближе к мирянам и конкретным языковым группам. Если крупные крестьянские сообщества, такие, как румынские, имели собственные, не всем в государстве угодные, церкви с небольшим штатом священников, то это также могло служить объединительным началом для последующих движений за национальную независимость.

Таким образом, в целом я сделал бы вывод, что «первоначальный» взгляд на национальность не является особо полезным. До-современная этническая идентичность не имеет достаточного количества институциональных ипостасей, выходящих за локальные рамки. Практически все основные институты, которые создают, сохраняют или передают национальную идентичность и увязывают ее с какими-либо интересами, относятся к современной эпохе: это парламенты, массовая литература, суды, школы, рынки труда и так далее. Два единственных до-современных института, которые, возможно, играли такую роль, — правящие династии и церкви, — находятся в крайне двойственном отношении к этнической идентичности. Только в том случае, когда такие династии или церкви вступают в конфликт с другими, как правило, более могущественными династиями или церквями, мы можем го-

ворить о том, что они становятся средствами для достижения национальной идентичности. Но и тогда монархи, представители судов и духовенства сохраняют крайнюю подозрительность относительно апелляций к национальному, и, как только национальное движение приобретает более массовую поддержку и воплощается в более современных институтах, они зачастую вступают в конфликт с более «продвинутыми» в этом смысле рационалистами. Совершенно ясно, что именно так и произошло, например, в Ирландии. Национальная идентичность в существе своем современна, и именно с такой предпосылки должен начинаться всякий осмысленный подход к данной теме.

Функциональный подход

Разнообразие функций, которые можно приписать национализму, практически бесконечно[16].

Во-первых, у него есть функции психологические[17]. Часто звучат утверждения о том, что людям необходимы «идентичности». Национализм способен удовлетворять такую потребность. Подобный аргумент зачастую привязывают к объяснению кризисов идентичности, к которым приводит крушение религиозных верований или которые сопутствуют краху традиций. Люди, оторванные от своих деревенских корней, расставшиеся со своими родственниками и духовными отцами, перемещенные в безличные города, могут найти нечто весьма комфортное для себя в такой идентификации, которую обеспечивает им национальная принадлежность. Более того, в этом чуждом мире, сталкиваясь со сложной смесью языков и этнических групп, они начинают отчетливо сознавать свою собственную идентичность именно в языковом и этническом плане.

У историка в связи с этим подходом возникает масса проблем. Идея «потребности в идентичности» уже сама по себе проблематична и чревата аргументацией, не выходящей за пределы логического круга. (Если люди придают такое значение конкретной идентичности, это значит, что они «нуждаются» в ней, но в то же время это единственный способ, которым данная потребность заявляет о себе.) То, что типы этнических конфликтов, которые принято связывать с современным ростом городов, имеют какое-то очень непосредственное отношение к развитию национализма, отнюдь не является очевидным. Во множестве случаев, например в Соединенных Штатах Америки, эти явления в значительной мере обособлены друг от друга. Национализм часто находит поддержку не у тех индивидов и групп, которых, вероятно, больше всего затрагивают подобные сдвиги. Если кому-то удается най-

ти менее расплывчатые основания для использования аргументов, связанных с этнической или языковой идентичностью (например, использовать их для того, чтобы не допустить посторонних к скудным ресурсам, таким, как рабочие места и жилье), то они становятся более предпочтительными, чем пространные доводы о потребности в идентичности[18]. Это будет означать, что опасность использования таких аргументов возникнет только после того, как потерпят неудачу более специфичные и доказуемые объяснения.

Кроме того, проблема аргумента такого рода заключается и в его историческом обосновании. Дабы доказать положение о том, что потребность в национальной идентичности является исключительно современной, необходимо привязать ее кризис к неким сугубо современным изменениям (падению авторитета религии, индустриально-урбанистическому развитию). Но такого рода обоснования выходят за рамки функционального подхода. Например, аргумент Геллнера, согласно которому социальная структура как основа индивидуальной идентичности сменяется национальной культурой, является не столько аргументом относительно «функции» культуры в современных условиях, сколько аргументом относительно того нового значения, которое культура и идентичность приобретают в современном мире[19]. Вполне может статься, что существует целый ряд совершенно конкретных функций, которые могут выполнять претензии на национальную идентичность — например, сохранение права на труд или политическая мобилизация, — но они возможны только в том случае, если современность приобрела всеобщий характер и культура в современных условиях играет роль источника идентичности.

Точно так же дело обстоит и с другими функциональными аргументами. Таким же образом можно интерпретировать одно из объяснений марксистского толка — согласно которому национализм обслуживает классовые интересы. Известно, что в некоторых случаях группы буржуазии действительно привязывают националистические аргументы к своим интересам. И, конечно, также понятно, что в других случаях некоторые разновидности национализма противоречат интересам буржуазии (эти разновидности, в свою очередь, могут быть связаны с интересами других классов). Развивать этот аргумент далее можно, лишь поставив вопрос о том, почему в историческую эпоху капитализма новый тип идеологии был связан с классовым интересом. Почему буржуазия не могла использовать для своих целей старую — религиозную или династическую — идеологию? И ответ должен быть таков, что в структуре буржуазии как класса и в ее отношениях с другими классами и государством есть нечто отличное от черт, присущих прежним правящим классам. И далее можно утверждать, например, что сердцевину

этих ее отличий от предыдущих эпох составляет разделение экономической и политической власти. Буржуазия не может достичь политической мощи и идентичности, используя наличные политические институты; вместо них центральную роль начинают играть идеи утверждения нового образа жизни (надежда на самого себя, предприимчивость), часто воплощенные в культурных институтах (раскольнических религиозных группах, профессиональных ассоциациях, образовательных учреждениях и так далее), а затем его политического «представления» в парламентах и структурах общественного мнения. Буржуазия скорее «правит» посредством «влияния», как экономического, так и культурного, чем путем прямой узурпации власти. Отсюда можно перейти к рассмотрению центральной роли культурно-политических идентичностей, и особенно роли национальной идентичности, а также процесса их распространения на другие классы и государство.

Вместо того чтобы говорить о состоятельности этих аргументов, скажу только, что от функционального подхода необходимо переходить к структурному, который увязывает центральную роль национальной идеи с современностью.

По аналогичной логике действуют и другие функциональные аргументы, например, такие, согласно которым «функция» национализма состоит в содействии модернизации. Национализм, несомненно, уже использовался с такой целью (хотя также и с другой целью, то есть зачастую против модернизации). Однако ясно, что изначально национализм явился одним из аспектов «незапланированной» современности. Только позднее, когда идеи и современности, и национализма зазвучали осознанно и весомо, люди смогли целенаправленно применять идею национализма для содействия модернизации. Но даже в этих случаях, разумеется, необходимо строго различать между таким намерением и тем, насколько успешно или почему успешно это намерение осуществилось.

В связи с этим возникает более общее возражение против функциональных объяснений, поскольку оказывается, что их сторонники могут отвечать только на вопросы «как», но не могут отвечать на вопросы «почему». Один из способов применения функционального подхода для объяснений национализма заключается в указаниях на осознанные намерения. Кто-то хочет использовать национализм с целью (т. е. как функцию), которая важна для него. Другой способ — это указать на некую обратную связь, которая делает конкретную функцию более выпуклой: например, функция конкуренции состоит в развитии экономики посредством таких механизмов, как банкротство, благодаря которому из игры выходят менее эффективные фирмы, тем самым высвобождая ресурсы, способствующие участию в соревновании но-

вых фирм. Проблема, однако, заключается в том, чтобы объяснить, как такие отношения формируются. Национализм не может начинаться как сознательный проект модернизации, если только мы не приписываем националистам феноменальные провидческие способности или феноменальную власть; и точно так же он не может «функционировать» в этом смысле до тех пор, пока не станет нормальным компонентом в рамках нового комплекса социальных устоев. Следовательно, мы вынуждены выходить за пределы функциональных обоснований в поле структурного подхода, в свете которого национализм предстает как одна из составных частей современности[20].

Повествовательный подход

Многие историки воспринимают подъем национализма как данность. Исходя из этого, они могут просто рассказывать историю его возникновения. Это возможно как на уровне конкретных случаев, так и в более общем плане.

Поэтому типичная «национальная» история начинается с традиционного, до-национального положения вещей. Например, историки Германии начнут свой рассказ со Священной Римской империи XVII и XVIII веков. Историк укажет на многие слабые стороны традиционных имперских институтов и множества малых политических образований. Затем его внимание переключится на более новые и динамичные группы и институты, в данном случае — на территориальные государства (особенно Пруссию) и носителей современных идей и практик (предпринимателей, образованных чиновников). Основная линия в этой истории отражает то, как традиционные институты более или менее скоро разваливаются под натиском новых сил а современные силы, в свою очередь, объединяются и умножают друг друга. Здесь бывали критические периоды стремительного прогресса (1813—15, 1848, 1866—71 гг.), сменявшиеся периодами застоя или даже отступлений назад, хотя и в течение таких периодов создавались и крепли силы национальных движений. Сами националисты, конечно, сыграли в разработке таких историй главную роль. Элементы истории были придуманы еще до ее реальной развязки. Фон Трейчке и фон Зибель, например, дали новую интерпретацию немецкой истории еще до объединения Германии Бисмарком, хотя эти интерпретации прямо не обосновывали какой-то конкретной формы объединения. Просто брались аналогии из ранней истории (например, в интерпретации Дройзеном Александра Великого образ брутального македонского полководца, завоевателя более цивилизованных частей Греции, отчетливо намекал на роль Пруссии).

Более того, сама повествовательная форма с ее канонами — завязкой, куль-

минацией и развязкой — могла становиться реально важным элементом национального движения, представляя его как линию прогресса, итог которого еще предстоит воплотить в будущем. Позднее могли создаваться более торжественные и консервативные повествования; но все критические формы национализма предпочитали представлять свою историю как все еще ждущую завершения. Таким образом, на повествовательную модель могли опираться и либеральные, и консервативные, и радикальные формы национализма.

В конце концов академические историки, не движимые прямыми политическими интересами, вычистили бы из своих рассказов наиболее явно пропагандистские и партийные черты националистических воззрений. Однако они часто воспринимали повествование как надлежащую форму исторического рассмотрения, национальную принадлежность — как то, что придает границы и тождество их предмету, а возникновение, экспансию и успех национальных движений — как собственно принципиальную тему своей истории[21].

Такую же форму могли принимать и более общие истории, относящиеся к Европе или современному миру. Вполне вероятно, что сейчас эта форма переживает приток новых сил, связанный с текущим развалом последней многонациональной империи — Советского Союза и его сателлитов в Восточной Европе, и нам еще придется познакомиться со множеством воззрений, авторы которых будут настаивать на трактовке Советского Союза как искусственного барьера в современной истории, который задержал подведение итогов национальной истории в Восточной и Центральной Европе.

Проблема, конечно, кроется в том, что повествование ничего не объясняет. Оно строится на крайне сомнительных допущениях[22]. Так, например, часто предполагается, что история современного мира — это история «возникновения» нового и «заката» традиционного. Однако абсолютно ясно, что значение и содержание национальных идей в начале такой истории сильно отличались от того, какими они были в конце. Немецкий «националист» в 1800 году стоял за нечто весьма иное, нежели его двойник в 1870-м[23]. Достаточно осознать, что в модернизацию входит *преобразование всего и вся*, — и станет очевидно, что она отнюдь не сводится к росту одной константы — «современной» — за счет другой константы — «традиционной».

Во-вторых, в повествовании, как правило, не учитывается случайный характер некоторых результатов. Разумеется, невозможно доказать, что обстоятельства могли сложиться иначе, как невозможно доказать, что все должно было сложиться именно так, как сложилось. Но зато нетрудно показать, что все произошло не так, как многие в то время хотели или предчувствова-

ли, и что над этим по крайней мере стоит задуматься. Например, в 1866 году многие свидетели эпохи не думали, что Австрия так быстро капитулирует перед Пруссией. Между этой капитуляцией и развитием немецкого национализма нет очевидной связи. Повествование, которым движет идея победы и сюжет которого основан на том, что было и что должно было стать с Германией в соответствии с данной идеей, игнорирует это чувство случайности и вероятности. В то же время повествование, в котором подобные события отражаются как случайность (счастливая или роковая), чревато такой опасностью, как представление формирования национального государства в качестве чего-то непредсказуемого[24].

Повествование, несомненно, нуждается в теоретизации, чтобы обеспечивать осмысленную трактовку происходящего и чтобы читатель мог понимать, почему национализм и формирование нации-государства (хотя и не обязательно всякий национализм и всякое мыслимое формирование нации-государства) являются столь повсеместными характеристиками современности. Чтобы достичь такой теоретизации, необходимо понять, как идея национализма соотносится с общим процессом модернизации.

Заключение

В рамках «первоначальной», функциональной и повествовательной трактовок национализма существует множество интересных догадок и отдельных истинных положений. Однако все они равно неадекватны в качестве отправных пунктов для понимания национализма. Нам необходима такая структура, которая начиналась бы с определения места национальной идеи в контексте современности. Сейчас я и перейду к рассмотрению нескольких подходов, начинающихся именно таким образом.

НАЦИОНАЛИЗМ И ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Именно потому, что рассмотрение национализма как доктрины, как политики и как массовых чувств предполагает постоянное расширение сферы исследования, мы имеем возможность фокусироваться, в частности, на более или менее широких аспектах современности. Кто-то сосредоточивает внимание на трансформациях, происходящих в среде элит и ведущих к созданию и восприятию националистических идей. К этой категории я отнес бы глубокий сравнительный труд Мирослава Хроха[25]. Есть такие (например, я), кто концентрируется на трансформациях в сущности власти, ведущих к появлению и восприятию националистической политики. Другие уделяют ос-

новное внимание таким трансформациям общественных институтов, которые приводят к возникновению и распространению среди широких слоев населения националистических чувств. В эту категорию я включил бы работу Эрнеста Геллнера.

Перемены в сознании и националистические идеи

Для анализа первого типа работ я выберу книгу Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества»[26].

Андерсон начинает свое исследование с вопроса, поставленного в самом названии его книги. Нация — это воображаемое сообщество. Этот особый тип воображения принадлежит современности. Это не значит, что нация противопоставляется «реальным» сообществам; все сообщества — воображаемые. Главное — это понять, как возник именно такой тип воображения.

Для воображения данного типа характерно, что люди представляют себе нацию как ограниченное, построенное на принципе исключения сообщество, полагают, что оно является (или должно быть) суверенным и что такое сообщество заслуживает некоторых жертв, в конечном счете даже собственной жизнью. Эти моменты весьма отчетливо перекликаются с приведенными мною выше определениями стержневой доктрины национализма.

Итак, на протяжении всего своего исследования Андерсон развивает взгляды на то, как возникло подобное воображение. Особенно важную роль в этом свете играет опыт культурных и политических элит в колониальных провинциях имперских государств, и в частности в эпоху и под влиянием капитализма, а также развитие местных языков и того, что Андерсон называет «книгопечатной культурой».

В моей статье не хватит места на то, чтобы обстоятельно рассмотреть, как Андерсон отстаивает свою позицию. Я хотел бы только сказать, что он развивает ее весьма блестяще и убедительно, хотя, как мне думается, его точка зрения абсолютно справедлива лишь для определенных случаев (Латинской Америки, британской части Восточной Африки, французского Индокитая), менее убедительна для других случаев (России, Индии) и, на мой взгляд, у нее были бы серьезные проблемы в применении ко многим случаям в Европе. Причина в том, что позиция Андерсона более уместна там, где существует тесная связь, даже тождество, между группами, развивающими культурные концепции национальности, и группами, которые нередко изначально нацелены на сотрудничество с имперским государством, являющимся центром националистической политики. Она также более уместна в применении к подчиненным культурным группам, находящимся на периферии больших

многонациональных государств, нежели к доминирующим группам, пребывающим в их центре.

Это, в свою очередь, выявляет главную проблему как подхода Андерсона так и любого другого подхода подобного типа. С его помощью легко объяснить, как могут возникать новые виды идей о сообществах и как они должны упорядочиваться в рамках определенных культурных элит. Однако нельзя объяснить, почему они должны вызывать какой-то отклик у тех, кто стоит у власти, или у широких слоев населения. И действительно, можно указать на различные варианты элит, развивающих такие идеи, выстраивающих новые «мифо-символические» комплексы, которые тем не менее остаются в стороне от большой политики и от общественной жизни.

Если принять «теорию стадий» национализма, согласно которой последний начинается с разработки идей, затем выражается в организации политических движений и достигает кульминации, становясь общепринятым чувством, владеющим обществом в целом, то данный подход по крайней мере поможет нам разобраться в том, как делается первый шаг. Однако я полагаю, что у этой теории стадий есть также свои проблемы. Например, в некоторых случаях полноценное националистическое мировоззрение не может сложиться *до* организации националистического политического движения, либо оно должно быть заимствовано извне. Я бы также отметил, что те, кто организовывал эффективную политику сопротивления деспотизму Османской империи на Греческом полуострове, считали целесообразным говорить об этой политике в понятиях эллинского мировоззрения, которое в основном было сформировано западными европейцами и имело существенное влияние на правительства и общественное мнение Запада.

Получается, что подход, призванный объяснять развитие новых политических идей, не может одновременно давать понимание развития новых политических движений или общественных чувств. Есть немало доводов в пользу такой точки зрения, и я убежден, что его положения справедливы и для подходов, фокусирующихся на государстве или на обществе. Тем не менее хочу повторить ранее высказанное положение: мы в таких идеях главным образом заинтересованы потому, что они становятся политически значимыми. Я также считаю, что если и пока подобные идеи не «закрепятся», став частью политического движения, представителям которого приходится вести переговоры с властями и создавать себе поддержку в недрах общества, они будут оставаться во многом смутными и отрывочными.

К примеру, среди культурных элит в период между 1800 и 1830 годами существовали разные концепции немецкой национальности. Точка зрения, с которой Андерсон подходит к национализму, может быть продуктивно ис-

пользована для понимания того, как развивались эти концепции. Однако в этих концепциях было что-то не от мира сего; они не являлись учениями и не оформились на основе чего-либо большего, чем чисто интеллектуальные принципы. Между тем, как только стало складываться либеральное националистическое движение, стремящееся к тому, чтобы влиять на правительства, укреплять дальше уже имеющиеся институты, такие, как Таможенный союз, и находить поддержку в немецком обществе, то националистические концепции сразу приняли более определенную форму, которая впоследствии стала еще прочнее благодаря трудам политических публицистов. Иными словами, националистическое «воображение», став частью политического процесса, изменило свой интеллектуальный характер.

Перемены в общественных институтах

Андерсон ссылается на распространение капитализма, однако в его основном объяснении он играет только роль фона. Хрох гораздо более тщательно соотносит формирование национализма элит с капиталистическим развитием — посредством точных сравнений и детального изучения регионов и групп, которые в таких национальных движениях играют ведущую роль.

Однако, кроме понимания политического фактора, который также определяет форму национализма, проблема состоит еще и в объяснении того, почему национализму суждено было стать широко разделяемой и поддерживаемой идеей. Я уже показывал, что всякая точка зрения, которая связывает это с тем, что национализм есть функция того или иного группового интереса, не достигает сути вопроса.

Геллнер предлагает нам именно тот анализ, который доходит до самой сути. В самом общем плане он доказал, что культура в современном обществе не только становится обособленной сферой, но в условиях мобильного, стремительно меняющегося процесса индустриализации она также способна подготовить основу для идентичности, то есть выполнить роль, которую более не могут играть социальные структуры. Прибавьте сюда его рассуждения о том, как индустриальное общество, всеобщее образование и формирование сферы народной культуры все вместе способствуют возникновению «стандартной» национальной культуры, и вы получите весомый набор понятий, помогающих разобраться в том, почему национальная идентичность есть явление современное — особое, но при этом очень широко распространенное.

Позвольте мне и здесь, как в случае с Андерсоном, незамедлительно оценить силу, значение и убедительность авторской аргументации. Есть конк-

ретные пункты, которые вызывают вопрос: это, например, объяснение того, как сложилась система массового образования. Геллнер считает ее истоком потребности в минимально обученной (скажем, хотя бы основам грамотности) рабочей силе. Очевидно, что это аргумент в поддержку его общего тезиса о специализации культуры и потребности в приведенном к единому стандарту национальном языке. Однако это всего лишь функциональное объяснение со всеми теми проблемами, которые я уже выше упоминал. Совершенно ясно, что во многих случаях в основе расширения школьной системы лежали иные мотивы — такие, как дисциплина, филантропия и озабоченность новыми проблемами молодежи, возникающими ввиду изменения связей между домом, возрастом и трудом. Трудно выделить механизм, определяющий «выбор» массового образования в ряду других возможностей. А стало быть, трудно согласиться с предположением о том, что между «потребностью» индустриального общества в рабочей силе, предъявляемой массовому школьному образованию, и «обеспечением» такого образования существует самая прямолинейная связь.

Однако, в целом я хотел бы согласиться с его утверждением о том, что существует тесная и действительно необходимая связь между формированием индустриального общества и формированием «стандартных» национальных культур. Это столь же во многом сопряжено с рыночными отношениями и усиливающимся проникновением вниз по общественной вертикали таких институтов, как суды, армии, основанные на воинской повинности, и бюрократия служб социального обеспечения, сколь и с неоспоримым развитием всеобщих начальных школ. Очень сильна его мысль о том, что большинство общественных взаимодействий в индустриальных обществах происходят в рамках «культурных зон», которые во все возрастающей степени определяются национальной идеей.

Основную проблему я вижу здесь в том, как связать этот аргумент с феноменом национализма. Во-первых, многие националистические доктрины и многие националистические политические движения расцвели в таких обществах, которым еще только предстояло претерпеть переход к индустриализации. Во-вторых, такой трансформации подверглись только некоторые части мира, тогда как широкое распространение национальных чувств можно наблюдать и в тех частях мира, которые пока не достигли подобной фазы. Коммерческое сельское хозяйство, массовое образование и современные системы коммуникации — все это может вести ко многим из тех же последствий, которые Геллнер связывает с индустриализмом. Даже будучи где-то зависимыми от индустриализма (как от модели и поставщика ресурсов), эти факторы все-таки ослабляют закономерности, установленные теорией Гел-

лнера. Итак, здесь есть два момента: в неиндустриальных обществах есть средства распространения национальной культуры, и в неиндустриальных же обществах есть политически значимые формы национализма. Можно добавить сюда и третий момент: то, что национализм как специфическое политическое движение часто бывает довольно слаб в культурно однородных индустриальных обществах, живущих в границах современных наций-государств. Таким образом, ясно, что здесь необходимо четко отделять друг от друга несколько разных вещей. В частности, связь между национализмом (как отличным от участия в широко разделяемой национальной культуре) и индустриализмом на самом деле нигде не является такой тесной, как она подается в воззрениях Геллнера.

Я не сомневаюсь в том, что более всего национальные культуры развиты в индустриальных обществах, и это основным образом сказывается на характере национализма в подобных обществах. Однако мне кажется, что соответствие между такими обществами и национализмом — будь то доктрина, политика или чувства, общие всем, — является крайне нестрогим.

Национализм и политическая модернизация

Лично я предпочитаю начинать с того, чтобы рассматривать национализм как политику. С одной стороны, политические движения могут быть связаны с политическими доктринами. (Каковы источники тех идей, что используются националистическими движениями?) С другой стороны, они также могут быть связаны с чувствами, которые разделяют широкие массы. (В какой мере националистические движения способны обеспечивать себе широкую базу поддержки и какую роль играет в этой мобилизации их обращение к национальному чувству?) Стоит, однако, отметить, что в отдельных случаях эта связь может носить достаточно негативный характер. Националистическое движение порой игнорирует националистов-интеллектуалов и черпает стимулы из сферы религиозных ценностей; порой оно достигает больше успеха благодаря контактам с элитой общества и связям с правительством, чем рассчитывая на массовую поддержку. Наконец, такая мобилизация масс, которая подчас действительно происходит, может быть связана скорее с его апелляцией к групповым интересам или ценностям неназионалистического порядка, нежели с националистическими пропагандой и деятельностью.

Однако, как я уже отмечал, националистическое политическое действие на самом деле способно привести к возникновению более связной системы доктрин и чувств, и, кроме того, оно позволяет более четко оценить их зна-

чение. Необходимость политического действия со стороны как оппозиционных движений, так и правительства организует и ориентирует идеи на практические задачи, придает аморфным чувствам конкретную направленность. В этом случае оценить их значение довольно несложно, достаточно лишь задаться вопросом о том, насколько существенную поддержку могут снискать себе такие политические движения внутри общества; а вот оценка значений идей и чувств «самих по себе» представляет серьезную трудность. Политические движения, как правило, предоставляют историку богатый выбор ресурсов, которые он мог бы противопоставить пустой спекуляции или натянутым обобщениям, имеющим под собой чрезвычайно скудную фактическую основу. Полагаю, что все эти вполне практические соображения уже в достаточной мере указывают на то, что к национализму прежде всего следует подходить как к политике.

Наш следующий шаг должен состоять в том, чтобы применить это правило к тому контексту, в котором возникновение национализма обусловливается процессом модернизации. В целом я бы поспорил со взглядами Геллнера на современность. К примеру, можно начать с идеи о том, что модернизация включает в себя фундаментальные перемены в *общем разделении труда*[27]. Под этим подразумевается, что в отличие от *экономического разделения труда* самые широкие категории человеческой деятельности — принуждение, познание и производство (или, используя более условные термины, — власть, культура и экономика) — получают новое определение и по-новому соотносятся друг с другом. Здесь я прежде всего хочу обратиться к тому, что назову переходом — в Европе — от корпоративного разделения труда к функциональному. Корпоративное разделение труда я отношу к обществу с очень сложным ранжиром функций, при котором, однако, набор различных функций осуществляется определенными институтами, обычно действующими от имени какой-то конкретной группы. Например, идеально-типическая гильдия выполняет функции экономические (регулирование производства и распределение конкретных благ и услуг), функции культурные (забота об общем и профессиональном образовании трудовой смены, организация основных видов рекреационной и церемониальной деятельности членов гильдии, вплоть до отправления религиозных обрядов) и функции политические (обращение в суд с исками и штрафными санкциями к членам гильдии, автоматическое представительство в местных правительствах). Церкви, уезды, крестьянские общины и даже монарх с его статусом привилегированного землевладельца обнаруживают столь же многофункциональные характеристики. Не стоит изображать подобное разделение труда как в той или иной мере согласованное или «органичное». В нем есть масса конфликтных пун-

ктов; в исполнении некоторых функций отдельные институты претендуют на тотальные или по крайней мере решающие, верховные полномочия (как церкви и религиозные доктрины; монархи и закон), хотя обычно они зависят от других институтов, которые реально осуществляют эти функции на своих более низких уровнях. Здесь ведутся споры и о том, где должны пролегать границы компетенции разнообразных институтов, а в рамках самих этих институтов происходят внутренние конфликты. Более того, это понятие корпоративного разделения следует рассматривать как идеально-типическое. В действительности существует множество отклонений от данного типа. И естественно, к концу XVIII века такое разделение труда было подвергнуто острой интеллектуальной критике, и во многих частях Западной и Центральной Европы оно было разрушено.

Эта критика — особенно если она основывалась на рационалистическом кредо вроде Просвещения, физиократии и классической политической экономии — ориентировалась на иное разделение труда, — при котором каждая основная социальная функция сосредоточивалась бы в отдельном институте. Таким образом экономические функции оказывались обособленными от других и сосредоточенными в индивидах и фирмах, оперирующих на свободном рынке. Церкви становились добровольными объединениями верующих. Власть принадлежала специализированной бюрократии и осуществлялась под контролем со стороны выборных органов — парламентов — или просвещенных монархов. Между видами критики были существенные расхождения, в рамках некоторых из них одна из функций могла ставиться выше других (классическая политическая экономия превозносила роль рынка, якобинцы — роль государственности), но все они исходили из этого общего основания.

Исторически процесс такой трансформации совершался не гладко. Более того, его различные элементы развивались разными темпами, в разное время и разными путями. Чтобы связать эти обстоятельства и националистическую политику, необходимо сконцентрироваться на одном определенном аспекте данного перехода. Речь идет о развитии современного государства. Ввиду недостатка места в статье я ограничусь лишь рядом утверждений об основных направлениях такого развития в Европе.

Изначально современное государство развивалось в либеральной форме, что предполагало концентрацию «общественных» полномочий в специализированных государственных институтах (парламенты, бюрократия), тогда как множество «частных» полномочий оставалось в ведении неполитических институтов (свободного рынка, частных фирм, семьи и так далее). Стало быть, речь шла о двойном преобразовании прежнего государственного

правления: такие институты, как монархия, утрачивали свои «частные» права (например, на принципиальный источник дохода от королевских земель, предоставление монополий или владение ими); другие институты, как, например, церкви, гильдии и поместья, лишались своих «общественных» полномочий управления. Так вырабатывалась и, по-видимому, получала некоторое влияние на дальнейший ход вещей ясная и отчетливая идея государства как «общественной», а «гражданского общества» как «частной» сферы.

Эту идею закрепили и соответствующие перемены в отношениях между государствами. Во-первых, определенную связь с современной идеей суверенитета имело становление четкой идеи государства как единственного источника политических функций. Все силы принуждения должны быть сосредоточены внутри государства. Это, в свою очередь, требовало более ясного, чем прежде, определения границ государства, особенно потому, что процесс формирования современного государства в Европе происходил в условиях противостояния государств. Например, интересно, что одним из спорных вопросов в период, когда разразилась война между Францией и государствами *ancien regime*, был источник власти над теми анклавами в рамках Франции, которые все еще считались вассалами Священной Римской империи[28]. Современная концепция Франции как строго ограниченного пространства, в пределах которого французское государство оказывалось суверенным, противоречила старой концепции власти как варьируемого комплекса привилегий по отношению к различным группам и территориям. Ясные и отчетливые понятия государства как единственного источника суверенитета и как ограниченной территории являются отличительным признаком государства современного.

Разрушение корпоративных связей означало, что внутри как государства, так и гражданского общества появился новый взгляд на людей — прежде всего как на индивидов, а не членов группы. И для тех, кто в таких ситуациях желал восстановления строгого политического порядка, и для тех, кто пытался достичь его понимания, основная проблема состояла в том, как построить связь между государством и обществом; как поддерживать определенную гармонию между общественными интересами граждан и частными интересами самостоятельных индивидов (или семей). Националистические идеи могли быть связаны с любой из двух главных форм, которые принимали попытки решить эту проблему: в первом случае обществу предлагались идеалы гражданства, в другом — государству предлагалось учитывать интересы (индивида или класса), существующие в рамках гражданского общества[29].

Итак, первым политическим решением было гражданство. Общество индивидов одновременно определялось как государство граждан. Ощущение своих обязательств перед государством развивалось у человека в процессе его участия в либеральных и демократических институтах. «Нация» в этом смысле означала не более чем объединение граждан. Для так называемых граждан значение имели политические права, а не культурная идентификация. Именно такая идея национальности лежала в основе программ патриотов в XVIII веке. Она могла показывать важность политического участия и культивирования политической порядочности. В самых крайних формах, из тех, что предлагались Руссо или реализовывались Робеспьером, она была чревата стиранием смысла «свободы» как достояния частного лица, а не государства, ибо свобода здесь определялась исключительно как участие в реализации «общей воли»[30].

Второе решение состояло в выделении *коллективной* сущности *общества*. В первую очередь это был принципиальный аргумент политических элит, стоящих и перед интеллектуальной проблемой (как придать государственному действию законный статус?), и перед политической (как апеллировать к социальным группам с тем, чтобы обрести поддержку для своей политики?). Часто и «культура», как утверждает Геллнер, между делом и чисто случайно, тоже достигала в современном обществе высокой стандартизации, пронизывая разные социальные группы. Теперь на развитие чувства идентичности уже могли работать аргументы национализма, вытеснив социальные критерии (особенно связанные с привилегиями), используемые в корпоративном обществе.

Либерализму, первой серьезной политической доктрине современности, было нелегко ужиться с понятием об интересах коллектива или сообщества, которым надлежит быть политически признанными[31]. Однако со своей стороны и многие группы не могли примириться с абстрактным, рациональным характером либерализма, особенно если под формальными правами политического участия скрывалось реальное, социально структурированное неравенство. Такие группы, возможно, привлек бы либерализм, способный сделать культурную идентичность своей политической программой. Кроме того, в новых условиях стало и возможным, и необходимым развивать политические языки и движения, которые были бы целенаправленно обращены к широкому ряду групп, занимающих определенную территорию, а это национализму было по силам. Логически два понятия нации — как объединения граждан и как культурного сообщества — противоречат друг другу. На практике же национализм — это такая ловкая идеология, которая пытается эти идеи соединить[32].

В силу своей ловкости, а также политической нейтральности культурной идентичности, к которой апеллирует национализм (это значит, что она годится для самого многообразного политического применения), национализм принимал головокружительное разнообразие форм. Чтобы от этого очень общего исходного пункта перейти к изучению отдельных националистических движений, нам потребуется типология, а также несколько понятий, которые помогут нам сосредоточить внимание на разных функциях, осуществляемых националистической политикой. Наметив их, я затем попытаюсь показать, как эти очень общие идеи можно использовать для того, чтобы проникать в самую суть частных случаев национализма. Я буду основываться на примерах из империи Габсбургов, а также проведу некоторые сравнения между ней и Османской империей.

Во-первых, мы должны связать тезисы о государстве как объединении граждан или как политическом выражении сообщества с развитием политических движений. В мире, где политическая легитимность прежде никогда не основывалась на национальности, такие движения с самого начала были оппозиционными. Только на более позднем этапе правительства, сформированные националистической оппозицией либо взявшие на вооружение идеи таких оппозиций, сами делали националистические аргументы основой своих претензий на законный статус.

Во-вторых, я делаю различия между следующими случаями: 1) когда нация, выступать от имени которой намерена оппозиция, понимается как образующая всего лишь часть территории данного государства; 2) когда нация совпадает с этой территорией и 3) когда она выходит за пределы территории государства. Из этого различения вытекают три основные политические стратегии: *сепарация, реформа* и *унификация.* Данная типология предполагает дальнейшие усложнения, которые я рассматриваю в своей книге, но не имею возможности привести здесь.

В-третьих, я выделяю три различные функции, ради которых могут использоваться националистические идеи. Это функции *координации, мобилизации* и *легитимации.* Под координацией я имею в виду использование националистических идей для внедрения в ряде элит понятия об общих интересах, ибо иначе эти элиты преследуют несколько иной интерес в своем противостоянии государству. Под мобилизацией я понимаю применение националистических идей для обеспечения поддержки политическому движению среди тех широких слоев, которые прежде были выключены из политического процесса. Под легитимацией подразумевается использование националистических идей для оправдания целей политического движения как перед лицом государства, которому оно оппонирует, так и для влиятельных

внешних сил, например, иностранных государств и их общественного мнения.

Очертив эти рамки, я хотел бы теперь выдвинуть ряд гипотез о развитии национализма в империи Габсбургов и в Османской империи[33].

В империи Габсбургов особое значение имели внутренние функции координации и мобилизации и идеология национализма была высоко развита. В Османской империи гораздо большую роль играла внешняя функция легитимации. Разработка националистической аргументации здесь в основном шла с заимствованием из-за рубежа (в том числе из империи Габсбургов) и в большинстве случаев, по сравнению с империей Габсбургов, имела довольно сырую и рудиментарную форму. Однако националистические оппозиции к Османской империи в Европе конца XIX века были куда более успешными, чем оппозиции к империи Габсбургов, — если за основу сравнения брать такой принципиальный критерий, как достижение национального самоопределения. Я считаю, что предложенная мной структура позволяет проводить сравнительный анализ разнообразных возможных случаев, равно как и давать объяснения выявленным различиям.

Ввиду недостатка места мы не можем вдаваться в детальное описание. Разрешите мне просто сделать несколько коротких утверждений. Первое: необходимо отличать националистические движения доминирующих культурных групп, таких, как венгры и греки, от движений подчиненных групп, таких, как румыны и сербы. Для данных сравнений особенно полезно то, что румыны и сербы жили в обеих империях.

В случае с Габсбургами важно то, что это было феодальное государство, в котором местная власть принадлежала привилегированным группам. Это обеспечило венграм институциональную базу, на которой смогло развиться национальное оппозиционное движение. Процесс политической модернизации, особенно реформы Иосифа, различным образом угрожал положению венгров — это и официальная германская политика в области языка, и расширение центральной бюрократической власти, и попытки уменьшить роль привилегий в таких сферах, как землевладение или вероисповедание.

В таких обстоятельствах некоторые венгерские аристократы могли расценивать себя не столько как привилегированных пособников династии, сколько как лидеров нации, которой сверху угрожает государство, контролируемое немцами, при помощи своей церкви и образовательных и земельных реформ также (хотя и непреднамеренно) провоцирующее беспорядки в среде подчиненных групп славян и румын.

Я бы обратил ваше внимание на тот очень нерешительный путь, которым развивалась эта национальная реакция[34]. Резкого движения к оппозиции не

было; было лишь огромное нежелание примириться с последствиями национального аргумента, которые включали бы в себя разоблачение несправедливого распределения привилегий внутри венгерской нации (начиная с координации знати и мелких дворян, интеллигенции, и кончая мобилизацией мадьярских крестьян); но события 1848 года качественно изменили и сделали радикальным поворот к националистической оппозиции. Однако именно этот поворот, в свою очередь, породил националистические движения в среде подчиненных групп. Эти группы, не обладавшие такой сложной структурой элит, как у венгров, в большинстве своем состояли из участников движений крестьян под руководством церкви и интеллигенции. Мобилизация играла здесь более важную роль, чем координация. Хотя эти группы апеллировали и к посторонним (можно вспомнить, например, как Кошут стал любимцем американских и западноевропейских либералов и радикалов после 1849 года), большого значения данный факт не имел. По правде сказать, самое существенное вторжение извне произошло в 1849 году, — это были русские, и они защищали старые династические порядки.

Всякое детальное исследование, очевидно, должно будет пролить свет и на существо религиозных различий, и на модели землепользования, и на черты крестьянства, и на меры, осуществляемые монархами Габсбургами, когда они столкнулись с национальными оппозициями, которые, в свою очередь, конфликтовали между собой, и еще на многое другое. Не следует ждать, что такую возможность обеспечит теория — она только очертит рамки, в которых подобное рассмотрение станет возможным. Но я полагаю, что те рамки, которые очертил я, уже позволяют сделать это[35].

В случае с Османской империей мы не имеем дела с феодальной структурой, при которой местные аристократии, как правило, осуществляли власть под весьма нестрогим центральным надзором. Вместо таковой здесь была наследственная бюрократия, которая, впрочем, предоставляла автономию греческой православной церкви. К XIX веку эта наследственная бюрократия на своих европейских территориях пришла в состояние такого прогрессирующего упадка, что, например, не могла содержать своих солдат. Политическая оппозиция развилась там, где государственный авторитет был наиболее слаб, в частности на Греческом полуострове.

Такая оппозиция имела куда менее сложную структуру, чем в империи Габсбургов, черпала опору в греческих православных священниках и местной знати (торговцах, землевладельцах), часто вынужденная брать на себя больше власти ввиду падения авторитета Османов. Здесь речь практически не шла о конфликте национальностей (хотя было и несколько случаев общинной резни в городах с достаточно большими турецкими поселениями),

поскольку в большинстве регионов не существовало такого вполне четкого соотношения между языком и привилегиями, которое можно было обнаружить в частях империи Габсбургов.

Местные движения за независимость — в отсутствие господствующей элиты, без какой-либо программы социальных реформ, способной обеспечить общественную поддержку, опирающиеся скорее на церковные институты, чем на какие-либо преимущества, которые сами по себе имеют этнические параметры, — такие движения едва ли могли дать начало национализму. Начало ему дала роль, сыгранная чужеземными властными силами, — особенно царским правительством с провозглашенной им миссией славянских народов и западным общественным мнением, то есть энтузиазмом британцев, французов и других западных людей, симпатизирующих «греческой» борьбе за независимость. По разным причинам эти силы с большей готовностью поддерживали некоторые освободительные движения, вместо того чтобы восстановить османский авторитет или взять прямой контроль над ситуацией в свои руки. Националистическая аргументация обеспечивала подобной политике легитимный характер.

Как следствие, национализм в двух империях проявлялся очень по-разному. Даже если мы имеем дело с одной и той же «нацией», например румынами, то и здесь обнаруживаются колоссальные расхождения. Османские румыны не выступали против особой и привилегированной культурной группы, они лишь сформировали крайне ограниченное движение за автономию, возглавляемое местными правителями (*господарями*). Иностранная интервенция сыграла решающую роль в возникновении румынского государства и даже вынудила тех, кто находился у власти, принять многие идеи с Запада (например, в том, что касается еврейской эмансипации). Однако правителем здесь мог утвердиться только «импортированный» Гогенцоллерн; и конституция имела довольно мало сходства с традиционными реалиями местной политики. Со своей стороны румынское националистическое движение в империи Габсбургов, протестующее против венгерского господства, возглавляемое духовенством и светскими интеллектуалами, выступающее с программой реформы и автономии, было гораздо более впечатляющим оппозиционным движением. Однако это еще объясняется тем, что ему противостояло куда более могущественное государство, имевшее значительно более сильную международную поддержку, чем Османская империя.

Из этих соображений я хотел бы сделать два главных вывода.

Во-первых, в империи Габсбургов развитие националистической оппозиции было обусловлено именно процессом политической модернизации. Эта националистическая оппозиция смогла вобрать в себя идеи, выработанные

извне (например, идеи Гердера о венграх как нации, находящейся под угрозой и снизу, и сверху), но имеющие для ее ситуации некий особый смысл, способные объединить вокруг себя разнообразные элиты и снискать себе поддержку масс. В Османской империи стимулом к подъему в различных регионах движений за автономию явился, напротив, процесс политического упадка. И только благодаря тому, что националистические идеи уже были развиты где-то еще, эти движения смогли использовать такие аргументы, которые никогда не выполняли каких-либо важных внутренних функций в их собственных рамках.

Во-вторых, это наводит меня на мысль, что для развития подлинных и сильных националистических движений модернизация государства имеет решающее значение. Без такой государственной модернизации национализм останется просто риторикой, которая дает людям весьма слабое понимание того, что представляет собой истинный характер движения. И опираться он будет на предшествующее развитие националистических идей в других обществах.

Полагаю, что та концептуальная схема, которую я наметил для применения к сравнительному анализу националистических движений, наилучшим образом обеспечивает и выработку общего понимания национализма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме

Я выражу его простым набором коротких тезисов.

1. Национализм следует рассматривать как нечто специфически современное. Подходы к национализму, в сути которых не заложена какая-либо теория современности, не способны вскрыть эту ключевую черту национализма.
2. Национализм нуждается в ясном определении.
3. Это определение должно охватывать три типа предметов: доктрины, политику и чувства.
4. У политики есть особые преимущества для того, чтобы быть в центре внимания.
5. Если центром внимания является националистическая политика, то теория современности должна быть сосредоточена на вопросах политической модернизации.

6. Основная черта политической модернизации есть развитие суверенного государства со своими границами, как части системы конкурирующих государств. Это, в свою очередь, является частью более широкой тенденции движения к таким обществам, в которых главные функции (политические, экономические, культурные) концентрируются в специальных институтах.
7. Лучше всего понимать националистическую политику как изначально один из видов оппозиционной реакции на политическую модернизацию. Чтобы охарактеризовать эту реакцию, необходимо выделить разные стратегии националистической оппозиции (сепарация, реформа, унификация) и различные функции националистических идей внутри этих оппозиций (координация, мобилизация, легитимация).
8. Такая структура позволяет сравнивать и противопоставлять различные виды национализма. В подобных сравнениях выявляется, что, чем сильнее развит процесс политической модернизации, тем сильнее развита националистическая оппозиция.

Итоговые замечания

В центре нашего внимания были конец XVIII и XIX век и развитие первых националистических движений. К началу XX века национальная идея, безусловно, стала нормой. Поэтому теперь стало гораздо труднее строить теории о национализме. Когда сложилось современное, территориальное и независимое государство, то среди его населения появилась всеобщая тенденция к тому, чтобы относить или не относить себя к этому государству в национальном плане. К тому времени, когда нации-государства выделились на большей части Европы — хотя не только благодаря силе своих националистических движений, но в той же мере благодаря проигранным войнам и внешним интервенциям, — уже всякий мог пользоваться языком национализма. Опираясь на сравнения империй Османов и Габсбургов, я утверждал, что язык национализма, вообще говоря, может служить и интересам такого политического движения, которое ни в каком ином отношении не является поистине национальным. В нашем мире, где почти каждый человек в том или ином смысле националист, более важным, чем наличие теории о национализме, становится умение отличать друг от друга его разные виды.

Когда более десяти лет назад я публиковал свою книгу о национализме, то полагал, что на большей части мира он как подлинная политика (а не риторика, используемая всеми национальными правительствами) сходит на нет.

Я и сегодня готов это повторить. Но я все же попытался определить исключения из этой тенденции. К ним я первым делом отнес Восточную Европу. Должен признать, что я не был пророком, когда писал следующее:

«В мире до сих пор есть такие области, где все еще сохраняется ситуация, послужившая началом для национализма. В Восточной Европе, но только не в СССР, а в других странах, можно наблюдать отдельные политические сообщества, стремящиеся занять националистические позиции, хотя степень политического контроля и потребность в использовании иных идеологических обоснований, чем националистические, этому далеко не благоприятствует»[36].

Я пытаюсь выяснить, полезен ли намеченный мною подход для понимания современных европейских тенденций[37]. В России не сложилось современное государство как специализированный и суверенный институт. Вместо этого здесь произошел непосредственный скачок от тяжеловесного царского режима к еще даже более могущественному коммунистическому государству. Институты гражданского общества — рынок, добровольные организации, свободные церкви — пресекались в зародыше. Что же до Центральной Европы, то все достижения, которые здесь имелись, подверглись деградации с введением после 1945 года коммунистического правления.

Вероятно, можно утверждать, что неспособность к модернизации посредством функциональной специализации ставит известный предел возможностям и политического и экономического развития. Из-за таких пределов в конечном счете случаются кризисы и реформы. Многие из этих реформ — особенно в политической сфере, в том числе направленные на то, чтобы повысить ответственность политиков, — представляют собой не что иное, как запоздалую попытку модернизации. Однако реформа привела к политическому краху. На смену рухнувшему порядку слаборазвитое гражданское общество должно построить хоть какие-то из связей, возможных между элитами (коммунистами-реформистами, бывшими диссидентами, церковными лидерами, техническими и экономическими специалистами и так далее) и широкими слоями населения. Этническая идентичность, особенно в тех государствах, где коммунистическое правление сопряжено с преобладанием одной из культурных групп (русских, сербов), есть очевидный и доступный способ установления таких связей. Он может вести как к конфликтам, так и к сотрудничеству (в действительности реализуются одновременно два варианта, пока общество импровизирует с новыми коллективными формами действия). Однако не стоит забывать, что, кроме тех линий развития конфликтов, которые строятся на основе этнической идентичности, существуют и многие другие.

Сегодня этот процесс протекает в совершенно иной ситуации, чем в XIX веке, когда националистические движения происходили в династических многонациональных государствах. Теперь у нас индустриальные общества, массовая грамотность, современные способы коммуникации и прочее. Тем не менее я считаю, что здесь есть и некоторые базовые структурные аналогии. Способ анализа, выработанный для постижения империй Османов и Габсбургов, может иметь определенное приложение и к закату советской империи.

Против чего бы я решительно возражал, так это против идеи, согласно которой Восточная и Центральная Европа «возвращаются» к вековым национальным идентичностям и конфликтам («первоначальный» подход). Кроме того, хотя национальность в некоторых случаях, несомненно, используется как орудие отдельных элит (например, сербского коммунистического руководства), необходимо найти более глубокое объяснение тому, в силу чего данный инструмент оказывается доступным в первую очередь. Пусть сугубо предположительно, но я бы сказал, что намеченная мною структура может также использоваться и для анализа современных случаев.

Разумеется, судить о том, насколько полезны предложенные мною идеи и насколько существенны и состоятельны частные выводы, которые я получил, применив эти идеи к конкретным случаям, — будут другие.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Elie Kedourie.* Nationalism. L., 1960. *Jacob L. Talmon.* The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. L., 1981.

2. См., например, *Carlton Hayes.* The Historical Evolution of Nationalism, N. Y., 1931.

3. См., например, *Hugh Seton-Watson.* Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. L., 1977.

4. Это близко, хотя и нетождественно, «доктрине ядра», развиваемой Энтони Смитом в: *A. Smith.* Theories of Nationalism. L., 1971. P. 21. Дальнейшую разработку этой темы см. в: *John Breuilly.* Nationalism and the State, Manchester, 1985. P. 3–18.

5. *Kedourie.* Nationalism. P. 9.

6. См. *Breuilly.* Nationalism and the State. Introduction, ch. 1.

7. *Anthony D. Smith.* The Ethnic Origins of Nations, Oxford, 1986. Дальнейшую разработку вопроса применительно к новой истории см. также в его недавней книге *A. Smith.* National Identity. Harmondsworth, 1991.

8. *Smith.* Ethnic Origins. P. 32.

9. *Ernest Gellner.* Nations and Nationalism. Oxford, 1983.

10. О различии между «историческими» и «неисторическими» нациями, которое составляло в Европе девятнадцатого века одни из элементов политического «здравомыслия», см., например, *Roman Rosdolsky.* Friedrich Engels und das Problem der «Geschichtslosen Völker» // Archiv für Sozialgeschichte. Vol. 4, 1964. P. 87—282, и *Charles C. Herod.* The Nation in the

History of Marxian Thought: The Concept of Nations with History and Nations without History. The Hague, 1976.

11. *Smith.* National Identitiy.

12. Смит оказал нам блестящую услугу, собрав большое количество таких утверждений из античной и средневековой истории. Историки средневековья часто делают свод таких суждений, которые, по-видимому, дали начало бесконечным спорам по поводу наличия или отсутствия национализма в ту эпоху. См., например, *Otto Dann* (ed.). Nationalismus in vorindustrieller Zeit. Munich, 1986.

13. *Breuilly.* Nationalism and the State. Ch. 1.

14. *Ernest Gellner.* Plough, Sword and Book: The Structure of Human History. L., 1988.

15. Более подробно я отстаиваю эту позицию в: *Breuilly.* Nationalism and the State. Ch. 3.

16. См. *Anthony D. Smith.* Theories of Nationalism. L., 1971, и введение в: *Breuilly.* Nationalism and the State.

17. Я был склонен не принимать в расчет психологические аспекты. Однако, мое внимание привлекла очень тщательная и последовательная аргументация, в которой задействуются понятия из психологии: это *William Bloom.* Personal Identity, National Identity and International Relations. Cambridge, 1990. Я признателен профессору Лембергу за то, что он рекомендовал мне эту книгу.

18. Аргумент такого типа лежал, например, в основе первого теоретического подхода Геллнера к национализму: *Ernest Gellner.* Thought and Change. L., 1964. P. 147—78.

19. Наиболее ясно и исчерпывающе это отражено у Геллнера в «Плуге, Мече и Книге».

20. Есть большое количество критической литературы по функциональному объяснению. Очень полезной для краткого знакомства с некоторыми проблемами этого рода мне показалась работа: *Steve Rigby.* Marxism and History: A Critical Introduction. Manchester, 1987. P. 84—91.

21. Чтобы получить некоторое понятие о том, как национальное, особенно как образ политической истории в повествовании, стало фигурировать у таких историков в трактовке немецкого прошлого, а также формирования политической культуры, см. *Georg Iggers.* Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart. Munich, 1971; *Thomas Nipperdey.* Deutsche Geschichte 1866—1918. Vol. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist. Munich, 1990, со стр. 633; *Bernd Faulenbach.* Ideologie des deutschen Weges: Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Munich, 1980.

22. Эта критика повествования основана на рационалистических, «модернистских» ценностях, — я не ставлю под сомнение данный тип исторического подхода с модной сегодня постмодернистской точки зрения. Также я бы хотел подчеркнуть, что не имею ничего против «телеологического» подхода в истории, однако при четком условии, что телеологически ставятся только вопросы (то есть как ранняя стадия процесса повлияла на более позднюю?), а не даются ответы.

23. Я развивал этот аргумент в русле критики в: *John Breuilly.* Nation and Nationalism in Modern German History // The Historical Journal. Vol. 33, № 3, 1990. P. 659—675; а в более позитивном контексте — в: *John Breuilly.* Introduction: The National Idea in Modern German History // The State of Germany: The National Idea in the Making, Unmaking and Remaking of a Modern Nation-State / Ed. John Breuilly. L., 1992. P. 1—28.

24. О том, что общая социальная теория должна оставлять место чуству случайности, непредвиденности, см. *Anthony Giddens.* The Nation-State and Violence. Cambridge, 1985, особенно p. 31—34. О некоторых проблемах того, как учесть это чувство случайности в повествовании, особенно применительно к германским революциям 1848 г., см. *Thomas Nipperdey.* Kritik

oder Objectivität? Zur Beurteilung der Revolution von 1848 // Gesellschaft, Kultur und Theorie: Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen, 1976. P. 259—278.

25. Как и многие другие, я впервые познакомился со скрупулезным сравнительным подходом Хроха по книге *Miroslav Hroch.* Vorkämpfer der nationalen Bewegungen bei den Kleinen Völkern Europas. Prague, 1968. К несчастью для англоязычных читателей английская версия (Social Preconditions of National Revivial in Europe: A Comparative Analysis of the social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985) представляет исследование в сильно сжатом и сокращенном виде.

26. *Benedict Anderson.* Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L., 1983. Я сделал подробный критический обзор этой книги наряду с книгой Геллнера «Нации и национализм» в: *John Breuilly.* Reflections on Nationalism // Philosophy of Social Sciences. Vol. 15, 1985. P. 65—75.

27. *Gellner.* Plough, Sword and Book.

28. См. об этом особом случае в: *Timothy Blanning.* The Origins of the French Revolutionary Wars. L., 1986. О значении границ во французских событиях см.: *P. Sahlins.* Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley, 1989. О Германии см.: *Alexander Demandt* (ed.). Deutschlands Grenzen in der Geschichte. Munich, 1990. Более теоретический взгляд на переход от «фортов» к «границам» см. *Giddens.* The Nation-State and Violence. P. 49 53.

29. Подробно я развиваю этот аргумент в: *Breuilly.* Nationalism and the State. Ch. 16.

30. См. сборник статей *Otto Dann, John Dinwiddy* (eds.). Nationalism in the Age of the French Revolution. L.; Ronceverte, 1988.

31. Убедительную критику либерализма с этой точки зрения можно найти в *Michael Sandel.* Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1982.

32. Эти вопросы освещаются в заключении к: *Breuilly.* Nationalism and the State.

33. Здесь я в особенности опираюсь на положения главы 3 в: *Breuilly.* Nationalism and the State.

34. *István Deak.* The Lawful Revolution: Louis Kossuth and the Hungarians, 1848 1849. N. Y., 1979.

35. См. статью Андраша Вари в: *Eva Schmidt Hartmann* (ed.). Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenossischer Nationalismustheorien. Munich, 1994, в котором он отстаивает ту же основу для выработки понятий, которую я очертил, и добавляет сюда кое-что связанное с социальным составом различных типов национализма, чтобы лучше понять мадьярский, или венгерский, национализм. Я бы не стал возражать против этого, и Вари, несомненно, использует свои добавочные понятия плодотворно. Оставлю за собой только право на методологическое замечание: инструмент *общего* анализа имеет выраженные преимущества перед умножением понятий в рамках теоретического подхода. Мы просто перестаем жонглировать слишком большим количеством шариков. Поскольку в моем подходе фокусом является политика, я полагаю, что лучше ограничить используемые понятия аспектами политического действия.

36. *Breuilly.* Nationalism and the State. P. 382.

37. Некоторые из этих идей я развивал в переработанном издании *J. Breuilly.* Nationalism and the State. Manchester, 1993, особенно в заново написанной главе 17 — «Nationalism in Contemporary East-Central Europe».

ЭНТОНИ Д. СМИТ

НАЦИОНАЛИЗМ И ИСТОРИКИ

История национализма — это в такой же степени история тех, кто о нем повествует, как и история собственно националистической идеологии и движения. Именно потому, что национализм демонстрирует такое многообразие форм и кажется столь ускользающим от нашего понимания, он бывает доступен нам только в этих различных формах или скорее в формах, в которых его представили нам его адвокаты и критики. Вот почему национализм так часто рассматривают как «историческое движение» *par excellence*[1]. Дело не только в том, что он возник в определенный период европейской истории и проявляется в особых исторических ситуациях. Национализм представляет собой явление глубоко «историческое» по самому своему характеру: мир в его свете видится как плод взаимодействия различных сообществ, каждому из которых свойственны уникальные черты и своя собственная история и каждое из которых есть результат своих собственных истоков и своего особого пути развития.

Но, кроме этого, существует еще один специфический аспект, исходя из которого мы можем говорить о национализме как о характерно «историческом» движении. Историки играют выдающуюся роль среди его создателей и приверженцев; но они также явились первыми из тех, кто пытался понять и оценить феномен национализма. То, что историки внесли такой весомый вклад в столь «историческое» движение, совершенно неудивительно, если принять во внимание общие элементы раннего европейского национализма и историографии романтического периода. Мишле, Бёрк, Мюллер, Карамзин, Палацкий и многие другие заложили моральный и интеллектуальный фундамент для зарождающегося национализма в своих странах. Историки, наряду с филологами, самыми разными способами подготавливали рациональные основания и хартии наций своей мечты[2].

Историки также принадлежали к числу самых непримиримых критиков и оппонентов национализма, особенно начиная со времен второй мировой войны. По правде сказать, большинство из них скептически, если не откровенно враждебно, относились к его идеологическим притязаниям. Они приписывали национализму множество пагубных последствий — от абсурдных социальных и культурных мер и вплоть до массового террора и всемирной

дестабилизации. Такая позиция была обусловлена рядом расхожих предположений о сущности данного явления. В целом историки видели в национализме доктрину, принцип либо систему аргументации; за редкими исключениями, их воображение волновала скорее теория национа*лизма*, нежели нация. Доктрина или принцип часто рассматривались как *idee fixe*[3], как движущая сила, под любой из своих личин сохраняющая известное постоянство. В иных случаях национализм отождествляется с «национальным чувством», то есть с ощущением принадлежности к нации и идентификации с ней. В этом свете нация предстает как такое сообщество, которое удовлетворяет потребности индивида или коллектива в душевном тепле, стабильности и силе, значение которых возрастает по мере того, как утрачивают свое былое значение семейные и соседские узы. В данном смысле национализм может оказаться полезным для общества и в современную эпоху[4].

Но за это приходится платить высокую цену. В принципе, как рассуждает критически мыслящий историк, почему бы какой-либо группе людей не предпочесть жить, трудиться и управляться сообща, скажем, на основе какой-то культурной связи или совместного исторического опыта; и, быть может, ими будут лучше управлять представители их собственной общности, чем какой-то другой. Но эту либеральную доктрину не следует путать с европейскими континентальными и романтическими разновидностями национализма, трактующими индивидов как членов таких незыблемых общностей, которые могут быть свободными только при наличии самоуправления[5]. Подобные доктрины влекут за собой стихийное бедствие повсюду, где они только могут усилить существующие различия и исторические антагонизмы, особенно в областях с этнически смешанным населением.

Итак, в общем и целом, историческое понимание сложного феномена национализма основывается на довольно узком определении предмета и столь же специфическом способе объяснения. Последний является по сути своей контекстуальным, психологическим и расплывчатым. Он требует, и притом, на мой взгляд, вполне справедливо, помещения национализма и понятий, характеризующих это движение, в контекст европейской мысли и истории, по крайней мере в том случае, когда речь идет об истоках национализма; эти понятия и идеи можно постичь только на этом историческом фоне. Поскольку современная Европа наблюдала распад типичных для нее типов общностей экономического и политического порядка, то в национализме сегодня на первый план выходят его психологические преимущества и аспекты; при этом особое внимание уделяется его функциям, полезным для дезориентированных индивидов и неприкаянных общностей. В конце концов, тот популярный механизм, с помощью которого объясняют распространение на-

ционализма в Азию, Африку и Латинскую Америку, представляет собою смесь подражания и реакции: элиты, и в особенности интеллектуалы, принимают и приспосабливают для своих нужд западные идеи нации и национального возрождения. Национализм расцветает в специфической атмосфере европейского империализма и колониализма; однако как только крошечная прослойка интеллектуалов обеспечит его появление в какой-нибудь стране-реципиенте, дальнейшее распространение его идей обретает способность к саморазвитию и самовоспроизводству[6].

В последнее время более заметными стали два других аспекта понимания национализма историками, и эти аспекты видения с ними разделяют ученые из смежных областей науки. В первом случае речь идет об измышленной сущности нации. Причем не только национализм трактуется как сугубо произвольное и логически неоправданное явление: сама нация, объект всех стремлений национализма, искусственна; это понятие и модель социальной и культурной организации есть плод трудов самозваных националистов, нацеленных на обретение власти и пожинающих достижения политической борьбы. Нация — это искусственная категория; она не имеет корней ни в природе, ни в истории. Отсюда вытекает вторая недавно выявленная черта — современность наций и национализма. Прошлое, на которое уповают националисты, — только миф: оно существует лишь в сознании националистов и их последователей, даже если оно не было цинично сфабриковано для современных политических целей. Нация ведет отсчет с момента прихода националистов к власти: это сугубо современное понятие и результат достаточно современных процессов, таких, как бюрократизация, секуляризация, революция и капитализм. В этом пункте трактовки историков сходятся с трактовками политологов, социологов и антропологов; правда, историк первое появление идеологии и движения национализма вполне уверенно связывает с последней четвертью XVIII столетия и первым десятилетием XIX века, то есть периодом, начинающимся с разделов Польши и американской Войны за независимость и кончающимся прусской и германской реакцией на Французскую революцию и наполеоновские завоевания[7].

ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОТВЕТА НАЦИОНАЛИЗМУ

Было бы удивительно, если бы историки, учитывая историческую природу своего предмета исследования и собственной профессиональной позиции, не следовали общему академическому образцу, раскрывающему тесную связь между теми приемами, с помощью которых ученые характеризуют и объясняют национализм, с одной стороны, и *Sitz im Leben*[8] их самих и того сооб-

щества, к которому они сами принадлежат, с другой. Этим обусловлены различия в тех основополагающих смыслах, которые придают понятиям нации и национализма каждое поколение и каждая группа историков. Это четко просматривается в первых характерных реакциях как историков, так и других ученых на националистические движения XIX века.

Первые историки национальной идеи были склонны расценивать нацию как оплот индивидуальной свободы. Примеры этого видения, безусловно, есть у Мишле в его «Историческом взгляде на французскую революцию»; хотя Мишле писал в середине XIX столетия, он вновь выразил идею Руссо о возврате к природе и склонности человека вести социальный образ жизни. «Спонтанный порядок Франции», рожденный в 1789 году, возвестил о наступлении «эры братства», эры «Человека, братающегося с себе подобными перед лицом Бога», как сказал об этом Мишле. В братстве «больше нет ни богатых, ни бедных, ни аристократов, ни плебеев; есть лишь один общий стол и одна на всех еда; кончились общественные распри и ссоры; недруги примирились, и враждующие вероисповедания и интеллектуальные течения, верующие и философы, протестанты и католики — все стали братьями...»[9].

Эта религия патриотизма является одновременно прославлением человека и движущей силой современной французской и европейской истории. Так как «дитя на алтаре (в праздник конфедерации) — это Франция, а весь мир ее окружает. В ней, как в своем общем детище, нации чувствуют себя едиными...». Мишле выделяет Италию, Польшу и Ирландию — страны с националистическими движениями, входящими в движение «Молодая Европа» Мадзини, — которые по-братски сочувствовали Франции, даже в период Революции, демонстрируя тем самым силу идеи в современной истории.

К 80-м годам XIX века, после утраты в 1871 году Эльзаса и Лотарингии, националистические принципы прочно укоренились во французской политике. Ренан, противопоставляя искусственный принцип исторической солидарности органичному принципу этноязыкового единства как фундамента нации, остался верен либеральному духу. «В нациях, — писал он, — нет ничего вечного. У них есть начало, будет и конец. Возможно, их заменит Европейская конфедерация. Но это не относится к тому столетию, в котором живем мы с вами. На сегодняшний день существование наций является благом и даже необходимостью. Их существование — это залог свободы, которую мы утратили бы, если бы мир управлялся только одним законом и одним господином...» Для Ренана наилучшим воплощением духа свободы являлось социально-психологическое определение нации, которое невозможно свести ни к биологическим, ни к лингвистическим, ни к экономическим, ни к географическим характеристикам. «Давайте не будем отвергать тот осново-

полагающий принцип, в соответствии с которым человек, еще до того, как он будет заключен в рамки того или иного языка, станет принадлежать к той или иной расе, обретет привязанность к той или иной культуре, есть разумное и нравственное существо». Поэтому для Ренана «нация — это душа, духовный принцип... Нация — это великая солидарность, которая держится на сознании как уже принесенных жертв, так и жертв, которые предназначено сделать в будущем. У нее непременно есть прошлое; но она продолжается в настоящем благодаря осязаемому факту согласия людей, их отчетливо выраженному желанию продолжать свою жизнь сообща. Существование нации представляет собой ежедневный плебисцит точно так же, как существование индивида служит вечным утверждением жизни»[10].

В своих попытках сохранить верность либеральным принципам в пику милитаризму и расовому национализму фон Трейчке, Ренан, возможно, преувеличивал добровольные аспекты принадлежности к нации. На самом деле таким образом он хотел сделать акцент на первостепенной роли политики и общей истории в генезисе и характере наций. В отличие от Востока, Западная Европа после исчезновения империи Каролингов видела возникновение различных наций, представлявших собой слияние народов. «Уже к X веку, — заявляет он, — все обитатели Франции были французами. Идея различия рас в населении Франции абсолютно исчезла вместе с французскими писателями и поэтами эпохи Гуго Капета. Отныне больший упор делался на грани между аристократами и прислугой, но это отличие отнюдь не носит этнического характера...» Для Ренана наиболее важны социальные и психологические моменты — сближающие переживания и общие воспоминания (как и общее забвение). Он не объясняет, почему на Западе развилась нация того типа, который он считает новым в истории, — а именно нация, основанная на совместном опыте и избирательной памяти, — тогда как Востоку не удалось достичь ничего подобного этому и там сохранилась модель этнической исключительности.

Более консервативную реакцию на распространение националистических настроений можно найти в очерке лорда Актона, где он критикует идеал национального государства Мадзини, квалифицируя его как выражение политического идеализма. Между тем как английское свободолюбивое понятие о национальности восходит к 1688 году и ему ближе «различие, чем одинаковость, гармония, а не единство», французский идеал расовой коллективнсй национальности отдает ситуацией 1789 года и «аннулирует права и желания жителей, перекрывая их расхожие интересы вымышленным единством; он заставляет их жертвовать своими разнообразными наклонностями и обязанностями в пользу высшего притязания на национальность и подавляет

все естественные права и все установленные свободы ради того, чтобы утвердить себя самого». По Актону, теория национального единства «превращает нацию в источник тирании и революции», тогда как теория свободы «трактует ее как оплот самоуправления и первейшую гарантию от избыточной власти Государства»[11].

Из этого следует, что для Актона многонациональные империи предпочтительнее государств-наций, а Австрийская империя предпочтительнее Франции. «Государство, которое не в состоянии удовлетворить различные расы, подписывает себе приговор; Государство, которое старается нейтрализовать, поглотить или вытеснить их, разрушает почву собственной жизнеспособности; Государство, которое не допускает их вхождения в свою сферу, лишается главной базы самоуправления. Поэтому теория национальности является ретроградным шагом в истории». Он приходит к выводу о том, что «национальность отнюдь не руководствуется идеей свободы и процветания: напротив, и то и другое она приносит в жертву императивной необходимости превращения нации в образец и критерий государственности. Ее естественное развитие будет отмечено как материальными, так и нравственными разрушениями, ибо только с их помощью это новое изобретение может стать над замыслом Бога и интересами человечества».

На самом деле Актон здесь слегка поменял мишень для своих нападок: вместо французской теории нации ею стала собственно нация. Но для нас самым важным является свойственное ему понимание нации как искусственного образования. Дело не только в том, что ее притязания менее существенны, чем притязания традиционного авторитета или индивидуальной свободы; по сути дела, нация является следствием, продуктом отрицания корпоративных прав государственным абсолютизмом. Актон выступает против движения за объединение Италии; стало быть, его больше занимают проблемы национализма и теории единства, а не отделения. Но и его аргументы, и его исторический анализ привязаны к событиям, происходившим в континентальной Европе середины XIX века; за исключением его убежденности в искусственном и современном характере нации, как его аргументы, так и его исторический анализ не имеют особого отношения к африканским и азиатским государствам современной эпохи. И все же его основополагающие соображения до сих пор продолжают вдохновлять академические исследования.

Не все консервативные выступления носят столь враждебный национализму характер. Макс Вебер, классик исторической социологии и немецкий националист, считал нации конфликтующими группами и носителями уникальных культурных ценностей. Вторя Ренану, Вебер провозглашает, что «нация представляет собой сообщество мироощущения, которое может най-

ти свое адекватное выражение в государстве; поэтому нация есть такое сообщество, которое обычно стремится к созданию собственного государства»[12]. Нация также является средоточием культурных ценностей, придающих ей индивидуальность. «Значение «нации» обычно усматривают в превосходстве или по крайней мере в незаменимости культурных ценностей, которые могут сохраняться и развиваться только благодаря культивированию индивидуальности (*Eigenart*) сообщества»[13].

Как и другие историки, к которым мы уже обращались, Вебер не дает нам исторического объяснения националистического подъема, хотя это, как кажется, и входило в его планы. Все, что у нас есть, — это разделы об этнической принадлежности, нации и национализме в «Экономике и обществе», из которых отчетливо виден его преимущественно «политический» подход к предмету. Дело в том, что Вебер не просто считал, что в современном мире государство и нация нуждаются друг в друге, как нуждаются друг в друге бюрократы и интеллектуалы — носители соответствующих понятий. Пример Эльзаса с его французским политическим наследием и традициями очень ясно показал Веберу, что именно политическое действие более чем что бы то ни было способствует превращению этнических сообществ в нации. Вебер писал:

«Это становится понятным любому посетителю, осматривающему музей Кольмара, богатый такими реликвиями, как трехцветные флаги, пожарная лестница и военные шлемы, указы Луи Филиппа и в особенности экспонаты, напоминающие о Французской революции; постороннему человеку они могут показаться весьма тривиальными, но для эльзасцев они имеют большую эмоциональную ценность. Это их чувство общности сложилось благодаря такому совместному политическому и косвенному социальному опыту, который высоко ценится массами как символ крушения феодализма, и история подобных событий заступает на место героических легенд первобытных народов»[14].

Трудно сказать, в какой степени Вебер задавался вопросом о том, современны ли нации и как они развиваются — сами по себе или искусственно. Возможно, в его работах мы впервые встречаемся с проблемой отношения между принципом этнической принадлежности и национализмом, над которой задумывались некоторые ученые более позднего времени. Этот интерес, однако, был совершенно несвойственным для третьей типичной реакции на национализм XIX века, то есть для социалистической и марксистской исторической школы. У Маркса или Энгельса отсутствуют сколько-нибудь систематические исследования феномена национализма; поэтому их позицию по этой проблеме следует тщательно вычленять из замечаний,

встречающихся в статьях, посвященных внешней политике, или же в революционных памфлетах и очерках[15]. Однако оставленное ими марксистским историкам наследие в основных чертах обладает достаточно очевидным смыслом: как указывал Энгельс, нации — это сообщества, объединенные общностью языка и общими симпатиями. Великие или «ведущие» нации, дальше всех продвинувшиеся по пути капиталистического развития, следует поддерживать в их борьбе против реакционных абсолютистских государств, таких, как царская Россия, или маленьких отсталых наций вроде сербов или чехов; пролетариат «не имеет отечества», хотя бороться ему в первую очередь следует с национальной буржуазией; социалистам следует поддерживать национальные движения только там, где они ускоряют свержение феодализма или, как в Ирландии, буржуазного господства. К этому Энгельс добавил *à propos* Польши, что национальная независимость есть условие общественного развития, и что (как об этом заявлял Гегель) лишь те нации, которые уже имели свою государственность в прошлом, будут способны создать ее и в будущем. Поэтому их борьба заслуживает поддержки со стороны социалистов[16].

Позднейшим марксистским историкам оставалось, приняв эти чисто «инструментальные» положения, попытаться понять явления нации и национализма в исторической перспективе. Каутский, Ленин и Люксембург, несмотря на имеющиеся между ними разногласия, развивали по сути «инструментальный» анализ восточноевропейских национальных движений, рассматривая их в качестве орудия феодалов или буржуазии и способов отвлечения от целей пролетарской революции, хотя Ленин и был готов к тому, чтобы признать подлинно массовую популярность восточного национализма, с которым ему приходилось бороться[17]. Однако задача дать более взвешенную марксистскую оценку национализма досталась на долю Карла Реннера и Отто Бауэра.

Разумеется, их произведения тоже имели характер программных заявлений. Они были призваны удовлетворить конкретные нужды австрийских социал-демократов, столкнувшихся с проблемами многонациональности внутри империи и партии. Для обоснования их экстра-территориальных принципов решения национального вопроса, а также понятия национальности как следствия личного и происходящего в определенных культурных условиях индивидуального выбора Реннер и Бауэр приняли такие определения нации, которые привели их к отходу от основанных на политических и территориальных принципах концепций Маркса и Энгельса. В частности, для Бауэра нация являлась «общностью судьбы» и имела собственный характер и культуру. Она сформировалась под действием материальных сил,

но тесное родство и общение в рамках совместной истории и культуры привело к тому, что национальные связи сделались даже более прочными, чем классовые узы. Тем не менее Бауэр настаивал на праве индивида выбирать себе культурную национальность по мере постепенной эволюции этой последней. Что касается немцев, то Бауэр проследил историю их национального сообщества вплоть до общинно-племенной жизни, протекавшей обособленно от других племен и основанной на общей собственности на все предметы. По мере перехода к оседлому ведению сельского хозяйства части племени откалывались либо смешивались с другими группами; но главный род разделился по классовому признаку только в средние века. Подлинную нацию тогда стали составлять бароны и духовенство. Позднее, с подъемом городов и развитием товарно-денежного хозяйства, нация постепенно расширилась за счет включения в нее буржуазии и образованного среднего класса; а теперь социализм ведет еще к большему расширению нации, способствуя вовлечению в нее рабочего класса. Именно в таком духе Брюннский конгресс социал-демократической австрийской рабочей партии 1899 года призвал к созданию «демократического федеративного государства национальностей», понимаемого как совокупность культурно-исторических сообществ без территориальных прав[18].

ТИПОЛОГИИ И ОЦЕНКИ

У Бауэра мы, возможно, имеем дело с первым полномасштабным исследованием национализма с исторической точки зрения, хотя эта точка зрения и носила политический характер, будучи продиктована весьма специфическими политическими обстоятельствами. Оно отражает растущее значение национализма как политической идеологии и движения, а также как самостоятельного и полноправного предмета академического исследования. Еще в 1920-е годы XX века Карлтон Хейес и Ганс Кон приступили к пристальному анализу националистических идеологий и попытались втиснуть их разнообразие в рамки строгих и постоянных типов. Работы Хейеса были, по всей видимости, первой попыткой занять нейтральную позицию по отношению к национализму. В них он стремился выделить различные линии развития националистической идеологии. Хотя проводимые им различия между гуманитарным, традиционным, якобинским, либеральным и более поздним экономическим и интегральным национализмом характеризуют их скорее как чистые типы, нежели как конкретные направления или случаи, в которых на практике смешиваются разные линии развития, они действительно помогают нам осознать всю сложность националистической идеологии. Эти

классификации также раскрывают таящуюся под покровом аналитического рассуждения моралистическую периодизацию первых полномасштабных историй национализма[19].

Более влиятельная типология Ганса Кона, основанная на дихотомии «западного» волюнтаристского и «восточного» органического национализма, тоже делает явной лежащую в ее основе моральную цель. Согласно Кону, национализм в Англии, Франции и Америке характеризуется рационалистическими, оптимистическими и плюралистическими чертами. Облеченный в понятия общественного договора, этот национализм соответствовал ожиданиям политического сообщества нарождающегося среднего класса с его идеалами общественного прогресса. Однако за Рейном и далее на восток к России и Азии социальная отсталость и слабость среднего класса привела к куда более эмоционально окрашенному и авторитарному национализму, опирающемуся на низшую аристократию и интеллигенцию и взывающему к «патриотическим» инстинктам масс. Позднее Кон разделил свой западный тип национализма на «индивидуалистический» и «коллективистский» подтипы, которые встречаются, соответственно, в англоязычных странах и во Франции.

Как предполагает эта последняя классификация, Кона интересует скорее сама идеология национализма, чем национальное движение или нация как сообщество. Это согласуется с нашей характеристикой большинства нарисованных историками картин национализма и тех морализаторских интересов, которые часто вдохновляли подобного рода исследования, — интересов, которые по понятным причинам усиливались во время второй мировой войны, когда он писал свое основополагающее исследование. Однако в то же самое время Кон пытается связать свои идеологические типы с социальными обстоятельствами, хотя порою и весьма неуклюже; он также стремится показать, какие чувства, объединяющие до-современные группы среди греков, евреев и других, легли в основу формулировок современного национализма. Иными словами, «модернизм» Кона, то есть его убежденность в абсолютно современном характере наций и национализма, смягчается тем, что он учитывает и до-современные этнические мотивы; отсюда же, в свою очередь, вытекает особая роль «национального чувства» — роль, которую нельзя приписать исключительно националистическим идеологиям. Действительно, даже поверхностный взгляд позволяет понять, что многие книги Кона включают в себя не только детальный анализ конкретных национальных идеологий, как, например, панславизма, но и исследования социального и политического фона широкого «национального сознания» в якобинской Франции, Германии XIX века или современной Швейцарии[20].

Это более широкое сознание, по-видимому, также составляет объект краткого исследования Эдварда Хьюллета Карра «Национализм и последующая эпоха»[21]. Отношение Карра к национализму не является всецело негативным: он говорит о «развитии такой общности национальной мысли и чувства, политической и культурной традиции, которая образует конструктивную сторону национализма». Однако в целом Карр, подобно Актону, которого он цитирует в начале своего исследования, трактует национализм как отрицание индивидуализма и демократии, свободы и равенства; хотя у нации как исторической группы есть «свои место и функция в общественном целом», не следует позволять ей сопротивляться своему замещению в условиях взаимозависимого регионального или мирового порядка[22].

В рамках своего исторического подхода Карр выделяет три периода национализма: эпоху раннего Нового времени, в которую новое национальное образование ассоциировалось с персоной монарха, а международные отношения были не более чем правилами, регулирующими взаимодействия династических государств, экономическая же политика характеризовалась «меркантилизмом»; период с Французской революции до 1914 года, в который народный и демократический политический национализм — детище Руссо — распространился по всей Европе под эгидой международного экономического порядка, основанного на свободе торговли, экспансии и финансовом господстве Лондона; и, наконец, промежуток с конца XIX века до второй мировой войны, на который приходится включение масс в полностью обобществленную нацию, подъем ее экономического национализма и быстрое отчетливое разрастание европейских наций, ведущее к появлению тоталитарных режимов и тотальной войне. Карр находит перспективы снижения привлекательности национализма достаточно ободряющими: то, что он не смог допустить мысль о возможности подъема волны антиколониальных национальных движений или национализма вновь расколотых государств Европы и третьего мира, опять-таки позволяет заподозрить, что в основе его проникновенного анализа лежат моральные и теологические принципы, равно как и европоцентризм. И это вовсе не удивительно, если только принять во внимание чудовищно преступную сущность споров, лежащих в основе войны 1939—1945 годов, и его собственное социальное положение[23].

До тех пор пока фашизм продолжали рассматривать как закономерный итог развития национализма, упор на Европу и периодизация националистических идеологий и движений в понятиях нравственного прогресса выглядели вполне осмысленными. Но с того момента, как начала утверждаться носящая более глобальный и не столь моралистический характер точка зрения, которая проводила различие между фашизмом и множеством иных раз-

новидностей национализма, неадекватность хронологических типологий стала очевидной. Так, в одной из своих первых работ Луис Снайдер попытался предложить следующую, общую четырехэтапную периодизацию:

1815—1871 — «объединительный» национализм
1871—1900 — «подрывной» национализм
1900—1945 — «агрессивный» национализм
1945—? — «современный» всемирный национализм.

В своей последней работе Снайдер предлагает географическую типологию, включающую европейский национализм «раскола», расовый черный национализм в Африке, ближневосточный политико-религиозный национализм, мессианский национализм в России, национализм «плавильного котла» в Соединенных Штатах, антиколониальные националистические движения в Азии и популистские в Латинской Америке[24]. Не совсем ясно, играют ли эти столь общие и неизбежно переплетающиеся региональные типы какую-либо роль, выходящую за рамки указания на глобальное распространение национализма, но они как минимум помогают преодолеть чрезмерный европоцентризм предшествующих типологий.

Это смещение в геополитическом фокусе ясно просматривается в нескольких типологиях, предложенных историками и другими исследователями, которые противопоставляют европейский опыт опыту третьего мира или его отдельных регионов. Здесь можно упомянуть типологию Кеннетта Миноуга: это европейский «этнический» национализм, пан-национализм и диаспора, а также «неразвитые» формы национализма третьего мира[25]; классификация видов национализма у Джона Пламенатца на те, у которых встречается высокий уровень культурных ресурсов и образования, как у немцев и итальянцев в XIX веке, и те, у которых культурные ресурсы бедны, как у славян и африканцев, чей национализм поэтому является подражательным и конкурентным[26]; проведенное Е. К. Фрэнсисом противопоставление, заимствованное у Майнеке, «этнических» наций и национальных движений, основанных на вере в общие происхождение и принадлежность, «народным» нациям, объединенным административными и военными институтами, а также общей территорией и мобильностью[27].

Вероятно, самым влиятельным среди этих последних типологий оказывается различие, проводимое Хью Сетон-Уотсоном между «старыми, стабильными нациями», вроде английской, французской, кастильской, голландской, шотландской, датской, шведской, польской, венгерской и русской, и «новыми» нациями сербов, хорватов, румын, арабов, африканцев и индусов,

чье национальное самосознание развивалось вслед за распространением национализма и в основном являлось его продуктом; и затем в рамках этой последней категории он выделяет три вида национальных движений — за отделение, за воссоединение по этническому признаку и за «строительство нации». В своей книге «Нации и государства»[28] Сетон-Уотсон вырабатывает три разграничения (которые Тилли также применил к государственному строительству), в изобилии подкрепляемые историческими примерами. Они помогают ему систематизировать свой подход, в рамках которого интерес перемещается от национализма как идеологии на те процессы, что способствуют формированию национального самосознания и происходят в области географии, государственности, религии и языка[29].

НАЦИИ КАК ИСКУССТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАННЫЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ

Я уже говорил, что историки обычно стремятся добиться контекстуального понимания национализма, то есть понимания смыслов, придававшихся участниками этих движений идее нации в соответствии с теми конкретными обстоятельствами, в которых они находились. По этой причине проблема объяснения часто трактуется как необходимость постичь, во-первых, разнообразные традиции националистической мысли и опыта и, во-вторых, тот способ, посредством которого такие традиции распространяются среди других народов. Примером попытки первого рода служит предложенный Сейло Бэроном блестящий анализ разнообразия националистического опыта, по крайней мере европейского, рассматриваемого в связи с разными религиозными традициями, такими, как протестантизм, католицизм, ортодоксальный цезаре-папизм и иудаизм. Если нации — это современные образования и главным образом плод трудов и идей рационалистов, то постичь их можно только в контексте определенных традиций, в рамках которых религия играла господствующую роль. Какой бы светской ни была националистическая доктрина, понять ее во всем ее эмпирическом разнообразии невозможно вне этой религиозной матрицы, что и должны были доказать исследования многочисленных случаев[30]. Примером попытки второго типа является объяснение, данное Тревор-Роупером распространению идей «исторических» видов национальных движений Германии, Италии и Венгрии среди «вторичных» национальных движений чехов, поляков и евреев. Вне зависимости от степени обоснованности данного различия та роль подражателя, которую взяла на себя восточноевропейская интеллигенция, выступая против Запада, но при этом воспринимая его националистические идеи, требу-

ет дальнейшего растолкования. Почему эти конкретные идеи оказались столь привлекательными и чем объясняется выход интеллектуалов на первый план?[31]

Ответ на оба вопроса, причем такой, в котором определяющая роль отводится религиозной традиции, дает творчество Эли Кедури. В своем первом исследовании Кедури стремился к контекстуальному пониманию европейского национализма, начиная с момента его создания в Германии в начале XIX века и вплоть до его недавнего распространения в Восточной Европе и на Ближнем Востоке стараниями местных интеллектуалов. Сосредоточив внимание в основном на разнообразии разновидностей национализма, а не на развитии наций, Кедури прослеживает эволюцию понятий разнородности, автономии воли и языковой чистоты, представлявших особую тему в европейской философской традиции от Декарта до Канта и Фихте, и понятия отчуждения у немецкоязычных интеллектуалов. Стало быть, тот контекст, в котором пример Французской революции и идеалы немецких романтиков завладели воображением разочарованной молодежи, носил сугубо современный и европейский характер и был связан с радикальным распадом таких традиционных общностей, как семья и церковь, а также сопряженных с ними политических норм. Здесь социально-политическая основа представляется вполне очевидной: националистические движения, утверждает он, «воспринимаются как удовлетворение потребности, как исполнение желаний. Сильно упрощая, можно сказать, что эта потребность представляет собой потребность в совместной с другими людьми принадлежности к органичному и устойчивому сообществу». Так что национализм здесь трактуется как результат духа той эпохи, в которую прежние сообщества и традиции пали под натиском доктрин Просвещения и в которую дезориентированная молодежь изо всех сил стремилась к удовлетворению своей мечты об обретении идентичности[32].

В своей более поздней работе, «Национализм в Азии и Африке», Кедури развил этот строго «модернистский» анализ в двух направлениях. Первое было пространственным и социологическим. Для того чтобы объяснить, почему местные элиты в Азии и Африке приняли за основу западные идеалы национализма, Кедури разработал такую модель распространения, согласно которой западные институты и идеи проникали на другие континенты благодаря организующему влиянию колониализма, выполнявшего функцию модернизации, и западному образованию тамошних интеллектуалов, которым впоследствии пришлось испытать на родной земле дискриминацию со стороны колониальных властей; в качестве примера подобного рода интеллектуалов Кедури, в частности, называет Сурендранатха Банерджи, Эдвар-

да Атайя и Джорджа Антония. Подражание у них сочетается с эмоциональным негодованием по поводу общественного непризнания на Западе. С другой стороны, его первоначальный анализ расширяется и в обратном временном направлении. Возвращаясь к «культу темных богов», африканские и азиатские интеллигенты тем не менее имитировали не только исторические интересы европейских интеллектуалов, но и их революционный хилиазм — веру в то, что мир поддается совершенствованию, корни которой восходят к мировоззрению христианского «тысячелетнего царства» бога и праведников. Прослеживая европейские националистические идеалы до их истоков в еретических учениях Иоахима Флорского, францисканских епископов и мюнстерских анабаптистов, деятельность которых так живо осветил Норман Кон, Кедури получает все основания для того, чтобы утверждать следующее:

«Короче говоря, мы можем сказать, что главная линия развития национализма в Азии и Африке — это тот же светский вариант тысячелетнего царства, возникший и развившийся в Европе и постулирующий зависимость общества от воли горстки провидцев, которые, дабы сбылись их видения, должны сломать все барьеры между частным и общим»[33].

Рассматривая данную определенную линию национализма, Кедури не считает, что из этого следует, будто нации и национализм не являются сугубо современными явлениями или что они имеют какие-то исторические корни помимо измышлений и деятельности националистически настроенных интеллектуалов. Несмотря на все то уважение, которое Кедури питает к различным историческим традициям, он делает главный акцент на способности национализма как доктрины каким-то чудесным образом приводить нацию на смену разложившимся традиционным сообществам, а также на деятельности новых, рационалистически настроенных интеллектуалов, выступающих в роли создателей и революционных провозвестников современных наций и национализма[34].

Это ощущение современности и природы наций как «искусственных образований» разделяется широким кругом современных историков всех направлений, равно как и ученых других дисциплин. Не все они, однако, склонны приписывать ведущую роль в процессе строительства нации идеологии национализма. Джон Бройи, например, сводит суть национализма к политическим аргументам, призванным, с его точки зрения, мобилизовать, скоординировать и узаконить поддержку националистов для овладения государственной властью. Эти аргументы предполагают существование нации с собственным особым характером, ищущей независимости и имеющей приоритет над всеми иными интересами или ценностями. Подобная доктрина возникает в качестве оппозиции государственной власти и обеспечивает ос-

нову для мобилизации и координации гражданского общества в раннее Новое время в Европе, когда раскол между государством и обществом становится очевидным. На этом основании Бройи выделяет три вида националистической оппозиции: это движения за отделение, за объединение и реформаторские движения, каждое из которых может возникнуть в нациях-государствах и государствах, не определяющих себя как нацию, например в империях или колониях. Эта классификация из шести типов может быть в последующем использована для такого сравнения националистической политики в Европе и в третьем мире, которое даст понять, насколько националистические аргументы выгодны для элит и других групп в борьбе за государственную власть. По Бройи, культура и интеллектуалы играют вспомогательную роль; национализм — это прежде всего не вопрос об идентичности или языке общения, а чисто культурный образец оппозиционной (или реже правительственной) политики, в которой историческое понятие об уникальной нации приравнивается к политическому концепту всеобщей «нации-государства». Благодаря этому националисты способны выжать из общества все неполитические ресурсы с тем, чтобы поставить под ружье политическую оппозицию. Националистическое решение проблемы отчуждения, которое было неизбежным продуктом растущего раскола между государством и обществом, состояло в том, что каждое уникальное общество или «нация» определялись как естественная (и единственная) основа территориального государства, дабы чуждые общества «не допускали насилия по отношению к уникальному национальному духу». Бройи считает это слияние культурного понятия общества с политическим незаконным, но признает его широкую популярность на всех континентах[35].

Такой анализ типичен для господствующей «модернистской» и «инструменталистской» школы исторической и социологической мысли о нациях и национализме. Не только нации являются современными творениями узкопартийных идеологий. Национализм также представляет собой инструмент узаконивания и мобилизации, посредством которого лидеры и элиты добиваются поддержки масс в конкурентной борьбе за власть. Не только националисты, но и не-националисты вроде Бисмарка способны вызывать атавистические эмоции и манипулировать страхами и обидами масс, апеллируя к их шовинизму и раздувая в них чувство культурной самобытности. Если интеллектуалам и их идеям Бройи со своим политическим реализмом отводит весьма незаметную роль в среде высших и средних классов, то в способности разжигать массовые чувства, которые могут быть направлены на осуществление политических целей элиты, он им пока еще не отказывает[36].

Подобный же «инструментализм» преобладает в очерках сборника под

редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнджера, озаглавленного «Изобретение традиции»[37]. Надо сказать, что не все очерки поддерживают лейтмотив книги — идею о новизне и даже выдумывании тех традиций, которые маскируются под древние. Это видно, например, у Приса Моргана: он осторожно объясняет феномен *eisteddfodau*, оживших в середине XVIII века, тем, что новые практики перепутались с более старыми обычаями и традициями; с другой стороны, вхождение Горсэдды неодруидов в *eisteddfod* 1819 года было чисто изобретательским приемом со стороны Иоло Морганвга (*Iolo Morgangw*)[38]. Хобсбаум, однако, полагает, «что сравнительно свежее историческое новшество «нация», со всеми сопутствующими ей явлениями — национализмом, нацией-государством, национальными символами, историей и всем прочим, — тесно связано с «выдуманными традициями» и покоится на «упражнениях в социальной инженерии, зачастую целенаправленных и всегда новаторских». Нации не являются ни древними, ни естественными образованиями: напротив, многое из того, «что составляет современную нацию в субъективном плане, сводится к таким искусственным образованиям и связано с уместными и в общем совсем недавно возникшими символами или предназначенными для определенных целей рассуждениями (например, о «национальной истории»)». В своем заключительном очерке Хобсбаум анализирует наплыв изобретенных традиций во Франции, Германии и Соединенных Штатах конца XIX столетия — это руководства по воспитанию, публичные церемонии, общественные памятники и здания, использование коллективных образов, олицетворяющих нацию, таких, как Мэри Энн или «немецкий Михель», памятные годовщины, использование флагов и гимнов — и находит причинную связь между ними и нарастающим темпом общественных перемен, в особенности подъемом массовой политической демократии. Именно тогда правители и государственные власти открыли, насколько полезной бывает массовая «неразумность», хотя это не означает, что надуманные национальные традиции сами по себе являются иррациональными реакциями на распад социальной структуры и политических иерархий, поскольку они определенно удовлетворяют широкие социальные и психологические потребности новой эры[39].

Он делает заключения того же порядка, что и Хью Тревор-Роупер относительно изобретения, начиная с конца XVIII века, северошотландской традиции после поражения якобитов при Каллодене. С тех пор как Роулинсон в 1730-х годах «изобрел» малую шотландскую юбку, Макферсон «заново открыл» Оссиана в начале 1760-х годов, а Вальтер Скотт создал шотландский литературный экскурс в историю «клановых» горцев, опубликованный полковником Дэвидом Стюартом в 1822 году, а также с появлением «Vestiarium

Scotium» (1842) и «Одежды кланов» (1844) братьев «Стюартов Собесских», которые пытались оживить почти исчезнувшую средневековую цивилизацию Шотландских гор, — нити сфабрикованных традиций были вплетены в новую строящуюся нацию Шотландии, опорой которой служила привязанность Виктории к замку Бэлморал (*Balmoral*)[40] и английской буржуазией, заинтересованной в здоровых наслаждениях от жизни в горах[41]. Суть дела, конечно же, заключается в том, что любая связь с жизнью в средневековых Шотландских горах, которая до XVII века при лордах-правителях островов Макдональдах составляла гебридский вариант изобильной ирландской культуры, чисто фиктивна: традиции наций столь же современны, как сами нации.

Аналогичный вопрос волнует Бенедикта Андерсона, судя по его последним размышлениям об истоках и распространении национализма в «Воображаемых сообществах». Нация — это абстракция, плод воображения; это общность, которая представляется одновременно суверенной и ограниченной. Она возникает по мере убывания власти церкви и династии, когда они уже больше не служат ответом на страстную потребность человечества в бессмертии. Суля идентичность, равнозначную процветанию, нация может помочь нам преодолеть окончательность смерти и забвения; но это становится возможным только тогда, когда на смену средневековым понятиям параллельных времен приходит новая концепция однородного, бессодержательного времени-хронологии. Нации создаются в историческом и социологическом воображении, когда люди отождествляют себя с абстрактными героями сообщества, помещенными в равно абстрактные, но при этом расцвеченные деталями пространство и время; и хотя мы никогда не сможем встретиться с ними, мы «знаем» этих наших соотечественников, членов нашей культурной нации, благодаря подобным отождествлениям и рассказам в газетах, журналах, романах, пьесах и операх. Они обретают реальность в силу того, что Андерсон называет «технологией книгопечатного капитализма», которая породила первый реальный многотиражный товар — печатные книги массового производства. С возможностью путешествовать и «административным странничеством» колониальных элит, а затем с возникновением печатной литературы и прессы у людей появился шанс «повествовать» о нации и «строить» ее в воображении. В разных частях света и в сменяющие друг друга эпохи этот процесс строительства принимал различные формы — от литературы «на местном наречии» и филологического национализма Европы до «официального» национализма авторитарных империй и марксистского национализма коммунистических государств вроде Вьетнама и Китая. Но лежащие в основе всех этих событий культурные и экономические процессы в

большинстве своем были сходными, и их результатом повсеместно явилась одна и та же базовая модель воображаемой общности, которую мы называем «нацией»[42].

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Наше краткое обсуждение работ некоторых историков и кое-кого из тех, кто связал свои интересы с природой и историей наций и национализма, не могло не быть избирательным и фрагментарным. Моя задача состояла в том, чтобы прежде всего выделить основные черты их трактовок, а не историографические подробности. Это позволило нам постичь те этапы исторических толкований, которые, как я и предполагал в самом начале своей статьи, приблизительно соответствуют тем ситуациям, в которых довелось находиться историкам, и тем эпохам, в которые им пришлось жить. Первый такой период, или этап, длился, грубо говоря, с середины XIX века по 20-е годы XX века; в это время кроме исчерпывающей трактовки, предложенной Бауэром, который в строгом смысле историком не является, все трактовки представляли собой очерки или отдельные главы книг и относились к конкретным ситуациям в Европе, связанным с теми или иными видами национализма и национальных движений. Только во втором периоде мы встречаемся с серьезными попытками историков сосредоточить свое внимание на националистических проявлениях в целом и особенно пристально рассмотреть все разнообразие идеологий и периодизаций национализма и национальных движений. Историков типа Хейеса, Снайдера, Кона и Шейфера в общем и целом интересует скорее национал*изм*, то есть национализм как идеология, а не как чувство, в ущерб нациям; и акцент они делают не столько на последовательном объяснении подъема и привлекательности национализма, сколько на описании и классификации его подтипов. Только в третьем периоде, начиная с 50-х годов XX века, историки на деле начали уделять больше внимания точным исследованиям ситуативных или общих факторов, которые помогают объяснить происхождение и судьбы конкретных национальных движений как таковых. В этот период также стал возрастать интерес к национальному чувству и собственно нации как объяснительным принципам. Хотя некоторые историки продолжали уделять внимание идеологии, ряд других уже сочетал этот подход с рассмотрением роли идеологии в создании нации либо в подъеме и воспитании национального самосознания. Кроме того, стал увеличиваться интерес и к таким возможным причинам возникновения и популярности национализма, которые можно было бы зачислить в разряд социологических факторов, а также к перекрестному оплодотворе-

нию исторического исследования национализма подходами и методами других дисциплин[43].

В свете столь различных интересов и такого многообразия подходов можем ли мы говорить об историческом взгляде на национализм *tout court*[44]? Нет, это было бы сказано слишком сильно. Все, что мы вправе сделать, — это перечислить основные черты, присущие большинству образов наций и национализма, нарисованных историками, и задаться вопросом о том, насколько итоговый образ соответствует, или дает объяснение, такой многогранности этого сложного феномена.

Три из этих черт заметнее остальных — особенно в последних трактовках историков. Первая — это скептицизм, и даже враждебность, по отношению к национализму, о чем мы упоминали в начале этой статьи. Эти скептицизм и враждебность принимают форму подчеркивания по сути нелепых и разрушительных тенденций национализма. Этот мотив четко проходит через все три периода исторических изысканий в данной сфере. Конечно же, подобного рода отношение к национализму свойственно не только историкам: ученые в области политических наук и международных отношений также обращают внимание на дестабилизирующие последствия национализма для государств и межгосударственного порядка. Тем не менее так уж сложилось, что историки в общем и целом выказывают куда больше скептицизма и враждебности, чем другие ученые, — вероятно, потому, что они особенно остро сознают тревожные психологические аспекты национального чувства и национализма. Временами из-за этого сознания их обвиняют в психологизме или сведении такого многогранного феномена, каким является национализм, к всего лишь единственному, социально-психологическому уровню. Но, возможно, более серьезное обвинение заключается в том, что, беря идеологию за первостепенный объяснительный принцип, они игнорируют или упускают из виду важность тех процессов формирования нации, которые в определенной степени независимы от функционирования националистических идеологий. Если некоторых социологов порой обвиняли в невнимании к этим процессам, то историки, по-видимому, зачастую приписывали им чрезмерные значение и объяснительную силу.

Одним из следствий подобной тенденции среди историков становится сокрытие некоторых функциональных, даже «конструктивных» сторон националистической деятельности. Стоит только рассмотреть эту деятельность в контексте такого процесса «формирования нации» (не путать с «национальным строительством»), который по разным причинам уже может идти полным ходом, как окажется, что у нее куда больше достоинства и практической значимости, чем обычно за ней признают. Отнюдь не редкость, ког-

да этот процесс приводит к стремительному культурному возрождению и ряду новых проектов для сообщества в целом; если какие-то из них граничат с абсурдом или в чем-то губительны, то другие, несомненно, имеют животворное, преображающее значение, особенно в сфере музыки, искусства, литературы и в различных областях научных исследований[45].

С общими положениями историков о нищете национализма связано и их убеждение в том, что нации являются искусственными сообществами, скрепленными по большей части надуманными узами. Отсюда их общая цель — «деструкция нации», разделяемая и многими антропологами, и потребность в разоблачении идеологических задач манипуляторов от национализма, которые разжигают атавистические эмоции масс для того, чтобы использовать их в своих партийных интересах. Таков предмет оживленного спора между Полом Брассом и Фрэнсисом Робинсоном об образовании Пакистана и роли националистических элит в возбуждении мусульманских чувств масс в Северной Индии и реакции на эти процессы[46].

Но, как признается Хобсбаум, только некоторые традиции находят отклик у масс, и только немногие из них выдерживают проверку на прочность. Нация, указывает он, — это самая значимая из долговременных «изобретенных традиций»[47]. Если так, то в каком смысле следует считать ее «вымышленной» или «построенной»? Почему это «изобретение» так часто и в столь различных культурных и общественных условиях умеет затронуть такие потаенные струны, вызывая при этом столь долгий отзвук? Ни один артефакт, как бы хорошо он ни был состряпан, не выдержал бы столь много злоключений разного рода или не подошел бы к столь многим различным условиям. Определенно к формированию нации имеет отношение нечто большее, чем националистические подделки, и «изобретение» здесь должно пониматься в другом своем смысле — как новаторская рекомбинация существующих элементов[48].

Пресловутая «искусственность» наций и национализма тесно сопряжена с третьей чертой общего образа, созданного историками, — современностью наций и национализма. Так вот, историки, несомненно, правы, полагая, что национ*ализм* как идеология и движение, нацеленные на обретение и поддержание автономии, единства и идентичности социальной группы, призванной, по мнению некоторых ее членов, актуально или потенциально составить «нацию», является продуктом конца XVIII столетия. Именно тогда возникла определенно националистическая доктрина, утверждавшая, что мир отчетливо делится на нации, у каждой из которых свой особый характер, что нации — это источник политической власти, что человеческие существа свободны лишь в том случае, если они принадлежат к самостоятельной на-

ции, и что мир и безопасность во всем мире зависят от того, насколько самостоятельны все нации, прежде всего в рамках своих собственных государств. Только в XVIII веке подобные идеи получили хождение в особом контексте европейской системы межгосударственных отношений[49].

Однако не все историки согласны с сопутствующим этому взгляду положением о современности *нации*. Старое их поколение, особенно на континенте, искало и находило нации даже в античности — у греков, евреев, персов и египтян[50]. Иные были в той же мере убеждены в их наличии у средневековых французов и англичан, шотландцев и швейцарцев[51]. Приверженцы этих взглядов встречаются и по сей день, хотя число их невелико[52].

Большинство же историков сегодня принимают тезис о современности «нации», и различия между ними сводятся лишь к более или менее точным указаниям на дату возникновения отдельных наций, а также на факторы, способствовавшие этому возникновению. Нация понимается ими как сугубо современное понятие и тип социальной организации, для рождения которого необходимы специфически «современные» условия государственной бюрократии, капитализма, светскости и демократии.

По поводу этой концепции можно сделать три замечания. Во-первых, она тоже не лишена «мифического» элемента, то есть элемента драматической интерпретации, в которую все очень верят и которая, применяясь к событиям прошлого, одновременно служит сегодняшним целям или планам на будущее. «Миф современной нации» восходит к до-современной эре, которая была еще «безнациональной», и придает драматизм рассказам о модернизации, давшей жизнь нациям; а нации на этой картине отражают более или менее печальную ступень человеческой истории, один из моментов радикального отрыва современных, индустриальных обществ от традиционных, аграрных, который будет преодолен, как только современность воцарится повсюду. Подобный «контрмиф» должен указывать на относительность национализма, отклоняя и объясняя те претензии и допущения, на которых строится собственно националистический миф[53].

Второе замечание связано с тем, что, даже приняв допущения, лежащие в основе «модернистской» концепции национализма, мы должны признать, что между группами наций существуют значительные различия, как в типе, так и в периодизации их развития. Разумеется, очень многое зависит от того, на какое определение «нации» опираться. Но предположим, что под термином «нация» мы понимаем *большую, связанную одной территорией группу, имеющую общие для всех культуру и разделение труда, а также общий кодекс юридических прав и обязанностей*, то есть черты такого рода, которые редко встречались бы в античности и в эпоху раннего средневековья[54]. Даже

при таком «модернистском» определении нельзя обходить вниманием различия того типа, которые проводят Хью Сетон-Уотсон и, в ином контексте, Чарльз Тилли между медленно возникавшими и существующими уже в течение достаточно долгого периода нациями (и государствами) Западной и Северной Европы и более поздними «нациями, созданными по расчету» в эру национализма. Очевидно, что на Западе процесс «формирования нации» был непредвиденным и непреднамеренным, государства сколачивались вокруг доминировавших этнических сообществ и, в свою очередь, постепенно становились национальными. В других частях мира подобные процессы были невозможны без внешних стимулов и целенаправленных усилий[55].

Конечно, из этого не следует делать вывод, будто нечто вроде «нации» возникло уже в XV веке в Англии, Франции и Испании; это решительно не то, что хотел сказать Сетон-Уотсон. Он скорее пытался указать на два весьма различных пути формирования наций, а также на необходимость проследить одну из таких траекторий до ее начала в средневековье, — траекторию, которая на самом деле оставалась незавершенной (если она вообще может быть завершенной) до XIX века, как об этом столь справедливо напомнил нам Юджин Вебер на примере Франции и ее регионов[56].

Отсюда вытекает мое последнее замечание. Если признать, что некоторые процессы, участвующие в формировании нации, восходят к средневековой эпохе, а может быть, даже к более раннему времени, то, вероятно, будет законным и необходимым исследовать и соотношение до-современных сообществ с сообществами, которые мы называем «современными нациями», для того, чтобы лучше понять, почему подобные нации имеют столь широкую популярность в современном мире. Действительный недостаток модернистской картины национализма, принимаемой столь многими историками и иными учеными, — это ее определенная историческая поверхностность. Увязав нацию и национализм исключительно с переходом к современной эпохе и трактуя их как плоды «современности», они усложнили задачу объяснения того, почему эти нации возвращаются к прошлому и ощущают свою преемственность с этническим прошлым. Равновесие между преемственностью и прерывностью было нарушено, поэтому и современная потребность в коллективной идентичности носит столь безысходный характер, — до тех пор, конечно, пока кто-нибудь не разбудит в людях всесокрушающую «жажду принадлежать». Но, как мы уже говорили, эта жажда бывает разной, и в любом случае надо еще объяснить, почему ее объектом чаще, чем иные сообщества, оказывается «нация».

Вот почему так важно и необходимо изучать культурные модели до-современного сообщества, которые могут помочь объяснить, отчего столь много

людей тяготеет к нации как к первостепенному объекту своей привязанности и солидарности в современном мире. Мы можем указать не только на преемственности того конкретного типа, которые отметил Джон Армстронг в своем исследовании средневековых христианской и исламской этнической идентичности, особенно в области мифа, символа и исторической памяти, которую подчеркивал Ренан[57]. Тот факт, что многие части света в античности и средневековье были социально и культурно структурированы в понятиях разных видов этнической общности (или *ethnie*), каковыми продолжают оставаться и по сей день, а также то, что *ethnies* имеют некоторые общие черты с современными нациями (мифы о предках, воспоминания, некоторые культурные элементы, иногда территорию и название), обеспечивает, возможно, лучший начальный пункт для исследования трансформаций и пробуждений, связанных с формированием современных наций, и той роли, которую в этих процессах играет национализм. Даже если элементы этничности «выстраиваются» и «перестраиваются» и порой откровенно «выдумываются», тот факт, что подобного рода деятельность осуществлялась веками, даже тысячелетиями, и при этом несколько *ethnies*, меняя свой культурный склад, тем не менее в течение долгих периодов оставались идентифицируемыми сообществами, говорит о том, что если мы упускаем из виду существование и влияние подобного рода сообществ на формирование современных наций, то тем хуже для нас[58].

Моя цель состояла не в том, чтобы поместить каждого историка национализма в заранее заданную систему координат, а лишь в том, чтобы набросать основные черты, которые кажутся мне присущими тому аргументу, что встречается во множестве их работ на данную тему и лежит в их основе. Понятно, что есть историки, не причисляющие себя к текущим господствующим направлениям и видящие в нации нечто большее, чем современное искусственное изобретение, а в национализме — не просто джинна-разрушителя, каким его часто изображают. Тем не менее интересно, что историки весьма широкого спектра сами создают и готовы принять этот общий «модернистский» портрет, который я воспроизвел, и разделяют общее скептическое и подозрительное отношение к национализму, относя на его счет многие беды мира.

Вопрос об оправданности этого вердикта столь многообразному явлению, как национализм, остается открытым. И хотя в анализе, который, собственно, и приводит к такому вердикту, рождается множество чудесных догадок, он ставит столько же новых проблем, сколько решает старых.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. По преимуществу (*фр.*). — *Прим. пер.*

2. Насколько мне известно, роль националистически настроенных историков в пропаганде национализма не стала до сих пор предметом тщательного исследования; однако в работе Ганса Кона есть несколько глав, исследующих вклад ряда историков в те или иные движения. Например, о Мюллере и фон Трейчке см.: *Hans Kohn*. The Mind of Germany. L., 1965; о Мишле см.: *Hans Kohn*. Prophets and People. N. Y., 1961; о панславизме и Палацком см.: Panslavism. 2nd ed. N. Y., 1960.

3. Неизменная идея (*фр.*). — *Прим. пер.*

4. Такой подход встречается, например, в работе Лондонского Королевского института международных отношений под ред. Эдварда Карра: *Edward H. Carr* (ed.). Report on Nationalism. L., 1939; или в исследовании Ж. Мишле и Ж.-П. Тома: *G. Michelat, J.-P. H. Thomas*. Dimensions du nationalisme. P., 1966. Конкретные исследования с использованием такой дефиниции см. в: *S. Klausner*. Why They Choose Israel // Archives de sociologie des religions. Vol. 9, 1960. P. 129—144.

5. О доктрине вигов см.: *John Stewart Mill*. Considerations on Representative Government. L., 1872, а также комментарии к критике лорда Актона.

6. *M. Perham*. The Colonial Reckoning. L., 1963; *Thomas Hodgkin*. The Relevance of «Western» Ideas in the Derivation of African Nationalism // Self-government in Modernising Societies / Ed. J. R. Pennock. Englewood Cliffs, 1964. По поводу социо-психологической теории европейского «неонационализма» см.: *Patricia Mayo*. The Roots of Identity: Three National Movements in Contemporary European Politics. L., 1974. Оценку подобного рода подходов см.: *Anthony D. Smith*. The Diffusion of Nationalism // British Journal of Sociology. Vol. 29, 1978. P. 234—248.

7. Немногие историки, такие как И. Д. Марку в: *E. D. Marcu*. Sixteenth-century Nationalism. N. Y., 1976, относят начало национализма как идеологии к XVI веку, но большинство относит его к эпохе «демократической революции», подобно Р. Палмеру в: *R. Palmer*. The National Idea in France before the Revolution // Journal of the History of Ideas. Vol. 1, 1940. P. 95—111, и Дж. Гоудшоту, в: *J. Godechot*. France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century, 1770—1779. N. Y., 1965; см.: *Hans Kohn*. Prelude to Nation-States: The French and German Experience, 1789—1815. N. Y., 1967, и *Eugene Kamenka* (ed.). Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea. L., 1976.

8. Место в жизни (*нем.*). — *Прим. пер.*

9. *Jules Michelet*. Historical View of the French Revolution / Trans. C. Cocks. L., 1890. Vol. 3, ch. 10—12. P. 383—403. Цитируется Гансом Коном в: *Hans Kohn*. Nationalism: Its Meaning and History. Princeton, 1955. P. 97—102.

10. *Ernest Renan*. Qu'est-ce qu'une nation? P., 1882; *Hans Kohn*. Nationalism. P. 135—140.

11. *Lord Acton*. Essays on Freedom and Power. Illinois, 1948. P. 166—195.

12. *Hans Gerth, C. Wright Mills* (eds.). From Max Weber: Essays in Sociology. L., 1947. P. 176.

13. *Max Weber*. Economy and Society / Ed. G. Roth, G. Wittich. N. Y., 1968. Vol. 3, ch. 3. P. 926.

14. *Max Weber*. Economy and Society. Vol. 1—2, ch. 5. P. 396. «Вся история, — заключает Вебер, — доказывает, с какой легкостью политическое действие может положить начало вере в кровное родство, если только ей не препятствуют колоссальные различия антропологических типов» (P. 393).

15. *Horace B. Davis*. Nationalism and Socialism: Marxist and Labor Theories of Nationalism. L.; N. Y., 1967. Ch. 1—3; *Ian Cummins*. Marx, Engels and National Movements. L., 1980.

16. О гегелевской теории «народов, не имеющих истории» и о том, как ее использует Энгельс, см.: *Roman Rosdolsky*. Friedrich Engels und das Problem der «Geschichtslosen Volker» // Archiv für Sozialgeschichte. Vol. 4, 1964. P. 87—282; в более общем плане см.: *V. C. Fisera, G. Minnerup*. Marx, Engels and the National Question // Socialism and Nationalism / Ed. E. Cahm, V. C. Fisera. Vol. 1. Nottingham, 1978; *Walker Connor*. The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy. Princeton, 1984.

17. *Davis*. Nationalism; *Jacob L. Talmon*. The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. L., 1980. Pt. 2, ch. 8; Pts. 3—4/2. P. 111.

18. *Otto Bauer*. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (1908). Vienna, 1924; *Talmon*. Pt. 3, ch. 7.

19. *Carlton Hayes*. The Historical Evolution of Modern Nationalism. N. Y., 1931; *Anthony D. Smith*. Theories of Nationalism. N. Y.; L., 1967, в особенности главы 5 и 7; *Davis*. Nationalism.

20. *Hans Kohn*. Nationalism and Liberty: The Swiss Example. N. Y., 1957; Pan-Slavism; Mind of Germany; Prelude to Nation-States.

21. *Edward H. Carr*. Nationalism and After. L., 1945.

22. *Carr*. II. P. 39; *B. C. Shafer*. Nationalism, Myth and Reality. N. Y., 1955.

23. *Carr*. I.

24. *Louis Snyder*. The Meaning of Nationalism. New Brunswick, 1954; The New Nationalism. Ithaca, 1968. P. 64—67.

25. *Kenneth Minogue*. Nationalism. L., 1967. Ch. 1.

26. *John Plamenatz*. Two Types of Nationalism // Nationalism / Ed. Kamenka E.

27. *Emerich Francis*. The Ethnic Factor in Nation-Building // Social Forces. Vol. 68, 1968. P. 338—346. См. также различие, которое проводится между «этническими» и «политическими» нациями в работе: *Yaroslav Krejci, V. Velimsky*. Ethnic and Political Nations in Europe. L., 1981; ср.: *Konstantin Symmons-Symonlewicz*. Nationalist Movements: A Comparative View. Meadville, 1970.

28. *Hugh Seton-Watson*. Nations and States. L., 1967.

29. *Hugh Seton-Watson*. Nationalism, Old and New. Sydney, 1965; Nations and States. Ch. 1—2.

30. *Salo W. Baron*. Modern Nationalism and Religion. N. Y., 1960. В книге содержится анализ взглядов отцов-основателей на отношения религии и национализма.

31. *Hugh Trevor-Roper*. Jewish and Other Nationalisms. L., 1961; *Anthony D. Smith*. Theories of Nationalism. Ch. 2.

32. *Elie Kedourie*. Nationalism. L., 1960. P. 101; задача его книги, однако, состояла в том, чтобы развенчать национализм как доктрину Воли, которая неподконтрольна даже самим ее приверженцам.

33. *Elie Kedourie* (ed.). Nationalism in Asia and Africa. L., 1971. Introduction. См. также: *Norman Cohn*. The Pursuit of Millenium. L., 1957, о соответствующих направлениях средневекового христианства. Некоторые комментарии на тему связи национализма с доктриной тысячелетнего царства можно найти в моей книге: *Anthony D. Smith*. Nationalism in the Twentieth Century. Oxford, 1979. Ch. 2.

34. Отсюда и антология националистических движений, собранная в книге под редакцией Кидаури: *Elie Kedourie* (ed.). Nationalism in Asia and Africa. О роли интеллектуалов в национальных движениях см.: *Aleksandr Gella* (ed.). The Intelligentsia and the Intellectuals. Beverly Hills, 1976, и *Hugh Seton-Watson*. Neither War, Nor Peace. L., 1960. Ch. 6. О классах и национализме см.: *B. C. Shafer*. Bourgeois Nationalism in the Pamphlets on the Eve of the French Revolution // Journal of Modern History. Vol. 10, 1938. P. 19—38.

35. *John Breuilly*. Nationalism and the State. Manchester, 1982, введение и заключение.

36. *Breuilly*. Nationalism and the State. Ch. 16. В этом Бройи близок к воззрениям на интел-

теллигенцию Тома Нейрна, изложенным в книге: *Tom Nairn*. The Break-up of Britain. L., 1977. Главы 2 и 9.

37. *Eric Hobsbawm, Terence Ranger* (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.

38. *P. Morgan*. From a Death to a View: The Hunt for the Welsh Past in the Romantic Period // The Invention of Tradition / Ed. E. Hobsbawm, T. Ranger. (Подлинным именем Иоло Морганвга было Эдвард Уильямс.)

39. *Eric Hobsbawn*. Introduction: Inventing Traditions (в особенности с. 13—14) и глава 7 (в особенности с. 270—283) // *E. Hobsbawm, T. Ranger* (eds.). The Invention of Tradition. Поразительно, насколько эта идея нации как ответа на потребность привлекательна для историков с разными исследовательскими целями; так и тянет предостеречь об этом читателей.

40. Имеется в виду резиденция британского королевского двора, расположенная на берегу реки Ди (*Dee*) в Шотландии. После ее приобретения в 1852 году принцем Альбертом, мужем королевы Виктории, на месте прежнего малого замка было построено новое здание, выполненное в стиле шотландской архитектуры. — *Прим. ред.*

41. *Hugh Trevor-Roper*. The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland // The Invention of Tradition / Ed. E. Hobsbawm, T. Ranger.

42. *Benedict Anderson*. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L., 1983. Я включил сюда Андерсона, хотя его подход в той же степени социологический, что и исторический, поскольку то, что он уделяет внимание историческому контексту и следствиям событий и делает акцент на нации как плоде воображения, вполне соответствует трактовкам многих нынешних историков.

43. Между этими тремя периодами, конечно, нет жестких и определенных различий; и некоторые элементы, особенно чувство надуманности феномена нации, воспроизводятся в каждом из них. Аналогичным образом социологические элементы можно найти в ранних периодах — у Бауэра, Кона, Карра и, конечно же, Макса Вебера. О схожих социологических парадигмах или подходах см. мою статью: *Anthony D. Smith*. Nationalism and Classical Social Theory // British Journal of Sociology. Vol. 34, 1983. P. 19—38.

44. Короче говоря (*фр.*). — *Прим. пер.*

45. Термин «национальное строительство» в действительности относится к националистической программе создания институтов и учреждений «национального государства». На практике он больше связан с «государственным строительством», чем с «созданием нации». Поскольку понятие «формирование нации» относится ко всем тем целенаправленным или произвольным процессам, которые вносят свою лепту в возникновение нации и национального самосознания. Сюда, как правило, входит общественная и культурная деятельность националистов, но также могут включаться военные и политические меры королей и министров, повышение доли соответствующего населения и урбанизация, закат церквей и империй. Все это может способствовать процессу «формирования нации», но не «национального строительства». О роли визуальных искусств в формировании понятий о нации в Западной Европе конца XVIII века см.: *Robert Rosenblum*. Transformations in Late Eighteenth-Century Art. Princeton, 1967; *Robert Herbert*. David, Voltaire, Brutus and the French Revolution. L., 1972, и *Anthony D. Smith*. Patriotism and Neo-Classicism: The «Historical Revival» in French and English Painting and Sculpture, 1746—1800 (неопубликованная диссертация, защищенная в Лондонском университете).

46. *David Taylot, Malcolm Yapp* (eds.). Political Identity in South Asia. L.; Dublin, 1979; *T. Sathyamurthy*. Nationalism in Contemporary World. L., 1983.

47. *E. Hobsbawm, T. Ranger* (eds.). The Invention of Tradition. P. 6—7, 10—11, 13—14, 303—305; *G. Mosse*. Mass Politics and the Political Liturgy of Nationalism // Nationalism / Ed. E. Kamenka.

48. По поводу этого значения термина «изобретение» см.: *Joe Banks*. The Sociology of Social Movements. L., 1972.

49. Об этом изложении националистической доктрины и определении национализма как движения см.: *Anthony D. Smith*. Nationalism, A Trend Report and Annotated Bibliography // Current Sociology. Vol. 21, № 3, 1973. Sect. 2. «Национальное чувство» и сознание «национальных» различий возникли гораздо раньше, однако, видимо, под влиянием формирующейся европейской системы государств, закрепленной вестфальским договором; об этом см.: *Aira Kemilainen*. Nationalism. Problems Concerning the Word, the Concept and Classification. Yvaskila, 1964; *Charles Tilly* (ed.). The Formation of National States in Western Europe. Princeton, 1975; *Michael Howard*. War in European History. L., 1976.

50. Например, см.: *M. T. Walek-Czernecki*. Le Rôle de la nationalité dans l'histoire de l'antiquité // Bulletin of the International Comittee of Historical Science. Vol. 2, № 2, 1929. P. 305—320. Более критический подход содержится в статье: *Moses Hadas*. National Survival Under Hellenistic and Roman Imperialism // Journal of History of Ideas. Vol. 11, 1950. P. 131—139.

51. *G. C. Coulton*. Nationalism in the Middle Ages // Cambridge Historical Journal. Vol. 5, 1935. P. 15—40; *M. Handelsman*. Le Rôle de la nationalité dans l'histoire du Moyen Age // Bulletin of the International Comittee of Historical Science. Vol. 2, № 2, 1929. P. 235—246; *Halvdan Koht*. The Down of Nationalism in Europe // American Historical Review. Vol. 52, 1947. P. 265—280.

52. Например, см.: *Mario Attilio Levi*. Political Power in the Ancient World. Trans. J. Costello. L., 1965; *Johann Huizinga*. Patriotism and Nationalism in European History // Man and Ideas: Essays on History, the Middle Ages and the Renaissance. Trans. J. S. Holmes and H. van Marle. N. Y., 1970. Более взвешенный подход можно найти у Сьюзан Рейнольдс, см.: *Susan Reynolds*. Medieval *Origines Gentium* and the Community of the Realm // History. Vol. 68, 1983. P. 375—390. В соответствии с ее точкой зрения, средневековые королевства, хотя и не были нациями в современном смысле слова, основывались на общности обычаев и происхождения и напоминали «этнические государства»; эта же позиция разрабатывается у Рейнольдса, см.: *Reynolds*. Kingdoms and Communities in Western Europe, 900—1300. Oxford, 1984.

53. *Henry Tudor*. Political Myth. L., 1972; *Anthony D. Smith*. The Myth of the «Modern Nation» and the Myths of Nations // Ethnic and Racial Studies. Vol. 11, № 1, 1988. P. 1—26.

54. По вопросу об определениях «нации» см.: *Dankwart Rustow*. A World of Nation. Washington, 1967. Ch. 1; *Anthony D. Smith*. Nationalism. A Trend Report. Section 2. О «модернистском» и «вечном» образах нации см.: *Anthony D. Smith*. Ethnic Myths and Ethic Revivals // European Journal of Sociology. Vol. 25, 1984. P. 283—305.

55. *Seton-Watson*. Nations and States. Ch. 2—3; Formation of National States. Введение и заключение.

56. О процессах формирования наций в Англии и Франции см.: *J. Strayer*. The Historical Experience of Nation-building in Europe // Nation-building / Ed. K. W. Deutsch, W. Foltz. N. Y., 1963, и, в более общем плане: *Andrew Orridge*. Separatist and Autonomist Nationalisms: The Structure of Regional Loyalties in the Modern State // National Separatism / Ed. C. Williams. Cardiff, 1982. О Франции в период между 1870 и 1814 годами см.: *Eugen Weber*. Peasants into Frenchmen. L., 1979.

57. *John Armstrong*. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982. Об ирландском случае см.: *John Hutchinson*. The Dynamics of Cultural Nationalism; The Gaelic Revival and the Creation of Irish National State. L., 1982.

58. Как об этом говорится в работе: *Anthony D. Smith*. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.

ГОПАЛ БАЛАКРИШНАН

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Эрик Хобсбаум в последней главе своего всеобъемлющего исследования по истории национализма заявляет, что лучшая пора национализма как исторического явления осталась позади[1]. Пользуясь гегелевской метафорой, он высказывает предположение, что национальное государство нынче переживает закат своей исторической жизнеспособности и его превращение в окаменелость расчищает путь более глубоким исследованиям его истоков, последствий и возможного будущего. В дальнейшем это его утверждение вызвало определенную критику со стороны тех, кто счел, что взрыв инспирированных националистическими движениями событий в бывшем коммунистическом мире делает предположение Хобсбаума абсолютно несостоятельным. На самом деле суждение Хобсбаума вполне подходило для того, чтобы учесть начало и усугубление национальных конфликтов в подобных контекстах. Его заявление о том, что национальное государство больше не является вектором исторического развития, означает лишь, что господствующие направления государственного строительства, иммиграции и экономической жизни в самых динамичных обществах мира уже выходят за рамки привычных национальных измерений.

Несмотря на заигрывания с Гегелем, идея капитализма, выходящего за пределы национального государства, на самом деле составляет одну из центральных тем классического марксизма. Принято думать, что на стадии империализма, ультра-империализма или просто старой доброй свободы торговли капиталистические законы развития должны внезапно вырваться на волю из тесных рамок национального рынка. Тезис, который мы обнаруживаем в «Манифесте Коммунистической партии», безусловно, является более сложным: заявление, будто все основательное, в том числе национальность, при этом перемалывается в порошок, уравновешено здесь другим утверждением о том, что тот же самый капитализм дает начало территориально фиксированной и юридически неизменной структуре современного буржуазного государства. Хотя на страницах «Манифеста» два эти мотива сталкиваются друг с другом, Маркс и позднее марксисты, верившие в неизбежность пролетарских революций, делали больший акцент на первом из них, ибо именно в нем диалектически воплощается способность растущего, приобре-

тающего космополитические масштабы рынка к тому, чтобы вызывать усиление рабочего класса в соответствующих же масштабах. Транснационализация производительных сил, условия для которой сегодня готовит капитализм, является исторически беспримерной. Однако, вопреки ожиданиям Маркса, ее основные тенденции, возможно, подорвут саму основу успешной классовой борьбы в развитых промышленных обществах, и, в отличие от прошлых неудач этой борьбы, из новых теперь нелегко будет извлекать уроки на будущее — уроки относительно тех условий, при которых организованный рабочий класс снова станет «сильнее, настойчивее, мощнее».

ПРОСТРАНСТВО БОРЬБЫ

Согласно Марксу, современная классовая борьба проходит ряд исторических этапов — начиная со стачек и разрушения машин и заканчивая общенациональными гражданскими войнами. Для того чтобы классовая борьба протекала успешно, неуправляемой конкуренции всех со всеми не должно быть места в среде трудящихся. Исторически это достигалось только тогда, когда государство было вынуждено признать, что покупка рабочей силы на национальном рынке в существенной степени должна быть следствием политически регулируемой классовой борьбы и переговоров. Поэтому государство в теории Маркса — не просто полезное орудие господствующих классов, но и, возможно, негласное пространство и средоточие борьбы против этих классов, утверждающее ее результаты. Закат государства, отнюдь не создавая условий для более влиятельных объединений рабочего класса, лишь усугубил его функциональную зависимость от капитала; вместе с ним грозят исчезнуть арена и границы упорных коллективных действий против последнего.

Этот процесс трудно понять, пользуясь принятой марксизмом системой координат, — и не только из-за ограничений, налагаемых ею на собственную теорию государства. Скорее этот упрек относится к антропологической основе марксистской теории исторического развития. Для Маркса безостановочное поэтапное распространение мирового капитализма означало, что последний лишь временно может выйти за рамки направленного против него коллективного действия. Капиталистические законы движения, даже последовательно размывая культурную и материальную основу всех ограниченных форм участия (локального, национального, религиозного), должны, как он полагал, непрестанно воссоздавать основу классовой солидарности на все более космополитических уровнях. Никакая другая марксистская идея в такой степени не дискредитирована сегодняшней жизнью, как эта; даже для намеков на подобного рода диалектику не осталось ни малейшего повода.

Режи Дебре утверждал, что основные победы «левых» в этом столетии были обусловлены неуясненными ими самими связями с нацией, а будущее «левых» зависит от их способности заново изобрести свою национальную политику применительно к XXI веку[2]. Под такой стратегической оценкой кроется притязание на то, что истоки политического действия в конечном счете восходят к пафосу национального единства, ибо только в качестве «народа» массы врываются в политическую жизнь и самостоятельно творят историю. В этом свете нации оказываются в современной политике чем-то вроде «групп-в-слиянии» из сартровской философии: в экзистенциальном плане более сплоченные и решительные, чем класс. Такое противопоставление нации классу, на первый взгляд, может показаться искусственным в социологическом плане, поскольку эти группы не являются в строгом смысле сравнимыми между собой. Классы — это группы, которые формируются при господстве отношений эксплуатации, разделяющих общество; а национальность есть особая культурная или политическая форма существования, которая приемлема для общества в целом. Аргумент о том, что пролетариат возник в современной истории как политическая сила только в качестве национального класса, безусловно, предполагает, что нация и класс, отнюдь не являясь конкурирующими, взаимно исключающими друг друга основами человеческой организации, как минимум дополняют друг друга. Открытый конфликт между ними возник лишь на короткий период в начале этого века на уровне борьбы двух соперничающих «мифов» — о национальной судьбе и социалистическом интернационализме. Муссолини, с подачи Сореля, полагал, что эффектные победы первого принципа над вторым в те редкие и решающие моменты, когда они вступали в открытый конфликт, служили достаточным подтверждением того, что интернациональный социализм есть «низменная мифология». Это суждение, на первый взгляд вполне состоятельное, тем не менее маскирует реальную причину того, почему интернациональный социализм не выдержал испытаний ни в 1914 году, ни аналогичных проверок в другое время: в отличие от национальных государств, у него никогда не было достаточной организационной основы, и немудрено, что те редкие моменты, когда это упущение восполнялось, в ретроспективе выглядят почти нереальными.

Вопрос, который поднимает Дебре, касается не столько структурных свойств нации в ее отличие от класса, сколько спонтанной идеологии, стоящей за пиковыми уровнями активности коллективного действия. Проблема марксизма, согласно Дебре, заключается в том, что та основополагающая точка зрения, которой придерживаются сторонники этой доктрины, не позволяет нам постичь эту загадочную форму, которую принимают подобные

коллективы, не просто в качестве предпосылки великих *levees en masse*[3], но и как саму возможность организованной общественной жизни.

Такая характеристика марксизма верна лишь наполовину; на самом деле в *Grundrisse*[4] есть множество ценных озарений, касающихся материальных основ докапиталистической крестьянской общины. В увлекательных заметках о том, что Маркс называл четырьмя главными типами аграрной цивилизации в Евразии — восточной, славянской, средиземноморской и германской, — он утверждает, что специфическая общинная организация наделения полномочиями, кооперации и эксплуатации составила первый вид социальных отношений этих докапиталистических обществ. Капитализм строится на характерном для его эпохи пресечении и отрицании общинной организации непосредственных производителей в их отношении к природе, друг другу и к своим господам. Став свободными от этих почти природных основ общинного обеспечения крестьянской жизни, целые регионы земли погружаются в неизбежную зависимость от рынка, приводя в движение безостановочную экспансию производительных сил.

По Марксу, ровно в такой же мере, в какой общественное производство подчиняется отношениям обмена, структура общества рождается из произвольной и анархичной игры рыночных сил. В «Философии права» Гегель утверждал, что, хотя современное суверенное государство изначально строится на ситуации радикального отчуждения, оно преодолевает ее тем, что оставляет в ведении народов, организованных в политические сообщества, высшую сферу нравственной жизни, исторической личности и коллективного действия. Маркс в своей знаменитой критике этой работы резко возразил ему: политическое сообщество, учрежденное современным государством, есть лишь «воображаемая общность», бессильная и нереальная. Маркс понимал такую воображаемую общность как искаженное выражение отчужденной действительности. В своей статье «К еврейскому вопросу» он описывает современное государство, «законченное буржуазное государство», как постхристианское сообщество, очищенное от всех характерных особенностей. С ликвидацией свойственных старому режиму привилегий и барьеров для политического участия эти государства стали «универсальными», то есть гражданство в них распространяется на всех жителей. Маркс не принял во внимание тот очевидный факт, что, покуда множится число таких государств, должен существовать и некий принцип различия, который будет узаконивать гражданство в любом конкретном государстве, равно как и определять границы между ними.

Подобно Марксу, Гегель не испытывал особой симпатии к романтизму с его культом обычаев, языка и «подлинности». То есть у него, как и у Марк-

са, основной акцент делается на государстве, но отношение последнего к культурно определенному коллективу, которому оно придает известную форму, расценивается как проблема и источник трений, причем в отличие от постановки вопроса в статье «К еврейскому вопросу» проблема эта не считается снятой с повестки дня. «Нации» в теории Гегеля отражают определенные этапы человеческой истории, и каждая из них по очереди воплощает в себе раскрывающийся Разум, принимающий конкретные формы в обыденной или, как говорил Гегель, нравственной жизни народа. Так сложились китайская, индийская, персидская, греческая, римская и, наконец, германская нации. Исторически доминирующий способ обыденной жизни опирался на ключевые образы природы, личности и свободы, которые, преломляясь в широкой социальной структуре, обретали свое конечное выражение и взаимную связь в области политической жизни. «Нация» здесь во многом схожа с цивилизацией, то есть главным образом не-этнической и лишь отчасти географической категорией. На самом деле «германская нация» — это, вероятно, *любая* из конституционных монархий современности, в которой рыночной экономикой правит рациональная бюрократия, есть сословное представительство и всеобщее равенство перед законом, — а не германство в этническом смысле. Германская нация самоопределяется не тогда, когда все народы, говорящие на немецком языке, объединяются в одно свое государство (Гегель не одобрял эту цель после распада империи), а, скорее, тогда, когда многообразные ведущие государства Европы начинают опираться на такую идею современной конституционной монархии. Различия между народами в обычаях, институтах и верованиях он объясняет явлениями высшего порядка, но связь между презренным этнографическим фактом и высоким метафизическим фрагментом развертывания Разума остается неясной: что же такого специфически «германского» в германской нации? На этнически неповторимый характер нации гегелевская теория развития дает лишь весьма непрозрачный антропологический намек.

В более раннем тексте «Позитивность христианской религии» эта проблема нашла непосредственное выражение. Здесь Гегель определял нацию предположительно, если только не условно, как общность обычаев, памяти и судьбы:

«У каждой нации есть свои образы, свои боги, ангелы, дьяволы или святые, которые живут в национальных традициях, чьи истории и поступки еще няни рассказывают своим подопечным, волнуя их воображение и тем самым завоевывая их привязанность... Вдобавок к этим плодам воображения в памяти многих наций, особенно наций свободных, живы исторические герои их родной страны... Уж эти-то герои живут не только в воображении наций:

с их историей, с воспоминаниями об их поступках связаны народные праздники, национальные игры, многие местные государственные институты или дела на международной арене, всем известные здания и уголки, где народ создал их мемориалы или возвел часовни»[5].

Этот отрывок перекликается с современными теориями, которые, следуя романтической традиции, подчеркивают роль мифа, памяти и символа в становлении этнического сообщества. Но, в отличие от всех подобных романтических представлений, Гегель заявлял, что «реальное» поступательное движение истории не является историей подобного рода сообществ; всемирно-исторический прогресс несет с собой глобальное истирание ткани этнической жизни, создавая новые народы, перед которыми встают новые задачи. По Гегелю, до Французской революции величайшим в истории преобразованием явился подъем христианства (или хотя бы его Реформации). Те германские племена, которые попали в орбиту христианской революции, навсегда распрощались со своим туманным и бесформенным этническим прошлым:

«Христианство опустошило Валгаллу, выкосило священные рощи, искоренило национальную образность как дремучие суеверия, как дьявольскую отраву и взамен подарило нам образы нации, чей климат, законы, культура и интересы были чуждыми нам, чья история не имела никакой связи с нашей собственной. Давид или Соломон ожили в нашем общем воображении, а наши родные герои дремлют в научных трудах по истории»[6].

Ранний Гегель расценивал такое смешение разнородного как прискорбный и, возможно, еще обратимый процесс; а позднее он увидел в нем подлинный железный закон. Прогрессивные нации в гегелевской схеме уже не имели реальной этнической памяти и этнического происхождения. Они являли собой палимпсест[7] радикально новой, не связанной с прежней, но тем не менее обладающей целесообразным характером истории.

Данный экскурс в идеи Гегеля был необходим для того, чтобы выявить моменты наивысшего напряжения и смещения акцентов в противостоянии этих двух образов нации: как общего типа современного государства или общества и как в любом конкретном случае особого «этнического» сообщества, очертания которого были обусловлены исторически древним и продолжающимся поныне слиянием языка, поселения и религиозной жизни, *Schicksalsgemeinschaft*[8]. Начинать обсуждение национального вопроса с Гегеля и Маркса полезно потому, что в обеих этих теориях мировой истории выявляются *брешь и напряженность между законосообразной преемственностью общих социальных структур и слабо определенной этнографией народов.* Обнаруженный пробел не характерен для марксизма как такового, поскольку на самом деле в нем ставятся некоторые из главных нерешенных проблем

классической социальной теории: (1) Как устойчивые типы солидарности, совместимые с современными общественными отношениями, то есть с неопределенностью норм и состязательным индивидуализмом, связаны с «современностью»? (2) Как подобного рода формы коллективной идентичности ощущаются и воспроизводятся? И, наконец, (3) как они формируют контекст общественного и политического действия? Альтюссер когда-то утверждал, что Гегель и Маркс внесли великий вклад в понимание истории благодаря тому, что могли мыслить ее как «естественно-исторический процесс, лишенный субъекта (телоса)». И все же не стоит так просто исключать из исследования вопрос о том, кто же все-таки играет роль субъекта истории и, соответственно, является ли национальный подъем или классовая борьба ее движущей силой.

АНДЕРСОН И ВООБРАЖЕНИЕ

Небольшая книга Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества» выделяется в современной литературе по национализму тем, что отводит главную роль именно этим вопросам. Родившиеся под впечатлением неожиданных и обескураживающих последствий победы национально-освободительных сил в Индокитае — нового тяжелого витка геноцида в Камбодже, вторжения Вьетнама в Камбоджу и последовавшей за этим войны между Вьетнамом и Китаем, — эти грустные размышления о значении подобных событий сегодня должны поражать своей пугающей проницательностью. Опубликовав их в 1983 году, когда советский блок еще казался прочным, как айсберг, Андерсон был близок к тому, чтобы предсказать его крах по национальным мотивам. Расценивая индокитайскую трагедию как кульминацию двух десятилетий взаимной вражды «реально существующих типов социализма», он отмечал, что воюющие стороны в подобных конфликтах со временем все реже ссылаются на социалистическую идеологию и все больше — на «священные национальные интересы». Он утверждал, что это использование национализма режимами, которые открыто присягали на верность пролетарскому интернационализму, лишь оттеняет необходимость основательной переоценки всей проблематики, в рамках которой сформировались концепции «левых» по национальному вопросу[9].

В подобного же рода коперниканском духе Андерсон предполагает, что национализм следовало бы рассматривать не как идеологию, вроде «либерализма», а скорее как современный синоним системы родства, располагающей собственными «элементарными формами» со специфической символикой. Однако нельзя сказать, что Андерсон последовательно придержива-

ется этой ассоциации. Помимо этого, он хочет показать, что нация, в отличие от рода, в определенном отношении представляет собой открытое образование. Дабы точней определить эту открытость, он уподобляет стремление современных наций поглотить и «натурализовать» аутсайдеров универсализму великих мировых религий, с энтузиазмом обращающих людей в свою веру. На протяжении почти всей книги Андерсон подчеркивает эту универсальную сторону нации, забывая о своей первоначальной привязке ее к воображаемым линиям родства. И хотя это, несомненно, придает взгляду на национализм некоторый позитивный характер, я полагаю, что это происходит за счет отрицания его неповторимой мистики, то есть более существенного источника его политической силы.

Андерсон считает, что национализм, подобно религии, не является «идеологией», поскольку он не представляет собой ни связной доктрины, ни формы «ложного сознания». Эта очевидная связь современной нации со старыми особенностями религиозного сообщества основана на опыте объединения, который, по Андерсону, характерен для обоих. «Все сообщества, численность членов которых превышает численность жителей первобытных деревень, способных непосредственно общаться друг с другом,... являются воображаемыми. Сообщества следует отличать друг от друга не по тому, насколько они являются подлинными или ложными, а по тому, какими их воображают»[10]. Суть его заявления не в том, что весь социальный мир есть лишь воля и представление, а в том, что сообщество — это спонтанная идеология, невосприимчивая к разоблачению с позиций теории.

Хотя у современного либерализма есть много приверженцев, он не предлагает полноценных «воображаемых» решений реальных проблем нужды, болезни и смерти. По Андерсону, неоспоримым преимуществом великих мировых религий являлась их способность незаметно навязывать людям пути «разрешения» этих досадных случайностей бытия в характерном жанре религиозного воображения, то есть придавать им определенные форму и значение в ряду положенных ритуалов жизненного цикла. Неистовая преданность и вымуштрованный аскетизм, на которые могло вдохновлять людей средневековое христианство, брали начало в коллективной ритуальной жизни корпоративно организованных групп феодального общества и в гораздо меньшей степени — в его теологическом учении. Хотя официально принадлежавшие к христианскому царству массы людей были локально определены и компактны, его «воображаемые» масштабы куда более широки, как у ислама, если учесть множество тех, кто еще поклоняется его святыням, и верить рассказам пилигримов, с которыми они возвращаются из своих странствий. Однако все-таки не пилигримы, а тонкий слой писавших на

латыни интеллектуалов способствовал наложению отпечатка единообразия на те представления, при помощи которых средневековый мир ощущал и понимал себя. На фоне в целом неграмотной, аграрной, с диалектными барьерами цивилизации латынь с ее однородностью придала всей церкви впечатляющую институциональную связность, позволив ей встать над властью любых мирских правителей.

Именно к эпохе раннего Нового времени, когда это всеобъемлющее церковное здание рухнуло, Андерсон и относит культурные истоки нынешней нации. Причиной первой впечатляющей трещины в нем — Реформации — стала литература на местных наречиях, унаследованная от XV века. Использование протестантизмом наречий в своей памфлетной борьбе против церкви, упорно преданной латыни, имело сокрушительный эффект, поскольку позволило ему донести свои идеи отнюдь не только до тонкого социального слоя людей, знакомых с латынью. И хотя произведения Лютера, Кальвина и не столь значительных публицистов в строгом смысле лишь отрывочно затрагивали национальный вопрос, Андерсон утверждал, что язык здесь, по сути, из средства превратился в миссию, знак. Грамотные гражданские общества формировались и получали более четкие отличия друг от друга по мере того, как технологии массового производства, присущие «книгопечатному капитализму» раннего Нового времени, приводили к общим нормам и делали более тесными социальные связи в границах определенных местных наречий и языков.

Но почему эти культурные образования начинают мыслиться как «нации» в понимании Андерсона, то есть как они перерабатывают тот опыт священного, который присущ мировой религии, и придают ему цивильную и территориальную форму? Сквозной темой книги является неспособность марксизма учитывать «священный» параметр нации — страстное желание бессмертия, переходящее в стремление к членству в нерушимом коллективе. Считается, что священное является постоянной антропологической величиной организованной общественной жизни; и современный мир в этом плане не является исключением, вся его новизна состоит только в том, что принимаемая им национальная форма, по существу, носит светский характер. Хотя священное и светское могут выглядеть понятиями, противоречащими друг другу, у Андерсона они отчетливо пересекаются в таком высшем символическом артефакте нации-государства, каким является могила неизвестного солдата. Это странное мирское божество — объект духовного отголоска общинного культа предков, но здесь таинство сочетается с анонимностью современного общества: теперь, по-видимому, не имеет значения, что в этом «фамильном склепе» нет реального родственника.

При всей удачности этого соотнесения национального с религиозным, оно полностью отменяет приговор, вынесенный современности Максом Вебером. С пришествием современного общественного порядка характерное для него коллективное бытие вместо железной клетки становится объектом усиливающейся привлекательности. Андерсон пытается снять вышеназванное теоретическое напряжение между двумя конфликтными образами нации, вводя понятие «воображаемого сообщества»: общество в одно и то же время неизбежно является и социальной структурой, и искусственным плодом воображения, и даже приход капитализма не лишает его этой двойственности. Отсюда становится очевидным значение термина «книгопечатный капитализм»: это одновременно и общая структура — капитализм, — и уникальная культура, которая, более того, столь же воображаемая, сколь и священная. Здесь дело не только во влиянии Вебера; что более поразительно, он также исходит из Маркса периода «Манифеста». Взамен капитализма, великого осквернителя всего, что свято, здесь мы имеем книгопечатный капитализм — тигель и матрицу своего мирского переустройства.

Насколько убедительна эта попытка опровержения? Ее центральный аргумент по сути верен. Тезис о том, что бюрократия и капитализм преуспели в том, чтобы сделать мир малопривлекательным, не может объяснить тот факт, что люди весьма часто выказывали желание умереть за свою нацию. По утверждению Андерсона, один только данный факт уже предполагает, что современный общественный порядок способен пробудить мощные потаенные силы воображения. Стало быть, ставки национального воображения высоки; но бессмертие, которое оно предлагает, по сравнению с тем, что пророчит религия, выглядит как-то бледно — в лучшем случае речь идет о памятнике после вашей героической смерти. В отличие от пророков, националисты на самом деле не могут обещать бессмертия. Можно было бы подумать, что бессмертие, упоминаемое лишь в фигуральном смысле, намеками, а не сулимое как нечто реальное, не могло бы являться мотивом действительных жертв. Но если отвлечься от аналогии с религией и вместо этого рассмотреть эмоциональную структуру родственных связей, то аргумент Андерсона сразу покажется более правдоподобным. К сожалению, эта последняя аналогия разрабатывается у него лишь фрагментарно. Если есть такое антропологически неизменное желание преодолеть смерть посредством артефактов, которые лежат в основе социальной преемственности, то более универсальным исполнителем данной роли является определенно семья, а не религия. Несмотря на стародавность культа предков, сила и естественность кровных уз не держатся ни на какой вере в загробное воздаяние. Атеисты, националисты и христиане одинаково стремятся спасти своих детей из горящих домов.

Лишь весьма запоздало Андерсон в своей книге все-таки обосновывает равенство между родством и воображаемыми связями нации:

«Хотя в последние два десятилетия действительно много писалось об идее семьи как выраженной структуре могущества, подавляющему большинству человечества такая концепция, безусловно, чужда. Семья скорее традиционно воспринималась как юдоль бескорыстной любви и солидарности. Точно так же, если историки, дипломаты, политики и ученые весьма на короткой ноге с идеей «национального интереса», то для большинства обычных людей любого сословия вся суть нации заключается в том, что интересы тут не при чем. Именно по этой причине нация может стоить жертв»[11].

Хотя представления о нации прочно зависят от семейных мотивов, характеристика нации как воображаемой структуры родства, как и было указано выше, в действительности несовместима с тем основополагающим акцентом, который в книге Андерсона делается на идее религиозного сообщества. Важно помнить о том, что, несмотря на меланхоличный тон своего введения, Андерсон исповедует почти исключительно позитивные взгляды на национализм, полагая, что он держится на политической любви и солидарности, а не на ненависти и ревнивых сравнениях с Врагом. Напротив, более тесные связи родства, по-видимому, слишком сильно зависят от косных генеалогических мотивов, чтобы лежать в основании столь плодотворного понятия, как нация. Аналогия с мировой религией служит для лучшего выражения образа нации, открытой и даже космополитичной в смысле своих горизонтов. Проводя параллель между религиозным обращением и политической натурализацией, он полагает, что и то, и другое основано на понятиях членства, *отменяющих* грубую фатальность рождения, родственности или расы. Любопытно, что элементы этого весьма позитивного уравнения заимствованы из знаменитой полемики Лорда Актона с национализмом. Потрясенный эпохой Рисорджименто, Актон утверждал, что национализм представляет собой возврат к внеэтическим предпосылкам античного мира, где «сугубо природные» связи родства и этнического происхождения создавали достаточную основу для политического объединения. Христианство, считает он, напротив, «радуется смешению рас». По Андерсону, своего рода воображаемому смешению рас радуются именно современные нации.

Такое изображение национализма, безусловно, чуждо многим из «левых», которые видят его истинное лицо в «наци», партизанских отрядах красных кхмеров или сербских ополченцах. Не желая касаться подобных фигур, Андерсон часто опирается на малоубедительные приемы обшаривания и перетряхивания национальной поэзии и гимнов, дабы показать, «как на удивление незначительны элементы ненависти в этих выражениях национального

чувства»[12]. Резкая грань, которую он проводит между национализмом и фашизмом, обусловлена не просто его великодушно герменевтической трактовкой мотивов патриотического братства, но и тем, как он отбирает примеры для рассмотрения. В основном они связаны с креольскими восстаниями двух Америк XVIII и XIX столетий, с их конституциями и возвышенными республиканскими идеалами. Принцип, если не практика этого классического республиканизма, составляет для него образцовую и значимую форму нации. То были общества, которые, несмотря на колоссальные этнические и расовые различия и расслоения, мыслились как национальные общности и создавали для себя обширные и емкие генеалогии, которые соответствовали бы их гражданским и территориальным параметрам:

«Сын итальянского иммигранта, поселившегося в Нью-Йорке, найдет своих предков среди отцов-пилигримов... Испаноязычные метисы-мексиканцы причисляют к своим предкам не кастильских завоевателей, а почти стертых с лица земли ацтеков, майя, толтеков и запотеков... Еще пример — крещенные по указу Сан-Мартина, говорящие на кечуа индейцы в роли «перуанцев» — движение, родственное религиозному обращению. Этот пример доказывает, что нации с самого начала понимались как общность языка, а не крови...»[13]

Но есть несколько аспектов, в которых нации не «понимаются как общность языка». Во всем мире редко совпадают границы наций-государств и границы языковых диаспор, так как многие нации говорят на одном и том же языке, многие государства официально многоязычны, а в некоторых официальный язык ни для кого не является родным. Если первый пункт не составляет решительного возражения тому, что заявлено Андерсоном, то второй и особенно третий предполагают, что язык есть всего лишь один из параметров «национального принципа». Более того, здесь возникает проблема того, существуют ли вообще какие-то культурные признаки, безусловно указывающие на нацию.

Андерсон делает ударение на языке, поскольку то, каким образом последний обусловливает коллективную принадлежность, существенно отвечает специфическому пониманию нации самим Андерсоном. Язык — это нечто хорошо знакомое и естественное; следовательно, в сознании большинства моноязычного человечества он глубочайшим образом связан с тем, кем по сути является человек, говорящий на нем. Кроме того, прочность и ощутимость подобных культурных образований обусловливает образ нации как незыблемого коллектива. (Лишь немногие и лишь применительно к очень далекому будущему допускают, что когда-нибудь их язык выйдет из употребления, и что еще более интересно — потому что это совершенно ошибоч-

но, — люди порой с трудом могут представить такое прошлое, когда их языка не существовало.) И тем не менее, невзирая на всю свою привычность для человека, язык обусловливает такую форму коллективной принадлежности, которая, в отличие от расовой и даже, возможно, этнической, может быть только приобретенной:

«Если всякий язык есть нечто приобретаемое, то на его приобретение уйдет ощутимая часть человеческой жизни: цена любого нового завоевания измеряется сокращением ее дней. Доступность иных языков для нас ограничивается не их чужеродностью, а нашей собственной смертностью. Отсюда и определенно приватный характер всех языков... Трактуемая одновременно и как *историческая* неизбежность, и как сообщество, которое строится в воображении на основе языка, нация представляется нам одновременно открытой и замкнутой»[14].

Наше бытие определяется языком даже в большей степени, чем местом в системе производственных отношений, и именно по этой причине, утверждает Андерсон, книгопечатный капитализм и явился принципиальной детерминантой общественного бытия в современном мире.

ВООРУЖЕННАЯ НАЦИЯ

Проблема, связанная с тезисом Андерсона, заключается в том, что культурного родства, создаваемого книгопечатным капитализмом, самого по себе еще не достаточно для того, чтобы порождать те колоссальные жертвы, которые современные народы временами желают принести своим нациям. Относительно нетрудно понять, почему люди могли бы пожелать умереть за свою религию: здесь на другой чаше весов более важные цели, чем простая жизнь на земле. Но гораздо сложнее понять, как гражданские общества, ведущие свои дела с помощью местных наречий, могли бы когда-нибудь проникнуться подобного рода пафосом. Если общества мысленно воображаются с помощью священных идиом, то простое общение на наречии — по сравнению с религией — в этой области определяет немногое. Андерсон пытается справиться с этим затруднением, заявляя, что социальная организация языка в современном мире (школы, газеты, романы) способствует зарождению убеждения в древности и нерушимости нации. Его аргумент не настолько силен, каким кажется, поскольку подобного рода убеждение не могло бы послужить основой жертвенного порыва по отношению к нации. В конце концов я мог бы поверить в то, что на французском будут говорить и в XXV веке, но это не то же самое, что вынести более эмоционально окрашенное суждение «Франция вечна». Лишь это последнее способно вдохновить на про-

ект, на борьбу и призвать к оружию; и язык ко всему этому, безусловно, имеет весьма слабое отношение.

«Коллективная жертва», «неизбежность», «могила Неизвестного солдата» — таковы язык и образы войны. Но Андерсон лишь отрывочно исследует связь войны с пафосом национальной принадлежности, поскольку его, несомненно, огорчают последствия данной связи[15]. И это не потому, что в трактовке «культурных корней нации» у Андерсона отсутствует государство. На самом деле у него есть длинные размышления о той роли, которую сыграло формирование абсолютистского государства в создании культурного каркаса того, что впоследствии стало нацией. Но государственное правление здесь совершенно аналогично таковому в эпоху книгопечатного капитализма. Выросшая как на дрожжах бюрократия Европы раннего Нового времени представляла собой лишь иную возможность для развития общения на местных наречиях, повсеместно возникшего как следствие рынка и Реформации. Стало быть, государство будоражит национальное воображение лишь посредством того, что оно придает языку общественной жизни территориальные рамки. Однако точно так же, как сомнительно то, что культурные связи, созданные книгопечатным капитализмом, могут быть достаточными для зарождения волнующих, неприкосновенных, подобно святыням, идиом коллективности, то же самое маловероятно и для этих на удивление тихих государств. Без возможности жертвования нация вряд ли способна вызывать такие эмоциональные всплески коллективной принадлежности, которые Андерсон приписывает национальному воображению.

Вебер, всегда неравнодушный к роли господства и насилия в истории, сформулировал отношение между государством и национальной идентичности по-иному, и причем более реалистично:

«Политическая общность — это одна из таких общностей, действия которых, по крайней мере в нормальных условиях, включают в себя элемент принуждения посредством угрозы для жизни и свободы передвижения. В конечном счете индивид должен быть готов к тому, чтобы принять смерть в интересах группы. Это придает политической общности ее особенный пафос и обеспечивает ей прочные эмоциональные основы. В силу общности политической судьбы, то есть общей политической борьбы не на жизнь, а на смерть, складываются группы, объединенные общими воспоминаниями, которые часто имеют более глубокие последствия, чем узы сугубо культурной, языковой или этнической общности. Именно такая «общность воспоминаний» составляет самый решающий элемент национального самосознания»[16].

У Вебера, как и у Гегеля, современное государство обладает исторической целью и коллективным значением, поскольку оно создает из общности су-

веренную организацию, готовую к войне. Именно в период войны нация мыслится как общность, воплощающая в себе абсолютные ценности. Трудно возразить на утверждение о том, что нация — это очень эмоционально чувствительный культурный артефакт, но всегда ли нации пребывают в столь взбудораженном состоянии? Если в мирный период кто-нибудь пожелал бы сделать заявление о том, что его больше не беспокоит неизбежность собственной смерти, так как «Франция пребудет вовеки», многие решили бы, что этот человек сошел с ума. А вырази он свои столь благородные и драматичные чувства перед боем, лишь немногие нашли бы его логику несуразной в таком контексте, в котором, вероятно, данное суждение только и обретает чудесным образом смысл. Забавно, что, нарисовав позитивный портрет национализма как величайшей политической страсти и любви современной эпохи, Андерсон признает, что война на самом деле явилась величайшим испытанием общественного образа национализма:

«Великие войны нашего столетия отличаются не столько теми беспрецедентными масштабами, в которых людям было дозволено убивать, сколько колоссальными количествами тех, кто стремился отдать свою жизнь... Идея последней жертвы рождается только вместе с идеей очищения, с чувством судьбы... В том, чтобы умереть за родную страну, которую обычно не выбирают, есть политическое величие, с которым не может сравниться слава смерти за Лейбористскую партию, Американский медицинский союз или, возможно, даже за «Международную амнистию», ибо во все эти объединения можно легко вступать и покидать их по собственной воле»[17].

В этом отрывке звучат две темы, которые противоречат общему тону идеи нации у Андерсона. Вместо того чтобы нарисовать радужную картину того, как крестьяне становятся членами французской нации или индейцы-кечуа — перуанцами, он, судя по всему, связывает силу национализма с некоторого рода вечным образом отношений между нациями. И чистота, и фатальность национальной образности не рождаются спонтанно из общественной структуры родного наречия, а возникают благодаря самоотверженной принадлежности к «общности жизни и смерти». Воображаемая национальность с ее сакральной близостью к религии, по-видимому, не всегда имеет глубокие корни в повседневной жизни современного общества. В нормальных условиях индивиды связывают себя и солидаризуются с широким разнообразием перекрестных объединений, степень их принадлежности к которым можно даже до некоторой степени строго измерить. Это означает, что опыт принадлежности к национальному сообществу большую часть времени бывает незначительным и поверхностным. Только в борьбе нация перестает быть неофициальным, спорным и пассивно принимаемым мерилом ве-

щей и становится общностью, завладевающей воображением. И дело здесь не только в милитаризме. Андерсон прав, когда говорит, что историю национализма невозможно свести к его так называемым официальным версиям, поддерживаемым государством. Мобилизация народа на национальной основе столь же часто играла решающую роль и в истории не столь масштабной борьбы против колониализма и иностранной оккупации. Эра национализма Великой Силы с его межимпериалистическими войнами закончилась где-то в 1945 году; тридцать лет спустя наступил пик антиколониального национализма как силы в международной политике. Хотя эти процессы не умаляют актуальности национального государства, они делают будущее политического воображения, толкующего власть и свободу в национальных понятиях, более смутным[18].

В современной Западной Европе, спустя пятьдесят лет после того, как были тщательно улажены взаимоотношения государств, трудно мыслить нацию в сакральных терминах. Споры из-за тарифов, сельскохозяйственных дотаций и периодические битвы футбольных болельщиков не заменят вооруженную нацию. С послевоенным устройством мира стерлось с лица земли то, что когда-то было Великой Мощью империй с их особым институциональным порядком и полным геополитическим суверенитетом. Даже если отменить сегодняшнее устройство, их институциональный опыт, вероятно, окажется невозвратимым, — нейтрализация любой опасности войны на этих территориях лишила прежнюю эпоху источников величайшей политической привлекательности. Поэтому отнюдь не только капитализм, спущенный с привязи в континентальных и планетарных масштабах, поставил знак вопроса относительно будущего нации-государства; сама общественная и культурная атмосфера после столь небывало долгого мира уже неспособна соответствовать темам высокой драмы в политической сфере. В Европе, где «принуждение посредством угрозы для жизни и свобода передвижения» есть судьба, уготованная только рабочему-иммигранту, новые социальные и культурные барьеры пришли на место национальных различий[19].

Однако, по Андерсону, вектор исторического развития не направлен в сторону более доброго и великодушного мира. Транснационализация производительных сил не подавляет стремления к стабильной, ясной и подлинной «идентичности». По мере того как устои современной культурной и экономической жизни безжалостно лишают всякой надежды тех, кто хочет и должен жить в сообществе, эти сообщества оказываются «воображаемыми» лишь в скверном смысле этого слова, то есть совершенно не связанными с каким-либо чувством социальной реальности, гражданских обязанностей и возможности коллективного действия, направленного на преобразование

мира. Более не будучи основанным на достаточном опыте общей политической судьбы, горячее стремление к национальной идентичности переходит в пристрастие к псевдоархаичной этничности, которую как блины печет на заказ индустрия «наследства». Андерсон объясняет, как такие стилизации, несмотря на всю свою поверхностность, могут вызвать в людях чувства суррогатной принадлежности:

«Взгляните на хорошо знакомый снимок одинокого пелопонесского «гастарбайтера», сидящего в своей закопченной комнатке — скажем, во Франкфурте. Единственным украшением ее стен служит сверкающий рекламный плакат Люфтганзы с видом Парфенона, который на немецком языке приглашает его провести «омытый солнцем отпуск» в Греции. Он мог никогда не видеть Парфенон, но плакат, сделанный по заказу Люфтганзы, подтверждает для него и для всякого подобного гостя его греческую идентичность, осознать которую ему, возможно, помог только Франкфурт»[20].

Мы начали с указания на то, что в марксизме не было конкретной концепции *народа*, то есть политической антропологии. Ощущается ли недостаток в подобного рода концепции в настоящее время, коль скоро сам национализм неуклонно становится неконкретным и «призрачным»? К сожалению, это было бы так, если бы, перефразируя Маркса, подобные призраки не имели слишком большого веса. Хотя возможные заявления о том, что национализм когда-то был подлинным, свободным от сентиментального шлака или идеологического манипулирования, весьма спорны, Андерсон скорее готов поспорить с теми, кто с чрезмерной легкостью сделает вывод, будто миновать фазу нации-государства значит получить долгожданный приход «открытого общества» — либерального, терпимого и мультикультурного. Он утверждает, что в действительности у «открытого общества» есть пределы: за этими пределами воображение и солидарность утрачивают свою решительность. Андерсон начал свою книгу с сопоставления космополитических идеологий вроде либерализма и социализма и элементарных форм социального сообщества. Но эти идеологии всегда негласно опирались на образ общества как такого союза, которому в конце концов приходит конец. Успехи, поражения и компромиссы обеих традиций в значительной степени проистекают из того факта, что в современном мире эти общности мыслятся как нации и что единственными сколько-нибудь практически успешными вариантами подобных доктрин оказываются такие, которые приспособили свои лозунги ко вполне определенным симпатиям наций. Книга Андерсона служит напоминанием о том, что воображаемая национальность при всей своей незрелости в лучшие времена бывала пропуском для несчастных мира сего в мировую историю. А все потому, что национальное государство — это то

место, в котором делались ставки величайших классовых битв этого столетия. Причина того, что последние имели место именно в рамках наций-государств, кроется в масштабе эффективного коллективного действия. Но есть и иной подход к этой проблеме, который предложил Беньямин в 12-м тезисе об Истории:

«Субъект исторического познания — сам борющийся угнетенный класс. У Маркса он выступает как последний из закабаленных, как отмститель, завершающий от имени поколений поверженных дело освобождения труда. Эта позиция, еще раз на короткое время ощущавшаяся в «Союзе Спартака»[21], с самого начала вызывала у социал-демократии чувство неудобства... Она довольствовалась тем, что предложила рабочему классу роль избавителя грядущих поколений, тем самым она подрезала его становую жилу. В этой школе класс отучился и от ненависти и от готовности к жертвам. Потому что и то, и другое питается образом порабощенных предков, а не идеалом освобожденных внуков».

Хотя Беньямин хотел использовать это напоминание о прошлом для спартакистов, ясно, что когда речь идет о чьих-то умерших предках, то речь идет о нации, а не об интернациональном социализме. Но и это не было последним словом Беньямина о субъекте памяти и революционного действия. Он также предполагал — в 14-м тезисе, где он сравнивает буржуазную революцию (и в этом контексте, я думаю, уместно сказать «национальную») с пролетарской, — что Революцию нельзя понимать просто как возвращение отрывков мифического прошлого.

«Французская революция понимала себя как возвращение Рима. Она цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода — тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, на которой распоряжается господствующий класс. Тот же прыжок под вольным небом истории — прыжок диалектический, как и понимал революцию Маркс».

В XX веке нация стала центральным образом радикального политического воображения. Когда в следующем веке люди снова начнут воображать себе в очередной раз измененное общество, национальность, вероятно, будет играть уже менее заметную роль. Станет ли тогда заявление о том, что рабочий класс по-прежнему является решающим проводником радикальной политики, казаться менее правдоподобным, чем сейчас? Мы процитировали Беньямина в этом контексте, полагая, что в прогнозах относительно нации-государства или классовой политики упоминания о Сове Минервы могут оказаться преждевременными, навеянными каким-нибудь из непредвиденных диалектических сюрпризов.

ГОПАЛ БАЛАКРИШНАН

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Eric J. Hobsbawm*. Nations and Nationalism since 1780. L., 1990.

2. *Regis Debray*. Marxism and the National Question // New Left Review. 1977, № 105. P. 33.

3. Массовых движений (*фр.*). — *Прим. пер.*

4. Имеется в виду раннее произведение К. Маркса, известное как «Экономико-философские рукописи» 1844 года. — *Прим. ред.*

5. Цит. по: *Shlomo Avineri*. Hegel's Theory of the Modern State. Cambridge, 1974. P. 21.

6. Ibid. P. 20.

7. *Здесь:* написанный на месте прошлой или стертой надписи или картины. — *Прим. пер.*

8. Сообщества, объединенного общностью судьбы (*нем.*). — *Прим. пер.*

9. *Benedict Anderson*. Imagined Communities. 1st ed. L., 1983; 2nd, revised and extended ed. L., 1991.

10. *Benedict Anderson*. Imagined Communities. Revised ed. P. 6.

11. Ibid. P. 131.

12. Ibid. P. 129.

13. Ibid. P. 133, 140, 133.

14. Ibid. P. 135, 133.

15. Примеры, которые он приводит в связи с этой проблемой, весьма красноречивы. Как мы выше указывали, его весьма привлекает антиколониальная и национально-освободительная борьба, в которой, согласно его утверждению, братская любовь к своей стране превосходит ненависть к народу-колонизатору и его культуре, что и служит источником национальной солидарности. Но если это действительно так (например, Франц Фанон считал, что даже в подобных случаях суть дела была запутанной), можно ли то же само сказать о войне между государствами? Его размышления во введении по поводу поразительно бессвязных фрагментов индокитайских событий — от антиимпериалистической борьбы до межгосударственных столкновений — указывают на то, что всесильную ненависть и всесильную любовь не так уж легко отделить друг от друга.

16. *Max Weber*. Economy and Society. Berkeley, 1978. P. 903.

17. *Benedict Anderson*. Imagined Communities. P. 132.

18. Это не значит, что национальные культуры непременно носят милитаристский характер. Нация чаще всего мыслится занимающей положение обороны, как бы далеко это ни было от истины. Конечно, многие государства сегодня абсолютно не способны вести войну или, что еще более редко, являются поистине пацифистскими. Но даже и в этих случаях старинные битвы в национальном воображении порой раздуваются до нереальных масштабов.

19. Указывает ли подъем крайне «правых» на возобновление подобных тенденций? Самое поразительное здесь то, насколько полностью пропала в их рядах старая национальная вражда, уступив место всеобщей ненависти к иммигрантам-неевропейцам. Но разве эта ненависть к культуре чужаков, не «искупленная» любовью к «своим», является национализмом?

20. *Benedict Anderson*. Exodus // Critical Inquiry. 1994, winter. P. 322.

21. «Союз Спартака» (1916—1918) — возникшее в годы первой мировой войны объединение радикально настроенных социал-демократов под руководством К. Либкнехта и Р. Люксембург. Послужило основой коммунистической партии Германии. Перевод В. Беньямина цит. По изданию *Беньямин В.* О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // НЛО № 46, М.: 2000. С. 85—86. — *Прим. ред.*

ПАРТА ЧАТТЕРДЖИ

ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА: КТО ИХ ВООБРАЖАЕТ?

Национализм вновь встал в повестку дня мировых событий. Почти каждый день государственные лидеры и политические аналитики в западных странах провозглашают, что с «крушением коммунизма» (так они это называют, но имеют в виду прежде всего крушение советского социализма) принципиальную опасность для мира во всем мире стало представлять возрождение национализма в различных частях света. Поскольку в наш век явление сперва должно быть признано «проблемой» для того, чтобы привлечь к себе внимание тех, чье дело — решать, что должно волновать общественность, то национализм, по-видимому, вновь снискал себе достаточно скверную славу для того, чтобы перестать быть объектом сектантского действа «узких специалистов» и превратиться в вопрос для всеобщего обсуждения.

Однако сам способ его возвращения в повестку дня мировой политики, на мой взгляд, безнадежно запутывает дискуссии на данную тему. В 1950-х и 1960-х годах национализм все еще рассматривался как особенность победоносной антиколониальной борьбы в Азии и Африке. Но по мере того, как новые институциональные формы экономики и государственности все более упорядочивались и занимали свое нормальное место под концептуальными рубриками «развития» и «модернизации», национализм одновременно начали относить и к области частной истории той или иной колониальной империи. А в этих конкретных историях, содержание которых хранили беспристрастные колониальные архивы, освободительное значение национализма обесценивалось бесконечными разоблачениями тайных сделок, манипуляций и циничного преследования личных целей. К 1970-м годам национализм стал вопросом, относящимся к сфере этнической политики, причиной, по которой убивали друг друга люди «третьего мира» — то в войнах между регулярными армиями, то, внушая куда большее беспокойство, в жестоких и часто затяжных гражданских конфликтах, и во все возрастающей степени — посредством технологически хитроумных и едва ли поддающихся предотвращению террористических актов. Лидеры африканской борьбы против колониализма и расизма подпортили летопись этой борьбы тем, что стали главами коррумпированных, своекорыстных и подчас просто

изуверских режимов. Ганди присвоили себе такие маргинальные культы, как пацифизм и вегетарианство; и даже Хо Ши Мин в момент своей наивысшей славы оказался в западне из непримиримых противоречий холодной войны. Казалось бы, отныне в наследии национализма не осталось уже ничего такого, что давало бы повод людям западного мира смотреть на него с оптимизмом.

Эта современная генеалогия идеи объясняет, почему национализм сегодня считается темной, неуправляемой, непредсказуемой силой первобытной природы, угрожающей порядку и спокойствию цивилизованной жизни. То, что некогда было оттеснено в отдаленные регионы земли, теперь, как видно, прокладывает себе путь в противоположном направлении — в Европу, через давно позабытые провинции Габсбургской, царской и Османской империй. Наряду с наркотиками, терроризмом и нелегальной иммиграцией, национализм — это еще один продукт «третьего мира», который Запад не одобряет, но не может поставить ему заслон.

В свете текущих дискуссий по данному вопросу в средствах массовой информации как-то неловко припоминать, что не так уж много лет назад национализм повсеместно считался одним из самых прекрасных подарков, преподнесенных Европой всему остальному миру. Нечасто сегодня вспоминают и то, что две величайшие войны XX века, охватив практически весь земной шар, были вызваны неспособностью Европы справиться с ее собственным этническим национализмом. Национализм любой разновидности — как «хорошей», так и «плохой» — целиком и полностью был результатом политической истории Европы. Несмотря на торжество различных объединительных тенденций в нынешней Европе и политическое согласие на Западе в целом, в нынешнем забвении истоков национализма, похоже, есть нечто большее, чем признак обеспокоенности тем, прочно ли он присмирен на земле, в которой родился.

Все это время, пока «узкие специалисты», историки колониального мира, бодренько вершили свою работу, обложившись затхлыми папками с административными отчетами и официальной корреспонденцией в колониальных архивах Лондона, Парижа или Амстердама, они, конечно, ни на минуту не забывали о том, каким образом национализм появился в этих колониях. Все знали, что он был «статьей» европейского импорта; споры историографов Африки, Индии или Индонезии 1960-х и 1970-х годов велись о том, что стало с идеей национализма и кто несет за это ответственность. Эта полемика нового поколения националистических историков с теми, кого они прозвали историками-«колониалистами», являлась энергичной и часто язвитель-

ной, но по большей части она не выходила за весьма конкретные рамки «отраслевых исследований»; со стороны же никто не придал им большого значения.

Десять лет назад одному такому узкому специалисту удалось снова поднять вопрос о происхождении и распространении национализма в масштабе всеобщей истории. Бенедикт Андерсон весьма изящно и оригинально продемонстрировал, что нации не являются окончательными продуктами конкретных социологических обстоятельств, таких, как язык, раса или религия; в Европе и во всем остальном мире они обрели бытие благодаря воображению[1]. Он также описал некоторые основные институциональные формы, посредством которых подобное воображаемое сообщество приобретало конкретные очертания, и в особенности те институты, которые он столь остроумно охарактеризовал как «книгопечатный капитализм». Кроме того, он утверждал, что исторический опыт национализма в Западной Европе, в двух Америках и России обеспечил для всех последующих ветвей национализма варианты стандартных форм, из которых националистические элиты Азии и Африки могли выбирать тот, что был им наиболее по душе.

Я полагаю, что книга Андерсона в последние несколько лет имела наибольшее влияние на развитие новых теоретических идей о национализме, и нет нужды добавлять, что это влияние, разумеется, затрагивает почти исключительно академические исследования. В противоположность невежественной тенденции рассматривать национализм как своего рода экзотическое явление, господствующей в популярных средствах массовой информации на Западе, теоретическая тенденция, представителем которой является Андерсон, определенно стремится трактовать данный феномен как часть всеобщей истории современного мира.

У меня есть одно существенное возражение против аргументов Андерсона. Если национализм где-либо в остальной части мира должен выбирать для себя воображаемое сообщество из набора определенных «образцовых» форм, уже предоставленного ему Европой и Америками, то что же ему останется воображать? История, казалось бы, рассудила так, что в постколониальном мире мы будем лишь вечными потребителями всего, что связано с современностью. Европа и две Америки, эти единственные подлинные субъекты истории, продумали для нас не только сценарий колониального просвещения и порабощения, но также и нашего антиколониального сопротивления и постколониальной нищеты. Даже наше собственное воображение должно навеки остаться колонизированным.

Я выступаю против этого аргумента не по каким-то сентиментальным со-

ображениям. Я возражаю потому, что не могу согласовать его с фактами антиколониального национализма. Самые мощные, равно как и самые творческие результаты национального воображения в Азии и Африке основываются не на тождестве с образцовыми формами национального общества, пропагандируемыми современным Западом, а скорее на *отличии* от таковых. Как можно игнорировать данное обстоятельство, не сводя при этом опыт антиколониального национализма к карикатуре?

Справедливости ради надо сказать, что Андерсон не единственный, кого следует в этом винить. Проблемы в данном вопросе, как я уже убедился, вызваны тем, что все мы слишком буквально и слишком серьезно приняли претензии национализма на то, чтобы быть *политическим* движением.

Например, в Индии любая общепринятая националистическая теория убедит нас в том, что национализм по-настоящему начался в 1885 году с образования Индийского Национального конгресса. Она также может рассказать нам о том, что предшествующее этому десятилетие было периодом подготовки, в течение которого сформировались несколько провинциальных политических объединений. А еще раньше, с 1820-х по 1870-е годы, был период «социальной реформы», когда под влиянием колониального просвещения шла «модернизация» обычаев и институтов традиционного общества, и в политической атмосфере пока что господствовал дух сотрудничества с колониальным режимом: тогда национализм как таковой еще не возник.

Эта история, будучи подвергнута тщательному социологическому рассмотрению, не может не быть совмещена с формулировками Андерсона. Конечно, если национализм будет стремиться к тому, чтобы воспроизвести в своей собственной истории историю современного европейского государства, то его представление о самом себе будет неизбежно подтверждать расшифровку националистического мифа Андерсоном. Однако я думаю, что автобиография национализма как исторического повествования основательно подпорчена.

Согласно моей точке зрения, антиколониальный национализм формирует сферу собственного суверенитета в границах колониального общества задолго до того, как начинает свои политические битвы с имперской властью. Он делает это, разделяя мир общественных институтов и практик на две сферы: материальную и духовную. Материальная сфера — это сфера «внешнего», экономики и искусства государственного управления, науки и технологии, — сфера, в которой Запад доказал свое превосходство, а Восток ему уступил. Стало быть, в этой сфере западное превосходство необходимо признать, а его плоды тщательно изучать и копировать. С другой стороны, духовная сфера — это область «внутреннего», заключающая в себе «сущност-

ные» черты культурной идентичности. Чем более успешно кто-то подражает западным навыкам в материальной сфере, тем, следовательно, более важно для него сохранять уникальность духовной культуры. Эта формула, на мой взгляд, отражает основополагающую черту антиколониального национализма Азии и Африки[2].

Отсюда можно сделать ряд выводов. Во-первых, национализм провозглашает область духовного своей суверенной территорией и отказывается позволить колониальным властям вмешиваться в эту сферу. Если можно, я вернусь к примеру Индии, где период «социальной реформы» в действительности состоял из двух разных фаз. На ранней фазе индийские реформаторы ждали от колониальных правителей, что те посредством государственного указа произведут реформу традиционных институтов и норм. На следующей фазе, хотя необходимость перемен в целом не подлежала сомнению, возникло стойкое сопротивление против вмешательства колониального государства в дела, связанные с «национальной культурой». Вторая фаза, по моему убеждению, уже была периодом национализма.

Иными словами, колониальное государство удерживается вне границ «внутренней» сферы национальной культуры; но не ценой того, что так называемая духовная сфера остается неизменной. На самом деле именно здесь национализм дает старт своему самому мощному, творческому и исторически значимому проекту: он создает «современную» национальную культуру, которая в то же время не является западной. Если нация — это воображаемое сообщество, то это и есть тот момент, в который она рождается. Здесь, в своей подлинной и значимой сфере, нация уже суверенна, даже если государство находится в руках колониальных властей. Динамика этого исторического проекта абсолютно отсутствует в традиционных исторических повествованиях, в которых рассказ о национализме начинается с борьбы за политическую власть.

Я хотел бы выделить несколько зон внутри так называемой духовной сферы, которую национализм преобразует в ходе своей деятельности. Ограничусь примерами из Бенгалии, история которой мне лучше всего знакома.

Первая такая зона — языковая. Андерсон совершенно прав, предполагая, что именно «книгопечатный капитализм» обеспечивает новое институциональное пространство для развития современного «национального» языка[3]. Однако специфика колониальных условий не позволяет просто усвоить здесь европейские стандарты развития. Например, в Бенгалии первые печатные книги были выпущены благодаря инициативе Восточно-индийской компании и европейских миссионеров в конце XVIII столетия, а первые сочине-

ния в прозе заказаны в начале XIX века. В то же время первая половина XIX века знаменательна тем, что английский язык совершенно вытеснил персидский в качестве языка бюрократии и утвердился как самое мощное средство интеллектуального влияния на новую бенгальскую элиту. Однако в середине XIX века наступил решающий момент в развитии современного бенгальского языка, когда двуязычная элита создала культурный проект, направленный на обеспечение своего исконного языка необходимыми лингвистическими средствами для того, чтобы он мог стать языком, соответствующим «современной» культуре. Создание целой сети институтов печатной прессы, издательских домов, газет, журналов и литературных обществ, способствующих формированию нового, современного и нормализованного языка, приходится на это время и происходит *без* участия государства и европейских миссионеров. Двуязычная интеллигенция начала задумываться о собственном языке как принадлежности этой внутренней сферы культурной идентичности, в которую не следует пускать колониалиста-захватчика; таким образом, язык превратился в ту зону, в которой нация впервые провозгласила свою независимость и которую она в дальнейшем должна была изменить, чтобы приспособить ее к требованиям современного мира.

Влияние современных европейских языков и литературы, играющих роль образцов, отнюдь не обязательно приводит к сходного рода последствиям. Например, что касается новых литературных жанров и эстетических условностей, в области которых европейское влияние, несомненно, способствовало выработке отчетливого критического подхода, то существовало и широко распространенное убеждение в том, что европейские стандарты не подходят для анализа и оценки литературной продукции современной Бенгалии. На сегодня в этой зоне отчетливо виден пробел между понятиями академической критики и понятиями литературной практики. В качестве примера позвольте мне кратко остановиться на бенгальской драме.

Драма — это современный литературный жанр, который критики бенгальской литературы меньше всего оценивают по эстетическим критериям. Хотя это именно та форма, посредством которой двуязычная элита завоевала себе широчайшую аудиторию. Когда такая элита возникла в своей современной форме в середине XIX столетия, доступными для нее оказались две модели бенгальской драмы: современная европейская драма, развивавшаяся со времен Шекспира и Мольера, и фактически забытый кодекс санскритской драмы, сегодня восстановленный в своей репутации высокого классического мастерства благодаря шквалу хвалебных отзывов, обрушенных на него учеными-ориенталистами из Европы. Литературные критерии, которые, по-видимому, должны были привести новую драму в привилегированную сферу

современной национальной культуры, таким образом, были определенно заданы стандартными формами, предложенными Европой. Но постановочная практика вновь учрежденных народных театров сделала невозможным применение этих критериев к пьесам, написанным для театра. Условности, которые могли бы принести пьесе успех на калькуттской сцене, крайне отличались от тех, что были привычны критикам, воспитанным в традициях европейской драмы. Противоречия остаются нерешенными и поныне. В Западной Бенгалии, или Бангладеш, сегодня процветает такое направление общественного театра, как современный городской, национальный театр, резко отличный от «фольклорного». Он создается и в основном находится под патронажем литераторов из городских средних классов. Тем не менее их эстетические условности не соответствуют стандартам, заданным образцовыми литературными формами, пришедшими из Европы.

Даже в романе, этой прославленной уловке националистического воображения, в котором сообществу обычно суждено жить и любить в «эпоху однородности»[4], не всегда легко укореняются предписанные извне формы. Роман был той основополагающей формой, в соответствии с которой двуязычная элита Бенгалии моделировала новую повествовательную прозу. Очевидно влияние на такую прозу двух бывших доступными моделей — современной английской и классической санскритской. И тем не менее по мере того, как применение такой формы, как роман, становилось все более популярным, бенгальские новеллисты поразительно часто в ходе повествования переключались со строгих форм авторской прозы на непосредственную живую речь. Взирая на страницы некоторых самых популярных в Бенгалии романов, часто бывает трудно сказать, что перед нами — роман или пьеса. Создав современный язык прозы в стиле общепринятых образцов, литераторы в своем стремлении к художественной достоверности определенно считают необходимым как можно чаще обходить негибкие правила этой прозы.

Желание создать такую эстетическую форму, которая была бы и современной, и национальной, да при этом еще легко отличалась бы от западной, приняло, возможно, гротескные формы в исканиях так называемой бенгальской школы искусств в начале XX века. С одной стороны, именно благодаря этим исканиям сформировалось институциональное пространство для современного профессионального художника в Индии, в его отличие от традиционного ремесленника предназначенное для пропаганды произведений искусства посредством выставок и печати и для ознакомления публики с новыми эстетическими формами. Но, с другой стороны, этой задаче формирования осовремененного художественного пространства сопутствовала пламенная идеологическая программа развития искусств, которая была специфически

«индийской», то есть отличной от «западной»[5]. Хотя особый стиль, разработанный бенгальской школой для нового индийского искусства, не смог отстоять свои позиции на какую-либо долгосрочную перспективу, сформулированная этой школой основополагающая повестка дня, суть которой сводится к развитию такого искусства, которое было бы современным и в то же время легко распознаваемым в качестве индийского, сохраняет свою силу и по сей день.

Вместе с институтами книгопечатного капитализма появилась новая сеть средних школ. И вновь национализм попытался поставить эту зону под свою юрисдикцию задолго до того, как он вступил в борьбу с колониальными властями на государственном уровне. В Бенгалии со второй половины XIX столетия именно новая элита возглавила мобилизацию «национальных» сил, заинтересованных в учреждении школ в каждой части провинции и в последующем выпуске подходящей образовательной литературы. Вкупе с книгопечатным капитализмом институты среднего образования обеспечили такое находящееся вне сферы государственной компетенции пространство, в котором могли рождаться и приводиться в соответствие с общими стандартами новые язык и литература. Только после появления этого, свободного от влияния как колониального государства, так и европейских миссионеров, пространства женщины, к примеру, получили право посещать школу. И в этот же период, где-то на закате XIX века, Калькуттский университет из учреждения колониального образования превратился в институт, сугубо национальный по своим учебной программе, профессорскому составу и источникам финансирования[6].

Другой зоной в этой внутренней сфере национальной культуры являлась семья. Здесь утверждение автономии и уникальности, возможно, принимало наиболее драматичные формы. Европейская критика индийской «традиции» как варварской большей частью относилась к религиозным верованиям и обрядности, и в особенности к тому положению, которое эти верования и обряды отводили женщине. «Социальная реформа» на ранней фазе, когда ее проводили колониальные власти, также касалась в первую очередь именно этих вопросов. Таким образом, в раннюю фазу данная зона определялась как существенно связанная с «индийской традицией». Националистическая волна началась со спора о выборе проводника реформы. В отличие от ранних реформаторов, националисты не были готовы к тому, чтобы позволить колониальному государству играть решающую роль в реформировании «традиционного» общества. Они утверждали, что только сама нация может иметь право вторгаться в такое значимое измерение своей культурной идентичности, каким является семья.

Случилось так, что семья и позиция женщин подверглись существенным изменениям в среде националистических средних классов. Возник, несомненно, новый патриархат, отличный от «традиционного» порядка, но при этом явно претендующий на то, чтобы отличаться от «западного» типа семьи. «Новая женщина» должна была стать современной, но тем не менее проявлять признаки связи с национальной традицией и, следовательно, существенно отличаться от «западной» женщины.

Как правило, в центре истории национализма как политического движения оказывается прежде всего его противостояние колониальным властям во внешней сфере, то есть в материальной сфере государства. Я же нарисовал здесь совсем иную историю. В истории материальной сферы национализму также ничего не остается, как выбрать себе формы из галереи «моделей», предлагаемых европейскими и американскими национальными государствами: в этой сфере «различие» не является жизнеспособным критерием.

Во внешней сфере национализм начинает свой путь (давайте не забывать, что это происходит уже после того, как он провозгласил суверенитет в своей внутренней сфере), включаясь в новую общественную среду, которую составляют процессы и формы современного (в данном случае колониального) государства. Изначально задачей национализма является преодоление подчиненного статуса колонизированного среднего класса, то есть вызов «закону колониального различия» в сфере государства. Следует помнить, что колониальное государство не просто было проводником стандартных форм современного государства в колонии; оно было таким проводником, которому никогда не суждено исполнить стандартизирующую функцию современного государства в силу того, что основой его власти является правило колониального различия, иными словами — сохранение господства за группами иностранного происхождения.

Во второй половине XIX века, после того как в колонии были установлены институты современного государства, правящие европейские группы сочли необходимым заложить — в законодательстве, аппарате бюрократического управления, органах правосудия и в рамках признания государством легитимной сферы общественного мнения — основополагающие принципы, гарантирующие соблюдение строгого различия между правителями и управляемыми. Если индусы будут допущены в сферу судебного права, то стоит ли позволять им судить европейцев? Правильно ли, что индусы должны поступать на гражданскую службу, сдавая те же экзамены, что и британские молодые специалисты? Если европейские газеты в Индии пользуются свободой высказывания мнений, то надо ли предоставлять ее местным газетам? По иронии истории, задача национализма, который настаивал на характер-

ных знаках культурных различий с Западом, стала заключаться в том, чтобы добиться отмены этого правила различия в государственной сфере.

Со временем, когда националистическая политика набрала силу, эта сфера расширилась, стала внутренне более дифференцированной и, наконец, приняла форму национального, или постколониального, государства. Ведущие элементы его самоопределения, по крайней мере в постколониальной Индии, были заимствованы из идеологии современного либерально-демократического государства.

В соответствии с либеральной идеологией, сфера общественного теперь отличалась от сферы частного. От государства требовалось обеспечение неприкосновенности частного лица в его взаимодействиях с другими частными лицами. Легитимность государства в осуществлении этой функции должна была гарантироваться его нейтральностью по отношению к конкретным различиям между частными лицами — расовым, языковым, религиозным, классовым, кастовым и так далее.

Проблема заключалась в том, что моральное и интеллектуальное лидерство националистической элиты распространялось лишь на область, определявшуюся различиями совершенно иного порядка — то есть между духовным и материальным, внутренним и внешним, существенным и несущественным. Это отвоеванное поле, над которым национализм провозгласил свой суверенитет и в рамках которого он создал свое воображаемое подлинное сообщество, не лежало в одной плоскости и не совпадало со сферой, определяемой различиями общественного и частного. Реализуемый в нем центральный проект национализма едва ли мог стать нейтральным по отношению к специфике языков, религий, каст или классов. Это был проект культурной «нормализации», подобный, как полагает Андерсон, любому из основополагающих буржуазных проектов, но с той общезначимой разницей, что здесь речь шла о выборе между позицией автономии и позицией подчинения колониальному режиму, на стороне которого были наиболее исчерпывающие оправдательные возможности, созданные общественной мыслью со времен Просвещения.

В результате автономные формы воображения сообщества были превзойдены и подмяты историей постколониального государства и продолжают пребывать в таком состоянии по сей день. В этом корень наших постколониальных невзгод — не в том, что мы неспособны придумать новые формы современного сообщества а в том, что мы капитулируем перед старыми формами современного государства. Если нация есть воображаемое сообщество, и нации должны, помимо этого, образовывать государства, то наш теоретический язык должен позволять нам говорить о сообществе и государстве как

о синонимах. Не думаю, что наш нынешний теоретический язык позволяет нам делать это.

Незадолго до своей смерти Бипичандра Пал (1858—1932), пламенный лидер бенгальского движения Свадеши и влиятельная фигура в Конгрессе, когда в нем еще не было Ганди, описывал пансион, в котором жили калькуттские студенты во времена его молодости:

«Студенческие коммуны в Калькутте пятьдесят шесть лет тому назад, когда я учился в колледже, походили на маленькие республики и управлялись строго демократическим образом. Все решалось большинством голосов членов коммуны. В конце каждого месяца, так сказать, всей «Палатой» избирали управляющего, и он должен был собирать членские взносы, а также осуществлять общий контроль за питанием и хозяйством коммуны... Хороший руководитель часто удостаивался повторного избрания, в то время как более легкомысленные и ленивые члены, которые за свои огрехи в управлении часто были вынуждены расплачиваться из собственного кармана, старались избежать такой чести.

...Споры между двумя членами улаживались «Судом» всей «Палаты», и, помнится, мы ночами сидели, разбирая такие случаи; решение этого «Суда» никогда не ставилось под сомнение и не игнорировалось никем из членов. Члены коммуны были отнюдь не беспомощны в деле надлежащего исполнения данного вердикта в отношении коллеги-ответчика. Ибо они всегда могли пригрозить непокорному либо исключением из коммуны, либо, если он отказывался уходить, возложением на него ответственности за полную оплату проживания... И сила общественного мнения в этих маленьких республиках была столь высока, что мне доводилось знать такие случаи наказаний провинившихся, которые оказывали на последних столь мощное действие, что спустя неделю после исключения из коммуны они выглядели так, будто только что пережили очень долгий или серьезный недуг...

Состав нашей коммуны делал необходимым некоторый компромисс между так называемыми ортодоксами и почитателями Брахмы и другими, неортодоксальными членами нашей республики. Поэтому вся «Палата» единодушно проголосовала за правило, согласно которому никто из членов не должен приносить в дом еду... попирающую чувства индусской ортодоксии. Однако при этом всем было понятно, что члены коммуны в целом, и даже каждый в отдельности, не должны вмешиваться в дела других вне дома. Так что мы свободно могли пойти и вкусить любого рода запретную пищу либо в Большом Восточном отеле, которому некоторые из нас впоследствии оказывали финансовую поддержку, либо где угодно еще»[7].

Интересным моментом этого описания является не столько преувеличен-

ное и явно романтизированное изображение в миниатюре воображаемой политической формы самоуправляемой нации, сколько повторяющееся употребление понятий современной европейской гражданской и политической жизни (республика, демократия, большинство, единогласно, выборы, Палата, Суд и так далее) в характеристике комплекса действий, которые должны были осуществляться с материалом, предельно отличном от такового в гражданском обществе. Вопрос о «компромиссе» по поводу привычек питания членов коммуны на самом деле улаживается не путем проведения границ между «частным» и «общим», а путем разделения сфер «внутреннего» и «внешнего», где внутреннее — это пространство, в котором должно господствовать «единодушие», в то время как внешнее является царством индивидуальной свободы. Несмотря на то что «вся Палата проголосовала единогласно», фактором, определившим единодушие во внутренней сфере, была не процедура голосования, осуществляемая индивидуальными членами, которые объединились в союз, а скорее согласие сообщества — институционально нового (ибо калькуттский пансион, в конце концов, не имел прецедентов в «традиции»), внутренне дифференцированного, но тем не менее — сообщества, требования которого стояли над интересами его индивидуальных членов.

Но было бы неверно воспринимать употребление Бипичандрой понятий парламентской процедуры для описания «общественной» деятельности соседей по комнатам, играющих роль нации, как нечто аномальное. Его язык свидетельствует о совершенно реальных точках соприкосновения двух теорий и, соответственно, двух сфер политики. В индийской историографии предпринималась попытка говорить о них как о сферах «элитной» и «массовой» политики[8]. Но одним из важнейших итогов такого историографического подхода стало четкое понимание того, что каждая из этих сфер функционирует не только как противоположность по отношению к другой и как ее предел, но в процессе данной борьбы она также формирует в себе зачатки другой. Поэтому наличие популистских или коммуналистских элементов в либеральном конституционном устройстве постколониального государства не должно считаться признаком неистинности или лицемерия элитной политики; это скорее признание того, что в сфере элиты весьма реально наличествует и некая арена политики подчиненных слоев, над которой первая поставлена властвовать, но при этом также должна договариваться с ней, идя на ее условия, дабы достичь согласия. С другой стороны, сфера политики подчиненных слоев становится все больше знакомой и все более соотносимой с институциональными формами, присущими сфере элиты. Стало быть, отныне задача не в том, чтобы просто разграничить и идентифицировать две

сферы в их обособленности, что требовалось в первую очередь для опровержения обобщающих притязаний националистической историографии. Теперь задача заключается в том, чтобы проследить в их взаимно обусловленных историях те особые формы, которые появились, во-первых, в сфере, связанной с основным проектом националистической современности, и, во-вторых, в многочисленных разрозненных эпизодах сопротивления такому стандартизирующему проекту.

Этим вопросом я и хотел бы заняться. Поскольку он будет ставиться непосредственно о пределах предполагаемой всеобщности современного режима власти и тем самым о разделах знания, сложившихся после эпохи Просвещения, может показаться, будто это занятие имеет целью еще раз подчеркнуть «индийскую» (или «восточную») исключительность. Однако на самом деле цель моей попытки куда сложнее и значительно амбициознее. В нее входит не только установление логических обстоятельств, при которых становятся возможными подобные теории индийской исключительности, но и доказательство того, что эта воображаемая исключительность в качестве упорно подавляемых элементов характерна даже для предположительно универсальных форм современного режима власти.

Такое доказательство позволяет нам заявить, что претензии современной западной социальной философии на всеобщность уже сами по себе ограничиваются случайным характером всемирной власти. Иными словами, «западный универсализм» в не меньшей степени, чем «восточная исключительность», может оказаться всего лишь особой формой богатой, более сложной и многообразной концептуализации новой всеобщей идеи. Это, вероятно, могло бы дать нам возможность размышлять не только о новых формах современного сообщества, что, я уверен, было характерно для националистического опыта Азии и Африки с момента его зарождения, но также и о новых формах современного государства, причем с куда большей решительностью.

Наш националистический проект поэтому состоит в требовании для нас, когда-то находившихся в колониальной зависимости, свободы воображения. Однако требования, как нам, увы, слишком хорошо известно, следует предъявлять лишь в сфере борьбы за власть. Исследования в любой отдельной дисциплинарной области будут неизбежно нести на себе отпечаток неразрешенного противоречия. Формулировать требования лишь на основе фрагмента этой борьбы — значит создавать теорию, которая сама неминуемо окажется фрагментарной. Приносить извинения в этом случае будет неуместно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Anderson, Benedict.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L., 1983.

2. Это центральный аргумент моей книги: *Chatterjee, Partha.* Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? L., 1986.

3. *Anderson, Benedict.* Imagined Communities. P. 17—49.

4. *Anderson, Benedict.* Imagined Communities. P. 28—40.

5. История этого художественного движения недавно была детально исследована Тапати Гуха-Талкуртом. См.: *Guha-Thalkurta, Tapati.* The Making of a New «Indian» Art: Artist, Aesthetics and Nationalism in Bengal, 1850—1920. Cambridge, 1992.

6. См.: *Banerjee, Anilchandra.* Years of Consolidation: 1883—1904; *Chakravarti, Tripurari.* The University and the Government: 1904—1924; *Banerjee, Pramathanath.* Reform and Reorganisation: 1904—1924 // Hundred Years of the University of Calcutta / Ed. Ray, Niharranjan and Gupta, Pratulchandra. Calcutta, 1957. P. 129—178; 179—210; 211—318.

7. *Pal, Bipinchandra.* Memories of My Life and Times. Calcutta, 1932. P. 157—160.

8. В частности, исследованию этой проблемы посвящены многие очерки сборника: *Guha, Ranajit* (ed.). Subaltern Studies. Vols. 1—6. Delhi, 1982—1990. Программное изложение такого подхода см.: *Guha, Ranajit.* On Some Aspects of the Historiography of Colonial India // Subaltern Studies / Ed. Guha, Ranajit. Vols. 1. Delhi, 1982. P. 1—8.

КЭТРИН ВЕРДЕРИ

КУДА ИДУТ «НАЦИЯ» И «НАЦИОНАЛИЗМ»?

НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ: ЧТО ОНИ ТАКОЕ?

В период 80-х и 90-х годов научная индустрия, созданная вокруг понятий нации и национализма, приобрела настолько обширный и междисциплинарный характер, что ей стало впору соперничать со всеми другими предметами современного интеллектуального производства. Я беру понятие «нации» в антропологическом смысле, в качестве основного оператора всеохватывающей системы социальной классификации. Эти системы не просто классифицируют; будучи институционализированы, они также закладывают основы власти и легитимности с помощью задаваемых ими категорий, которым придается одновременно естественный и социально реальный характер. Таким образом, нация — это аспект политического и символического/идеологического порядка, а также мира социального взаимодействия и чувства. В течение многих веков она являлась важным элементом системы социальной классификации. Это не удивительно, если принять во внимание ее коренное значение — «быть урожденным», — идея, благодаря которой любая система категорий неизбежно будет выглядеть естественной. Однако в прошлом, как нам напоминает, в частности, историк Эрик Хобсбаум, она имела и много других значений: это понятие использовалось применительно к гильдиям, корпорациям, союзам в стенах старинных университетов, феодальным сословиям, массам людей и группам, основанным на явно общей культуре и истории[1]. Во всех случаях оно служило инструментом отбора — тем, что сплачивает в общую массу одних людей, которых нужно отличать от других, существующих бок о бок с этими первыми[2]; вот только критерии, которые использовались при этом отборе, то, во что выливалось или для чего имело значение «быть урожденным» — например, передача ремесленных навыков, аристократические привилегии, гражданская ответственность и культурно-историческая общность, — варьировались в зависимости от времени и контекста.

В современную эпоху нация стала мощным символом и основой классификации в международной системе национальных государств. Ею обозначаются отношения между государствами и их подданными, а также между одними государствами и другими; это идеологический конструкт, играющий

10*—2035

важную роль в определении позиций субъектов как в рамках современного государства, так и в рамках международного порядка. Это значит, что нация имеет решающее значение для определения способа связи государства со своими подданными, который отличает их от подданных других государств, а также для его внешнего окружения. В качестве символа нация служит легитимации многочисленных социальных движений и действий, часто имеющих очень разные цели. Она действует как символ по двум причинам. Во-первых, как все символы, она неоднозначна. Поэтому люди, которые им по-разному пользуются, могут привлекать на свою сторону в корне различные аудитории (как у себя дома, так и на международной арене), которые будут считать, что понимают под этим одно и то же. Во-вторых, его использование пробуждает чувства и склонности, которые формировались по отношению к нации на протяжении десятилетий так называемого национального строительства.

С этой точки зрения национализм представляет собой политическое применение символа нации при помощи дискурса и политической деятельности, а также чувство, которое заставляет людей реагировать на его применение. В самой своей сути национализм есть гомогенизирующий, дифференцирующий или классифицирующий дискурс, или приведения к однородности: он адресует свой призыв людям, которых предположительно что-то объединяет друг с другом, противопоставляя их тем людям, которых, опять же предположительно, ничто не связывает между собой. В современных видах национализма такими наиболее важными общими вещами служат определенные формы культуры, традиции и особая история.

Однако современные виды национализма действовали от имени по крайней мере двух основных значений нации как отношения между государствами и их подданными. Эрик Хобсбаум определяет два принципиальных смысла нации в Новое время как отношение, известное под названием гражданства, в рамках которого нацию составляет коллективный суверенитет, основанный на общем политическом участии, и отношение, известное как этничность, в рамках которого в нацию включаются все те, кого предположительно связывают общие язык, история или культурная идентичность в более широком понимании[3]. Последнее отношение наиболее часто связывается с термином «национализм», но это не единственное его значение. Смешение и наложение подобных значений в политике всякий раз заводит в тупик исследователей, если сами они мыслят под нацией и национализмом что-то одно. Мы можем привести ряд дополнительных значений нации, которые проникли в политический дискурс, — это, например, идеал отношений между подданными и государством в условиях государственного социализма, с

акцентом на их как-бы-семейной зависимости, которую я называю *социалистическим патернализмом*[4]. Любые из этих (или иных) значений либо их некая комбинация могут использоваться в рамках определенного применения символа нации, то есть его значение нельзя определить простым допущением.

Эти наблюдения позволяют нам выделить три ловушки, которых изо всех сил должны избегать (хотя им это зачастую не удавалось) исследователи нации. Во-первых, необходимо понять, какой смысл понятия нации имеет отношение к исследуемому контексту, а не пытаться навязать его современный смысл средневековой реальности, французский смысл кенийской реальности или смысл, принятый в XIX веке, стремительно развивающейся реальности сегодняшних дней. Во-вторых, следует рассматривать нацию как символ, а всякий данный национализм — как имеющий множество значений, выдвигаемых в качестве альтернатив и оспариваемых различными группами, которые маневрируют, пытаясь застолбить свое право на определение символа и его легитимирующие воздействия. Из этого вытекает, что нам не следует видеть в национализме социальную действующую силу и задаваться вопросом о том, плохой он или хороший, либеральный или радикальный и благоприятствует ли он демократической политике. Вместо этого мы должны спрашивать: каков тот глобальный, социальный и институциональный контекст, в котором различные группы соревнуются за право контроля над этим символом и его значениями? Какие программы у этих различных групп? Радикальные? Либеральные? Реакционные? Какие социальные условия предрасполагают к успеху одной группы и одной программы по сравнению с другими? Такой подход изымает из «национализма» суффикс «изм» и вновь возвращает его людям, ограниченным социальными структурами. Он также побуждает нас поинтересоваться, адекватен ли термин «национализм» такой инфляции своих смыслов и употреблений? В-третьих, помня о решающей идеологической роли нации в определении способа связи государств со своими подданными, исследователи должны прилагать согласованные усилия к тому, чтобы не попасть под влияние языка национальных идеологий — не воспринимать нации только в соответствии с их текущими определениями, например через культуру, происхождение или историю. Вместо этого мы должны превратить такие понятия в предметы своего изучения и спросить: в каком контексте работает то или иное определение или символизация нации? Что они делают? Используются ли они еще в каких-либо спорах, кроме собственно споров по национальным вопросам? Этот третий пункт можно проиллюстрировать, рассмотрев пять возможных областей исследования наций и национализма.

КЭТРИН ВЕРДЕРИ

КАК ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ ИССЛЕДОВАТЬ НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ?

Что лежит в основе понятия идентичности?

Мы стараемся писать о национальной идентичности так, словно со второй частью этого понятия нет никаких проблем, словно у каждого должна быть некая идентичность или определенные ее виды, но не слишком много. Откуда взялось само понятие идентичности, и почему для людей так важно обладать ею? Что за особая идея личности или человеческого существа заложена в понятии идентичности и какова его историческая специфика? Какой политический, экономический, социальный и символический контекст питает его? Как идентичности конструируются в социальном смысле и как создаются обладающие ими индивиды?

Этот предмет исследования частично пересекается с понятием «собственнического индивидуализма» — им обозначается появление на исторической сцене монад, называемых индивидами, определяющей чертой которых стало обладание, — данное понятие также сопрягается с вопросом о нации, поскольку под нациями подразумеваются коллективные индивиды[5]. По крайней мере еще в трудах немецкого философа и теолога Иоганна Готфрида фон Гердера нации — как и индивиды — воспринимались в качестве действующих лиц истории, обладающих собственным характером или душой, миссией, волей, духом; у них есть исток/место рождения — в национальных мифах это, как правило, колыбели — и родословная (обычно по *отцовской* линии), а также жизненные циклы, включающие рождение, периоды расцвета и увядания и боязнь смерти; в качестве своего материального референта они имеют территории, ограниченные, подобно человеческому телу. Нациям, по аналогии с индивидами, приписывают некую идентичность, часто основываемую на так называемом национальном характере. Таким образом, национальная идентичность существует на двух уровнях: на уровне индивидуального чувства национальной принадлежности и на уровне идентичности коллективного целого по отношению к подобным ему другим. Что обозначает эта особенная взаимосвязь идей? Какова социально-историческая сила понятия идентичности с его, на первый взгляд, противоречащими друг другу коренными значениями — того же самого, то есть тождественного, и уникального, — коренными значениями, которые, как и национальные идеологии, одновременно дифференцируют и сводят воедино?

Как становятся членами нации?

Каким образом развилось чувство национальной самости? Мы можем назвать это проблемой национальных субъективностей — именно во множественном числе, ибо нельзя допустить, что существует только одна форма переживания своего Я как национального. Этот вопрос напрямую связан с тем, который был поднят выше: здесь мы спрашиваем о том, как существующие между нацией и индивидом отношения гомологии интернализируются и усваиваются индивидом, проникая в его «внутреннее». Говоря так, я, разумеется, предполагаю, что понятие «внутреннего» действительно лишь в определенном социально-культурном контексте. Не во всех человеческих обществах людям приписывалось обладание особой внутренней сферой[6].

Здесь крайне полезным оказывается различие между национализмом и принадлежностью к нации, которое проводит антрополог Джон Борман: первый *он относит к осознанным чувствам, для которых нация является объектом* активной привязанности, а вторую — к повседневным практикам и взаимодействиям, которые порождают глубокое и часто невыраженное ощущение принадлежности, ощущение того, что ты «дома»[7]. Эти практики и привычные действия могут включать в себя всё, начиная с относительно светских ритуалов ухаживания и создания семьи, находящихся под влиянием государства[8], и кончая относительно редкими и зрелищными действиями, такими, как участие в военных столкновениях, которые, возможно, сыграли существенную роль в создании национальной привязанности в период раннего модерна, так что с тех пор поджигатели войн могли и далее рассчитывать на нее[9]. В основе такого исследования лежит предположение, высказанное Фуко, о формировании современных субъектов при помощи зачастую невидимых практик (Фуко называет их микрофизикой) власти. Чтобы исследовать их, надо отвлечься от шумной и показной риторики националистов и обратиться к технологиям, при помощи которых в тех, к кому апеллируют националисты, тихо и незаметно закладывалась предрасположенность к восприятию нужных идей.

Насколько различной бывает символика нации?

Что мы получаем, рассматривая нацию как символ, а не как вещь? В последних работах по антропологии интерес к национализму дал возможность восприятия национальной риторики во множественном числе, в качестве элементов более масштабной конкуренции за право определения смысла национальной символики и определения самой нации как символа. Для подоб-

ной задачи уже бессмысленно использовать термин «национал*изм*», поскольку теперь важнее всего понять, как этот существующий в единственном числе символ — нация — получает столь многочисленные значения. Ориентирующиеся на него группы воспринимают нацию как высший символ, но при этом имеют по отношению к нему разные намерения. Много всего разного вплетается в их конфликты — противоположные идеи о подлинности, об истинном предназначении нации, о культурном достоянии или наследии, о национальном характере и так далее[10]. Такое исследование ставит вопрос о том, как формируются понятия нации и идентичности и как они воспроизводятся в качестве центральных элементов политической борьбы. В его рамках нация толкуется как конструкт, значение которого никогда не бывает стабильным, а всякий раз изменяется в зависимости от складывающегося баланса социальных сил, и в нем также изучается вопрос о том, какие способы достижения целей этот конструкт обеспечивает определенным группам и почему именно этим группам, а не другим.

Всерьез относиться к употреблению нации в качестве символа — это значит пристально изучать социальные битвы и трения, в рамках которых она становится значимой идиомой, то есть своего рода валютой, используемой в торговле позициями, которые могут не иметь никакого отношения к нации. Например, в постсоциалистической Восточной Европе широко распространяются стереотипы и огульные обвинения в адрес цыган, которых считают лентяями и ворами. Если взглянуть на эти стереотипы с точки зрения этнографии, то станет ясным, что цыгане используются как символ деморализующего вторжения рынка на территории бывшего социалистического блока. Торговлей заняты не только цыгане — но люди приписывают им ответственность за все, что при новом, постсоциалистическом порядке, кажется им возмутительным и вызывающим расстройство. Такого рода подход позволяет объяснить, почему продолжают существовать групповые категориальные рамки даже в отсутствие самой этой группы, как, например, антисемитизм во многих восточноевропейских странах, где евреев можно найти с трудом[11].

Кроме того, национальная символизация предполагает такие процессы, в ходе которых группы выделяются или, наоборот, становятся незаметными в обществе. Проект создания нации предусматривает, что несогласные элементы сначала должны быть сделаны различимыми, а затем подвергнуться ассимиляции или устранению. Кое-что из этого может произойти и в прямом физическом смысле, посредством насилия, свежим примером чего могут служить «этнические чистки» в Боснии-Герцеговине. Но эти вещи редко сопутствуют иным, символическим видам насилия, благодаря которым

различие сначала делается выпуклым, а затем стирается. Представления о чистоте и испорченности, о крови как носителе культуры или, наоборот, скверны являются фундаментальными для проектов национального строительства. Они заслуживают больше внимания, чем ученые оказывали им до сих пор.

Как мы можем понять пересечение нации с другими социальными операторами?

Этническую принадлежность, расу, гендер и класс, наряду с нацией, можно рассматривать как аспекты формирования идентичности, но они также одновременно являются осями социальной классификации, которые часто идут рука об руку, взаимодействуя сложными способами. В блестящей обзорной статье антрополог Брэкетт Уильямс обсуждает вопрос о том, как проекты и меры государственного строительства определяют множество таких разнообразных осей в процессе гомогенизации, на основе которого складывается форма правления современным национальным государством[12]. Она считает государство всеобъемлющей структурой, в рамках которой устанавливаются и ниспровергаются символические условности, идет борьба за легитимность, закрепляются групповые отношения и связанный с ними порядок распределения. Государство — это рамки, в которых становятся различимыми и получают свое место понятия, обнаружившие политическую эффективность, — такие, как культура, подлинность, традиция, общее/разделяемое или варварское. Как она пишет, «понятия расы, этничности, локальности и национальности конкурируют между собой за то, чтобы служить ярлыками для различных аспектов процесса [формирования идентичности]»; их контекст — это государство, которое мотивирует различия, а также устанавливает границы, отделяющие внутреннее от внешнего, одно Я от другого[13].

Следуя Уильямс, мы должны расценивать современное государство как продукт процесса тотализации, который подразумевает неумолимое стремление к однородности, в то же самое время являющееся процессом исключения. Такая однородность не всегда преследуется как самоцель; она может служить разным задачам, таким, как создание общих основ квалификации рабочей силы или создание пространства, подлежащего государственному управлению[14]. В последнем случае этот упор на однородность ведет к формированию нации как совокупности всего, чем должно руководить государство, поскольку у всех ее элементов предположительно есть что-то общее. Государствам свойственна различная интенсивность гомогенизирующих усилий, которые в известной степени производны от того, какой властью обла-

дают политические элиты и с каким сопротивлением они сталкиваются. Возможно, этой закономерностью объясняется то, почему определенные государства, особенно в третьем мире, стремятся к менее радикальной гомогенизации, чем другие[15].

Как бы то ни было, институциональное закрепление представления об общности предполагает, что на виду сразу оказываются те, кому не посчастливилось иметь такие общие со всеми черты. Поэтому, фиксируя однородность либо общность в своих институтах как норматив, государственное строительство в то же время обусловливает социально-политическую важность различий — иными словами, в его рамках придается значение различиям таких показателей, как этничность, гендер, место жительства и раса, и каждый из них определяется как особый отличительный признак, существенный для государственного проекта гомогенизации. Таким образом, самым обширным из насущных вопросов для изучения национализма является анализ исторических процессов, результатом которых стала особая политическая форма — нации-государства, — по-разному сложившаяся в разных контекстах, а также исследование внутренней гомогенизации, которой эти нации-государства в своих различных контекстах стремились достичь. В каждом случае они добивались однородности в пределах локально варьируемых трактовок схожего и различного, заложенных в таких чертах, как класс, гендер, этничность и раса, впрочем, и это у них в разных местах происходило по-разному.

Как распад национального государства отражается на жизнеспособности и использовании нации как легитимирующего символа в политике?

В сегодняшнем мире участие легитимируется идеей нации или национального государства, даже если его классическая форма лишь несовершенно воплощается в данном эмпирическом случае. Хотя ученые, и не только они, сегодня стали подозревать, что современная форма государства если не отмирает, то переживает серьезное изменение собственной конфигурации[16]. Международная торговля оружием превратила в посмешище предполагаемую монополию государства на средства насилия. Небывалая подвижность капитала выражается в том, что он перемещается из областей с высокими налогами в области с низкими, многие государства лишаются части своих доходов и промышленной базы, а это ограничивает их способность к привлечению капитала или к формированию его потоков. Утечка капитала заставляет сегодня быть начеку любые национально-государственные правитель-

ства[17]. Возросший поток капитала и идущее вслед за ним перемещение масс населения, создавая пресловутый феномен транснационализма, совершенно беспрецедентным образом ставят под сомнение все эти произвольные, до сих пор принимавшиеся как данность, границы национальных государств[18]. В результате меняются и границы реального мира — взять, к примеру, развал Советского Союза, Чехословакии и Югославии, не говоря уже об угрозе отделения Квебека от Канады, Кельтского края от Великобритании и так далее, — а также безумие национальной релегитимации, причем не только там, где возникает вопрос о границах, но и в других местах[19]. В этом свете беспорядки в бывшей Югославии лишь более отчетливо указывают на то, что означает создание национального государства с использованием всех самых насильственных форм гомогенизации и очищения, а также установления и легитимации границ при помощи силы.

Как ни парадоксально, но все это происходит в момент, когда сама форма национального государства вытесняется с исторической сцены. Если, как утверждает географ и социальный теоретик Дэвид Харви[20], главную координирующую функцию в новом мировом порядке будет выполнять главным образом финансовый капитал, а не нации-государства со своими границами, то какие последствия это будет иметь для легитимирующего значения нации как символа в международной политике? Может быть, нация тоже держит курс на выход из игры, как утверждает Эрик Хобсбаум[21]?

У меня есть на этот счет некоторые сомнения. По-моему, больше похоже на то, что у нации снова меняются референтные группы (равно как и ее связь с капиталом), и знаком этих перемен служат те новые основания, на которых сейчас предлагается ее выделять, — примером здесь могут служить арабская нация или нация гомосексуалистов. Понижаются требования к размерам, необходимым нации для выживания. Вдобавок индивиды принуждаются к тому, чтобы идентифицировать себя с чем-то единственным — тем, кто мог бы иметь много таких привязанностей, во всех альтернативных вариантах отказывается (здесь, к примеру, уместно вспомнить потомков смешанных браков в бывшей Югославии), — в то время как в атмосфере ксенофобии и мультикультурализма эти идентичности превращаются в норму в качестве базовых элементов социально-экономической конкуренции и конфликтов. Отсюда следует, что, хотя известное нам понятие нации, возможно, и впрямь уже миновало пик своей актуальности, быть рожденным, как естественное состояние, по-прежнему будет иметь фундаментальное значение для человеческого опыта и научных исследований, хотя бы и в новых формах.

КЭТРИН ВЕРДЕРИ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Благодарю Памелу Болингер, Киру Косник и Мишель-Рольф Труийо за правку этого очерка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: *Eric Hobsbawm.* **Nations** and Nationalism since 1780: **Programme, Myth, Reality.** Cambridge, 1990. P. 16—24.

2. Ibid. P. 16.

3. Ibid. P. 18—20.

4. Такая форма отношений государства с подданым в случае с Румынией связана с «социалистической нацией». Вместо акцента на политических правах или этнокультурном подобии, социалистический патернализм постулировал моральные узы, связывающие подданных с государством, — это их права на долю в перераспределенном общественном продукте. Предполагалось, что подданные не являются ни политически активными гражданами, ни схожими между собой в этническом смысле: от них требовалось, подобно малым детям в семье, быть благодарными потребителями благ, которые выбирали для них правители. У подданного это скорее рождало чувство зависимости, чем участия, которое культивируется в гражданском обществе, или солидарности, возможной при этническом национализме.

5. См.: *C. B. Macpherson.* The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford, 1962; *Louis Dumont.* Religion, Politics, and Society in the Individualistic Universe // Proceeding of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1970, L. P. 31—45; и *Richard Handler.* Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, Wis., 1988.

6. Понятие «внутреннего» в том числе исторически связано с возникновением понятия о личности; признание этого внутреннего мира стало возможным благодаря психологическим исследованиям Фрейда и всех других, кто ввел понятие бессознательного. См.: *Hannah Arendt.* The Origins of Totalitarianism. N. Y., 1958.

7. *John Borneman.* Belonging to the Two Berlins: Kin, State, Nation. Cambridge, 1992. P. 339, n. 19.

8. Этому уделено основное внимание в той же работе.

9. Этот вопрос, в частности, поднимает Чарльз Тилли. См. статьи в: *Charles Tilly.* The Formation of National States in Western Europe. Princeton, 1975.

10. См., например: *Virginia Dominguez.* People as Subject, People as Object. Madison, Wis., 1990; *Handler.* Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, Wis., 1988; *Katherine Verdery.* National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausesku's Romania. Berkeley; Los Angeles, 1991; и *Brackette F. Williams.* Stains on My Name, War in My Veins: Guyana and the Politics of Cultural Struggle. Durham, NC, 1991.

11. Более подробно об этом см.: *Katherine Verdery.* Nationalism and National Sentiment in Post Socialist Romania // Slavic Review. 1993, 52 (summer).

12. См. *Brackette F. Williams.* A Class Act: Antropology and the race to Nation Across Ethnic Terrain // Annual Review of Anthropology. 18, 1989. P. 401—444.

13. Ibid. P. 426. Также см.: *David Campbell.* Writing Security: United States Foreign Policy and The Politics of Identity. Minneapolis, 1992. P. 8.

14. Ср.: *Ernest Gellner.* Nations and Nationalism, Ithaca, 1983.

15. Этот вопрос возник в диалоге с Мишель-Рольф Труийо.

16. См. прогнозы Хобсбаума в конце «Nations and Nationalism since 1780», а также любые

работы Чарльза Тилли, такие как Prisoners of the State // International Social Science Journal. Vol. 44, 1992. P. 329—342, и Coercion, Capital, and European States, A. D. 990—1990. Oxford, 1990.

17. *David Harvey*, The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford 1989. P. 164.

18. Логичней было бы назвать это «транс-государственностью».

19. *Kira Kosnick*. Boundaries and the Production of National Identity. Manuscript, authors files.

20. *Harvey*. The Condition of Postmodernity. P. 164—165.

21. *Hobsbawm*. Nations and Nationalism since 1780. P. 181—183.

СИЛЬВИЯ УОЛБИ

ЖЕНЩИНА И НАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В литературе о нациях и национализме редко поднимается вопрос пола, несмотря на общий интерес к особенностям участия различных социальных групп в националистических проектах. Ключевой темой в анализе наций являются те условия, при которых этническая группа может претендовать на статус нации, а затем и национального государства и по возможности достигать его[1]. Националистические движения обязательно опираются, причем неравномерно, на разные группы сочувствующих, и есть уже немало аналитических работ о различающемся классовом составе таких движений, их образовательном уровне и многообразии их социально-экономических и культурных переменных. Однако различиям в интеграции мужчин и женщин в национальный проект авторы всей этой литературы уделяли лишь незначительное внимание. В большинстве текстов по национализму вопрос пола не ставится как значимый[2]. Редкие и потому важные исключения в этом плане представляют Энлоу, Джайявардена, Ювал-Дэвис и Антиас[3]. Между тем произошло оживление интереса к родственному понятию гражданства, которое исторически формировало связь между «нацией» и «государством». Рассматривается «гражданство», как правило, в контексте макросоциальных сравнений, которые должны облегчить обсуждение социальных условий, способствующих достижению разных форм демократии[4]. Нам оно интересно тем, что связано с «нацией», и тем, что с его помощью мы, вероятно, сможем разобраться в степени интеграции в национальный проект. Однако имеющаяся литература о нем, несмотря на такой его потенциал, не затрагивает ни вопросов пола, ни, что, по-видимому, еще более удивительно, вопросов этничности и «расы».

По проблеме взаимосвязи гендера с гражданством, этничностью, нацией и «расой» существует пять основных позиций. Во-первых, есть аргумент, согласно которому гендер, существуя, не оказывает никакого влияния на сущность гражданских/этнических/национальных/«расовых» отношений[5]. Порой он выражается в предположениях о том, что существует или не существует патриархат, не особо пытаясь использовать или создать понятия, необходимые для более глубокой позиции[6]. Во-вторых, есть и симметрич-

ный ему аргумент о том, что гражданство/этничность/нация/«раса» со своей стороны существенно не влияют на сущность гендерных отношений[7]. Этот аргумент говорит, что неравенству полов свойственны общие черты во всех обществах и во все исторические эпохи и что все женщины подвержены угнетению, безотносительно к их документально зафиксированным различиям в этничности/национальности/«расе». Данную позицию не следует путать с идеей о том, что этничность не имеет значения в анализе общественных отношений. В-третьих, встречается аргумент, согласно которому такие системы общественных отношений должны пониматься как взаимодополняющие — чтобы можно было, например, говорить о двойном бремени, когда, скажем, темнокожая женщина страдает и от расизма, и от сексизма. Этим также предполагается, что расизм представляет собой дополнительное бремя угнетения, которое также приходится выносить некоторым женщинам и которое порождает различия и неравенство между ними. В соответствии с четвертым аргументом, этнические/национальные/«расовые» различия означают, что институты, играющие первостепенную роль в угнетении белых женщин, не играют такую же роль для женщин иной этнической принадлежности[8]. Например, можно сказать, что семья играет разную роль в гендерных отношениях различных этнических групп. Отсюда следует, что общей формы гендерной дифференциации и неравенства в различных этнических группах не существует. Согласно пятому аргументу, гендерные и этнические/национальные/«расовые» отношения значительно влияют друг на друга, тем самым требуя анализа динамики изменения их форм[9]. Поэтому также необходим анализ причинно-следственных взаимосвязей гендера и этнических/национальных/«расовых» различий и неравенства. Кроме того, во всех пяти позициях присутствует еще одна переменная — разное значение классовых и капиталистических отношений в каждом из данных анализов. Это последнее варьируется независимо от этих пяти перспектив.

ПОЛ, НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ

Между тем как в большинстве текстов о нации вопрос пола игнорируется, ряд авторов внесли довольно важную лепту в его раскрытие: это Ювал-Дэвис и Антиас, Джайявардена и Энлоу[10].

Во введении к своей книге[11] Энтиас и Ювал-Дэвис предполагают, что существуют пять основных путей вовлечения женщин в этнические и национальные процессы:

1. они отвечают за биологическое воспроизводство членов этнических коллективов;
2. они воспроизводят границы этнических/национальных групп;
3. они играют центральную роль в идеологическом воспроизводстве коллектива и передаче его культуры;
4. они являются носителями этнических/национальных различий — и, следовательно, объектом внимания и символом идеологических дискурсов, при помощи которых создаются, воспроизводятся и преобразуются этнические/национальные категории;
5. они участвуют в национальной, экономической, политической и военной борьбе[12].

Статьи сборника блестяще иллюстрируют эти положения. Они снабжают нас свидетельствами того, что женщины и гендерные отношения используются именно так, как предполагают редакторы. Они показывают, что пол значим в этнической/национальной практике, и что этническая/национальная практика значима для гендерных отношений.

Из книги становится понятной и важность для некоторых этнических/национальных проектов таких демографических факторов, как уровень рождаемости и, стало быть, бремя ответственности, возлагаемой на женщин в особые исторические моменты, когда для блага нации/«расы» нужно или, наоборот, не нужно рожать много детей. Клаг убедительно иллюстрирует оба типа ответственности своими конкретными исследованиями Британии[13], де Леперванш — исследованиями Австралии, где белых женщин поощряют, когда они рожают больше детей, а черных — нет[14], а Ювал-Дэвис указывает на аналогичные пункты программ израильских и палестинских националистов. Гибкость дискурса материнства, в отличие от его биологического постоянства, является темой Гейтскелл и Унтерхолтера, которые сравнивают изменения в идее материнства в национализме белых африканцев и Африканского национального конгресса в ходе XX века[15].

Антиас полагает, что женщины использовались как символ национальной идентичности в случае греко-киприотского национализма. Эту тему на примере Турции продолжает Кандиоти, хотя она также интересуется, всегда ли женщины будут оставаться пассивными символами вместо того, чтобы принимать активное участие в решении «женского вопроса»[16]. Ее интересует также, в какой мере идея пола используется национализмом, а в какой степени сама динамика женского вопроса определяет ход истории. Из статьи Оббо про Уганду очевидно, что женщины имеют свои интересы, будучи объектом притеснения, а не просто пешками в националистическом проек-

те[17]. Это вновь доказывает, что недостаточно считать, что национализм воздействует на пол только в каком-то одном отношении. Наконец, в работе Афшара женщины решительно покидают мир символов и отстаивают свои гендерные интересы в контексте борьбы за исламское возрождение в Иране[18].

Таким образом, пять главных ролей женщин в этнических/национальных процессах, обозначенных Антиас и Ювал-Дэвис, находят эмпирические подтверждения в статьях сборника. Однако остается вопрос о том, исчерпываются ли этими пятью ролями все основные точки пересечения гендерных отношений с отношениями этническими и национальными. Эти роли, конечно, важны, но они нуждаются в дополнении.

Во-первых, такая классификация отдает предпочтение идеологическому или культурному уровню, ибо к нему относятся три из пяти практик; из двух остальных одна является биологической, а другая — практикой «национальной экономической, политической и военной борьбы». Разделение труда, как ни странно, в этом списке отсутствует, если только оно не рассматривается как категориальный аспект биологии или культуры. Может быть, авторы полагают, что специфика разделения труда между полами в различных этнических/национальных группах соотносится с этническими/национальными разделениями только на символическом уровне? Или в анализе женского труда они считают основной категорию «биологического воспроизводства»? Эта последняя едва ли справится с такой ролью, поскольку деторождение есть только одна часть женского труда, хотя и существенная.

Второй и очень важный момент, не учтенный в данной классификации, заключается в том, что конфликт и поддержание границ между этническими/национальными группами одновременно является конфликтом между различными формами общественных иерархий, а не только различных культур. Даже наиболее сплоченная этническая/национальная группа почти всегда предполагает систему социального неравенства, и причем такую, в которой доминирующая(ие) группа(ы) обычно осуществляет(ют) контроль над «культурой» и политическим проектом «коллектива». То, что обществам, как правило, бывает свойственна система социального неравенства и доминирующая группа пытается руководить идеями, существующими в этом обществе, является социологической аксиомой. Поэтому можно ожидать, что в этнических/национальных конфликтах будут по-разному учитываться интересы членов такой группы. Стало быть, представители различных полов (и классов) будут питать и различный энтузиазм относительно «своего» официального этнического/национального проекта, в зависимости от того, в какой степени они согласны с приоритетами «своих» политических «лидеров». Может статься, что представители обоих полов и всех общественных

классов единодушно примут «этот» этнический/национальный проект, но такое вряд ли возможно, по крайней мере вопрос о данной возможности тоже стоит исследовать.

На самом деле и сама книга содержит свидетельства о варьирующемся отношении женщин и, конечно, их различных групп, различающихся по классовой принадлежности, образованию, сельскому или городскому проживанию и так далее, к этническому/национальному проекту лидеров «своего» сообщества. Такому напряжению, существующему между (крайне дифференцированными) гендерными группами и этническим/национальным проектом, посвящены некоторые самые сильные статьи, как, например, статья Ашфар об Иране. Иногда гендерный дискурс может меняться по мере того, как меняются и основания националистического движения (см. анализ перемен в национализме белых африканцев и Африканского национального конгресса в работе Гейтскелл и Унтерхолтер).

Антиас и Ювал-Дэвис придают большое значение участию женщин в этническом/национальном проекте, но оно ведь весьма различно, поэтому я считаю нужным уделить внимание именно вопросу о дифференциальном характере женского участия. Национальный проект может по-разному влиять на женщин и мужчин (и подгруппы таковых) и, следовательно, возбуждать в них энтузиазм разной силы.

Значение феминистских требований в формировании националистических требований обсуждает в своей статье Джаявардена[19]. Она утверждает, что феминистки наиболее активно выступали за эмансипацию женщин в рамках националистических движений «третьего мира» в конце XIX и начале XX столетия. Она показывает, что на закате XIX и на заре XX века в странах третьего мира националистические движения включали в себя существенные феминистские элементы. Она рассматривает свидетельства взаимосвязи феминизма с национализмом в Египте, Иране, Афганистане, Индии, Шри Ланке, Индонезии, Филиппинах, Китае, Вьетнаме, Корее и Японии. Все эти страны пережили империалистический гнет, и выявленные ею признаки феминизма связаны там с антиимпериалистическими националистическими движениями.

Джаявардена обсуждает мнения писателей «третьего мира» о том, что феминизм есть сугубо западное, декадентское, чуждое, пригодное разве что для буржуазии явление и отклонение от борьбы за национальное освобождение и социализм. Она рассматривает и соответствующую точку зрения Запада, согласно которой феминизм — это продукт Европы и Северной Америки, и если его можно найти в другом месте, то там он будет не более чем имитацией. Она возражает обеим данным позициям тем, что феминизм имеет свои

собственные корни в странах «третьего мира» и не привнесен туда с Запада. Однако она не намерена отрицать и влияние Запада, которое сыграло важную роль в осуществлении общественных изменений, косвенно способствовавших феминизму:

«Феминизм *не был* привнесен в «третий мир» с Запада, а скорее... исторические обстоятельства вызвали такие важные материальные и идеологические изменения, которые оказали воздействие на женщин, хотя влияние империализма и западной мысли, по общему признанию, входило в число существенных элементов этих исторических обстоятельств. Дебаты о правах и образовании для женщин в Китае шли уже в XVIII веке; в Индии начала XIX века развивались движения за социальную эмансипацию женщин; исследования других стран показывают, что феминистская борьба 60—80 лет назад началась во многих уголках Азии»[20].

Джаявардена хочет сказать, что феминизм не следует сводить к вестернизации, но это не значит, будто вестернизация была здесь совсем не при чем. Далее она утверждает, что освободительные движения женщин происходили в контексте националистических битв. Они «разыгрывались на фоне националистической борьбы за обретение политической независимости, утверждение национальной идентичности и модернизацию общества»[21], а «борьба за освобождение женщин была существенной и неотъемлемой частью движений национального сопротивления»[22].

Организация женщин вокруг собственных требований была тесно связана с националистическими движениями. Такие организации редко носили автономный характер, чаще они представляли собой крылья или дополнения националистических групп, в которых доминировали мужчины[23].

Подобным же образом Джаявардена доказывает, что экспансия капитализма явилась значимым фактором в создании материальных обстоятельств, которые вывели движение женщин в общественную сферу и привели их к феминизму, но капитализм не был непосредственной причиной феминизма. Он скорее создал условия, при которых феминистские требования стали возможными.

«Основные реформы, включавшие в себя избавление женщин от докапиталистических социальных ограничений разного рода, дающие им свободу движения, выводящие их из изоляции и облегчающие возможность работы вне дома, вполне гармонировали со стратегией капиталистических форм экономического производства и капиталистической идеологией. Во многих странах периоды реформ совпали с попытками развивать капитализм и использовать предложение дешевого женского труда в сфере фабричного производства и обслуживающем секторе экономики»[24].

Джаявардена отчетливо видит, что влияние таких экономических и социальных изменений на женщин имеет существенные классовые различия. Наибольшую выгоду развитие образования и доступность профессий принесли женщинам буржуазного и мелкобуржуазного слоев.

На этом основании Джаявардена утверждает, что феминистские и националистические движения не только тесно связаны между собой, но они также не могут быть осмыслены отдельно от понимания империализма и как местного, так и международного капитализма.

Стоит отметить хотя Джаявардена не затрагивает этот вопрос, — что многие страны «третьего мира» формально предоставляли женщинам избирательное право одновременно с мужчинами, в момент обретения ими национальной независимости. Поэтому истории демократических практик «третьего мира» столь сильно различаются с таковыми у «первого мира», где женское избирательное право обычно было отделено от мужского несколькими десятилетиями. Гражданство, национализм и пол тесно взаимосвязаны.

В то время как Джаявардена, а также Ювал-Дэвис и Антиас сосредоточивают внимание на взаимоотношениях женщины с нацией, Энлоу интересует значение пола в отношениях между нациями. Она исследует и международный порядок, и транснациональные образования и доказывает, что их невозможно понять до конца, не проанализировав гендерные отношения. Свой аргумент Энлоу строит на рассмотрении гендерной сущности институтов, составляющих международный порядок.

Приводя пример о связи пола и международной туристической торговли, она заключает, что формы развития туризма не могут быть поняты вне различных конструкций гендера и сексуальности, которые отражаются на видах путешествий — от комплексных туров «для респектабельной женщины» до секс-туризма для мужчин[25].

Энлоу исследует, каким образом иерархические отношения между нациями и формирование гендерно обусловленных культурных форм воздействуют друг на друга. К примеру, в колонизированных странах женские образы часто конструировались и поставлялись так, чтобы эротизм соседствовал с экзотикой, тем самым оправдывая имперское господство во имя «цивилизации». «Восточные» женщины как бы «нуждались» в «защите» со стороны европейских мужчин.

«Европейский «ориентализм» внушал мысль о неотразимой прелести этих культур, в то же время оправдывая европейское господство от имени «цивилизации». Образ мусульманской женщины, страдающей в своей чадре, был краеугольным камнем этой ориенталистской идеологии и имперской структуры, которая на нее опиралась»[26].

Энлоу утверждает, что основа конкретного вида гендерных отношений использовалась как оправдание колониального господства. Понятие «цивилизации» было насыщено идеями правильных гендерных устоев и форм отношений между полами.

«Поведение, достойное леди, являлось столпом империалистической цивилизации. Подобно здоровому образу жизни и христианству, женская респектабельность была призвана убедить как колонизаторов, так и колонизируемых в правоте и необходимости иностранного завоевания»[27].

Но не только женственность являлась вопросом имперской важности; это также касалось и мужественности. Энлоу предполагает, что британские лидеры были заинтересованы в поддержке надлежащих форм мужественности, обеспечивающей прочность империи. В частности, она считает, что Крымская и Бурская войны привели к инициативам по «исправлению» форм мужественности. Основание движения бойскаутов в 1908 году, инициатором которого стал Роберт Бэйден-Пауэлл, было реакцией против распространения венерических заболеваний, смешанных межрасовых браков и падения рождаемости, ведущих, как предполагалось, к закату Британской империи[28]. «Бэйден-Пауэлл и другие британские империалисты находили, что увлеченность спортом, вкупе с почтением к уважаемой женщине, и есть залог успеха Британской империи»[29].

Энлоу показывает, что националистические движения чаще рождались из мужского, нежели женского опыта: «национализм обычно проистекал из памяти, присущей мужчинам, из унижений и надежд, испытываемых мужчинами»[30]. Она полагает, что национализм был бы иным, если бы в строительстве такой культуры и проекте учитывался женский опыт. И развивает это положение далее: если бы его учитывали, то иными стали бы и сущность государственных отношений, и собственно международный порядок: «если бы побольше национальных государств возникло из идей и опыта феминистского национализма, то внутренние идентичности сообществ в рамках международной политической системы могли бы уравновешиваться идентичностями, возникающими из смешения национальностей»[31].

Энлоу размышляет о международном разделении труда, которым обусловлен столь дешевый труд женщин в странах «третьего мира». Она рассматривает различные патриархальные практики, «удешевляющие» женский труд, — в частности поддержание «семейных» отношений и подавление женских союзов. Международное значение доказывается рассмотрением использования этого труда транснациональными корпорациями. Национальные границы теряют свое значение для многонационального капитала и тем самым для женщин как трудящихся.

Аргумент Энлоу о роли пола в вопросах нации и международной жизни часто строится на анализе сексуальности. Так происходит, когда она рассуждает о мировой индустрии туризма, голливудском кино, роли женщин, занимающихся проституцией на военных базах, и женах дипломатов. Однако логика Энлоу не всегда такова: например, о положении женщин, трудящихся на мировых фабриках в Азии и в качестве домашней прислуги, она рассуждает иначе. Ее вывод заключается в том, что личное — это не только политическая, но и международная категория. Личное и гендер имеют значение повсюду — даже в международном порядке.

Ее аргумент о связи гендера с нациями и интернациональным порядком выглядит убедительным как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. Она умело показывает, как гендер обуславливает элементы международного порядка и как это влияет на международные отношения.

За ее исследовательским подходом стоят определенные теории международного порядка и гендера. В своем анализе Энлоу, вероятно, отдает предпочтение сексуальному и культурному уровням, придавая половому разделению труда значение более низкого уровня. Я с ней совершенно согласна, когда она включает в свой анализ женщин и международного порядка все виды оплачиваемого труда, домашнее хозяйство, сексуальность, культуру, насилие и государство. Однако я не решаюсь солидаризироваться со столь явным предпочтением сексуального и культурного уровней экономическому. Исследование, возможно, было бы полнее, если бы оно затрагивало и гендерную структуру собственно международных институтов. Поразительно, но данный аспект в нем совершенно отсутствует, если не считать редкие упоминания о МВФ.

В КАКОЙ МЕРЕ ЖЕНЩИНЫ УЧАСТВУЮТ В ОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ С МУЖЧИНАМИ?

Во второй половине своего очерка я хочу рассмотреть, в какой степени женщины разделяют групповую идентичность с мужчинами, в частности — один и тот же национальный проект. Под национальным проектом будет подразумеваться ряд коллективных стратегий, нацеленных на удовлетворение осознанных потребностей нации; сюда входит национализм, но могут включаться и иные стратегии. Я собираюсь отстаивать мысль о том, что между мужчинами и женщинами в данных вопросах часто бывают различия, и приведу некоторые их причины.

Во-первых, я хочу внести несколько предложений по выработке понятий, которые облегчат сравнение гендерных отношений между различными на-

циями и этническими группами. До сих пор дебаты в этой сфере сдерживались отсутствием простых макропонятий, в которых фиксировались бы значимые различия между моделями гендерных отношений на социетальном уровне.

Во-вторых, я рассмотрю причины того, почему женщины и мужчины поразному соотносят себя с национальными проектами и могут быть в неодинаковой степени привержены различным типам макроуровневых групп. Данная задача осуществляется в три этапа. Первый — это рассмотрение степени и условий, в которых национальные проекты одновременно оказываются гендерными проектами. Второй этап — это рассмотрение взаимосвязей национализма, милитаризма и гендера и их отличий. Третий — это обсуждение вопроса о том, свойственно ли гендерным отношениям то же пространственное распределение, что и классовым и этническим отношениям, и различен ли пространственный диапазон тех социальных явлений, с которыми связаны обязательствами мужчины и женщины. Этот последний вопрос мы рассмотрим при помощи двух примеров: гендер, нация и ЕЭС, а также феминизм, национализм и вестернизация.

ПОНЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗНЫХ ФОРМ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мы должны уметь постигать различные формы гендерных отношений в теориях и понятиях. В настоящий момент большинство авторов придерживается одной из трех позиций: 1) существует только одна основная форма гендерных отношений, а различия незначительны[32]; 2) диапазон различных практик столь велик, что всякий пример в нем уникален, поэтому теоретический подход к гендеру невозможен (постмодернистская позиция); 3) здесь либо царит, либо отсутствует патриархат[33]. Первая позиция неверна эмпирически; вторая — сама по себе пораженческая и отрицает возможность любого социально-научного проекта; третья наивна и неверна. Я занимаю промежуточную позицию между первыми двумя, согласно которой разработка понятий среднего уровня является важной частью социологического предприятия, и утверждаю, что в формах гендерных отношений существуют различия, которые можно свести к нескольким главным типам.

Принципиальный недостаток многих теорий патриархата — это содержащееся в них предположение о том, что существует лишь единственный базис патриархальных отношений, который определяет также другие гендерные аспекты. Сам этот базис у разных теоретиков различен, но все они разделяют эту модель базиса-надстройки. Именно данное обстоятельство делает

изучение гендерных отношений столь статичным и сильно затрудняет анализ изменений, ради которого придется выйти за рамки этой схемы[34].

Решением данной проблемы может быть теоретический подход к гендерным отношениям как к совокупности аналитически разделяемых структур. Таковых шесть: домохозяйство, занятость, государство, насилие, сексуальность и культура. Эти структуры могут выражаться по-разному, тем самым создавая разные формы патриархата. Можно выделить две его главные формы: частную и общественную. Для частного патриархата характерно господство патриархальных отношений в сфере домохозяйства. Общественный патриархат господствует в сфере занятости и государства. При частном патриархате способ поражения женщины в правах — индивидуальный, и осуществляется оно ее мужем или отцом. В рамках общественного патриархата он коллективный, осуществляется многими мужчинами, действующими сообща. При частном патриархате доминирующую стратегию можно определить как стратегию исключения, ибо женщины исключаются из сферы общественной деятельности и таким образом ограничиваются домашней. При общественном патриархате доминирует стратегия обособления, когда женщины допускаются в любые сферы, но обособляются там и ставятся в зависимость от мужчин[35].

Форма патриархата никак не связана со степенью неравенства полов. Это важный момент, поскольку он позволяет нам сравнивать формы гендерных отношений, не исходя автоматически из того, что их различия обусловлены неравенством полов. Это другой, причем существенный, вопрос. Участие в общественной сфере может повлечь большую свободу для женщин, в частности свободу самостоятельного заработка или развода в случае неудачного брака; однако порой это означает просто еще один труд в дополнение к домашней работе и возможность быть оставленной по прихоти мужа.

Британию XIX века в основном устраивала частная модель, между тем как в 1990-х годах произошел поворот к общественной форме. Но здесь этнические группы Британии отличаются друг от друга. Афро-карибским в наибольшей степени присуща общественная форма, азиатским — частная, в то время как белые британцы занимают промежуточную позицию. Про Иран можно сделать вывод, что при шахе там начался временный отход от частной формы в пользу общественной, а теперь вновь произошло возвращение к частной форме по воле исламских фундаменталистов.

У этих форм патриархата есть подтипы, которые определяются взаимоотношением доминирующей и других структур. Общественный патриархат можно подразделить на рыночную форму и государственную. США представляют собой рыночную форму общественного патриархата, между тем как

Советский Союз — государственную, а Западная Европа лежит где-то посередине.

С этими понятиями можно приступать к сравнительному анализу. Наш нижеследующий анализ основывается на них.

НАЦИОНАЛИЗМ И ЖЕНЩИНЫ

Заинтересованы ли женщины в национальных/этнических/«расовых» проектах в той же степени, что мужчины? Тот же самый ли это проект, что и мужчин? Каковы границы женских националистических/этнических/«расовых» и других крупномасштабных социальных проектов: такие же, как у проектов мужчин, более глобальные или более локальные?

Антиас и Ювал-Дэвис рассматривают, каким образом женщины становятся участницами национального проекта и, в особенности, как по-разному, но одинаково они вовлекаются в этот проект — то добровольно, то простотаки страстно втягиваясь в борьбу (см. выше роль номер пять в изложении Антиас и Ювал-Дэвис), то вынужденно, когда порой их рассматривают как производительниц «расы» (роль номер 1), а чаще всего более буднично — как воспроизводящих культуру путем социализации детей (номера 2 и 3), то пассивно — как символы (номер 4). Похоже, Антиас и Ювал-Дэвис придерживаются того взгляда, что женщины привержены национальному/этническому проекту ничуть не менее, чем мужчины, но иногда это происходит у них иным образом.

Я уже выразила свои сомнения по этому поводу. Иногда это действительно так, а иногда нет. Временами женщины могут поддерживать иной национальный проект, нежели мужчины. В борьбе за определение того, из чего складывается *данный* национальный проект, женские голоса обычно звучат слабее мужских. Стало быть, гендерные отношения кое-что значат в определении того, на чем строится *данный* национальный проект. Там, где в национальный проект включены интересы женщин, женщины более охотно оказывают ему поддержку. В работе Джаявардены о феминизме и национализме в «третьем мире» начала XX века показано, насколько всеобъемлющими могут быть такие проекты благодаря одной только борьбе женщин.

Оказывают ли пол и этничность/нация/«раса» взаимное влияние друг на друга? Между тем как Ювал-Дэвис и Антиас отчетливо продемонстрировали влияние нации на пол, я полагаю, что речь здесь надо вести о взаимовлиянии (см. дальнейшее обсуждение милитаризма и национализма). Более того, специфика женского отношения к этническому/национальному про-

екту отражается на самом проекте и его связях с другими этническими/национальными группами.

Вопрос о том, *чьим* бывает национальный проект, уже обсуждался применительно к работе Энлоу. На примере, который последует ниже, я доказываю необходимость новой теории «формирования нации», учитывающей этот момент.

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ЦИКЛЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ?

Одно из допущений работ Манна[36] и Тернера[37] заключается в том, что в образовании нации (или образовании государства, или национального государства) есть критический период. У Манна это ключевая идея в анализе социетальных вариаций развития того, что он считает основными политическими институтами, составляющими демократию. Такое же ключевое допущение делает Тернер, разбирая моменты формирования различных форм гражданства.

Я утверждаю, что в формировании наций часто вообще не бывает ключевого периода. Во многих странах гражданство получили не все люди одновременно, но разные группы в разные периоды обрели разные его аспекты. Страны различаются тем, что белые мужчины, белые женщины, а также мужчины и женщины групп этнических меньшинств обрели гражданство либо одновременно, либо нет. Манн и Тернер делают ложный ход, обобщая опыт гражданства белых мужчин. Как показал Смит, формирование тех этнических групп, которые в дальнейшем составят нацию, происходит в течение очень долгого времени[38].

Тернер, вероятно, полагает, что когда в 1840-х годах в Соединенных Штатах белые мужчины завоевали себе избирательное право, то таким образом для страны были завоеваны демократия и гражданство. Хотя темнокожие мужчины технически не имели права голоса до 1880-х, а на практике, принимая во внимание законы Джима Кроу, вплоть до движения за гражданские права в конце 1960-х. Белые женщины были лишены его до 1920 года, а черные, хотя формально получили его в 1920-м, фактически должны были ждать до тех пор, пока новые раунды борьбы не принесли им право участия в выборах в конце 60-х, как и черным мужчинам. История гражданских прав коренных американских индейцев — это, безусловно, история утраты гражданства после завоевания. Итак, есть пять значимых дат: период завоевания, 1840-е, 1880-е, 1920-е и конец 1960-х, с каждой из которых связана определенная эпоха социальной борьбы. Не идет ли, таким образом, речь о несколь-

ких стадиях национального строительства? Разумеется, по-прежнему верно, что формально структура институтов, образующих механизм демократии в Соединенных Штатах, была создана во вторую волну борьбы, но эти пустотелые институты не составляли подлинной демократии.

В большинстве стран «первого мира» политическое гражданство предоставляется мужчинам и женщинам с интервалом в несколько десятилетий. Этим их ситуация весьма отлична от многих стран «третьего мира», где женщины завоевывают право участия в выборах в одно и то же время с мужчинами — в момент национального освобождения от колониального господства. Если большинство мужчин «первого мира» получили полные гражданские права еще до обретения политического гражданства, то для женщин этих стран процесс получения гражданских прав едва ли еще завершен, поскольку они совсем недавно получили право распоряжаться собственным телом, возможность расторгать браки и право на любую форму занятости. То есть для женщин «первого мира» характерно обретение прав в обратном порядке — политических раньше, чем гражданских. Этот факт напрямую противоречит тезису Маршалла.

Говорить о «циклах реструктуризации» национального государства более уместно, чем пользоваться понятием единственного критического периода в «формировании нации». Я взяла этот термин из работы Мэсси по экономической реструктуризации[39]. Он полезен для введения представления об изменении, происходящем на постоянных основах, один пласт за другим, и каждый из них образует отложение, существенно влияющее на будущие практики.

Имеет значение и вопрос о том, охватывает ли обретение обществом гражданских прав всех его взрослых членов сразу или только их часть в конкретный период. В Соединенных Штатах этот разрыв переваливает далеко за сотню лет — с 1840-х по конец 1960-х годов. В Британии он короче: женское избирательное право (1928) отделяли от мужского несколько десятилетий. Во многих молодых независимых африканских и азиатских обществах оно было предоставлено всем одновременно — вместе с обретением национальной свободы в 1950-е и 1960-е годы. Вероятно, нелишне вспомнить о том, что в начале 1960-х в некоторых африканских и азиатских государствах уже было всеобщее избирательное право, между тем как в США — лишь частичное. Предоставление всем полных гражданских прав, несомненно, являлось для ранее зависимых колоний одним из способов претендовать на статус нации.

Реструктуризация государств в терминах степеней демократизации имеет ряд интересных глобальных моделей. Большинство европейских и севе-

роамериканских государств в период с XVIII до середины XX века предоставляли гражданские права разным слоям населения постепенно. Многие постколониальные государства предоставили всем сразу полные гражданские права в середине XX века. Некоторые страны утратили демократию. Такое обычно случается разом, вследствие военного переворота, когда все люди одновременно лишаются права голосовать. Однако, с 1979 года появилось серьезное исключение из данной ситуации: с подъемом исламского фундаментализма, когда власть перешла к мусульманскому духовенству, как, например, в Иране, в гражданских и политических правах было отказано только женщинам.

ЖЕНЩИНЫ, МИЛИТАРИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ

Взаимосвязь пола и национализма может быть опосредована в различных отношениях женщин и мужчин к милитаризму. Самая известная попытка связать эти темы звучит у Вирджинии Вульф в «Трех гинеях», где женщина-пацифистка говорит: «Как женщина, я не принадлежу ни к какой стране. Как женщина, я не хочу иметь никакой страны. Как женщина, я считаю своей страной весь мир»[40]. Часто, хотя отнюдь не всегда, принято думать, что женщины более миролюбивы и менее воинственны, чем мужчины[41]. Некоторые авторы убеждены, будто больший пацифизм женщин проистекает из особых аспектов гендерной идеологии[42]. Подходящее это объяснение или нет, но эмпирически факт остается фактом: мужчины и женщины готовы на вооруженную защиту националистических проектов, поддержку движений за мир или политиков, расположенных к наращиванию военной мощи, в неодинаковой мере[43]. Вопрос в том, есть ли связь между такой меньшей воинственностью и поддержкой национализма. Отражается ли женское предпочтение ненасилия на их позиции по «национальному» проекту таким образом, что они оказываются менее готовыми к достижению националистических целей при помощи силы, чем мужчины? Если они менее готовы к использованию определенных средств для достижения данных целей, то выглядят ли они от этого в меньшей степени националистами и означает ли это, что они на самом деле таковы? То есть является ли меньшая воинственность женщин причиной их меньшего национализма? Или это значит, что они привержены какому-то иному национализму? Или женщины оказывают больше поддержки транснациональным проектам?

Ярчайший пример, который говорит о связи между женской склонностью к ненасилию и большей степенью их интернационализма, являет женский

лагерь мира 1980-х годах в Гринхэм Коммон, этот образчик свободных международных объединений женщин в лагеря мира в знак протеста против ядерного оружия, войны и социальных систем, которые питают милитаризм. Женские мирные инициативы могут рассматриваться здесь как фактор, влияющий на существо национального проекта. Другим современным примером объединения, в котором взаимосвязаны антимилитаризм и интернационализм, служит движение «зеленых». Это политические группы, заявляющие о себе и в парламенте, и на иных политических сценах, выступающие за экологически выверенные меры и включающие в себя феминистскую программу в качестве неотъемлемой части своей политики. Им свойственно глубоко интернационалистическое мировоззрение, сторонники которого найдутся и в «третьем мире»[44], и в «первом»: партия «зеленых» боролась на выборах в странах ЕЭС как в большей степени европейская партия, чем любая другая политическая группировка. Здесь экологическая политика, феминизм и интернационализм сливаются в единую политическую программу. Дальнейшие свидетельства связи женщин и пацифизма можно выявить в опросах общественного мнения, которые исправно показывают, по крайней мере в Британии и США, что женщины менее склонны поддерживать военизированные способы защиты нации[45].

Взаимосвязь национализма и милитаризма может быть и обратной. Здесь большая приверженность женщин миру и оппозиция милитаризму могут рассматриваться как вытекающие из их меньшей привязанности к «собственной» нации. Не потому ли женщины куда реже находят войну на националистической почве стоящей свеч, что «победоносный» результат принесет им не столь много подлинных выгод, как мужчинам, и в меньшей степени изменит их положение в обществе, чем положение мужчин? В то время как кое-кто из мужчин будет сдвинут с руководящих позиций на подчиненные, с женщинами, в свою очередь, такое вряд ли произойдет. И наоборот: менее ли выражен зазор между мужским и женским милитаризмом в тех обществах, где женщинам вследствие большего равенства полов есть за что побороться в подобных конфликтах?

Тот факт, что женщины, как правило, в меньшей степени поддерживают милитаризм, таким образом, по-разному влияет на взаимоотношения пола с национализмом. Здесь мы видим также большую нацеленность женщин на мир и сотрудничество между нациями, чем на воинствующий национализм. Лозунг «зеленых» «думай глобально, действуй локально» очень близок к типичной практике феминисток и женщин в целом.

ГРАНИЦЫ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Таким образом, политическая активность женщин может иметь иной пространственный диапазон, нежели активность мужчин. Я полагаю, что женская политическая активность, как правило, носит более локальный и менее националистический характер, чем активность мужчин. Прежде чем обсуждать этот вопрос далее, я намерена исследовать различия в важности ряда крупномасштабных политических организаций для женщин и мужчин.

Женщины реже мужчин участвуют в формальной избирательной политике. Женщин чаще можно встретить в выборных органах местного, чем национального управления. В Британии после выборов 1987 года женщины составили 6,6 процента членов Палаты общин, между тем как в результате выборов 1985 года в местные советы — 19 процентов управляющих на местах. Существует расхожее представление, будто женщины не создают крупномасштабных национальных организаций. Однако на самом деле такие организации есть. Это массовые, национальные женские организации, например Институты женщин, Гильдии городских женщин, Союзы матерей. Так что не следует преувеличивать тезис о различии пространственных масштабов мужских и женских политических организаций. Тем не менее часто считается, что женщины активнее мужчин действуют в организациях меньшего территориального охвата.

С целью отделить друг от друга разные социальные модели и группы я использовала разнообразные понятия и категории — этнической группы, «расы» и нации. Кроме этих, есть еще ряд других — религия, империя, общий язык. Последние часто используются для проведения различий между мужскими группами. Поэтому применительно к гендеру вопрос логично поставить так: одинаковы ли понятия, которые указывают на различия между мужчинами, и понятия, используемые для обозначения различий между женщинами? И вообще идентичны ли различия между мужчинами различиям между женщинами или нет? Характерна ли для женщин такая же привязанность к «своим» этническим и прочим группам, защита их интересов и тому подобное, как для мужчин?

На эти вопросы есть несколько вариантов ответов. Во-первых, если считать, что интересы мужчин и женщин идентичны, то вряд ли будет возможно обособить их друг от друга. Однако такое представление в существенной мере несостоятельно. На самом деле мужчины и женщины занимают различное положение в обществе и поэтому имеют различные интересы. Однако отражаются ли данные различия на различиях на уровне этнического/национального/«расового»? Во-вторых, если женщины страдают или, напро-

тив, имеют выгоду от этнического доминирования наравне с мужчинами, тогда у них могут быть одинаковые этнические/национальные/«расовые» интересы. В-третьих, различным этносам/нациям/«расам» присущи различные модели гендерных отношений, из которых одни могут считаться предпочтительней, чем другие. На этой почве могут рождаться различные гендерные оценки, касающиеся достоинств данного этнического/национального/«расового» проекта. Это по-прежнему зависит от тех же этнических/национальных/«расовых» границ, что и опыт мужчин, но уже может повлечь за собой различие в оценке проектов этничности/нации/«расы» мужчинами и женщинами (или, точнее сказать, некоторыми из мужчин и некоторыми из женщин). В-четвертых, если учесть, что этничность, нация, «раса», религия, язык и другие критерии границ между социальными группами часто пересекаются, но обычно не совпадают, то, возможно, одни из этих границ будут более значимыми для женщин, а другие — для мужчин. Например, для женщин религиозный критерий границ может оказаться более важным, чем «национальный», чего никак нельзя будет сказать о мужчинах, так что если две эти системы находятся в конфликте друг с другом, то мужчины и женщины, вероятно, будут расходиться во взглядах. В таких случаях могут быть затронуты вопросы о связи милитаризма и национализма. В-пятых, большим и малым группам могут быть присущи большие или меньшие различия в гендерных дискурсах. (По предположению Джиллиган, женщины имеют иные критерии моральной оценки[46].)

ЖЕНЩИНЫ, НАЦИЯ И ЕВРОПА

Перемены в отношениях между государством (Великобританией) и наднациональным образованием (ЕЭС) иллюстрирует проблема различных ограниченных единиц, обладающих различными гендерными отношениями. Она также доказывает, как важно видеть в истории государства не единственный критический период формирования, вопреки рассмотренному выше аргументу. Гендер, этничность и класс различным образом соотносятся с «нацией», государством и наднациональными институтами, подобными государству. Это потому, что факторы, детерминирующие гендер, класс и этничность, различны. Стало быть, национальное государство имеет неодинаковое значение в их развитии.

Пример такого влияния можно найти в развитии ЕЭС. Центральные институты ЕЭС долго поддерживали практику «равных возможностей»[47]. Формально она утвердилась в ЕЭС по Римскому договору, который успешно выполняет роль конституции наднационального Европейского сообщества. Эти

формальные правила нашли эффективное применение в жизни отчасти благодаря действиям некоторых руководителей ЕЭС. Также совершенно очевидно, что отнюдь не в интересах тех стран, в которых законодательно закреплено равенство возможностей, позволять другим странам использовать вспомогательный женский труд, так как это может привести к подрыву их промышленности. Непокорные национальные государства были приведены в соответствие с этой линией с помощью постановлений Европейского Суда и директив комиссий ЕЭС, за которыми последовали изменения в национальных законодательствах.

В Соединенном Королевстве эти изменения не были восприняты пассивно; им предшествовала долгая и сложная история сопротивления, чередующегося с согласием. В частности, представители британских властей в органах ЕЭС, как правило, выступали против расширения политики равных возможностей. Они пользовались правом вето, дабы предотвратить распространение политики равных возможностей ЕЭС на отпуск по уходу за ребенком и частично занятых работников. В силу этого гендерная политика, предпочитаемая британским руководством, отражалась на действиях ЕЭС. Тем не менее многие меры все-таки были навязаны упорствующим британским властям. Одной из наиболее важных являлась поправка «о равной стоимости» к законодательству о равенстве в оплате труда. Это существенно расширило возможности женщины требовать равной с мужчиной заработной платы. Для этого ей больше не приходилось искать мужчину, выполняющего «ту же или похожую» работу, что в условиях профессиональной сегрегации было совсем не просто. Теперь она могла требовать равной оплаты с мужчиной, чья работа имела ту же стоимость, что и ее собственная (это обычно устанавливалось неким методом оценки труда). В США, там, где вводились подобные меры, они часто влекли за собой 20-процентное увеличение женского заработка. Десятки тысяч таких же случаев сегодня находятся в процессе рассмотрения британскими промышленными судами.

Здесь мы видим, как наднациональное образование оспаривает и изменяет гендерные отношения в национальном государстве. Объяснение данного факта основывается на двух ключевых моментах. Во-первых, это дифференцированное представительство женских интересов на уровне наднационального органа, ЕЭС, в отличие от национального — например, британского государства. Во-вторых, это отношения между ЕЭС и британским государством.

Гендерные отношения в сегодняшней Великобритании невозможно понять до конца, не проанализировав взаимоотношения Британского государства с ЕЭС, то есть, вопросы «нации» и «государства» играют существенную роль

в изменении современных британских гендерных отношений. Чем больше британское государство утрачивает независимость от своего визави — ЕЭС, тем более крепнут и, видимо, будут крепнуть впредь законодательство и практика равных возможностей. В этом смысле потеря британского суверенитета — в интересах женщин.

ФЕМИНИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ И ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ

Другим примером транснациональной категории, применимой к гендерным отношениям, является «вестернизация». Тема возможной связи между феминизмом и вестернизацией важна в вопросах политической мобилизации вокруг националистических проектов, а также при рассмотрении темы феминизма и антифеминизма[48]. Является ли феминизм транснациональным феноменом или ему свойственна национальная и этническая специфика?

В «третьем мире» критика феминизма часто основывается на том, что, во-первых, у него западные истоки и, во-вторых, это делает его менее уместным в этих странах, чем если бы он имел в них свои, национальные корни. Здесь на самом деле возникает еще два вопроса: является ли феминизм транснациональным политическим движением? И западного ли он происхождения?

Дело в том, что род требований, выдвигаемых феминистками, не носит национальной окраски. Кроме того, феминистки обычно читают труды феминисток из других стран. Но также верно и то, что большое количество феминистских произведений родилось на Западе.

Однако это не значит, будто феминизм не может быть порожден местными условиями. Джаявардена приводит сильные аргументы в пользу того, что движения феминизма в «третьем мире» были организованы женщинами «третьего» же мира в их собственных интересах, как уже обсуждалось выше[49]. Эванс показывает, что первая волна феминизма имела место не только во многих европейских странах, включая Россию, а также в Австралии и Северной Америке, но что также существовали и международные феминистские организации[50].

Вопрос, конечно, в том, подвергаются ли женщины в разных странах одним и тем же формам подчинения. Если да, то, видимо, женщины разных стран должны выражать и аналогичные требования. Тогда логично предположить, что литература, написанная по этим проблемам, и тактика, выработанная по ним, в одной стране будут уместными и в другой. Иными словами, есть формы феминизма, имеющие международное значение. Такие авторы, как Джаявардена и Эванс, свидетельствуют, что феминистки по всему

миру были убеждены в подобной общности своих движений. То есть феминизму и моделям гендерных отношений присущи значительные транснациональные аспекты.

Однако не стоит недооценивать и значения «упрека» в том, что феминизм и продвижение женщин в публичную сферу имеют западные истоки. Даже если он несправедлив, это ничуть не умаляет важности данного утверждения в контексте национальной борьбы. Вопрос о том, насколько мужские элиты склонны расценивать женское присутствие в общественной сфере как западный стиль, часто относится к области локальной борьбы. Кроме того, «западное» трактуют по-разному. Порой эпитет «западный» объединялся с понятием «современного» (как в Турции времен Ататюрка и в Иране при шахе), и тогда он содействовал внедрению мер, направленных на повышение роли женщин в государственной сфере. В других случаях эпитет «западный» ассоциируется с образом «ненавистного чужака и империалиста-угнетателя», и тогда связанные с ним меры препятствуют выдвижению женщин в публичную сферу (например, в Иране при Хомейни). Таким образом, соединение феминизма или присутствия женщин в общественной жизни с понятием «западный», в зависимости от обстоятельств, может либо способствовать, либо препятствовать таким преобразованиям. Анализ того, какие обстоятельства приводят к каждому из результатов, требует рассмотрения не только вопросов пола, но также вопросов этничности/нации/«расы» и международного порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы пола невозможно анализировать вне контекста этнических, национальных и «расовых» отношений; но и эти последние не могут рассматриваться в отрыве от пола. И дело не в том, чтобы просто дополнить один анализ другим; скорее они должны влиять друг на друга, находясь в динамичной связи.

Модели гендерных отношений подчас занимают те же пространственные сектора, что и отношения классов, этносов, наций и «рас», но чаще это бывает не так. Из имеющихся в нашем распоряжении фактов видно, что в общей пропорции политической активности женщин и мужчин активности первых присущ одновременно более глобальный и более локальный характер, чем активности вторых. Однако, поскольку такие свидетельства ограничены, данный вывод имеет пробный характер. Активность женщин реже, чем активность мужчин, выходит на национальный уровень. Общие черты в сущности гендерных отношений иногда выходят за пределы национальных

границ, а также этнической и «расовой» специфики. В то же время «персональное» является обычно политическим.

В отношениях между феминизмом и национализмом решающую роль играет милитаризм, поскольку мужчины и женщины чаще всего, хотя не всегда, по-разному воспринимают войну. Это может означать, что женщины в одно и то же время менее воинственны и менее националистичны, так как в милитаризме обычно усматривают неотъемлемый аспект национального проекта.

За осуществление национального или этнического проекта будут бороться социальные группы, различающиеся во многих отношениях, но прежде всего по классу и полу. Таким образом, отношения между нациями отчасти являются результатом многих локальных, специфически гендерных столкновений.

Сегодня борьба за гражданские права — это демократический проект. Согласно общеизвестному политическому дискурсу, это ведет к полному участию всех взрослых, независимо от «расы», этнической принадлежности, пола или веры, в государственной жизни. Это также национальный проект, причем, несомненно, такой, посредством которого «нация» как проект хочет добиться законного статуса в глазах и жителей страны, и «международного сообщества». Ученым-обществоведам следует уделять больше внимания именно новому значению термина «гражданин», нежели ограниченному прежнему значению, принятому в древнегреческих городах-государствах, где оно не распространялось на женщин, рабов и «чужаков».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. *Anthony D. Smith.* Theories of Nationalism. L., 1971, и The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.

2. См. *Ernest Gellner.* Nations and Nationalism. Oxford, 1983; *Elie Kedourie.* Nationalism. L., 1966; *Smith.* Theories of Nationalism и The Ethnic Origins of Nations.

3. *Cynthia Enloe.* Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. L., 1989; *Kumari Jayawardena.* Feminism and Nationalism in the Third World. L., 1986; *Nira Yuval-Davis and Floya Anthias* (eds.). Woman — Nation — State. L., 1989.

4. См. *Michael Mann.* Ruling Class Strategies and Citizenship // Sociology. Vol. 21, no. 3. 1987. P. 339—354; *Brian Turner.* Citizenship and Reformism: The Debate over Reformism. L., 1986, и Outline of a Theory of Citizenship // Sociology. Vol. 24, no. 2. 1990. P. 189—217.

5. Например, *Michael Mann.* A Crisis in Stratification Theory? Persons, Households/Families/Lineages, Genders, Classes and Nations // Gender and Stratification / Ed. Rosemary Crompton and Michael Mann. Cambridge, 1986.

6. Ср.: *Michael Mann.* Gender and Stratification, и A History of Power form the Beginning to A. D. 1760. Vol. 1: The Sources of Social Power. Cambridge, 1986; *Brian Turner.* The Body and Society. Cambridge, 1987.

7. Например, *Mary Daly.* Gyn/Ecology: The Methaethics of Radical Feminism. L., 1978.

8. Например, ношение колокольчиков.

9. Например, *Enloe.* Bananas, Beaches and Bases; *Jayawardena.* Feminism and Nationalism; *Nira Yuval-Davis and Floya Anthias.* Introduction, Woman — Nation — State.

10. *Nira Yuval-Davis and Floya Anthias* (eds.). Woman — Nation — State; *Enloe.* Bananas, Beaches and Bases; *Jayawardena.* Feminism and Nationalism.

11. *Nira Yuval-Davis and Floya Anthias.* Introduction, Woman — Nation — State.

12. Ibid. P. 7.

13. *Francesca Klug.* «Oh to be in England»: The British Case Study // Woman — Nation — State / Ed. Nira Yuval-Davis and Floya Anthias.

14. *Marie de Lepervanche.* Women, Nation and State in Australia // Woman — Nation — State.

15. *Deborah Gaitskell, Elaine Unterhalter.* Mothers of the Nation: A Comparative Analysis of Nation, Race and Motherhood in Afrikaner Nationalism and the African National Congress // Woman — Nation — State.

16. *Floya Anthias.* Women and Nationalism in Cyprus // Woman — Nation — State; *Deniz Kandyoti* (ed.). Women, Islam and the State. L., 1991.

17. *Christine Obbo.* Sexuality and Domination in Uganda // Woman — Nation — State.

18. *Haleh Afshar.* Women and Reproduction in Iran // Woman — Nation — State.

19. Feminism and Nationalism.

20. Ibid. P. 2—3.

21. Ibid. P. 3.

22. Ibid. P. 8.

23. Ibid. P. 259.

24. Ibid. P. 256.

25. Ср.: *Swasti Miller.* Common Fate, Common Bond: Women in the Global Economy. L., 1986; *John Urry.* The Tourist Gaze. L., 1990.

26. Например, *Enloe.* Bananas, Beaches and Bases. P. 44.

27. Ibid. P. 48.

28. Ibid. P. 49—50.

29. Ibid. P. 49.

30. Ibid. P. 44.

31. Ibid. P. 64.

32. Например, *Daly.* Gyn/Ecology.

33. Ср.: *Michael Mann.* Gender and Stratification и The Sources of Social Power; и *Turner.* The Body and Society.

34. См. Firestone // Sylvia Walby. Theorizing Patriarchy. Oxford, 1990.

35. Более полное представление можно получить по: *Walby.* Theorizing Patriarchy.

36. *Mann.* Ruling Class Strategies.

37. *Turner.* Theory of Citizenship.

38. *Smith.* Ethnic Origins of Nations.

39. *Doreen Massey.* Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. L., 1984.

40. *Virginia Woolf.* Three Guineas. L., 1938.

41. См.: *Erika Gudworth.* Feminism and Non-Violence: A Relation in Theory, in History and Praxis. Unpublished MSc dissertation. London School of Economics, 1988; *Sybil Oldfield.* Women Against the Iron Fist: Alternatives to Militarism, 1990—1989. Oxford, 1989.

42. См. *Sara Raddick.* Maternal Thinking. Boston, 1989.

43. *Beatrix Campbell.* The Iron Ladies: Why do Women Vote for Tory?. L., 1987; *Gudworth.*

Feminism and Non-Violence; *Hester Eisenstein.* Contemporary Feminist Thouhgt. L., 1984; *Cynthia Enloe.* Does Khaki Become You? The Militarization of Women's Lives. L., 1983.

44. См. *Vandana Shiva.* Staying Alive: Women, Ecology and Development. L., 1989.

45. См. *Zilla Eisenstein.* Feminism and Sexual Equality: Crisis in Liberal America, N. Y., 1984.

46. *Carol Gilligan.* In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge, Mass., 1982.

47. См. *Jeanne Gregory.* Sex, Race and the Law: Legislating for equality. L., 1987; *Catherine Hoskins.* Women's Equality and the European Community // Feminist Review. 1985, 20 (summer). P. 71—88.

48. См. *Jayawardena.* Feminism and Nationalism.

49. Ibid.

50. *Richard Evans.* The Feminists: Women's Emancipation Movements in Europe, America and Australia 1840—1920. L., 1977.

ЭРИК ДЖ. ХОБСБАУМ

ПРИНЦИП ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

Я говорю с вами не просто как историк, который интересовался развитием национализма и кое-что об этом написал, но как лицо, действующее в рамках того самого предмета исследования, о котором идет речь. Ведь историки для национализма — это то же самое, что сеятели мака в Пакистане для потребителей героина: мы обеспечиваем рынок важнейшим сырьем. Нации без прошлого — это своего рода противоречие в терминах. Прошлое и *есть* то, что создает нацию; именно прошлое нации оправдывает ее в глазах других, а историки — это люди, которые «производят» это прошлое. Так что моя профессия, которая всегда была связана с политикой, оказывается существенным элементом национализма. Это касается нас даже в большей степени, чем этнографов, филологов и других поставщиков этнических и национальных услуг, которые обычно тоже привлекаются к участию в национальных движениях. На каких основаниях армяне и азербайджанцы заявляют свои права на Нагорный Карабах, который, позвольте вам напомнить, расположен в Азербайджане, но населен по большей части армянами? На основании вопроса о кавказских албанцах — народа, которого больше не существует и который в средние века жил в этой спорной области; но непонятно, был ли он похож на армян, населяющих ее ныне? Эта проблема по сути сопряжена с историческим исследованием, а в данном случае — с бесконечными спекулятивными историческими дебатами. (Пример заимствован у Норы Дудвик из Пенсильванского университета.) К сожалению, история, которая угодна националистам, отличается от истории, которую должны предоставлять профессиональные академические специалисты, пусть даже идеологически пристрастные. Первая — это ретроспективная мифология. Разрешите мне вновь повторить слова Эрнеста Ренана из его знаменитой лекции «Что есть нация?» 1882 года: «Забвение истории или даже ее искажение (*l'erreur historique*) является важным фактором формирования нации, в силу чего прогресс исторического исследования часто представляет опасность для национальности». Итак, историк, пишущий об этнической принадлежности или национализме, невольно совершает политическое или идеологическое подрывное вмешательство в свой предмет.

ПРИНЦИП ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАЦИОНАЛИЗМ

Позвольте мне начать с семантического сомнения. Если сегодня есть какой-либо стандартный критерий, позволяющий определить, что составляет нацию, требующую самоопределения, то есть учреждения независимого территориального национального государства, то это критерий этноязыковой, поскольку язык там, где это правомерно, понимается как средство выражения и символизации этнической принадлежности. Но, конечно, такое не всегда правомерно, потому что историческое исследование убедительно демонстрирует, что стандартный письменный язык, который можно считать представляющим некую этническую принадлежность или национальность, — это довольно позднее историческое образование, ведущее свое начало в основном с XIX века или даже еще с более позднего времени. В любом случае подобного рода стандартного письменного языка, который выполнял бы роль символа этнической принадлежности, нередко не существует вообще, как, например, не существует языка, который позволил бы провести различие между сербами и хорватами. Однако даже и тогда этническая специфика, в чем бы она ни состояла, обязательно напоминает о себе. Я провел свой отпуск в коттедже в Уэльсе, который по своему административному и правовому устройству меньше отличается от Англии, чем Коннектикут от штата Нью-Йорк. И даже хотя со мной довольно долго никто не говорил по-валлийски и местные жители уже, конечно, забыли валлийское произношение наших кельтских географических названий, это не отменяло убеждения моих соседей в том, что одно только проживание в их краях делает меня уэльсцем. Разумеется, я должен добавить, что понятие этнической принадлежности им хорошо знакомо; вот когда бы я приобрел коттедж в Суффолке, то оно не было бы знакомо моим соседям, если только они не оказались бы антисемитами. Там я был бы в такой же мере чужим, как своим в Уэльсе, но тогда бы они противопоставляли себя мне либо как местные приезжему, либо же противопоставление осуществлялось бы на уровне различия в социальном статусе. Вероятно, это была бы менее эффективная форма проведения коллективных различий, чем «этническая принадлежность», но по какой причине —это мне совершенно непонятно.

Всякое сепаратистское движение в Европе, которое только может прийти мне в голову, опирается на принцип «этнической принадлежности» в языковой или какой-либо иной форме, то есть на предположение о том, что «мы» — баски, каталонцы, шотландцы, хорваты или грузины — представляем собой народ, отличный от испанцев, англичан, сербов или русских, и поэтому не должны жить с ними в одном государстве. Но, между прочим, это не относится к большей части Азии, Африки и американскому югу канадской границы. Я вернусь к этому вопросу позднее.

Тогда зачем нам нужны два слова, позволяющие провести различие между *национализмом* и принципом этнической принадлежности, хотя сегодня их так прочно отождествляют? Да потому, что мы имеем дело с различными и поистине несопоставимыми понятиями.

Национализм — это политическая программа и по историческим меркам явление довольно недавнее. С его точки зрения, группы, определяемые как «нации», имеют право и, стало быть, обязаны формировать территориальные государства того стандартного образца, который утвердился со времен Французской революции. Без подобной программы, неважно, реализована она или нет, «национализм» остается ничего не значащим термином. На практике националистическая программа обычно состоит в осуществлении самостоятельного контроля над территорией максимально большой протяженности с четко установленными границами, занимаемой однородным населением, которое и представляет собой значимое единство граждан. Или, согласно Мадзини, эта программа относится скорее ко всей совокупности такого населения: «Каждой нации — государство, и только одно государство для целой нации». В таком государстве либо господствует, либо пользуется привилегированным официальным статусом, монополией единый язык, то есть язык соответствующей «нации». По моим беглым наблюдениям, если определять нации в этноязыковых терминах, среди более чем 170 политических организмов мира найдется лишь что-то около дюжины, или и того меньше, тех, которые соответствуют хотя бы первой части программы Мадзини.

Национализм, либо, если пользоваться более ясным выражением XIX века, «принцип национальности», исходит из «нации» как данности — точно так же, как демократия исходит из «народа» как данности. Сам по себе «принцип национальности» ничего не говорит нам о том, что составляет подобного рода нацию, хотя с конца XIX века — нет, пожалуй, еще задолго до этого — он все более последовательно облекался в этноязыковую терминологию. Я, однако же, должен напомнить вам о том, что ранние версии принципа национальности, охарактеризованные мной в книге «Нации и национализм после 1780 года» как «революционно-демократические» и «либеральные», имеют иную основу, хотя и обладают определенными сходствами с более поздними разновидностями национальных движений. Ни язык, ни этническая принадлежность не играли роли для исходного революционного национализма, основную из сохранившихся версий которого представляют США. Классический либеральный национализм XIX века был прямо противоположен нынешним попыткам утвердить групповую идентичность по-

средством сепаратизма. Его цель заключалась в *расширении* масштабов социального, политического и культурного единства людей, то есть скорее в объединении и расширении, нежели в ограничении и обособлении. Это одна из причин того, что национально-освободительные движения «третьего мира» находят традиции XIX века, одновременно либеральные и революционно-демократические, столь близкими себе по духу. Националисты — участники антиколониальных движений выбросили из головы или отодвинули на второй план как антинациональные и служащие хорошо известным империалистическим целям «разделять и властвовать» «трайбализм», «общинность» и другие понятия, связанные с групповой или региональной идентичностью. Ганди и Неру, Мандела и Мугабе или в данном случае поздний Зульфикар Бхутто, сожалевший об отсутствии у пакистанцев чувства национального единства, не были и не являются националистами в том же смысле, что Ландсбергис или Туджман. Они, по сути дела, занимали ту же самую позицию, что и Массимо д'Адзельо, который после политического объединения Италии говорил: «Мы создали Италию, теперь нам нужно создать итальянцев», то есть создать итальянцев из жителей полуострова, объединенных самыми разнообразными связями, кроме общего языка, которого у них не было, и государства, которое пришло к ним сверху, извне. Ничего такого изначально итальянского у них не имелось, так же как ничего южноафриканского не существовало до победы Африканского национального конгресса[1].

С другой стороны, *принцип этнической принадлежности*, что бы он собой ни представлял, не несет в себе ничего программного и еще в меньшей степени является политическим понятием. В определенных обстоятельствах ему приходится выполнять политические функции, и тогда он может оказаться связанным с какой-то программой, включая националистическую или сепаратистскую. У национализма есть много веских оснований желать, чтобы его отождествляли с принципом этнической принадлежности, — хотя бы потому, что он обеспечивает «нацию» исторической родословной, которая в подавляющем большинстве случаев у нее, безусловно, отсутствует. Он делает это по крайней мере в регионах с древней письменной культурой, вроде Европы, где в течение долгих эпох у этнических групп сохраняются одни и те же названия, хотя, быть может, они описывают весьма разные и изменяющиеся виды социальной реальности. Принцип этнической принадлежности, на чем бы он ни основывался, — это легкий и четкий способ выражения *истинного* чувства групповой идентичности, которая связывает всех «нас» потому, что подчеркивает наше отличие от «них». А что у «нас» на самом деле общего, помимо того, что «мы» — не «они», — это не так ясно, особен-

но сегодня, и я вернусь к этому вопросу позднее. В любом случае, принцип этнической принадлежности выполняет роль одного из способов, позволяющих наполнить пустые емкости национализма. Например, Сабино Арана предлагает присвоить название Эускади — Страна басков — стране, чей народ давно величал себя, и был величаем, каким-то единым именем (баски, гасконцы или др.), но при этом не чувствовал потребности в том типе страны, государства или нации, который Арана имеет в виду.

Иными словами, национализм относится к области политической теории, а принцип этнической принадлежности — к социологии и социальной антропологии. Он может быть связан с вопросами государства или другой формы политической организации, а может не иметь к ним отношения. Порой он приобретает политический аспект, но отнюдь не специфические черты этнически окрашенной политики. Все, что для него требуется, — это чтобы политический ярлык, каким бы он ни был, с особой силой взывал к членам этнической группы. Крайним случаем, ныне давно забытым, являются воззвания подчеркнуто неэтнической большевистской партии в период революции к тогдашним жителям Латвии. Известность некоторых латвийских имен в последние дни советского коммунизма напоминала о днях, когда латышские стрелки при Ленине играли такую же роль, что швейцарские гвардейцы — при Папе Римском. Это полковник Алкснис, сторонник «жесткого курса», и Отто Лацис из «Коммуниста» и «Известий», сторонник курса реформ.

Если так, то почему тогда в целом в Европе этническая политика трансформируется в националистическую? Такая трансформация принимает две формы, между которыми мало или вовсе нет ничего общего, кроме потребности или желания контролировать государственную политику: это национальный сепаратизм и национальная ксенофобия, то есть противостояние чужакам посредством создания «нашего» собственного государства и противостояние им посредством исключения их из «нашего» уже существующего государства. Второй вариант, на мой взгляд, объяснить труднее, чем первый, для которого сегодня есть как конкретные, так и общие виды объяснения.

Но прежде чем я попытаюсь ответить на эти вопросы, позвольте мне еще раз напомнить, что на земном шаре есть обширные области, где этническая политика, сколь бы ожесточенной она ни была, все же не является националистической, порой из-за того, что идея этнически гомогенного населения уже когда-то в прошлом была отвергнута или вообще никогда не существовала, как в США, либо потому, что программа учреждения территориальных, этноязыковых государств в данном случае неуместна и нецелесообраз-

на. В этом отношении США опять-таки представляют собой показательный пример, хотя подобная ситуация складывается и в большинстве государств «третьего мира», избавившихся от колониальной зависимости. Какой бы острой ни была горечь межэтнических и расовых конфликтов в США, сепаратизм не является в них серьезной позицией и не используется для достижения целей какой-либо этнической или иной группы.

Вернемся к нашему основному вопросу. У волны националистического сепаратизма в сегодняшней Европе есть конкретная историческая причина. Настала пора пожинать плоды первой мировой войны. Бурные события 1989—1991 годов — это события, вызванные в Европе и, я склонен добавить, на Ближнем Востоке крахом многоэтничных Австро-Венгерской, Османской и Российской империй в 1917—1918 годах и характером мирных послевоенных решений относительно пришедших им на смену государств. Если помните, сутью этих решений являлся план Вильсона по разделу Европы на этноязыковые территориальные государства — проект столь же опасный, сколь и непрактичный, и реализуемый разве что за счет насильственного массового выселения, принуждения и геноцида, за которые впоследствии пришлось расплачиваться. Разрешите добавить, что ленинская теория наций, на основе которой в дальнейшем был создан СССР (и Югославия), по сути была таким же проектом, хотя на практике — по крайней мере в СССР — она дополнялась австромарксистским пониманием национальности как личного выбора, сделать который имеет право каждый гражданин по достижении шестнадцати лет, каковы бы ни были его или ее корни.

Я не хочу приводить длинных доказательств в поддержку своего тезиса, а просто напомню вам, что конфликты словаков с чехами, хорватов с сербами не могли иметь места до 1918 года, когда эти народы были объединены в одних государствах. Прибалтийский национализм, который в наименьшей степени причинял политическое беспокойство царю и едва ли вообще существовал в 1917 году, был спровоцирован учреждением маленьких независимых государств, где он стал своего рода карантинной повязкой от большевистской инфекции. И напротив, те национальные вопросы, которые до 1914 года уже *носили* серьезный или взрывоопасный характер, потеряли свое значение: здесь мне приходит в голову знаменитый «македонский вопрос», Украина или даже требование восстановления исторических границ Польши. Украина (кроме как в составе бывшей империи Габсбургов) и Македония никак не проявляли желания стать самостоятельными до тех пор, пока СССР и Югославию не сокрушили иные силы; вот тогда они поняли, что должны предпринять какие-то действия в порядке самозащиты.

Поэтому сейчас более важно, чем когда бы то ни было, отказаться от теории этнической принадлежности как чего-то «первоначального», не говоря уже о национальном самоопределении. Поскольку моя аудитория состоит из антропологов, надеюсь, я могу предположить, что данное суждение непротиворечиво. Это историкам надо напоминать, как легко может изменяться этническая принадлежность, о чем говорит и националистическое предубеждение против «ассимиляции», так хорошо известное нам из еврейских дебатов об иудаизме. В Европе начала XX века было полно мужчин и женщин, которые, как свидетельствуют их собственные имена, сделали *выбор*, быть ли им немцами, венграми, французами или финнами, и даже сегодня имя президента Ландсбергиса и ряда выдающихся словенцев указывает на то, что предки их были немцами и впоследствии избрали иную коллективную идентичность. И наоборот, немецкий антрополог Георг Элверт напоминает нам, что понятие *Volksdeutsche*, этнических немцев, которые, согласно конституции Федеративной Республики Германия, имеют «право вернуться» на историческую родину, как евреи в Израиль, является идеологическим конструктом. Некоторые из тех, кто имеет такое право, подобно восточноевропейским меннонитам, по происхождению являются вовсе не немцами (если только не относить к немцам всех, кто говорит на немецком языке), а фламандцами или фризами. И только восточноевропейские выходцы из Германии, которые действительно считают себя, помимо всего прочего, немцами по культуре и языку — вплоть до того, что они создали у себя немецкие школы с преподаванием стандартного немецкого языка, — не пользуются «правом возвращения» никуда, кроме как в Израиль. Это восточные евреи из высшего и среднего класса, у которых в одном только выборе фамилий — Дойчер, Гинзбург, Шапиро — слышны отзвуки незабываемых истоков. Более того, Элверт отмечает, что были такие трансильванские деревни, жителям которых немецкий литературный язык (*Hochdeutsch*) — в отличие от общепринятых тевтонских диалектов, — еще до гитлеровской эпохи был знаком как «Judendaitsch»[2]. Таковы парадоксы первоначальной этнической принадлежности.

И все же мы не отрицаем того, что различные виды «этнической» идентичности, до вчерашнего дня не имевшие ни политического, ни даже экзистенциального значения (например, принадлежность к «ломбардийцам», которая сегодня дала имя североитальянским союзам, отличающимся особой нетерпимостью к чужакам), способны столь же по-настоящему овладевать умами, как символы групповой принадлежности ближайшего прошлого. В своей книге «Нации и национализм после 1780 года» я высказываю предположение о том, что такие краткосрочные перемены и изменения в сфере

этнической идентичности составляют «область национальных знаний, размышления и исследования в которой сегодня наиболее актуальны», и продолжаю поддерживать данную точку зрения.

Существуют веские основания того, почему принципу этнической принадлежности — что бы он собою ни представлял — суждено обрести политический смысл в современных многоэтничных обществах, которые, как правило, принимают форму диаспоры, составленной большей частью городскими гетто, провоцируя резкое умножение случаев трений между этническими группами. Выборная демократия порождает готовый механизм, позволяющий меньшинствам, как только они научатся действовать как группа и достигнут концентрации, достаточной для успеха их кандидатов на выборах, эффективно бороться за свою долю в централизованных ресурсах. Таким образом, группы, организованные по принципу гетто, обретают большой общественный потенциал. В то же время, как по политическим, так и по идеологическим причинам, а также ввиду перемен в экономической организации, атрофируется механизм ослабления межэтнической напряженности посредством выделения разным группам строго ограниченных ниш. Теперь они конкурируют не за сопоставимые доли ресурсов («раздельные, но равные», как это называлось прежде), а за *одни и те же* ресурсы на одном и том же трудовом, жилищном, образовательном и иных рынках. И в этом соревновании самым мощным доступным оружием, по крайней мере для непривилегированных групп, оказывается групповой нажим с целью добиться особого покровительства и привилегий («утвердительное действие»). Там, где участие в выборах по какой-то причине невелико, как в сегодняшних США, или ослабевает традиционная массовая поддержка, как у американской демократической и британской лейбористской партий, политики уделяют даже повышенное внимание меньшинствам, среди которых этнические группы являются лишь одним из вариантов. Мы даже можем наблюдать, как для политических целей искусственно создаются псевдоэтнические группы: это, например, попытка британских «левых» квалифицировать всех иммигрантов из «третьего мира» как «черных», чтобы придать им больше веса в структурах лейбористской партии, за которую большинство из них голосует. Так что учрежденные «черные секции» партии теперь будут включать в себя выходцев из Бангладеш, Пакистана, Вест-Индии, Индии и Китая.

Однако по сути своей этническая политизация не носит инструментального характера. Сегодня в очень большом масштабе мы наблюдаем возврат от общественной идентичности к групповой. А этот процесс не обязательно имеет политический характер. Возьмем, к примеру, известную ностальгию по

«корням», вследствие которой дети ассимилированных, светских и англизированных евреев вновь находят утешение в ритуалах своих предков и сентиментально относятся к памяти о *shtetl*, которого они, слава богу, никогда не знали. Порой, когда такие факты расценивают как политические, это делается в силу пристрастия к семантическим новшествам, как в случае с фразой «личное есть политическое». Тем не менее они неизбежно имеют и политическое измерение. Но при каких же обстоятельствах принцип этнической принадлежности превращается в политический сепаратизм?

Мирослав Хрох попытался ответить на этот вопрос применительно к современной Центральной и Восточной Европе, сравнив нынешнюю ситуацию с языковым национализмом малых наций в XIX веке. Одна из особенностей, которую он выделяет в обоих случаях, — это то, что языковые требования понять много легче, чем теорию и институты демократии и конституционного общества, причем более всего это относится к людям, не имеющим достаточного политического образования и политического опыта. Но еще резче он акцентирует значение социальной дезориентации:

«В такой общественной ситуации, когда приходил в упадок старый режим, размывались старые отношения и росло общее чувство неуверенности, члены «недоминирующей этнической группы» [в немецком оригинале эта фраза написана по-английски] должны были усматривать в общности языка и культуры некую абсолютную определенность, недвусмысленную, очевидную ценность. Сегодня, когда рушится система плановой экономики и социальной стабильности, в этой аналогичной ситуации язык вновь выступает в роли фактора интеграции в раздробленном обществе. Если общество находится в упадке, то нация оказывается своего рода последним прибежищем».

Положение в бывших социалистических обществах, и особенно в прежнем СССР, нам очевидно. Теперь, когда разрушены и материальные структуры, и нормы повседневного бытия, теперь, когда разом отринуты все официальные ценности, что *сталось* с гражданином СССР? Во что он или она могут верить?

Допустим, что прошлое невосстановимо, — тогда пристанищем для него или нее оказываются этническая принадлежность и религия, по отдельности или в союзе друг с другом. И этническая принадлежность превращается в сепаратистский национализм в основном по тем же причинам, что колониальные освободительные движения приводят к созданию независимых государств в границах прежних колониальных империй. Это уже существующие границы. И даже более того: ведь Советская конституция сама поделила страну на теоретически этнические территориальные единицы — от автономных областей до целых федеральных республик. И если союзу суж-

дено расколоться на части, то их границами и станут те трещины, по которым произойдет разлом. Забавная шутка истории заключается в том, что именно Сталин вернул Литве ее столицу (в период между войнами она принадлежала Польше) и именно Тито, чтобы ослабить великосербский шовинизм, создал гораздо большую Хорватию с гораздо большей долей сербского меньшинства.

Однако давайте не будем — или пока не будем — в каждом случае выводить из сепаратистских движений массовый национализм. Ведь бремя гражданской войны в Югославии в основном легло на плечи наиболее активных меньшинств и профессионалов. Все же стала ли она подлинной войной народов? Мы не знаем, но в Югославии есть как минимум 2,8 миллиона семей, которые появились в результате 1,4 миллиона смешанных браков, главным образом сербо-хорватских, для которых выбор какой-то одной этнической принадлежности должен быть крайне трудным.

Если в бывших социалистических странах корни этнической политики явно лежат в социальной дезориентации, то о такой же социальной дезориентации по разным причинам можно вести речь и в иных регионах. Случайно ли то, что квебекский сепаратизм стал важной силой в конце того десятилетия, на которое пришлось снижение рождаемости в Квебеке практически наполовину и (впервые) падение ее ниже уровня Канады в целом?[3] После десятилетий, прошедших с 1950 года, после сорока самых революционных лет в истории человеческого общества мы должны были ожидать массированного низвержения старых ценностей, краха старых норм. «Нация» не везде является таким же последним пристанищем, как в тех регионах планеты, границы которых пролегли по вильсонистско-ленинским линиям после 1918 года, и то же самое касается религии прежних эпох. Но порой она все же играет такую роль, и образцовый пример Центральной и Восточной Европы естественным образом способствует распространению данной модели там, где ей благоприятствуют местные условия.

Однако за пределами бывшей советской зоны сепаратизм остается в Европе явлением исключительным. Национальная же ксенофобия, незаметно переходящая в расизм, распространена почти повсеместно. И она создает проблемы, которые я не в силах решить. Что конкретно означает защищенность от «другого», отождествляемого с иммигрантами-чужаками? Вот из кого состоим «мы» — это не такая большая проблема, так как определение «нас» обычно дается в понятиях соответствующих государств. «Мы» — это французы, шведы или немцы, или даже члены политически ограниченных объединений, как, например, ломбардийцы, — но отличает нас от пришлых

«их» то, что мы являемся «подлинными» французами, немцами или британцами, о чем, как правило, говорят примерная родословная или долгое проживание в данной стране. Кто «они» — тоже не так уж трудно понять. «Они» распознаются как «не-мы» чаще всего по цвету кожи или по другим физическим признакам, или же по языку. Там, где эти признаки не столь бросаются в глаза, имеет место более тонкая дискриминация: коренные жители Квебека, которые отказываются понимать англоязычных собеседников, говорящих с канадским акцентом, с готовностью ответят таким же собеседникам, говорящим с британскими или американскими интонациями, — как и фламандцы, которые заявляют, что они не понимают французов, говорящих с бельгийским акцентом, но понимают французов, говорящих с «французским» акцентом. Я не уверен, что при отсутствии у чужаков таких видимых или уловимых на слух признаков их можно было бы достаточно четко различать по культурным признакам, хотя в расистском восприятии подобные вещи играют важную роль: например, речь идет о том, как оскорбительны должны быть для хороших французов запахи североафриканской кухни или для хороших британцев — запах карри[4], исходящий от их соседей. На самом деле, как подтверждает повсеместное распространение индийских и китайских ресторанов, ксенофобия направлена против иностранцев, а не против иностранного культурного влияния.

Проще всего сказать: от чужаков защищает не что иное, как труд, — и в этом суждении есть определенная доля истины. Основной социальной опорой европейских расистских движений, таких, как Национальный фронт во Франции, оказывается местный рабочий класс, а главными активистами подобных движений — молодые представители рабочего класса — скинхеды и прочие. Долгая эра полной или фактически гарантируемой занятости закончилась в Западной Европе в период 1970-х годов, а в Центральной и Восточной Европе — в конце 1980-х годов. С тех пор Европа снова живет в обществах массовой безработицы и нестабильности в сфере труда. Более того, как я уже отмечал, общественные механизмы, посредством которых каждой группе отводится особая и неоспоримая ниша, сегодня разрушаются либо становятся политически неприемлемыми. И относительно внезапный подъем партий, нетерпимых к чужакам, или проблемы ксенофобии в политике во многом обусловлены именно этим обстоятельством.

Тем не менее понятно, что это только часть ответа. Подобным образом защищается не просто позиция индивидов в группе А против притязаний со стороны аутсайдеров. Если бы это было так, то мы не испытывали бы беспокойства по поводу притока иностранцев (или влияний извне), которые ни-

как не могут представлять истинную угрозу для членов группы как *индивидов* — например, как для каждого из американских граждан, настаивающих на том, что английскому языку более чем всем иным необходимо обеспечить протекцию в окружении иммигрантских языков путем предоставления ему официальной монополии всеобщего языка. В определенной степени речь идет о «нас» как объединении людей, связанных между собой бесчисленным множеством общих всем «нам» вещей: «образом жизни» в самом широком смысле этого слова, *общей* территорией проживания с ее равно знакомыми всем и узнаваемыми ландшафтами. Приток других извне угрожает именно существованию *этих* связей. Практически каждый пункт в списке того, что считается общим у «нас» — англичан, французов, немцев или чехов, — может быть усвоен и иммигрантами, которые этого пожелают, кроме физической наружности, и то только там, где она у них слишком ярко разнится с нормами внешности коренного населения. (Это один из факторов, которые так затрудняют искоренение расизма.) Более того, некоторые из тех стран, где ксенофобию поддерживают очень мощные политические механизмы, в прошлом, как, например, Франция, допустили, даже вызвали и успешно справились с массовой иммиграцией в масштабах, временами сравнимых с таковыми в США: это были итальянцы, испанцы, поляки и даже северные африканцы. Во многих странах, которые весьма волнует угроза со стороны чужаков, иммиграция в действительности крайне невысока. По правде сказать, они стараются, чтобы ее и вовсе не было. Это относится к Скандинавским странам — я имею в виду прежде всего Финляндию и Исландию, хотя в свете либеральной идеологии, господствующей в этих уголках мира, для них было бы постыдным допускать подобную форму нетерпимости. Постоянный приток иммигрантов в Финляндию стал фактически невозможным, но до развала СССР он вряд ли мог расцениваться как очевидная и реальная опасность. Напротив, Финляндия была и остается страной массовой эмиграции.

Я, конечно, не отрицаю того, что общество, видимо, существует в рамках определенной системы привычек и образа жизни, которые могут быть разрушены или преобразованы под влиянием многих факторов — в том числе избыточной иммиграции. На эмоциональном уровне каждый из нас способен понять чувства жителей пиренейской деревни, решивших перекрыть свой общественный питьевой источник, так чтобы у мучимых жаждой туристов, объезжающих местность на велосипедах, не возникало и мысли проехать поблизости. Было бы лицемерием, даже для тех, кто считает иначе, заявлять, будто мы не знаем, что заставило такого интеллигентного британского традиционалиста, как Энок Пауэлл, лет двадцать пять тому назад по-

требовать приостановки массовой иммиграции и что заставило руководство обеих партий последовать этому призыву. Более того, все мы прибегаем к таким же соображениям, когда речь идет о спасении нашей собственной излюбленной среды обитания, человеческой или нечеловеческой, от «превращения в руины» по вине слишком большого множества людей или же не слишком добропорядочных людей. Вопрос не в том, могут ли или по-прежнему должны защищаться некоторые уголки, даже целые регионы и страны, от разрушения вследствие изменения своего древнего коллективного склада, а в том, не стоит ли на самом деле за такими попытками современная политическая ксенофобия.

В действительности страх перед чужаками сегодня редко означает традиционную националистическую защиту прежнего образа жизни от иноземного вируса. Такая форма культурной ксенофобии была, конечно же, широко распространена в 1950-е годы, причем в основном в антиамериканских версиях: кое-кто из нас еще помнит кампанию против «колониальной экспансии Кока-Колы», — но в основном те битвы давно позабыты. Самые воинственные банды, избивающие иммигрантов с именем нации на устах, принадлежат к интернациональной молодежной культуре, следуют ее моде и стилю, носят джинсы, слушают панк-рок, употребляют наркотические средства и все такое прочее. Конечно, для большинства жителей тех стран, в которых ксенофобия сегодня стала эпидемией, старый образ жизни с 1950-х годов изменился столь круто, что теперь, собственно говоря, им мало что осталось защищать. Каждому, кто сорок лет назад был уже достаточно взрослым, это позволяет дать истинную оценку тому, насколько разительно отличалась Англия уже в 1970-е годы от Англии 1940-х годов, а Франция, Италия или Испания 1980-х годов от этих же стран в 1950-е годы.

И по-моему, суть именно в этом. Именно здесь точка соприкосновения с сепаратизмом, или с натиском фундаментализма (что мы наблюдаем, к примеру, в Латинской Америке). Все подобного рода движения следует понимать как симптомы социальной дезориентации, износа и порой разрыва тех нитей, из которых была сплетена привычная сеть, связывающая людей в сообществе. Сила такой ксенофобии — в страхе перед неизвестностью, перед тьмой, которая может опуститься на нас, как только исчезнут границы земель, означающие, как нам кажется, объективные, постоянные, положительные пределы нашей совместной принадлежности некоему целому. И эта коллективная принадлежность, желательно к группам и объединениям, имеющим какие-либо видимые символы членства и знаки отличия, является наиболее важной, чем когда бы то ни было, для обществ, все силы которого, казалось бы, объединились для того, чтобы разрушить отношения, связую-

щие человеческие существа в различного рода сообщества. Недавний документальный фильм «Париж в огне» знакомит нас с популяцией самых маргинальных, отвергнутых, аномальных личностей, каких только можно себе представить, — темнокожих геев-жиголо в Нью-Йорке. Нет ничего трогательнее и печальнее, чем видеть, как эти люди, гонимые и презираемые всеми, включая родственников, живущие только на своих регулярных «вечеринках» и ради них, поскольку там они могут блистать нарядами и на короткое время входить в роль, которую предпочли бы играть в реальной жизни, где это им, как известно, заказано, воссоздают свои собственные человеческие общности. В их так называемых «семьях», у каждой из которых придуманная фамилия и своя главная «мамаша», ответственная за всю остальную группу, отдельные индивиды могут не чувствовать себя абсолютно слабыми и одинокими.

Но для тех, кому уже не приходится рассчитывать на принадлежность к чему-либо, существует по крайней мере еще одно, воображаемое, сообщество, к которому может принадлежать человек, причем это сообщество является постоянным, нерушимым, а членство в нем вполне ощутимо. Вновь «нация», или этническая группа, «оказывается последним прибежищем», когда общество приходит в упадок. Чтобы принадлежать к ней, вам не надо ничего делать. Вас нельзя из нее исключить. Вы родились в ней и останетесь в ней. Как пишет Юджин Рузенс в книге «Создавая этничность», которую, наряду с работой Фредерика Барта «Этнические группы», я нашел крайне полезной, «в конце концов, никто не в силах изменить «прошлое», из которого мы родом, и никто не может аннулировать то, кем мы являемся»[5]. (Ну, вообще-то вы можете изменить свое прошлое или хотя бы придумать его, и об этом никто не узнает.) И как же мужчинам и женщинам становится известно о том, что они принадлежат к данному сообществу? Да все дело в том, что они могут указать на других — на тех, кто не принадлежит, не должен принадлежать, никогда не сможет принадлежать к нему. Иными словами, благодаря ксенофобии. И поскольку мы живем в такую эпоху, когда все другие человеческие отношения и ценности переживают кризис или как минимум находятся где-то на пути к неизвестным, неопределенным станциям назначения, ксенофобия, похоже, становится массовой идеологией *fin de siecle*[6] XX века. Сегодня человечество объединяет отказ от всего, что было общего у человеческой расы.

Так что же здесь остается вам — антропологам, одно имя которых обязывает к некоторому универсализму понятий? И нам, историкам, которым внушалась не только идея о том, что лишь черные или белые, баски или хорваты могут адекватно постичь историю соответствующих групп, но и задача

придумать такого рода историю, которую они хотят «постигать»? По крайней мере нам остается — должна оставаться — свобода быть скептиками. Ничего хорошего из этого не выйдет, но и вечно это длиться не может.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду приход к власти в Южно-Африканской Республике национально-освободительного движения черного большинства, возглавляемого Африканским национальным конгрессом во главе с Нельсоном Манделой в 1994 году и демонтаж режима апартеида. — *Прим. ред.*

2. Немецкий язык, на котором говорят евреи (*нем.*). — *Прим. ред.*

3. *Gerald Bernier, Robert Boily et al.* Le Quebec en chiffres de 1850 a nos jours. Montreal, 1986. P. 28.

4. Острая индийская приправа. — *Прим. пер.*

5. *Eugene Roosens.* Creating Ethnicity. Newbury Park, 1989. P. 16.

6. Конца эпохи (*фр.*). — *Прим. пер.*

ТОМ НЕЙРН

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Плавание по морям по ту сторону конца истории требует новых ориентиров. Важнейшим из них является «интернационализм». Очень существенно, чтобы его не принимали как данность, хотя чаще всего именно так и бывает. Это понятие, доставшееся нам в наследство, было обратной стороной медали национализма первой волны (то есть XIX и начала XX века). Но и тогда его больше использовали, чем подвергали анализу, и редко рассматривали как нечто самостоятельное. Он скорее представлял собой музыкальный фон, способствующий формированию неких настроений, нежели основную сюжетную линию. Сегодня нам крайне необходима смена мелодии.

Эти мысли большей частью посетили меня не так давно в Глазго — во время мероприятия, в котором я принял участие[1]. Я выступал по вопросу национального самоопределения в допустимо широком смысле слова — то есть национализма как отнюдь не самой плохой или попросту неизбежной реакции — и оппонировал новому интернациональному пессимизму, или тому, что, как я понимаю, мы подчас называем теорией Этнической Пропасти. После чего хорошо известный теоретик (старых) «новых левых» сказал мне следующее:

«*Merci, mon cher Nairn, merci, tres interessant, mais...*[2] позвольте мне заметить, не причинив вам незаслуженной обиды... Мне кажется, вы рассуждаете так потому, что, будучи националистом, вы просто должны рассуждать подобным образом».

Как я полагаю, он имел в виду, что я все исказил в свете своей узкой предубежденности. Он, конечно, был слишком любезен для того, чтобы использовать выражения типа «изысканно маскируете свои личные предубеждения» или «отстаиваете вполне определенные интересы». Но суть его замечания в том, будто я считаю должным переписать с нуля завершенную или вновь начавшуюся историю, дабы в ней ощущалась неизбежность и необходимость того, чтобы Шотландия стала свободной и обрела свое собственное правительство.

Я тоже, в свою очередь, был слишком вежлив, чтобы дать ему очевидный ответ: мол, и он может быть носителем некоторых предрассудков и защитником некоторых интересов. То, что он сам представил на суд — упрощен-

ная версия интернационалистического кредо, сосредоточенного на критике расизма, — равным образом можно было расценивать как систему убеждений конкретной группы — группы, выступающей (или негласно претендующей на это) от лица науки и цивилизации как таковой.

Предрассудок национализма (даже национализма в обобщенном виде) действительно выявить очень просто. Чего, однако, не скажешь об интернационализме. Националист (даже пан-националист) по определению говорит из какого-то определенного места; у интернационалиста же такого места нет.

Конечно, это нелепо, что истину в подобных вопросах приходится искать в простом столкновении таких интересов. Я не выступаю здесь в пользу какого-то слабоумного релятивизма. Диалог — дело стоящее, и вопрос только в том, как вести его более плодотворно или не столь односторонне, как прежде. Я верю, что это может стать важной частью перемен, начавшихся с 1989 года. Национализм, а значит, и интернационализм сегодня начинают проступать в ином свете: этот свет более доброжелателен к ним обоим, но с его помощью становится ясным, что окончательная истина не принадлежала ни тому, ни другому.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Существует ключевое различие между интернационализмом и тем, что, боюсь, нам придется определить как «интернациональность». Термин весьма неуклюжий, по крайней мере в английском языке, и не общепринятый. Однако он существует и, что более существенно, кое-что значит[3].

«Конечно, французский ипподром отличается от английского. Интернациональность еще не столь совершенна». Это ссылка на Оксфордский английский словарь в «Дэйли телеграф» 1864 года. В ней также отражается едва прикрытый национальный шовинизм, которому было предназначено, по прошествии лет, сыграть заметную партию в интернационалистическом оркестре. С развитием цивилизации ипподромы во всем мире становились все более похожими друг на друга. То же самое можно сказать о заводах, магазинах, центральных улицах, фермах и даже людях. Будь у них на то больше времени, может быть они и вовсе лишились бы отличительных признаков?

Подобное явилось бы полным торжеством «интернациональности». Недавно высокую ноту в этом же хоре озвучил Александр Кокберн. Когда коммунисты в России сдали свои позиции, он с определенной долей досады предсказывал, что на Красной площади скоро появится «Пицца-хат», — весьма возможно, прямо в ленинском Мавзолее, если только оттуда смогут вынести «старый труп». Хотя и являясь абсолютно убежденным интернациона-

листом старой закалки, Кокберн, несомненно, жалел об этом: может быть, потому, что в таком триумфе интернациональности он усматривал «руку» американской империи. Интернационализм всегда страдал от подобных противоречий.

В данном случае речь, конечно, не идет о каком-то особом левом крыле интернациональности. Она обозначает те же самые вещи, о которых столь громко возвестил «Коммунистический манифест»: величественную революционную волну капиталистической экспансии, размывающую все традиции и сносящую всякие границы; очертания «правого» мира, который очень скоро будет взят и очищен «левыми». Нет нужды подробно описывать стадии этого волнообразного процесса, которые здесь рассматриваются, — от манчестерского фритредерства и «международных трестов» до их более могущественных преемников, мультинациональных корпораций. Суть всегда одна, как бы ее ни доносили до нас — в торжественных песнях или в проклятиях.

Сто двадцать шесть лет спустя мы улавливаем, в сущности, точно такой же мотив у Жака Д. Мэзонружа, бывшего управляющего мультинациональной корпорацией IBM:

«С точки зрения бизнеса, границы, которые отделяют одну нацию от другой, реальны не более, чем экватор. Это всего лишь условные линии между этническими, языковыми и культурными целостностями... Если менеджмент сообразуется с такой мировой экономикой, то его понимание своего места на рынке, а также планирование, обязательно расширяется...»[4]

Взгляды многих представителей этих условных целостностей (отнюдь не всегда с восхищением принимающих сравнение своих границ с экватором, особенно когда так считают торговцы компьютерами, революционеры или поставщики наркотиков), тоже стали заметно шире. И вот тогда фирма IBM обнаружила, что не она правит миром[5]. Малое не только прекрасно, но и опасно (как с технической, так и с политической точки зрения).

Здесь, однако, достойно внимания то обстоятельство, что интернационализм ни в коем случае не является обязательным следствием интернациональности, или по крайней мере не вытекает из нее непосредственно. Маркс и Мэзонруж в равной степени ошибались. Упорные, повторяющиеся и упрощенные аргументы в пользу того, что одно неизбежно влечет другое, звучали в прошлом и продолжают звучать поныне. Как приверженцы средневекового партикуляризма (по излюбленному выражению Ленина), мы, националисты, время от времени обнаруживаем себя теснимыми теми, кому дороги революции в развитии связи и информации, или теми, кто напуган масштабом нынешней экономики. Технологический детерминизм неизбежен так же, как и погодные явления. «И как это вы (говорят они), мелкие стати-

сты и недоучки, еще можете претендовать на какое-то звездное будущее, когда ваши собственные дети каждый день приходят домой, чтобы, наедаясь бигмаком, смотреть по телевизору программы вроде «Соседей» или «Полиции Лос-Анджелеса», передаваемые со спутника?»

На практике заметно преобладающим политическим побочным продуктом современной интернациональности до сих пор являлся национализм. Не здравый смысл, упорно приписываемый интернационализму, а непричесанная, алогичная, упрямая, разрушительная, эгоцентричная истина национальных государств. Не какое-нибудь высокопарное или инертное единство, а «Балканизация» — мир непримиримых исключений, для которых должно быть какое-то правило, но никто не знает какое. Даже еще до 1989 года было понятно, что у средневекового партикуляризма по-прежнему есть какое-то будущее. Но только после него стало возможным более убедительно говорить о том, что будущее это весьма *определенное*.

Не представляю, как можно было бы не заподозрить здесь некую связь. Это не может быть просто цепью случайностей, как полагают интернационалисты. Допустим, что политический марксизм давно похоронен, но в моей книге по-прежнему жив материализм исторический. Надо полагать, что все эти бигмаки и торговые агенты с IBM, — разумеется, не преднамеренно, — но совершенно реально (материально) ускорили или произвели такой результат. «Балканизация», по-видимому, является не бессильным или бездумным протестом против достижений прогресса — она сама есть этот прогресс. Должно быть, она-то и есть настоящее, то, что происходит на самом деле, — в отличие от идеологической виртуальной реальности, предлагаемой нам детерминистами, торговыми агентами многонациональных фирм и интернационалистами. О да, мы всегда считали, что бедным македонцам ничего не останется, как покориться прогрессу — изменить своему древнему, красочному укладу и стать в большей степени такими, как все. А теперь мы знаем и то, что прогрессу придется уступить македонцам.

ЭТИКА И ДОКТРИНА

Аналогия здесь может быть весьма кстати. Сегодня теориям национализма свойственно то общее место, что последний оказывается не имеющим непосредственного отношения к национальности. «Изм» не проистекает из естественных фактов различия или своеобразия. Существуют национальности, лишенные национализма. Кстати, к одной из таких отношусь я. В Шотландии 1950-х годов всякий знал, что он шотландец, но почти никто не верил, что позднее для этого также понадобится какой-то все усложняющий «изм».

Вообще-то мы думали, что наш *этнос* носил некое благословенно британское, возвышенное значение, перенесенный в постполитическое государство в награду за достойное поведение. Однако ближе к 1970 году истина начала доходить до нас.

Бытует общее представление, согласно которому национализм возник из особой конъюнктуры развития, описанной Эрнестом Геллнером и его школой[6]. Оказывается, все дело в индустриализации. В неровном, нестройном марше, которым народы вошли в современность — одни вели, подавляли и при этом изменяли другие (вместо того, чтобы просто на них паразитировать), — национализм был извлечен из национальности и превратился в общий политический климат мирового развития. Национализм не есть отражение, зеркало этнического разнообразия. Это набор рычагов (порой вплоть до оружия), при помощи которых этнос становится новой острой проблемой человеческих отношений.

Однако в самом широком смысле то же самое можно сказать и об интернационализме. Он — не зеркало интернациональности, а сложный комплекс реакций на национализм: отчасти защита, отчасти маскировка и отчасти организованная адаптация. Это составная часть все той же националистической вселенной. Со времени падения наполеоновской империи два эти мировоззрения существуют в непрестанных, тягостных трениях друг с другом — сиамские близнецы единого всемирно-исторического процесса.

Между прочим, именно поэтому интернационализм имеет лишь довольно вымученное и отдаленное отношение к универсалистским убеждениям прошлого. В принципе несложно увидеть сходство между теми духовными учениями о человеческой природе и родом проповедей, милых сердцу интернационалиста. Но я сомневаюсь в том, что так мы многого достигнем. Религиозные истины противопоставляются греху и злу в рамках в целом неизменной вселенной. Интернационализм возник как средство против конвульсий мира после 1776 и 1789 годов — внутренних неурядиц, спровоцированных индустриальным и демократическим развитием. Демоны последнего даже еще могущественней: непредсказуемость, партикуляризм (средневековый или какой другой) и победившее националистическое мракобесие. Зло, о котором говорили священники, со своей стороны, было поставлено на это место самим божеством, которое могло расцениваться как последний арбитр. У интернационалистов подобного утешения не было.

Не существует какой-либо сильной связи и между интернационалистами и космополитами. Последние представляли собой до-индустриальную элиту, убежденную в своей авангардной роли продвижения цивилизованной интернациональности. Ее зерна должны были распространяться из более

возвышенных центров. Эдмунд Бёрк отмечал, что в его дни существовала «система манер и воспитания, имевшая весьма близкое сходство с таковыми по всей данной четверти земного шара», так что к 1780-м годам «ни один гражданин Европы ни в какой из ее частей не мог оказаться в изгнании» и никто «не чувствовал, что он по сути заграницей»[7].

Сегодня интернационалисты часто мнят себя космополитами. Порой город, регион или индивид могут характеризоваться как «космополитичные», что означает добровольную открытость для внешних культурных влияний, а иностранцы (большей частью интеллектуалы) при этом запросто чувствуют себя как дома. Бывают также и подлинные космополиты, то есть индивиды или семьи с перемешанными или перенесенными на новую почву культурными корнями, действительно ощущающие себя свободными выбирать место для жительства где угодно[8]. Та же характеристика, разумеется, делает их открытыми и для нападок со стороны ораторов-нативистов за такие пороки, как безродность, отсутствие привязанности и тому подобное.

Однако, на мой взгляд, подобные категории применимы лишь к действительно маргинальным случаям. Более важный момент — это то, что весь скачок развития под знаком национализма был направлен против цивилизации, распространявшейся вширь и вглубь из соответствующих центров, на стороне которых были хорошие манеры и образование. Формула «сделай сам» пришла на смену учителю из метрополии. Но «сделать самому» можно только своими силами — на собственном языке, с собственными знаниями и ошибками, — категорически отрицая то, что говорят граждане Европы. Так случилось в 1776-м, а затем вновь после 1790-х. «Никогда не доверяй гражданину Европы» стало ведущим лозунгом времени. Иными словами: «Присоединяйся на наших собственных условиях, а не на их».

В мире после 1789 года космополитизм превратился в досадное недоразумение. Проводить границу между ним и империализмом стало труднее, так как начали свою работу волны носителей цивилизации метрополий, каждый из которых был убежден в своем прирожденном праве воодушевлять и указывать путь. Великие державы присвоили себе интернационализм легким движением руки, что бывает совершенно естественным для того, кому случается набрать больше хороших карт, чем другим. Париж, Лондон, Вена, Нью-Йорк, Москва со своими тузами и джокерами ушли далеко вперед; пейзанам, таким образом, осталась одна мелочевка. Не позволить, чтобы первые их цивилизовали, для последних было бы необдуманным, самонадеянным, тупым, плебейским, безнадежно опрометчивым и убийственным шагом. И на самом деле весьма националистическим.

К большому счастью, как отмечает Геллнер в «Мышлении и изменении»,

все же нашлось достаточно национальных безумцев, которые сколько-нибудь последовательно шли наперекор империализму[9]. В противном случае та или иная форма империи непременно должна была бы перекрыть кислород человечеству: такая судьба весьма реально грозила ему в период с 1939 по 1942 год.

В эту эпоху империалистических и националистических битв интернационализм существовал как этика в основном благодаря единственной доктрине — вере в альтернативное средство цивилизованного развития, ни имперского, ни национального. Эта идея сводилась к тому, что класс может стать самостоятельным вектором развития. Пролетариат, противостоящий империи и поднявшийся над национальностью, сможет сделать шаг вперед и по собственной воле примет мантию Просвещения. Объединяясь, рабочие всех стран способны избежать жестоких противоречий капиталистического прогресса. Они могут стать гражданами мира, а не просто гражданами Европы. Даже будучи ограниченным на какой-то момент национальными этапами борьбы, рабочий класс должен был действовать в соответствующем, интернационалистическом духе — устремляя взоры к широким горизонтам эмансипации, к освобождению как национальных врагов, так и друзей.

Несмотря на отсутствие социальной основы, то есть образованной, не знающей границ касты в понимании Бёрка, эта светская вера все же имела сложный и подвижный фундамент. Частью он состоял из тех, кого Джордж Стайнер в 1987 году в телевизионной лекции о Вене назвал «еврейской интеллигенцией» (особую роль они играли здесь после краха империи Габсбургов); частью — из рабочих движений различных стран, поскольку занимавшиеся самообразованием кадры становились интернационалистами в противовес тому, что они считали подавляющей культурой их собственных школ; и частью из клик, относящихся к метрополиям или «атлантическим левым», чье влияние было (или казалось) достаточно сильным, чтобы они могли на какое-то время почувствовать себя центром мира.

МАЛЫЕ БАТАЛЬОНЫ

Интернационалисты еще до 1989 года прекрасно знали, что их ждет поражение. В 1977-м Эрик Хобсбаум сделал мрачный вывод, что «Организация Объединенных Наций... похоже, скоро будет состоять из Сакс-Кобургов и Шварцбург-Зондерхаузенов конца XX века»[10]. Он пытался отстаивать одновременно две вещи — ленинский интернационализм и Великобританию: последнюю — в качестве единственного уцелевшего образца благоразумных многонациональных ценностей (вот только еще извести бы в ней дух шот-

ландского и валлийского сепаратизма). Большие батальоны со всеми их недостатками уже уступали место более малым (чьи недостатки были еще хуже). Он уже тогда чувствовал, что интернационализм не сможет обратить эту тенденцию вспять. Однако интернационализм все еще мог занимать осторожную и сдержанную позицию. Пока еще существовали несколько действующих многонациональных государств вроде Соединенного Королевства, Советского Союза и Югославии, для него еще было не все потеряно.

С этой точки зрения, в 1989-м *было* потеряно все. Последние крупинки идеи упали, отбракованные, сквозь звонкое сито, когда восточный рабочий класс решительно выбрал смесь «буржуазной демократии» с национализмом. Ключевые составные государства распались на части. Да, Соединенное Королевство все еще цело, хотя обстановка в нем сейчас гораздо тревожнее, чем в 1970-х. Живы Китай и Индия. Но достаточно только процитировать этот короткий список, чтобы понять, насколько безнадежным может стать это положение уже очень скоро. Этика интернационализма сохранилась лишь благодаря тому, что она, как и многое другое, в эпоху холодной войны находилась в застывшем виде.

Ее лучшие дни пришлись на предыдущий период — на борьбу с патологическими версиями национализма в межвоенные годы. Они, в свою очередь, также последовали за ее великим поражением, воплощенным в развязывании первой мировой войны 1914 года. Тем не менее ленинизм, Третий и Четвертый Интернационалы, а также антифашистские сражения вернули этой вере некоторое влияние и актуальность, за что, между прочим, мы можем быть им очень благодарны сегодня, даже при всей сомнительности большинства отстаиваемых ею идеалов. В конце концов, этот интернационализм упрочил силы противостояния самому скверному типу империализма. Но мы также не должны забывать, что он сделал это (и победил) лишь из-за того, что был связан с национализмом, — то есть с теми его непатологическими формами, которые смогли противостоять фашизму и привели к его разрушению.

В тот период интернационализм оправдывала его героическая оборонительная мораль. Хотя даже тогда он одновременно оставался способом адаптации к националистическому миру. Чаще всего он выполнял эту функцию, предельно умаляя и осуждая значение национальности, позволяя себе терпимость по отношению к *этносу* только потому, что тот был уже близок к выходу из истории.

В худшем случае это допущение могло превращаться в жесткое и сектантское убеждение, согласно которому нынешний мир весьма отличен от прежнего, что «выход из истории», так сказать, по-прежнему широко открыт и

массы уже готовы покинуть ее. Все, что им надо сделать, — это понять, как туда попасть. Это была поздняя милленаристская форма структуры интернационалистской веры. Она оставалась в силе до 1970-х годов, особенно в Италии и Германии. По мере утраты политической основы она временами пыталась восполнить ее смесью интеллектуального терроризма и вооруженной силы.

К 1989 году и от этого остались только воспоминания. Инициатива переходила в руки сравнительно малых батальонов. Упомянутый нами выше долгосрочный процесс глобализации, который, по-видимому, способствует дальнейшему раздроблению, достиг к этому моменту своей кульминации, а именно — либерального конца истории. Сакс-Кобурги и Зондерхаузены начали выстраиваться в очередь у дверей ООН. Словения стала свободной; Андорра проголосовала за самоуправление; Дания на короткое время разорвала свою связь с Европейским Сообществом, затем передумала и в мае 1993-го еще более громко восстановила ее. По крайней мере интернационализма в старом смысле слова больше не было: родовитый призрак оказался бездомным, безыдейным и скатился до благочестивого морализаторства, которым куда лучше владело христианство и другие религии. Поскольку многие из стоящих в очередь у дверей ООН когда-то стремились и поныне стремятся уничтожить друг друга, люди испытывают некоторую ностальгию по порядку и стабильности. Однако каким интеллектуальным содержанием их можно было бы наполнить сегодня?

СЕГОДНЯ — ВСЕ НАЦИОНАЛИСТЫ

Социализм должен найти какие-то новые ориентиры — ориентиры эпохи после 1989 года, хотя некоторые могут счесть это слишком щедрой характеристикой его возможностей. Новые ориентиры помогут ему найти путь через капитализм, а не против него, даже если социалисты по-прежнему, паче чаяния, желают все изменить. Альтернатива лежит в том, что они привычно считали враждебным, а не вне его или же в отчужденном глобальном противостоянии ему. Если не может быть иной экономики, кроме рыночной, то это значит, что типы капитализма будут — или, стало быть, еще *очевиднее* будут — различными. Размороженное и отмершее после вечного противостояния вероятной альтернативе, это разнообразие, эти противоречия и неравномерность индустриализации колоссальны, и они станут интеллектуально понятными и более практически значимыми.

Однако то же самое справедливо для национализма и интернационализма. В данном случае альтернатива находится в полностью национализиро-

ванном мире, а не в его противоположности. Любые новые ориентиры лежат по ту сторону Этнической Пропасти (кроме тех случаев, когда пропасти, в истерично-либеральном понимании, просто нет). Действительно ли так плохи раздробленность и анархия? Отчасти, возможно, да, но здесь мы неизбежно толкуем о целом — пытаясь охватывать взглядом весь спектр и судить о нем соответственно. Как я всегда говорил, в этом общем смысле новый беспорядок гораздо лучше предшествовавшего ему строгого имперского порядка[11]. Первый создал смертельную угрозу для некоторой доли приграничного населения; но если второй просуществовал бы еще некоторое время, то мог бы обернуться уничтожением всех.

По поводу обоих — капитализма и национализма — существует другая интерпретация, которая гласит, что сейчас мы «с трезвыми чувствами», как любил говаривать Маркс, увидели истинный, долгосрочный маршрут развития. Если все это к лучшему и не является всего лишь судорожной реакцией на крах коммунизма, то социалистам предстоит решить, какого рода капиталистами, а интернационалистам — какими националистами они желали бы стать.

Возможно, кто-то сочтет этот выбор выбором петли для висельника, но я полагаю, что это не так. Это не так, если мы обратимся к щедрой, творческой стороне старого интернационалистического кредо, нежели к ее строгим, элитарным идеалам высокомерной метрополии. Война в бывшей Югославии мгновенно повысила акции старомодных атлантических леваков, но я не уверен, что это продлится долго. Для первой же, напротив, вполне возможны новые маяки, и некоторые из них уже становятся видны. Интернационализм можно строить только на определенном стиле национализма, конструкция которого, в свою очередь, в большей степени основывается на демократии, чем на *этносе*. Стойкий и прочный беспорядок в большей степени будет опираться на выбранную идентичность и в меньшей на классические мотивы — язык, народные обычаи и «кровь».

Некоторые ориентиры являются интеллектуальными. Они основаны на новом прочтении национализма и его доктрин. Недавно в Праге я слушал Романа Зпорлука из Гарвардского университета, который выступал с докладом по истории националистических идей. Он рассказывал, как, часто находясь под влиянием интернационализма, ученые грешили неадекватными толкованиями истории о неравномерном развитии — в том числе даже такие ведущие его теоретики, как Гердер и Фридрих Лист. На самом деле национализм был первым поистине светским «мировоззрением», за исключением естествознания: его «изм» указывал на всеобщее, на некое устремление, идущее из глубины его сердца.

Под искаженным углом зрения метрополии *этнос* всегда выглядел этакой маленькой пакостью, кротовьей дорожкой в саду, который должен быть безупречным. Однако ему-то хочется иметь свой собственный сад, свое фигуральное место в рамках величественного ландшафта современности. Зпорлук также показал, что Лист в качестве аналитика довольно выгодно смотрится на фоне, например, Маркса и Энгельса и что как пророк он преуспел в несравнимо большей степени, чем они. В определенном смысле именно Листом был предсказан тот мир, который вновь возник после 1989 года[12].

ПО ТУ СТОРОНУ АНТИУТОПИИ

Нам необходимо новое чувство будущего, равно как и пересмотренная история. Как сегодня очень часто говорят в Соединенном Королевстве, дитя цепляется за нянькину юбку из страха перед чем-то ужасным — в данном случае перед «Пропастью». Но что это за черная яма, в которую, как нам кажется, нас могут втянуть? Ее очертания достаточно хорошо нам знакомы; нечто подобное часто рассматривалось в теории. Самый свежий пример, который приходит мне в голову, — это статья, написанная Эрнестом Геллнером[13].

Геллнер всегда отличался социологической слабостью к мудреным диаграммам. Его новая работа содержит две роскошные схемы аграрного (до-националистического) и индустриального (или националистического) общества — то есть цивилизации в современной конфигурации. По Геллнеру, история стремится быть раздражающей субстанцией, возникающей в промежутке между двумя социологическими моделями. Модель, которая сложилась в 1991-м, кажется всего лишь дополнением модели, сложившейся в 1989-м:

«Общество должно быть гомогенизировано, *gleichgeschaltet* (унифицировано); и единственной силой, способной осуществить, проконтролировать и обезопасить это действие, является центральное государство. В условиях конкуренции множества государств за пересекающиеся сферы влияния, единственным способом, которым конкретная культура может защитить себя от другой... является обретение ею собственного государства. Подобно тому, как у всякой девушки должен быть муж, желательно ее собственный, так и каждая культура должна иметь государство, желательно ее собственное. Государства-культуры существуют в вечной борьбе друг с другом. Таким образом, вот конечный продукт — мобильное, атомизированное общество равноправия со стандартной культурой, где культура — это культура письменная, «высокая», и где ее распространение, поддержка и границы находятся под

защитой государства... Одна культура, одно государство. Одно государство, одна культура»[14].

Итак, вот она, настоящая Пропасть — универсум вооруженных лейбницевых монад, равно опьяненных своей собственной культурой и неприязнью к соседям, а заодно и безродным космополитам. Передвижение по Европе будущего или даже по Североамериканской зоне свободной торговли в таких обстоятельствах вскоре может стать чем-то вроде пересечения Боснии в наши дни. Через каждые несколько миль банды головорезов, в униформе или без, только и будут ждать того, чтобы поквитаться с врагами и навязать свою до предела обесцененную валюту незадачливым путешественникам[15].

Цивилизация с таким положением вещей определенно несовместима. Однако Геллнер, конечно, как всегда, не проговаривает угрожающий образ до конца. Он делает вывод, что хотя его теория является «почти евклидовой по своей убедительности», не все это понимают. «К большому сожалению, поразительно многие оказываются не способными принять эту теорию, даже когда им преподносят ее на блюдечке». Я — один из них. Подобная теория может быть уместной для Боснии-Герцеговины, но, к счастью, пример Боснии-Герцеговины не является повсеместным. Эта общая антиутопия ложна. Нет никаких монад, и нет никакого намека на то, что национализированный, состоящий из малых батальонов мир будет в достаточной мере похож на них.

Используя один красноречивый контрпример, давайте кратко рассмотрим другую зону в границах той же общей области Европы в после холодной войны — Триест. Перед нами классический образец «переплетающихся сфер влияния» с безнадежно смешанным населением: итальянцами, словенцами, фриулами, хорватами, австрийскими немцами и евреями. Этот искусственный город-государство был бы обречен, если бы ему навязали изоморфные государственно-культурные нормы (примерно то, что пытались сделать итальянские фашисты в период с 1926 по 1945 год).

Будучи едва не удушенными «гомогенизацией», большинство жителей Триеста не желало бы повторения представления. Новая Словения в этом смысле также никак не давит на них. Последняя не выказывает никаких признаков того, что ей хотелось бы вернуть свою прежнюю «сферу влияния», несмотря на то что у многих жителей этого большого города либо словенские бабки и деды, либо (в чем они часто не признаются) прах словенских предков на заднем дворе или ближайшем кладбище.

В то же время действующим политическим силам в Триесте известно, что национализм как политическое явление неизбежен. Только путем обретения независимости — или автономии города-государства — можно установить суверенитет в условиях наступающего нового беспорядка. Поскольку дан-

ное место глубоко полиэтнично, это значит, что подобное самоуправление следует строить скорее на демократическом, нежели природном фундаменте. Это должна быть свободно избранная идентичность, причем синтетическая, то есть объемлющая все возможные элементы — начиная с империи Габсбургов и заканчивая *Lega Nord*[16], звезда которой восходит в настоящее время.

Однако эта идентичность, в свою очередь, также станет частью новой националистической системы — каждым своим элементом, наравне с зачищенной Великой Сербией или обновленными Шварцбург-Зондерсхаузенами. Новый порядок должен быть и будет порядком беспородных помесей, полукровок, странных пересечений и дышащих жизнью пространств, так же как и стопроцентно изоморфных Словении или Польши. То, что кажется беспорядочным, здесь может быть как к лучшему, так и к худшему. На самом деле я полагаю, что любая такая система, дабы хоть сколько-нибудь сносно функционировать, будет нуждаться в неких буферных механизмах, зонах слияния, ничейных землях и анклавах. Андорра, остров Мэн, Сараево, Сингапур и Гибралтар могут иметь в ней не меньше значения, чем более безупречные в теоретическом плане этнические кирпичики.

Старый интернационализм часто бывал неприятно близок к «изму» одного и того же. Я абсолютно уверен, что этого никогда нельзя будет сказать о национализме после 1989 года. Теперь интернационализм найдет для себя куда более естественную точку опоры в качестве сдерживающего механизма системы, в отличие от прежней тщетной попытки препятствовать ее воплощению. Демократия явилась повивальной бабкой порядка после 1989 года и остается его главным интересом. Анархия здесь отчасти означает лишь то, что величие и претензии метрополий как-то исчезли из поля нашего зрения и, похоже, уже никогда не смогут вернуться. Однако анархия должна также иметь и более позитивную функцию, которую интернационализму нового стиля надлежит принять всем сердцем.

АНАРХИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

После 1989 года в мире случилась странная вещь. В то время как торговцы унынием из числа «атлантических левых» видят только атавизм и войну, утопия наступает на других фронтах. Выше я упоминал некоторые работы, посвященные общему обзору идей, связанных с национализмом. Но, вероятно, имеет смысл вспомнить и ряд других положений, которые, едва появившись в печати, были отвергнуты как розовые мечты, как видения почти немыслимо далекого будущего.

К примеру, давайте рассмотрим теорию, развиваемую профессором Джейн Джейкобс в книге «Города и богатство народов»[17]. Очень часто высказывается неверная мысль, будто никто не мог предвидеть развала СССР. Джейкобс предвидела, и она весьма ясно описала ту «подтачивающую работу», которая в конце концов привела к разрушению Союза, равно как и иных «чрезвычайно застойных и жалких фрагментов империй, и древних и более новых». Она пришла к выводу, что для мира будет лучше, если он будет меньше — в экономическом и любом другом смысле. Однако здесь проблему составляет существующий в данный момент не отличающийся особой гибкостью характер международной системы наций-государств, который мешает размножению суверенитетов.

Существующие национальные государства (особенно самые большие) строились на «жутком очаровании человеческих жертвоприношений», поэтому предательство их единства означало бы превращение «самых славных страниц национальной истории в пустой звук и безумие»[18]. Кстати, это очень напоминает речи, с которыми выступали министры лондонского правительства в Шотландии в рамках Британской всеобщей избирательной кампании 1992 года. Они, по сути, были одним сплошным вопросом «да как же вы смеете?..». Также и международный порядок опирался на принцип неприкосновенности — то есть святости всех существующих, как это было заложено в протоколах ООН и Европейского Сообщества. Хотя порой это способно обеспечивать защиту слабым от сильных и голодных, одновременно таким образом защищаются сильные — в свою очередь, от слабых и голодных — то есть от сепаратистов, новых суверенитетов и других моделей, создаваемых народными движениями.

Поэтому интернационализм, основанный исключительно на подобных идеях, является крайне недееспособным и далеким от того, что Джейкобс относит к живым тенденциям и возможностям всякого нового порядка. Они зависят, утверждает она, в первую очередь от приумножения политических суверенитетов демократическими способами. Сюда входит радикальное освобождение международных отношений от саванов холодной войны и оставленных ею жалких, беспорядочно перемешанных имперских осколков. Как этого можно достичь? Джейкобс несколько нерешительно предлагает следующую формулу: для бывших империй или крупных национальных государств альтернативой «разрушительным действиям» должен быть простонапросто санкционированный распад:

«...Для политической единицы лучше не пытаться держаться в связке с другими. Радикальный разрыв связей, таким образом, должен вылиться в деление единого суверенного государства на семейство малых суверенитетов,

и причем не после того, как сама собой наступит фаза распада и дезинтеграции всего и вся, а задолго до этого — пока ситуация еще вполне благополучна. В национальном обществе, развивающемся таким путем, размножение суверенитетов посредством деления должно стать нормальным, безболезненным дополнением собственно экономического прогресса, а также возрастающей сложности экономической и общественной жизни. Некоторые суверенитеты из такого семейства, в свою очередь, будут делиться дальше, как только почувствуют в этом отчетливую потребность. В этой утопической фантазии молодым суверенитетам, выпархивающим из гнезда родительской нации, вслед должно раздаваться: «Счастья вам в вашей самостоятельной жизни!»[19]

Мрачные экономисты из числа и «левых», и «правых» считают подобный курс пагубным, ведущим к хаосу, умножению видов валют и слому всех правил, которым люди привыкли следовать. В 1984 году Джейкобс указывала, что, если во всех соперничающих теориях об информационной революции и компьютеризации мира есть хотя бы доля истины, то умножение как суверенитетов, так и валют на самом деле должно впервые протекать довольно легко. Такие новые инструменты могут позволить малым экономическим единицам прекратить беспорядочное участие во внешней торговле и международных делах. Кроме того, глобализация должна вызывать и даже реально стимулировать разрастание малых, борющихся за существование целостностей, вместо того чтобы, напротив, стирать их с карты мира.

Мне, вероятно, следует добавить, что анархический интернационализм и урбанология в понимании Джейкобс имеют мало общего с достопамятным лозунгом «малое — прекрасно». Ей известно, что малое вовсе не обязательно и безусловно прекрасно. В нем может быть нечем дышать, не на что надеяться и негде развернуться. Ее целью было не восславить карликовые миры как таковые, а рассмотреть тот общий порядок, в рамках которого малое больше не будет восприниматься как неудобство и появится новая интернациональность, более благоприятная для мини- и микроединиц, которые, в свою очередь, могли бы быть открытыми, активно действующими частями великого мира.

Уже спустя несколько лет утопические прогнозы Джейкобс перестали казаться такими невероятными: утопия сама поспешила навстречу нам, то есть все то, что раньше выглядело эксцентричной фантазией, сегодня как минимум доступно практическому пониманию.

Но лично я здесь снова открыто стою за раздел, за новые нации и всеобщий международный беспорядок только потому, что должен это делать как представитель Соединенного Королевства. Позвольте мне закончить на этом,

приведя еще заключительные слова из «Городов и богатства народов». В прошлом государства-имитаторы и государства потенциальные, «игнорировали парламенты Исландии и острова Мэн», а вместо этого «обращали внимание на британскую парламентскую систему». Что было бы, если бы они поступали иначе?

«Поскольку человеческим существам, похоже, рано или поздно все же придет в голову испробовать все собственные возможности, то несомненно, что где-то, когда-то, в какой-то культуре или цивилизации будет опробована и такая альтернативная форма разрыва — если только человечеству действительно по силам разделить большие суверенные образования до того, как они зайдут в тупик хаоса»[20].

Через пять лет после того, как Джейкобс написала эти слова, великий разрыв наступил — не по плану и в основном непредвиденно. Мы продолжаем узнавать кое-что о жизни и принципах анархии. Одним из них суждено стать новым образом интернационализма.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Этим мероприятием была конференция по национализму, организованная в марте 1993 году в Каледонском университете Глазго (ранее политехническом институте). Я хотел бы поблагодарить устроителей этой встречи, а также фонд имени Фридриха Эберта и устроителей последующей конференции в Корнельском университете Нью-Йорка, где я представил доклад, легший в основу данной статьи.

2. Спасибо, дорогой Нейрн, спасибо, очень интересно, но... *(фр.)* — *Прим. пер.*

3. «Интернациональность» впервые появляется в «Оксфордском словаре английского языка» в 1864 году, то есть, условно говоря, в тот год, когда Маркс основал Первый Интернационал и, таким образом, современное левое крыло интернационализма.

4. Цитируется по: *Richard J. Barnet, Ronald E. Muller.* Global Reach: The Power of Multinational Corporation. N. Y., 1974. P. 14—15.

5. В журнале «Экономист» от 22 мая 1993 года появилась заметка, в которой зондируется возможность более эффективного проведения предлагаемого раздела IBM и возмещения таким образом его рекордных убытков 1991—1992 годов.

6. *Opus classicus* — это, конечно, Эрнест Геллнер, «Нации и национализм». См.: *Ernst Gellner.* Nations and Nationalism. Ithaca, 1983. Менее известным, но тем не менее очень важным *locus ultra-classicus* является работа: *Ernst Gellner.* Nationalism // Ernst Gellner. Thought and Change. Chicago, 1965.

7. *Thomas J. Schlereth.* The Cosmopolitan Ideal in Enlightement Thought. Notre Dame, Ind., 1977. P. 2.

8. Все из них, кого я знал, были отчасти или полностью русскими. Я знаком с человеком, которому доставляет удовольствие жизнь только в отелях; он оправдывает это сложной философией изгнания как естественного, хотя часто не признаваемого, человеческого состояния. Купить дом и «пустить корни» для него просто значило бы чувствовать себя изгнанным отовсюду.

9. *Ernst Gellner.* Nationalism // Ernst Gellner. Thought and Change. Chicago, 1965.

10. *Eric J. Hobsbawm*. Some Reflections on the Break-up of Britain // New Left Review. Vol. 105, 1977.

11. См. мою статью в: London Review of Books. February, 1993.

12. *Roman Szporluk*. Communism and Nationalism: Karl Marx Versus Friedrich List. N. Y., 1988.

13. *Ernst Gellner*. The Coming of Nationalism and its Interpretation: The Myths of Nation and Class; см. гл. 4 этой книги.

14. Ibid.

15. Некоторое время назад по пути из Загреба в Белград моего друга остановили и, после обычных препирательств и предупреждений, «предложили» приколоть на лацкан значок. На нем была надпись «Я люблю сербов». Он отказался от такой чести, заметив, что не имел достаточно времени проверить свои чувства к ним. В ответ раздались взрывы смеха: «Это прямо как сказал бы серб!» — проревел один из бандитов.

16. Северная Лига — итальянская националистическая организация, выступающая за отделение северных районов страны. — *Прим. ред.*

17. *Jane Jacobs*. Cities and the Wealth of the Nations: Principles of Economic Life. N. Y., 1984. P. 212—214.

18. Ibid.

19. Ibid. P. 214—220, в разных местах.

20. Ibid. P. 212—214.

ЮРГЕН ХАБЕРМАС

ЕВРОПЕЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ. О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ СУВЕРЕНИТЕТА И ГРАЖДАНСТВА

Мировое сообщество, как уже следует из его названия — «Объединенные нации» — сегодня политически состоит из национальных государств. Это отнюдь не тривиальный факт. Исторический тип государства, впервые возникший с Французской и Американской революциями, распространился по всему миру. После второй мировой войны благодаря процессам деколонизации сформировалось третье поколение национальных государств. Эта тенденция продолжилась с развалом советской империи. Национальные государства доказали свои преимущества как перед городами-государствами (или федерациями таковых), так и перед современными преемниками старых империй (последний из которых, Китай, как видим, именно сейчас переживает процесс глубокой трансформации). Такой глобальный успех национального государства, в первую очередь, связан с достоинствами современного государства как такового. Прежде чем мы будем говорить о формировании национальных государств, позвольте мне начать с отдельных комментариев по каждому из двух компонентов: то есть тому, что мы сегодня понимаем под «государством» и под «нацией».

В немецкой традиции «государство» — это юридический термин, который относится одновременно к *Staatsgewalt*, исполнительной ветви, гарантирующей внутренний и внешний суверенитет, к *Staatsgebiet*, четко ограниченной территории, и к *Staatsvolk*, совокупности граждан. Последняя выступает в качестве символического носителя законного порядка, составляющего юрисдикцию государства в границах его территории. С социологической точки зрения, можно добавить, что институциональную сердцевину современного государства образует юридически оформленный и высоко дифференцированный административный аппарат, который имеет монополию на легитимные средства насилия и подчиняется интересному разделению труда с рыночным обществом, свободным для исполнения экономических функций. При поддержке вооруженных сил и полиции государство сохраняет свою внутреннюю и внешнюю автономию; суверенитет означает, что политическая власть обеспечивает закон и порядок в границах собственной террито-

рии, а также целостность этих границ в международном окружении, в рамках которого конкурирующие государства признают друг друга согласно международному праву. В силу институционального разделения политических и экономических функций государство и общество являются зависимыми друг от друга. Государство-управляющий зависит от налогов, в то время как рыночная экономика опирается на юридические гарантии, политическое регулирование и возможности инфраструктур. Короче говоря, колоссальный исторический успех национального государства можно отчасти объяснить тем обстоятельством, что современное государство, или тандем бюрократии и капитализма, оказалось наиболее эффективным средством ускорения социальной модернизации.

Сегодня все мы живем в национальных обществах, которые обязаны своей идентичностью организационному единству подобного государства. Однако современные государства существовали задолго до возникновения «наций» в современном же смысле этого слова. Два этих элемента — современное государство и современная нация — сплавились в форму национального государства не ранее конца XVIII столетия. Конечно, в юридическом и политическом контекстах мы обычно пользуемся понятиями «нация» и «народ» как взаимозаменяемыми. Хотя, помимо прямого юридического и политического значения, термин «нация» несет в себе указание на общность, сформированную по критерию единства происхождения, культуры и истории, а часто также общего языка. Члены государства составляют «нацию» как некую особую форму жизни. Отнюдь не случайно понятие «нации» имеет двойственное значение — *Volknation* и *Staatsnation*, то есть до-политической нации и граждан, обладающих юридическими полномочиями.

Два эти понятия так легко объединились друг с другом благодаря тем корням, которые понятие *Volksnation* уже имело в контексте двух различных до-современных смысловых линий. Современное понятие «нации» возникло как наследие противоречивой истории его культурного, а также политического значения. Позвольте мне сделать краткий экскурс в его концептуальное прошлое.

В классическом римском словоупотреблении *natio*, подобно *gens*, служило противоположностью *civitas*. В этом смысле нации изначально являлись сообществами людей одного и того же происхождения, еще не объединившихся в политическую форму государства, но связанных совместным поселением, общим языком, обычаями и традициями. Такое значение этого слова проходит сквозь все средневековье вплоть до начала Нового времени и применяется во всех тех ситуациях, где «нацио» и «лингва» понимаются как эквиваленты. Так, например, студенты средневековых университетов дели-

лись по нациям согласно тем регионам, из которых они прибыли. Даже в то время национальное происхождение, *приписанное вам другими*, уже весьма отчетливо связывалось с уничижительным отделением чужого от «своего»: национальность в безусловно негативном смысле слова приписывалась инородцам.

В то же время в другом контексте термин «нация» получил иное значение. Это новое политическое значение носило положительные оттенки. В ходе развития старой Германской империи феодальная система дала начало стратифицированному политическому обществу корпоративных государств. *Staende* (сословия) в политическом смысле строились на договорах (как знаменитая Великая Хартия), по которым король или император, зависевший от налогов и военной поддержки, даровал аристократии, церкви и городам определенные привилегии — иными словами, ограниченное участие в осуществлении политической власти. Эти правящие сословия, которые встречались друг с другом в «парламентах» или в других «представительных собраниях», представляли страну или «нацию» *перед лицом* двора. Так аристократия обрела политическое существование в качестве «нации», в то время еще недоступное для масс населения, или «частных подданных». Этим можно объяснить то революционное значение, которое в Англии носил лозунг «Король в парламенте», а во Франции — отождествление «третьего сословия» с «нацией».

Демократическое преобразование *Adelsnation*, нации знати, в *Volksnation*, нацию народа, предполагало глубокие изменения в ментальности населения в целом. Начало этому процессу положила работа ученых и интеллектуалов. Их националистическая пропаганда явилась стимулом политической мобилизации среди городских образованных средних классов еще до того, как современная идея нации получила более широкий резонанс. Однако по тому, как эта идея завладевала воображением масс в течение XIX века, вскоре стало понятно, что преобразованное *политическое* понятие нации позаимствовало некие оттенки значения у своего прежнего, *до-политического* двойника — а именно ту самую способность порождать стереотипы, которые ранее ассоциировались с «нацией» как с понятием о происхождении. Новое самосознание нации зачастую функционировало как отпор всему чуждому, подразумевало принижение других наций и дискриминацию либо отвержение национальных, этнических и религиозных меньшинств, в особенности евреев.

Два компонента понятия национального государства — государство и нация — относятся к сближающимся, но изначально разным историческим процессам: образованию современных государств и строительству современ-

ных наций. Классические национальные государства на западе и севере Европы сформировались в рамках существовавших территориальных государств, между тем как «поздние» нации, Италия и Германия, взяли курс, который впоследствии стал типичным для Центральной и Восточной Европы: здесь образование государства просто шло по следам национального сознания, складывавшегося, в свою очередь, вокруг общего языка, общей истории и культуры. Категории действующих лиц, инициировавших и осуществлявших процесс государственного либо национального строительства, существенно разнятся между собой. Если говорить о развитии современных государств, то в создании эффективной бюрократии принимали участие в основном юристы, дипломаты и военные чины, в то время как писатели, историки и журналисты, со своей стороны, расчищали поле для дипломатических и военных усилий государственных лиц (например, Кавура и Бисмарка), неся в массы поначалу воображаемый проект нации, объединенной на культурной основе. Работа и тех, и других привела к оформлению европейского национального государства XIX века, так или иначе обеспечившего тот контекст, из которого вытекает сегодняшнее стандартное представление конституционного государства о самом себе. Далее я не буду останавливаться на различных моделях национальных историй, которые, безусловно, сказались на силе или слабости либерально-политических культур. Как выяснилось, демократические режимы более стабильны в тех странах, где развитие национальной идентичности шло вместе с революционной борьбой за гражданские свободы в границах существующих территориальных государств, в то время как менее стабильными демократии оказались там, где национальные движения и войны за свободу от иностранного завоевателя впервые привели к созданию границ для зарождающихся национальных государств.

В данном исследовании я хотел бы разъяснить, в чем состоят специфика и уникальное достижение национального государства. А затем — проанализировать напряженность между его неотъемлемыми частями — республиканством и национализмом. Так мы получим ключ к последующему краткому рассмотрению двух проблем, с которыми нация-государство вынуждена считаться сегодня. Вызовы, бросаемые мультикультурной дифференциацией гражданского общества и тенденциями к глобализации, проливают свет на пределы данного исторического явления.

Разрешите мне сперва пояснить, чего именно достигло современное государство благодаря своей уникальной сопряженности с гомогенизирующей идеей нации. Эта первая современная форма коллективной идентичности послу-

жила катализатором преобразования раннего современного государства в демократическую республику. Национальное самосознание народа составило тот культурный контекст, который способствовал росту политической активности граждан. Именно национальная общность породила новый тип взаимосвязи индивидов, ранее совершенно чужых друг другу. Тем самым национальное государство смогло решить сразу две проблемы: оно учредило демократический способ *легитимации* на основе новой и более абстрактной формы *социальной интеграции*.

Первая проблема, если сформулировать кратко, возникла вслед за религиозными войнами. Конфликты между конфессиями и вероисповеданиями привели к религиозному плюрализму, который подорвал всяческие претензии королей на божественную легитимацию собственной власти и в конце концов потребовал секуляризации государства. Теперь политическая власть нуждалась в иной легитимации, нежели та, что проистекала из общепринятого религиозного мировоззрения. Вторая проблема — проблема социальной интеграции — явилась следствием разнообразных процессов модернизации. Население было вырвано из пут традиционных отношений и избавилось от корпоративных уз, присущих ранним современным обществам, тем самым пережив отчуждающий опыт одновременных изоляции и мобилизации. Национальное государство ответило на оба эти вызова политической активизацией народа. Национальная идентичность нового типа могла сочетаться с более абстрактной формой социальной интеграции в рамках сменившейся модели политического процесса: те, кто прежде подчинялись более или менее авторитарному правлению, теперь шаг за шагом обретали статус граждан. Национализм стал стимулом этого перехода от статуса отдельных подданных к статусу граждан.

Конечно, «охват» политическими правами всего населения в целом должен был бы потребовать очень долгого времени. Но в ходе такого расширения политического участия возник новый уровень *юридически опосредованной солидарности* граждан, а государство, вводя демократические процедуры, в то же самое время установило себе новый светский источник *легитимации*. Это новшество лучше всего можно выразить с помощью понятий «гражданства». Разумеется, никогда не существовало современного государства, которое не определяло бы собственных социальных границ в терминах гражданских прав, которые регулируют, кто включается, а кто не включается в юридическое сообщество. Однако ранее принадлежность подданного конкретному государству означала лишь то, что он подчиняется его властям. С переходом к демократическому национальному государству подобное юридически *определенное* организационное членство сменило свое

значение: отныне гражданство получило добавочный политический и культурный смысл вновь обретенной принадлежности к общности полноправных граждан, активно способствующих ее упрочению. Этот дополнительный смысл, однако, следует дифференцировать в соответствии с политическими и культурными аспектами этого наделенного правопритязанием гражданства, в которых одинаково сосуществуют линии республиканства и национализма.

Если смотреть с высот раннего модерна, то можно сказать, что абсолютистское государство, которое простоты ради можно было бы назвать государством Гоббса, уже было конституировано в формах позитивного или писаного права, предоставлявшего своим частным подданным — контрагентам развивающегося рыночного общества — некие личные юридические полномочия. Благодаря развитию гражданского права они уже тогда, хотя и в рамках все еще неравномерно распределяемого набора прав, пользовались известной долей личной автономии. Когда в результате республиканского переворота на смену суверенитету короля пришел суверенитет народа, эти дарованные барской милостью права превратились в права человека и гражданина. Данные права, по-видимому, предоставляли индивиду не только личную, но и гражданскую автономию. То есть к приватной автономии прибавились права политического участия и автономии публичной. Конституционное государство понималось как такой политический порядок, который добровольно создается по желанию народа, и те, кому адресованы юридические нормы, могут, таким образом, одновременно считать себя авторами законов.

Однако для подобных преобразований не нашлось бы движущей силы, даже формально учрежденные республики были бы лишены внутреннего стимула развития, если бы из народа подданных не возникла, пусть даже в течение долгого времени, нация носителей гражданского самосознания. Такая политическая мобилизация требовала идеи, которая могла бы куда сильнее затронуть сердца и умы людей, чем несколько абстрактные понятия прав человека и народного суверенитета. Эта брешь была восполнена современной идеей нации, которая впервые вдохнула в обитателей общей территории чувство принадлежности к одной республике. Только сознание национальной идентичности, которое формируется на основе общей истории, общих языка и культуры, только сознание принадлежности к одной нации заставляет далеких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним пространствам, чувствовать взаимную политическую ответственность. Только так граждане начинают видеть себя частями общего целого, в сколь бы абстрактных юридических терминах оно ни выражалось. Данный тип националь-

ного самосознания имеет отношение к *Volksgeist*, особому духу нации, который так тщательно создавали интеллектуалы посредством романтических мифов, историй и литературных традиций, широко распространявшихся по каналам массовой информации того времени. Такая культурная идентичность и обеспечивает связующую общественную основу для политической идентичности республики.

Этим объясняется, почему понятие гражданства можно расшифровать двояко: оно не ограничивается юридическим статусом, определяемым в терминах гражданских прав, и обозначает также членство в культурно определяемом сообществе. Два данных аспекта прежде всего дополняют друг друга. Без такой культурной интерпретации прав политического участия европейскому национальному государству в начале его развития вряд ли хватило бы сил на достижение того, что я назвал его основным результатом, — то есть на создание нового, более абстрактного уровня общественной интеграции посредством юридического оформления демократического гражданства. Здесь есть и несколько контрпримеров. Так, пример Соединенных Штатов Америки доказывает, что национальное государство вполне в состоянии сохранять свою республиканскую форму и без поддержки культурно однородной нации; однако здесь всеобщая гражданская религия держалась на культуре несомненного большинства — по крайней мере до недавнего времени.

До сих пор я говорил о достижениях национального государства; но обратной стороной его заслуг являются весьма напряженные отношения между националистическим и республиканским самосознанием. От того, какое из них возобладает, будет зависеть судьба демократии. С возникновением национального государства и введением демократического гражданства меняется и понятие суверенитета. Эти обстоятельства, как мы уже видели, влияют на понятие внутреннего суверенитета, способствуя переходу последнего от короля или императора к «народу». Однако изменения в той же мере затрагивают и понимание внешнего суверенитета. С возникновением национальных государств старая идея Макиавелли о стратегическом самоутверждении, необходимом для отпора возможным врагам, приобретает добавочное значение экзистенциального самоутверждения «нации». Таким образом появляется третье понятие «свободы» — в дополнение к правам частных лиц и политической автономии граждан. В то время как эти индивидуальные свободы обеспечиваются всеобщими правами, свобода нации имеет иную, особенную природу: она относится к коллективу, независимость которого, если это потребуется, должна отстаиваться не кровью наемников, а кровью «сынов нации». Трактовка нации как до-политической целостности позво-

ляет ей поддерживать в неизменном виде свойственные раннему модерну представления о своем внешнем суверенитете, столь же насыщенные национальными красками. Это та ниша, в которой секуляризированное государство сохраняет остатки сакральной трансценденции: в периоды войн национальное государство налагает на своих граждан обязанность рисковать и жертвовать своими жизнями ради национальной свободы. Со времени Французской революции гражданские права шли рука об руку со всеобщей воинской повинностью: желание сражаться и умереть за собственную страну должно было свидетельствовать как о национальном сознании, так и о республиканской доблести.

В пользу такой двоякой расшифровки понятия гражданства говорит и содержание коллективной памяти: политические вехи борьбы за гражданские права неотделимы в ней от воздаяния воинских почестей в память солдат, павших на поле боя. Обе этих трактовки отражают двойственное значение «нации»: с одной стороны, сознательной нации граждан, обеспечивающих демократическую легитимацию, и, с другой, — национальной принадлежности, передаваемой по наследству или приписываемой тем, кому она дана с рождения, облегчая тем самым их социальную интеграцию. *Staatsbürger*, или граждане, должны воспринимать себя как союз свободных и равноправных индивидов на основе добровольного выбора, в то время как *Volksgenossen*, или люди определенной национальности, *считают*, что их объединила некая унаследованная ими форма жизни и судьбоносный опыт общей истории. В самосознании национального государства присутствует напряженность между всеобщим характером эгалитарного юридического сообщества и особенным характером культурной общности людей, связанных одинаковым происхождением и судьбой.

Эта напряженность может быть снята при условии, что в ряду конституционных принципов прав человека и демократии приоритет будет принадлежать космополитическому пониманию нации как нации граждан, а не этноцентричной трактовке нации как до-политического единства. Бесконфликтное сочетание нации с универсалистским самосознанием конституционного государства возможно только в том случае, если ей не приписываются натуралистические характеристики. Тогда республиканская идея сможет служить ограничителем партикуляристских ценностных ориентаций, а также проникать в менее политизированные формы жизни и структурировать их согласно универсалистским моделям. Собственно, заслугой конституционного государства явилась замена изношенных традиционных форм общественной интеграции на объединительную силу демократического гражданства. Однако этому республиканскому ядру национального государства гро-

зит опасность, поскольку объединительная сила нации, в которой прежде видели лишь опору демократизации, сегодня опять оказывается сведена к статусу до-политического факта, к квазиестественным чертам исторической общности, то есть к чему-то существующему независимо от политического мнения и волеизъявления самих граждан. Есть две очевидные причины, по которым эта опасность в течение XIX и XX веков возникала снова и снова: одна — концептуальная, а вторая — эмпирическая.

В юридическом каркасе конституционного государства зияет концептуальная брешь, которую есть великий соблазн заполнить натуралистическим толкованием нации. Дело в том, что пределы и границы республики не могут быть установлены на нормативной основе. С чисто нормативной точки зрения невозможно объяснить, как должен складываться мир людей, исходно объединяющихся, чтобы сформировать союз свободных и равных индивидов и регулировать честным и легитимным образом совместную жизнь посредством позитивного права, — то есть определить, кто должен, а кто не должен принадлежать к этому кругу. С нормативной точки зрения территориальные и общественные границы конституционного государства случайны. В реальном мире они есть результат исторических перипетий, внезапных поворотов событий, как правило непредсказуемых итогов войн или гражданских конфликтов, когда кто-то в конце концов захватывает власть и тем самым получает возможность определять территориальные и социальные границы политической общности. Это ошибка, истоки которой восходят к XIX столетию, считать, будто на этот вопрос можно дать теоретический ответ, сославшись на право национального самоопределения. Национализм нашел собственный практический ответ на вопрос, который должен оставаться теоретически неразрешимым.

Вполне может статься, что национальное сознание, кристаллизующееся на основе общего происхождения, общих истории и языка, само по себе по большей части является артефактом. Тем не менее оно *проектирует* нацию в качестве воображаемой сущности, которая уже сложилась и, в отличие от искусственного порядка писаного права, представляется чем-то естественным, не требующим оправданий помимо его наличного существования. Вот почему обращение к нации и ее органическим корням порой маскирует случайный характер того, чему случилось стать государственными границами. Национализм придает этим границам и реальному составу политического сообщества ауру мнимой сущности и унаследованной легитимности. Нация, трактуемая как естественное образование, таким образом, может символически скреплять и усиливать территориальное и социальное единство национального государства.

Другое объяснение господства подобного натуралистического толкования более тривиально. Поскольку национальные идентичности являются сознательным результатом интеллектуальных усилий писателей и историков и поскольку национальное сознание с самого начала распространялось при помощи современных средств массовой информации, национальными чувствами стало более или менее легко манипулировать. В современных массовых демократиях национализм представляет собой довольно дешевый ресурс, к которому время от времени могут прибегать правительства, искушаемые желанием поэксплуатировать хорошо известные психологические механизмы с целью отвлечь внимание граждан от внутренних социальных конфликтов и вместо этого заручиться их поддержкой собственной международной политики. История европейского империализма с 1871 по 1914 год, да и всего национализма XX века, не говоря уже о расистской политике нацистов, — все эти события указывают на тот печальный факт, что в Европе национальная идея не столько способствовала верности людей конституции, сколько часто служила, в своем самом этноцентричном и ксенофобском варианте, инструментом мобилизации масс на осуществление такой политики, в свете которой оппозиция и даже открытое сопротивление были бы единственно правильным образом действий.

Нормативный вывод из истории европейских национальных государств очевиден: национальное государство должно избавиться от того двусмысленного потенциала национализма, который изначально служил двигателем его успеха. Тем не менее на примере достижений национального государства мы все еще можем учиться тому, как следует строить основу для абстрактного типа юридически опосредованной солидарности. Итак, повторим еще раз: с учреждением эгалитарного гражданства национальное государство не только обеспечило себе демократическую легитимацию, но равным образом создало, при помощи широко распространенного политического участия, новый уровень социальной интеграции. Однако для того, чтобы выполнить эту интегрирующую функцию, демократическое гражданство не должно быть только юридическим статусом; ему надлежит стать ядром общей политической культуры. В связи с чем возникает скептический вопрос: а способна ли данная идея работать в современных условиях все более сложных и разнообразных обществ?

Поначалу более или менее однородная нация, как мы уже видели, способствовала культурному расширению юридически определенной нации граждан. Такая контекстуализация была необходима, если демократическое гражданство тоже, в свою очередь, должно было скрепить социальные свя-

зи взаимной ответственности. Однако сегодня мы все живем в плюралистических обществах, которые все более отходят от формата национального государства, основанного на большей или меньшей культурной однородности населения. Разнообразие культурных форм жизни, этнических групп, мировоззрений и религий если не уже колоссально, то по крайней мере стремительно возрастает. Кроме политики этнических чисток, этому пути к мультикультурным обществам альтернативы нет. Теперь мы даже не имеем возможности перевести ответственность за социальную интеграцию с уровня формирования политической воли и общественной коммуникации на уровень предположительно однородной нации, как это было в Европе XIX и начала XX век. За фасадом культурной однородности в лучшем случае может скрываться лишь поддержка культуры господствующего большинства, подавляющего иные культуры. Если, однако, различным культурным общностям и разным этническим и религиозным субкультурам суждено уживаться вместе и на равных взаимодействовать в рамках единого политического сообщества, то культура большинства будет вынуждена пожертвовать своей исторической прерогативой, чтобы определить официальные отношения в рамках той *генерализованной* политической культуры, которую предстоит разделять всем гражданам, независимо от их происхождения и образа жизни. Культура большинства должна быть четко отделена от политической культуры, которую, как следует ожидать, примут все. Уровень разделяемой всеми политической культуры необходимо строго отличать от уровня субкультур и до-политических идентичностей (включая субкультуру и идентичность большинства), которые заслуживают равной защиты лишь в том случае, если сами соблюдают конституционные принципы (сообразно трактовке последних в рамках данной конкретной политической культуры).

Ориентирами подобных генерализованных политических культур являются национальные конституции, каждая из которых представляет различный контекст одних и тех же универсальных принципов, суверенитета народа и прав человека из перспективы своей собственной конкретной истории. На этой основе национализм может быть замещен так называемым конституционным патриотизмом. Однако многие полагают, что конституционный патриотизм в сравнении с национализмом является слишком тонкой нитью для скрепления сложных обществ. Поэтому для нас остается насущным вопрос о том, при каких вообще условиях либеральная политическая культура, разделяемая всеми гражданами, была бы способна заменить собой тот культурный контекст более или менее однородной нации, в котором когда-то, на заре формирования национального государства, возникло демократическое гражданство.

Сегодня это представляет проблему даже для классических иммигрантских стран вроде Соединенных Штатов. В отличие от других государств, гражданская культура в США обеспечила большее пространство для мирного сосуществования граждан с сильно различающимися культурными идентичностями, позволяя каждому из них в одно и то же время быть хозяином и гостем своей родной страны. Однако поднимающиеся сегодня волны фундаментализма и терроризма (как, например, в Оклахоме) служат тревожными знаками того, что защитный занавес гражданской религии, преломившей в себе конституционную историю двух последних столетий, вскоре может разрушиться. Я подозреваю, что либеральная политическая культура способна консолидировать мультикультурные общества, только если демократическое гражданство выражается не в одних лишь понятиях либеральных и политических прав, но также подразумевает права общественные и культурные. Демократическое гражданство может иметь прочные основания и при этом выходить за рамки простого юридического статуса лишь в том случае, если оно наличествует в виде потребляемых ценностей общественного благополучия и взаимного признания различных существующих форм жизни. Демократическое гражданство умножит свою способность к социальной интеграции, то есть будет порождать солидарность в среде чужих, если оно сможет снискать признание и одобрение как тот самый механизм, который гарантирует безопасность юридической и материальной инфраструктуры предпочтительных в настоящее время форм жизни.

Подобный ответ на вопрос, по крайней мере отчасти, диктуется тем типом государства всеобщего благосостояния, которое смогло развиться в Европе в течение краткого периода после второй мировой войны, при весьма благоприятных условиях, сохранявшихся, однако, недолго. К тому времени батареи партикуляризма накопили заряд самых худших из возможных последствий интегрального и расового национализма. Под сенью ядерного равновесия, достигнутого сверхдержавами, границы потеряли свою актуальность. Более того, многим европейским странам — и не только двум Германиям — было отказано в собственной внешней политике. Отныне их внутренние конфликты перестали прятаться за приоритетом внешних сношений. При таких условиях стало возможным отделить универсалистское понимание конституционного государства от его традиционного выражения в силовой политике, мотивируемой национальными интересами. Несмотря на угрожающий образ коммунистического врага, происходил постепенный отказ от концептуальной привязки гражданских прав и свобод к амбициям национального самоутверждения. Национальная свобода уже не составляла главной проблемы — даже в Западной Германии.

Такая тенденция к тому, что в некотором смысле можно назвать «постнациональным» самосознанием конституционного государства, вероятно, несколько более сильно, чем в других странах, была выражена в бывшей Федеративной Республике Германии — учитывая ее особое положение и тот факт, что она, в общем-то, даже формально была лишена своего внешнего суверенитета. Однако в связи с утиханием классовых антагонизмов в государстве всеобщего благосостояния в большинстве европейских стран создалась новая ситуация. Кто бы в них ни правил — социалисты или консерваторы, — повсюду создавались или расширялись системы социальных гарантий, вводились меры по обеспечению равных возможностей, осуществлялись реформы в таких областях, как школьное обучение, семья, уголовное законодательство и исправительная система, защита сведений и так далее. Эти реформы способствовали укреплению и расширению основы гражданства и, что в нашем контексте особенно важно, заставили широкую общественность более четко осознать, насколько насущным является приоритетное внимание к вопросу о соблюдении основных прав. Теперь граждане и сами все в большей степени понимали, как важно сохранять превосходство реальной нации, объединяющей разных людей, над и вопреки натуралистическому образу однородной нации *Volksgenossen*, — нации тех, кто определяет друг друга по происхождению и коллективно отгораживается от людей, которые кажутся им иными либо чужими.

Если в таких благоприятных условиях начинает вырабатываться и расширяться система прав, то каждый гражданин становится способным воспринимать и ценить гражданство как сердцевину того, что соединяет людей вместе и в то же время делает их взаимно зависимыми и ответственными. Они понимают, что там, где речь идет о поддержке и улучшении необходимых условий для предпочтительных норм жизни, частная и общественная автономия непременно предполагают друг друга. Они интуитивно осознают, что преуспеют в справедливом регулировании собственной частной автономии только в том случае, если сумеют надлежащим образом воспользоваться своей гражданской автономией, и что сделать это они, в свою очередь, будут в силах только на такой социальной основе, которая позволяет им как частным лицам быть достаточно независимыми. Они научатся видеть в гражданстве форму такого диалектического соотношения между юридическим и действительным равенством, на базе которого могут сложиться справедливые и комфортные условия жизни для всех.

Оглядываясь на несколько последних десятилетий развития богатых европейских обществ, мы должны согласиться с тем, что эта диалектика пришла к застою. За объяснением данного факта нам придется окинуть взгля-

дом тенденции, которые под заголовком «глобализации», требуют сегодня к себе все большего внимания.

Глобализация означает разрушение, устранение границ и тем самым представляет опасность для национального государства, которое почти истерически блюдет собственные пределы. Энтони Гидденс определил «глобализацию» как «интенсификацию всемирных отношений, связывающих отдаленные друг от друга места таким образом, что локальные события формируются событиями, происходящими за многие мили отсюда, и наоборот». Глобальность коммуникаций находит выражение либо в естественном языке (чаще всего при помощи электронных средств массовой информации), либо в особых кодах (помимо прочего, это касается денег и права). Из этого процесса вытекают две противоположные тенденции, поскольку понятие «коммуникации» имеет здесь двойное значение. Она способствует как расширению горизонтов сознания действующих лиц (индивидуальных или коллективных), так и дифференциации и ранжированию систем, сетей (вроде рынков) или организаций. Рост систем и сетей ускоряет приумножение возможных контактов и информации, но сам по себе не способствует расширению общего мира интерсубъективных взаимодействий. Сегодня неясно, сможет ли расширяющееся сознание, зависимое во все более обширном универсуме общих значений от интерсубъективностей более высокого порядка, охватывать растущие системы, или, напротив, скорее системные процессы, начавшие жить своей собственной жизнью, приведут к раздробленности множества глобальных деревень, не имеющих отношений друг с другом.

Национальное государство, безусловно, создало ту структуру, в рамках которой республиканская идея сообщества, сознательно влияющего на свою собственную жизнь, могла быть артикулирована и институционализирована. Однако сегодня глобализация тех же самых тенденций, которые когда-то породили национальное государство, ставит его суверенитет под сомнение. Позвольте мне сперва подробнее остановиться на понятии внутреннего суверенитета. Разрозненные государства становятся все менее способны управлять национальными экономиками как собственными хозяйственными фондами. Конечно, капитализм с самого начала развивался в измерениях «мира-системы» (Уоллерстайн); динамика накопления веками усиливала позиции европейских национальных государств. Суверенные государства тоже вполне могут иметь зоны свободной торговли. Однако они извлекают прибыль из собственных экономик лишь до тех пор, пока эти последние развиваются в национальном формате и правительство может эффективно влиять на них с помощью экономических, финансовых и социальных мер. Между тем диапазон таких мер сокращается. По мере того как рынки фи-

нансов, труда и капитала приобретают международный характер, национальные правительства все с большей ясностью сознают этот разрыв между, с одной стороны, ограниченным масштабом собственных действий и, с другой, требованиями, проистекающими не столько от всемирных торговых связей, сколько от превращенных в глобальную сеть производственных отношений. Последние все менее поддаются интервенционистским мерам — не только перераспределению денежных средств, но и промышленному и тарифному протекционизму и так далее. Национальные законодательство и управление больше не оказывают эффективного воздействия на транснациональных игроков, которые формируют свои инвестиционные решения на основе сравнения соответствующих условий производства в глобальном масштабе.

Поскольку мировое хозяйство в основном развивается вне каких-либо политических рамок, то национальные правительства ограничены в своем влиянии на модернизацию национальных экономик. Вследствие этого им приходится приспосабливать национальные системы социального обеспечения таким образом, чтобы те, что называется, были готовы к мировой конкуренции. Поэтому им ничего не остается, как не препятствовать дальнейшему высыханию источников социальной солидарности. Тревожным сигналом здесь служит возникновение деклассированных элементов. Все большее число маргинализированных групп последовательно отрезается от остального общества. Те, кто больше не в силах самостоятельно изменить свой социальный жребий, оказываются предоставленными самим себе. Однако то, что они отрезаны, вовсе не означает, что политическое сообщество может запросто сбросить балласт «избыточного» сегмента без всяких последствий. В долгосрочной перспективе существует как минимум три таких последствия (которые в странах вроде США уже становятся очевидными). Во-первых, деклассированные элементы создают социальное напряжение, контролировать которое можно только с помощью репрессивных мер. Строительство тюрем превращается в растущую индустрию. Во-вторых, социальные лишения и материальное обнищание не могут быть ограничены локальными рамками; отрава гетто распространяется на всю инфраструктуру городов и районов, проникая в поры всего общества. Наконец, и это особенно важно в нашем контексте, отрезанность меньшинств, лишенных различимого голоса в публичной сфере, несет с собой эрозию нравственности — то, что несомненно подрывает интегрирующую силу демократического гражданства. Формально верные решения от имени напуганных маргиналами средних классов, отражающие их беспокойство за собственный статус и ксенофобское желание обороняться, должны подрывать законность институтов и процедур консти-

туционного государства. На этом пути будет проиграно самое главное достижение национального государства — социальная интеграция на основе политического участия граждан.

Таков один вероятный сценарий, отнюдь не далекий от реальности, но это — лишь одна из нескольких перспектив. Здесь нет исторических законов, а люди, даже целые общества, способны к обучению. На выход из описанного мной тупика указывает появление наднациональных режимов внутри формата Европейского Союза. Мы должны попытаться спасти республиканское наследие, выйдя за пределы национального государства. Нам следует привести свои способности к политическому действию в соответствие с глобализацией саморегулирующихся систем и сетей.

В свете такого анализа решение Верховного Суда Германии по Маастрихтскому договору предстает исполненным трагической иронии. Суд обосновал свои строгие оговорки относительно дальнейшего расширения Европейского Союза тем, что конституционное государство требует определенной культурной однородности граждан. Однако данный аргумент является симптомом защитного отношения, на самом деле ускоряющего ту самую эрозию гражданства, против которой он был направлен. В свете возрастающего плюрализма внутри национальных обществ и глобальных проблем, с которыми национальные правительства сталкиваются во внешней сфере, национальное государство в обозримом будущем уже не сможет обеспечивать надлежащие рамки для поддержания демократического гражданства. Что здесь в целом кажется необходимым, так это поднятие способностей к политическому действию на более высокий уровень, выходящий за рамки национальных государств.

В то время как в сфере международных отношений и мер безопасности уже можно различить по крайней мере некоторые очертания какой-то насущной «политики общемирового дома», нынешняя политика кажется почти полностью бессильной перед лицом международной экономики. Я не могу здесь останавливаться на этих сложных проблемах, но закончить свой рассказ хочу несколько более обнадеживающим замечанием. Ознакомившись с повесткой четырех последних всемирных встреч, организованных под покровительством ООН — по экологическим рискам в Рио-де-Жанейро, правам человека в Вене, социальным проблемам и бедности в Копенгагене, климату в Берлине, — мы, конечно, не почувствуем, что такая временная, хотя и мировая, публичность оказывает немедленное воздействие на правительства великих держав; однако эта панорама вызовет в нас острое осознание тех глобальных рисков, влияния которых не удастся избежать практически никому, если только данные глобальные тенденции не будут остановлены и по-

вернуты вспять. На фоне многих сил дезинтеграции, действующих внутри и за пределами национальных обществ, есть один факт, указывающий в противоположном направлении: с точки зрения наблюдателя, все общества являются неотъемлемыми частицами общих рисков, воспринимаемых как вызов совместному политическому действию.

МАЙКЛ МАНН

НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА В ЕВРОПЕ И НА ДРУГИХ КОНТИНЕНТАХ: РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, РАЗВИТИЕ, НЕУГАСАНИЕ

Многие полагают, что сегодня мы вновь вернулись к старинной эпохе национального государства. После 1945 года его суверенитет, говорят они, утрачивал свою актуальность вследствие распространения транснациональных властных сетей — прежде всего сетей глобального капитализма и постсовременной культуры[1]. Некоторые постмодернисты развивают данный тезис дальше, заявляя, что таким образом ставится под угрозу определенность и разумность современной цивилизации, одной из главных опор, для которой служит прочное, одномерное понятие абсолютного политического суверенитета, воплощенного в нации-государстве. В исторической же сердцевине современного общества, наднациональном Европейском Сообществе (ЕС), по-видимому, все еще теплится особая вера в тот аргумент, что национально-политический суверенитет разрушается. Поэтому время от времени здесь возвещалось о фактическом отмирании национального государства — хотя для подобного взгляда более уместной метафорой из области жизненных циклов, вероятно, был бы «благородный выход в отставку». Ученый-политолог Филиппе Шмиттер утверждает, что, при всей уникальности европейской действительности, ее дальнейший прогресс, оставляющий позади фазу нации-государства, в большей степени отвечает общим тенденциям, поскольку «современный контекст неуклонно благоприятствует преобразованию государств либо в конфедерации, либо в кондоминиумы, либо в федерации разного состава и разной структуры»[2]. Возможно, большинство сегодняшних авторов еще не настолько твердо определили свою позицию. Тем не менее многие из них — и почти все те, кого я буду цитировать далее, — убеждены, что нация-государство в Европе переживает упадок и что это свидетельствует о ее более повсеместной тенденции к «уходу на покой».

Действительно, в ЕС, которое будет в центре моего внимания, вырабатываются новые политические формы, чем-то напоминающие хорошо забытые старые, — это подтверждают их латинские обозначения, используемые Шмиттером. Это вынуждает нас пересмотреть свои представления о том, какими должны быть современные государства и отношения между ними. Но,

кроме того, я хотел бы кратко остановиться еще на двух основных регионах развитого капитализма, а также на не столь развитом мире. Я покажу, что ослабление нации-государства в Западной Европе является незначительным, специальным, неравномерным и уникальным. В менее развитых частях мира нации-государства, находящиеся в процессе становления, в данный момент также ведут себя нерешительно, но по иным, сугубо «до-современным» причинам. На большей территории планеты нации-государства все еще развиваются или по крайней мере стараются достичь этого. Европа не есть будущее всего мира. Государств в мире много, и они сохраняют разнообразие как в своем нынешнем устройстве, так и в общих траекториях жизненных циклов. Те немногие из них, которые уже близки к угасанию, являются отнюдь не старцами, а скорее детьми, лежащими в колыбели.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН

Суверенное территориальное национальное государство очень молодо. Многие политические теоретики и специалисты в области международных отношений относят зарождение «одномерных» суверенитетов территориальных государств к XVI или XVII столетиям[3]. Это связано с тем, что теоретики уделяют слишком много внимания заявлениям идеологов монархии, а специалисты по международным отношениям интересуются лишь суверенитетом во внешней политике, который возник раньше других аспектов современного суверенитета. Однако если придерживаться последовательной социологической точки зрения, территориальный государственный суверенитет появился гораздо позже, а достиг своей зрелости и вовсе недавно.

В течение трех последних веков государство колоссальным образом прибавляло в размерах и масштабе влияния. К началу XVIII века образования, которые мы зовем «государствами», делили свои политические функции с другими органами — церквями, местной аристократией и иными корпоративными институтами. Целые области общественной жизни не знали присутствия государства или каких-либо иных политических сил. До XVIII века государства играли весьма скромную роль. Они ведали дипломатией и небольшими войнами с внешним врагом, а внутри страны лишь занимались беспорядочным администрированием высших уровней правосудия и подавления. Монархи могли заявлять о своих амбициозных намерениях, но достигали они крайне немногого. И только в союзе с церквями они стали проникать в многочисленные аспекты общественной жизни, кипящей за воротами их «дворов».

Тем не менее в период между XIII и XVIII столетиями европейским госу-

дарствам постепенно удалось монополизировать единственную функцию — военного насилия. Однако в XVIII веке эта военная функция перестала быть единственной. К 1700 году государства потребляли около 5% ВНП в мирное время и 10% в военное[4]. Но к 1760 году эти показатели выросли соответственно до 15 и 25%, а к 1810 году — до 25 и 35%. На данный период армии охватывали порядка 5% всего населения. Эти показатели по 1810 году *идентичны* показателям по двум мировым войнам XX века и самым высоким в мире показателям в наши дни — то есть по Израилю и Ираку.

Подобные данные и сравнения позволяют нам правильно оценить масштаб преобразований в XVIII веке. Поначалу играя почти ничтожную роль, государства внезапно грубо и зримо вторглись в жизнь своих подданных, обложив их налогами, воинской повинностью и в дальнейшем пытаясь поставить их энтузиазм на службу собственным целям. Государства превращались в клетки, прутья которой ограничивали свободу его подданных. Теперь массы больше не могли оставаться политически индифферентными, как в прошлом. Этому способствовало современное развитие капиталистического гражданского общества, которым в Европе, Северной Америке и Японии неуклонно сопровождался подъем современного государства. Они требовали изменения условий жизни в своих клетках. Они требовали политического гражданства и выражали новые националистические идеологии — сначала мужчины, буржуазия и господствующие религиозные и этнические группы, а затем женщины, крестьянство, рабочий класс и меньшинства.

В XIX веке внешние войны немного утихли, но гражданство в сочетании с промышленным капитализмом породило потребность в целом ряде новых государственных функций для набирающих силу гражданских обществ. Сперва государства стали обеспечивать финансовую поддержку основных систем коммуникации, а затем систем всеобщего образования. И то и другое способствовало сплочению ряда гражданских обществ, в какой-то мере уже ограниченных территорией государств. Далее государства создали системы здравоохранения, затем последовали первые инициативы, приведшие к современным системам социального обеспечения. Соединенные Штаты Америки, по сравнению с большинством европейских стран, запаздывали с национальной интеграцией, поскольку это был большой континент, переживший гражданскую войну и имевший в то время весьма слабую федеральную власть. Массовые войны XX века способствовали распространению национализма, углублению экономического планирования и развитию национальных систем всеобщего благосостояния. Благодаря компромиссам, достигнутым в сфере классовой борьбы, гражданство, по известному выражению Т. Х. Маршалла, стало не только политическим, но и социальным.

Граждане, зачастую ведомые рабочими движениями, превращались в настоящих питомцев зоопарка, зависимых от своих клеток и эмоционально к ним привязанных. Расширение политического гражданства и появление гражданства социального пришлось на период, захвативший все начало XX века. Именно в это время, и большей частью в Европе, зародились первые настоящие нации-государства. Другие возникли позднее; особенно сильная и внезапная волна этих процессов прокатилась по всем континентам после 1945 года. На сегодняшний день существование даже старейших из таких государств еще не превысило средней продолжительности человеческой жизни; в большинстве же своем они куда более юны, а многие еще только борются за право родиться.

В последние двадцать пять лет мы наблюдали, как с некоторыми возможностями национальных государств происходили неолиберальные и транснациональные превращения. Хотя кое-какие из этих возможностей все еще находятся в процессе развития. В течение этого же последнего времени государства играли все большую роль в регулировании интимных частных сфер жизненного цикла и семьи. Государственное регулирование отношений между мужчинами и женщинами, насилия в семьях, заботы о детях, абортов и личных привычек, ранее считавшихся частным делом, таких, как курение, продолжает возрастать. По-прежнему играют заметную роль государственные меры, направленные на защиту потребителя и окружающей среды, а активисты из числа феминисток и «зеленых» требуют еще большего участия государства в решении этих проблем. Кроме того, в XX веке центральная власть стала гораздо сильнее местной. Региональные барьеры внутри наций-государств утратили былое значение, чего нельзя сказать разве что о нескольких «малых нациях» — коренных представителях Каталонии и Квебека. Национальные системы образования, средства массовой информации и потребительские рынки продолжают подтачивать местечковую психологию, сплавляя социальную и культурную жизнь в единство, являющееся национальным даже в мельчайших своих проявлениях. И когда мы следим за Олимпийскими играми или иными событиями и зрелищами, пробуждающими в нас националистические эмоции, нам трудно поверить в то, что национальному государству приходит конец.

Таким образом, закат национального государства не носит *всеобщего, повсеместного* характера. В каких-то отношениях оно все еще развивается. Однако, даже несмотря на некоторую сдачу позиций под натиском над-национальных сил, которые я далее кратко проанализирую, оно все еще расширяется за счет местных, региональных и особенно относящихся к приватной сфере сил. В современном национальном государстве идея суверенитета

остается актуальной, как никогда. Просто милитаризм, инфраструктуры коммуникаций, экономическое, социальное и семейное законодательства и отчетливое ощущение принадлежности к национальной общности слились в единый жесткий институт. Все-таки та легкость, с которой многие социальные исследователи недавнего прошлого приходили к выводу о том, что изучаемое ими «общество» представляет собой национальное государство, была обязана весьма красноречивой действительности.

Однако общество, взятое извне, *никогда* не было просто национальным. Оно было также транснациональным, то есть включало в себя отношения, которые свободно простирались за национальные границы. И еще оно было геополитическим — включающим в себя отношения между национальными единицами. Транснациональные отношения возникли не в «постсовременный» период, — они накладывали ограничения на суверенитет государств всегда и везде. Геополитические отношения ограничивают суверенитет тех государств, которые связаны взаимными обязательствами и соглашениями, и еще более неотвратимо — суверенитет государств более слабых.

Ни капиталистическая экономика, ни современная культура никогда в сколько-нибудь значительной степени не были сдерживаемы национальными границами. Транснациональный характер капитализма особенно ярко проявлялся на ранней промышленной стадии его развития, которая отличалась практически свободным движением труда и капитала и тем, что зоны наиболее бурного развития приходились на приграничные или граничащие друг с другом области, такие, как страны Бенилюкса, Богемия и Каталония. Хотя в 1880—1945 годах промышленность переживала национальную фазу развития, финансовый капитал, как правило, всегда оставался в значительной мере транснациональным. «Гражданское общество» того времени ощущало свою культурную принадлежность не просто, и даже не в первую очередь, к «Англии», «Франции» или «Испании». Его общностью также были «христианство», «Европа», «Запад» и «белая раса». Культурные артефакты — такие, как «романтическое движение», «реалистический роман», «викторианский» стиль мебели, симфонический оркестр, опера и балет, «модернизм» в искусстве и дизайне, а теперь еще и мыльные оперы, джинсы, рок-музыка и постмодернистская архитектура, — тоже имели широкое, транснациональное распространение. Национальный суверенитет всегда был ограничен, с одной стороны, капиталистическим, с другой, культурным транснационализмом.

Однако после 1945 года экономический и культурный транснационализм, безусловно, вырос в еще большей степени. Капитализм, по словам Сьюзен Стрейндж, превратился в «капитализм казино», чьи денежные ресурсы бы-

стро распространяются по миру через сложную сеть институтов, которые частично ускользают от государственного экономического планирования, а частично придают ему «интернациональный» характер[5]. Массовые перемещения и электронные средства массовой информации почти подтвердили пророчество Маршалла Маклюэна о «всемирной деревне» — во всяком случае, «Кока-Кола», «Бенеттон», а также Чарльз и принцесса Ди в мгновение ока обрели мировое значение. Капитализм и культура сливаются в то, что марксистский критик культуры Фредерик Джеймисон назвал «постсовременным гиперпространством»[6], охватывающим мир безотносительно национальностей и территорий, раздробленных, но объединяемых капиталистической логикой извлечения прибыли. Как мы в дальнейшем увидим, Европа, эта небольшая, густонаселенная зона с очень похожими друг на друга странами, пронизана им и приведена к общему знаменателю в совершенно особой степени.

Послевоенные геополитические преобразования тоже были молниеносными; они происходили двумя неожиданными скачками в начале и в конце холодной войны. Мы тогда балансировали на лезвии бритвы: холодная война могла разрушить нас, но этого не случилось. Однако исчерпание военного противостояния к 1945 году, сменившееся холодной войной, способствовало необычайному потеплению внутренних отношений между странами Запада, а крах его основного врага в 1989—1992 годах впервые привел к уникальному отсутствию и всякой угрозы извне. Война между великими державами, и особенно между основными европейскими державами, кажется, уже далеко позади. Стало меньше того агрессивного, массового национализма, который вызвал в XX веке столь разрушительные последствия, — впрочем, на периферии Запада он по-прежнему сохраняется, и его агрессивность имеет более символическое значение, требуя от граждан соблюдения некоторых обязательств по отношению к ненавистным представителям менее развитого мира. Отсутствие угрозы позволило западному и ряду бывших коммунистических режимов ослабить свою военную мощь, что говорило о значительном и обнадеживающем снижении мирового влияния национального государства.

Однако эта геополитическая трансформация приняла в Европе совершенно невиданные размеры. Европа может служить моделью будущего более мирного мира — конечно, если такому будущему вообще суждено сбыться. События, центром которых являлась Европа, — две мировые войны и одна холодная — положили конец великодержавным претензиям в этом регионе планеты. С 1945 года западноевропейские суверенитеты были в геополитическом смысле несколько ограничены добровольной зависимостью этих

стран от Соединенных Штатов Америки, а восточноевропейские — вынужденной зависимостью от Советского Союза. После 1945 года Европе больше не приходилось себя защищать. Огромные области Западной Германии, ее главной экономической силы, в течение сорока пяти лет были заняты иностранными войсками численностью в 350 000 человек. Противились этому лишь немногие немцы, и свое возмущение они выражали только тогда, когда видели пьяных солдат. Другие европейские члены НАТО в его высшем командовании представлены весьма слабо. Все зависят от американской обороны Европы, окончательного контроля над которой они не имеют. Поэтому западные европейцы в сфере военных расходов в среднем достигли уровня примерно 3% от ВНП — это половина от уровня США и всего мира и самая малость по историческим меркам. Их государства несколько деградировали, живя в гармонии миролюбия без всякой необходимости выполнять то, что исторически считалось главной государственной функцией и основным источником агрессивного национализма, — поддерживать военную мощь, достаточную для самозащиты. Эта региональная особенность в огромной степени способствовала их развитию в направлении сотрудничества.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЕС занимает куда меньшую территорию, чем Соединенные Штаты, но имеет значительно большую численность населения. Его многочисленные страны (сейчас их двенадцать, а скоро, вероятно, станет два десятка) в главном похожи друг на друга: все это страны развитого капитализма, христианства, либеральной демократии, и практически в каждой из них левоцентристским социал-демократическим партиям противостоят правоцентристские консервативные либо христианские. Вышеназванные транснациональные и геополитические силы беспрепятственно проникают в их жизнь, способствуя более тесной кооперации, чем в какой-либо иной части планеты.

Кооперация началась в новом геополитическом сердце Европы — во Франции, Западной Германии и странах Бенилюкса. Их металлургический союз расширился до размеров Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), число членов и масштабы которого постепенно росли. Задача его оставалась экономической и заключалась в либерализации торговли и содействии большей интеграции промышленного производства. Эти старания имели успех, хотя, чтобы достичь его, Сообществу, в частности, приходилось на каждом шагу откупаться от протекционистского, раздробленного сельскохозяйственного сектора.

До 1980-х годов ЕС и национальное государство почти полностью совмещались. ЕС являло собой просто-таки исключительный пример мирных геополитических договоренностей, характеризовавших капиталистический мировой порядок после 1945 года. По их условиям, представители правительств стран — членов ЕС заседали в его комитетах и вырабатывали соглашения, которые затем предстояло ратифицировать либо отвергнуть суверенным национальным правительствам. На самом деле история ЕС явилась не чем иным, как своего рода инициативой двух держав. По мнению Перри Андерсона, всем ее передовым вехам в значительной мере способствовали двусторонние соглашения между Францией и Германией[7]. Поскольку Франция и особенно Германия могли предложить другим странам свои ресурсы, большинство последних охотно мирились с их лидерством. Национальные государства по-прежнему следовали своим суверенным интересам, ничем не рискуя. Но в течение 80-х годов политические нормы ЕС стали более непосредственно вмешиваться в суверенные дела составляющих его государств. Что же представляли собой эти разрушительные для суверенитета политические функции?

Политические функции Европейского Сообщества

Маастрихтский договор, подписанный в декабре 1991-го, дает на это простой ответ: он провозглашает контроль ЕС фактически во всех областях политики. От поверхностного взгляда на данное положение может создаться впечатление, что ЕС является поистине сверхгосударством. Текст договора был обнародован еще до того, как по нему в 1992 году проголосовали датчане и французы, и им это не понравилось. Большинство его статей является чистой риторикой. ЕС так странно устроено, что служащие его аппарата в большинстве своем оказываются убежденными европейскими федералистами. Они создают документы федералистской направленности, которые затем подписываются национальными политиками, многие из которых не разделяют подобных ценностей. Чтобы сделать выводы о реальных функциях ЕС, мы должны взглянуть на статьи Маастрихтского договора, которые уже воплощаются в жизнь серьезными организациями. В них мы выявим три существенных обстоятельства, ограничивающих национальные суверенитеты[8].

Законодательство. Как известно, большинство законов ЕС являются «вторичными», так как поначалу они в основном служили дополнением национальных законодательств. Но в 80-е годы правительства его членов перестали ограничиваться простым признанием законов и административных по-

ложений друг друга и принялись «приводить их к стандарту», что предполагало существенный пересмотр национальных законов. Сегодня правительства уже привыкли объявлять своим парламентам о том, что такой-то национальный закон противоречит закону Сообщества и требует пересмотра. ЕС также осуждает нарушение своих законов странами-членами, хотя это не всегда ведет к изменению их поведения. Так называемый вторичный закон в известном смысле ограничил государственный суверенитет, — впрочем, почти во всех случаях за это скорее ответственны его технические детали, нежели общие правовые положения.

Наиболее общие законы Сообщества опираются на правила Европейского Суда. Диапазон этих последних тоже расширился главным образом за счет деталей и, вероятно, будет расширяться и далее, поскольку общественная жизнь и культура стран в составе ЕС становятся все более одинаковыми. Но данные руководства имеют столь объединительное значение лишь потому, что государства подчиняются им добровольно, и потому, что эти отдельные государства со значительными вариациями применяют их в сфере собственного управления.

Содержание европейского законодательства, особенно законов вторичных, прежде всего связано с двумя исходными задачами ЕЭС — либерализацией торговли и стандартизацией и интеграцией производства. Они в массе деталей регулируют сущность товаров, покупаемых и продаваемых в Сообществе, постепенно распространяя свое действие на такой товар, как труд, с особой тщательностью регулируя ограничения по занятости. Следовательно, их ядром остается экономическая политика, расширяющаяся в связи с тем, что прежде ограниченная экономическая деятельность сегодня переросла в более обширную экономическую жизнь. А это, в свою очередь, произошло из-за того, что капитализм стал охватывать более разнообразные потребительские рынки с более профессионально дифференцированной рабочей силой. Развитая капиталистическая экономика превращает в товар все больше аспектов жизни, и ЕС просто стало средством управления ими в своем регионе.

Единый рынок[9]. Единым Европейским актом 1986 года были установлены временные рамки для ликвидации всех барьеров, мешающих передвижению людей, товаров и услуг по пространству ЕС. Этот акт должен был полностью реализоваться до 31 декабря 1992 года. Полная реализация слегка затягивается, но в целом можно считать его выполненным, хотя британские, ирландские и датские власти пока не торопятся обеспечить свободу перемещения людей и животных через свои границы (новое французское правительство сейчас тоже склоняется к тому, чтобы не спешить с этим). Данный Акт

практически отменяет внутренние границы Сообщества. Усиленный статьями Маастрихтского договора, он должен в значительной степени способствовать появлению общеевропейского гражданства. Возможно, он также приведет к формированию нового общеевропейского полицейского ведомства. Если государство больше не может принимать самостоятельных решений по своим собственным границам, это, безусловно, означает эрозию его суверенитета. А первичным очагом данной эрозии, как мы выяснили, является экономическая политика, распространяющаяся на жизни всех европейцев как производителей и потребителей.

Европейская валютная система (ЕВС). Стремление к единой валютной системе, кульминацией которой стала единая валюта, означает существенную утрату традиционного ключевого суверенитета государства в монетарной сфере, контроля над производством денежных знаков. Оно также ограничивает ту власть в области макроэкономического планирования, проявление которой считалось неотъемлемой прерогативой государств в течение большей части XX века, хотя и она подрывается развитием транснационального капитализма. Его правила конвертации валют всегда предполагали дефляционную экономическую стратегию, отличную от социального кейнсианства и/или конкурентной девальвации, поддерживаемой многими правительствами на протяжении XX века. Отчасти эта тенденция основывалась на почти полном единодушии стран — членов Сообщества по данной проблеме, а отчасти — на их геополитических отношениях взаимовлияния. Уэйн Сэндхолтц отмечает, что этот путь был вымощен предшествующими самостоятельными решениями практически всех государств отказаться от традиционного кейнсианства[10]. В таких странах, как Италия и Испания, валютный союз, безусловно, позволяет властям оправдывать непопулярные монетаристские меры необходимостью принадлежности к вожделенной «современной» Европе. Германия по геополитическим соображениям также стала во главе движения за единую валютную систему, полагая, что это отвечает ее национальным интересам.

Однако сегодня некоторые государства начали сомневаться в необходимости валютного союза. Многие из немцев стали предсказывать, что развитие ЕВС повлечет за собой потерю их национального суверенитета, и это существенно ослабляет их приверженность данной системе. Британия и Италия получили разрешение отделиться от ЕВС, Дании было позволено сделать то же самое в будущем, а Испания и Ирландия дополнили ее правила своими решениями, отдающими старыми добрыми конкурентными девальвациями. Европейский Валютный Союз планировал, что единая валюта будет введена

во всех странах в 1997—1999 годах. Это оказалось невозможным, и многие даже считают, что теперь этого уже никогда не произойдет. Чтобы данная цель была достигнута без тяжелых последствий, вероятно, должно наступить какое-то общее экономическое возрождение, дополненное куда более высокой степенью стандартизации экономик и экономических политик, чем сегодня, — впрочем, по этому вопросу также существуют глубокие разногласия между «экономистами» и «монетаристами». И конечно, источником того определенного прогресса, который все же произошел в данной области, опять же являются экономические преобразования.

Совокупные усилия в этих трех сферах, несомненно, подорвали суверенитет отдельного национального государства. В еще большей мере этому способствовали основные конституционные изменения, определенные Маастрихтским договором. Он в огромной степени расширил диапазон избирательной системы «квалифицированного большинства» в ущерб единогласию. Чтобы принять новое постановление, теперь необходимы голоса пятидесяти четырех из семидесяти шести членов, причем каждая из стран имеет не более десяти голосов. Для принятия постановления по блокированию какого-либо законодательства требуется согласие трех больших государств и большего числа меньших стран. Впрочем, голоса, поданные от одной страны, по-прежнему подаются единым национальным блоком, способствующим скорее стабильным соотношениям геополитических сил государств, чем развитию единого «транснационального» сверхгосударства.

Таким образом, ЕС, по существу, остается ведомством экономического планирования. С расширением рынков европейской продукции оно выработало свою сложную сеть потребительских правил, разнообразную структуру занятости и замысловатый набор финансовых средств. Все эти правила имеют исключительно техническое и капиталистическое значение. Европейские институты похожи на тайные общества, и в них в первую очередь лоббируются интересы бизнеса и торговых объединений. Профсоюзы и профессиональные организации гораздо слабее, а интересы церквей и других второстепенных институтов не лоббируются практически нигде. Прямое влияние мер ЕС на повседневную политическую жизнь стран в его составе весьма ограничено. Предписания, относящиеся к продукции и рынкам, редко затрагивают массовую аудиторию — кроме тех, которые просто бесят французских фермеров, а также шуток ЕС на тему о том, кто имеет право продавать товары под маркой «шерри», «шампанское» или «мороженое». Наиболее важные акты, касающиеся свободы передвижения и валют, имеют существенные последствия. Когда таковые становятся очевидными для всех, то они вызывают споры и распри. Пока европейская экономика стре-

мительно развивалась, государства довольно легко приходили к почти единодушным решениям. Они редко расценивали некоторую эрозию суверенитета как признак его «утраты», — экономический рост был главной целью ЕЭС и остается основным объектом деятельности Сообщества. Хотя в периоды экономического спада переговоры и улаживание отношений в рамках Сообщества имеют тенденцию к пробуксовыванию. Его дальнейший прогресс, по-видимому, будет зависеть от роста — этой платы за подрыв суверенитетов.

Государство как целое не является, как думал Маркс, организацией, призванной управлять коллективными делами буржуазии; государство способно делать гораздо больше. Однако ЕС — именно такая организация. На протяжении XX века политические партии и национальные государства, вдохновляемые итогами двух мировых войн, сумели придать взаимоотношениям классов институциональный характер. Что составляет куда большую проблему по мере дальнейшего шествия капитализма по всему миру — так это отношения национального с транснациональным. После 1945 года возник ряд институтов, предназначенных регулировать данные отношения, и ЕС является самым сильным в своем регионе эквивалентом таких институтов — то есть глобальной корпорации, Международного Валютного Фонда (МВФ), Мирового Банка и Всеобщего соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Европа — это крупнейший рынок в самом малом из трех основных капиталистических регионов. Она делится на множество схожих, миролюбивых государств. ЕС стало представлять собой «ограниченные по взаимному согласию суверенитеты» в большей мере, чем сопоставимые с ним всемирные институты. Однако оно значительно шире трактует и исполняет те же самые функции, что и они.

Однако есть несколько областей, в которых ЕС не проявляет особого интереса Оно практически не обеспечивает коммуникационных инфраструктур — что является одной из традиционных (и, как правило, относительно бесспорных) основ государственной деятельности. Если Европа выйдет из состояния упадка, то эта функция будет расширена. ЕС вмешивается в национализированную промышленность только в тех случаях, когда дело касается субсидируемых монополий, предлагающих свой товар в честной конкуренции с предприятиями других стран, то есть, несколькими государственными предприятиями Южной Европы. Весь объем государственного сектора (размер которого в разных странах различен) при этом остается незатронутым. Затраты ЕС существенны только применительно к аграрному сектору, но даже там они ничтожны по сравнению с расходами национальными. ЕС никогда не вторгалось в классовые или иные отношения между группами,

например в регулирование трудовых отношений, общественного порядка, религии или благосостояния, хотя оно активно проявляет себя в тех ситуациях, когда уровень благосостояния и рынок труда отражаются на политике образования. Оно не улаживает проблем морали, семьи или гендерных отношений, — это было бы слишком чревато конфликтами с заинтересованными государствами. Как только оказывалось, что региональные меры сводятся к перераспределению, они начинали постепенно сокращаться. В иных случаях попытки социального перераспределения даже не предпринимались. Да, есть довольно расплывчатая «социальная» восьмая глава Маастрихтского договора, но правительство Тэтчер отказалось подписывать даже ее, и ЕС не стало оказывать на нее принудительного воздействия. Британия не подчиняется данной главе, что свидетельствует о весьма невысоком значении социальных вопросов для ЕС. Дефляционная строгость требований ЕС к единству финансовой политики, конечно, превосходит ее заинтересованность в каких-либо реальных социальных целях. ЕС едва ли имеет право пенять на Великобританию как на единственный источник «социального демпинга».

ЕС должным образом даже не культивирует искреннего чувства принадлежности к Европе или гражданства в ней. Полномочия Страсбургского парламента невелики, коэффициент участия в его работе обычно не превышает пятидесяти процентов, и в жизни европейцев он не играет заметной роли. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Брюссель, этот центр исполнительной власти, считается чем-то вроде бюрократического Левиафана. Что в каком-то смысле несправедливо, поскольку управленческий аппарат ЕС невелик и насчитывает всего 17 000 человек — меньше, чем муниципальные власти Мадрида, — причем одну четверть его составляют переводчики. Но в другом смысле данное сравнение очень точно: это чисто технический механизм, безразличный к массовым чувствам и привязанностям европейцев. Европейцу повсюду присуще особое культурное ощущение, распространяющееся на все страны в составе ЕС и подкрепляющееся в повседневной жизни благодаря мириадам «городов-близнецов», студенческих обменов, профессиональных и научных конференций и возможностей для проведения отпуска. Эта культурная принадлежность существует бок о бок с сильной и неизбывной национальной преданностью, основная и единственная «слабость» которой проявляется в существенном снижении агрессивной ксенофобии. Сегодня быть «европейцем» означает быть добрым, благородным и цивилизованным. Подобная европейская идентичность могла бы послужить мобилизующим фактором для реализации «паневропейской» политики и общественных задач. Однако таковые отсутствуют. Большая часть

национальной политики касается налогов, мер повышения доходов, благосостояния, моральных вопросов и внешнеполитических кризисов. Все это отнюдь не считается и не является сферой интересов ЕС. Поэтому политические партии по-прежнему имеют всецело национальную организацию и почти абсолютно национальные ориентиры. Даже референдумы, которые замышлялись как общеевропейские, в действительности превращались в вотумы доверия действиям национальных правительств.

Более того, две важнейшие сегодня для современного государства, да и почти для всех остальных государств, функции ЕС на себя не взяло. Как заметил во время войны в Персидском заливе один бельгийский министр, ЕС — это гигант в экономике, карлик в политике и ничтожный червяк в военном отношении. У него нет функции коллективной обороны и слабо развита функция определения внешней политики. По условиям Маастрихтского договора, в его рамках может строиться межправительственная политика, судьба которой решается единогласно, а не квалифицированным большинством. Французские и немецкие власти формируют небольшие совместные силы обороны, но лишь в порядке двусторонних переговоров. Американское творение — НАТО — имеет иной состав, хотя в него входят и некоторые члены ЕС. Западноевропейский Союз мог бы приютить европейское ведомство обороны, но члены его и ЕС также не совпадают — Дания, Греция и Ирландия в него не входят. Некоторые европейцы выступают за широкие обязательства в сфере военной защиты, однако две ядерные державы — Франция и Британия отказываются от участия в общем контроле над этим оружием и ревностно сохраняют свои индивидуальные представительства в Совете Безопасности ООН. Отдельные государства в основном поддерживают собственную военную и внешнюю политику. Однако под давлением финансовых соображений и ввиду отсутствия внешней угрозы уровень европейского милитаризма продолжает снижаться. Английский социолог Мартин Шоу предсказывает народному милитаризму, институциональным выражением которого является всеобщая воинская повинность, скорый конец. Войска, по его убеждению, станут меньше числом, совершеннее в техническом смысле, профессиональнее и будут несколько удалены от гражданского общества[11]. Пока же единственной геополитической силой, способной координировать оборону, остаются Соединенные Штаты Америки. Большинство европейских государств с небольшими потерями для себя отметились в войне в Заливе. Но где же была их реакция на потрясение собственных границ — в Югославии, — когда Соединенные Штаты (до поры до времени) являлись не столь заинтересованной стороной, как в Заливе? До чего же все изменилось с тех пор, как в 1914 году был убит по политическим мотивам австрий-

ский эрцгерцог! Теперь создание сил обороны не просто ведется где-то вне пределов ЕС, но оно и в целом носит весьма плачевный характер.

Таким образом, Европа далека от того, чтобы слиться в единое или даже федеративное государство. Можно перечислить, какие различные организационно-политические процессы характерны для трех основных типов выполняемых ею государственных функций. Во-первых, в сфере экономической политики суверенитет делится между ЕС и национальными государствами, — однако не в соответствии с какими-либо четкими «федеративными» либо «конфедеративными» конституционными принципами. Во-вторых, в других областях гражданской политики суверенитет большей частью, хотя и не полностью, остается в руках национального государства. В-третьих, в области обороны и внешней политики крайняя недостаточность действенного суверенитета наблюдается повсеместно. Всеобщий суверенитет сегодня раздроблен и жалок. ЕС дипломатически признано многими государствами и является аккредитованным наблюдателем при ООН, но то же самое можно сказать и о Ватикане. ЕС не имеет единого представительства или какого-либо подтверждения своего общего суверенитета в тех областях, которые оно контролирует. В демократическом обществе таковыми являются выборные органы исполнительной власти и суверенный парламент. Европа крайне далека от того и другого. Поэтому у нее нет и собственной конституции, которая отчетливо регулировала бы сложные институциональные отношения. Основные статьи ее вмешательств в национальный суверенитет не носят истинно конституционного характера, то есть не нацелены на замещение одного суверенитета другим. Вместо этого они являются сугубо практическими, подспудными и весьма затянутыми воплощениями в жизнь тех решений, которые принимает Совет Министров, чья работа по принятию таковых частично отражает общий консенсус и частично — геополитический вес различных членов Сообщества. Вмешательства представляют собой рутинные ограничительные практики, например введение плотного набора требований к продукции или сужение диапазона колебаний валютного курса, разрешенного Европейским Валютным союзом. Государства-участники не настолько дополняют друг друга, чтобы составить единое, организованное целое, подобное государству. В зонах конфликта ЕС действует в соответствии не с над-национальными, а с геополитическими принципами, — то есть взаимными соглашениями и юридическими альянсами между государствами.

Не так давно Британия, Дания и Франция потребовали для себя одной весьма разрушительной привилегии. Они определили основные меры ЕС как затрагивающие их «жизненные интересы» и заявили о своем праве не подчиняться им. Британское правительство провозгласило свое принципиаль-

ное несогласие с валютным союзом; французское правительство выступило против тарифной политики в области сельского хозяйства. Нам не дано знать, когда и чем окончатся эти споры. Но в декабре 1992 года датскому правительству было разрешено не считаться с валютной политикой и формальным гражданством ЕС. Большинство членов ЕС может применить к государству-раскольнику крайнюю санкцию — исключить его. Но она еще никогда не использовалась. А если бы использовалась, то мы бы знали, что ЕС — это новое мощное политическое образование, при всей общеизвестной узости диапазона его суверенной политики. В целом довольно беззубое, ЕС регулирует только капиталистическую активность в своем регионе. Оно являет собой образец истинно «европейского» регулирования, — но исключительно для тех областей, где господствует традиционная геополитика. Оно пока еще не является ни государством, ни тем, что приходит ему на смену.

Будущее Европейского Сообщества

Что ждет его в будущем? ЕС может ослабнуть, а может упрочиться. Вряд ли произойдет его сужение или, того хуже, полный распад, поскольку экономические последствия в этом случае для всех были бы просто трагическими. Ни одно из входящих в него государств сегодня не может покинуть его по каким-либо разумным соображениям, и в данный момент речь скорее идет об обретении им все большего числа членов. Другой крайностью *могло* бы стать неожиданное слияние наций-государств и ЕС в единое федеральное целое. Но есть ли какие-нибудь стимулы и мотивы для этого превращения? ЕС создавалось в целях гармонизации экономических отношений. Любые «выплески» его компетенции в иные государственные сферы изначально были ограничены. Да и в его экономической сфере существование ключевых и периферийных регионов, а также трудности в достижении валютного единства приводят к тому, что мы имеем Европу, движущуюся на «разных скоростях». С 1950-х годов в Европе господствовал ключевой франко-германский альянс, на который преданно смотрели страны Бенилюкса, поскольку их экономика была неотделима от экономики этих двух государств. А вот британцы по-прежнему недоумевают, когда изучают карту. Где же мы находимся, спрашивают они, — в Европе или в Атлантике? Италия остается двойственной целостностью, включающей Север и Юг и отличающейся совершенно особой системой правления (что еще мягко сказано). Другие южане еще беднее, и интеграция с Севером в дальнейшем будет представлять проблему для них. Скандинавские соседи и Австрия богаты в не меньшей степени, чем Германия, и вскоре они также вступят в ЕС. Хотя многие из них

более заинтересованы в прогрессе собственной внутренней и внешней политики, чем большинство его настоящих членов. У Европы проблемная восточная периферия. Она не имеет четкой восточной границы, и в ЕС нет определенного взгляда или системы мер, относящихся к данной области. Его деятельность в странах Восточной Европы незначительна по сравнению с теми проектами, которые осуществляет там одно-единственное государство в его составе — Германия. И, наконец, перед самой Германией, недавно объединившейся, имеющей экономику примерно тех же масштабов, что в бывшем Советском Союзе, и колоссальное влияние в Восточной Европе, сегодня открываются новые возможности: теперь она может сыграть роль великой державы. Конечно, едва ли немецкие власти предпочтут этот путь членству в ЕС. Но уже есть признаки, указывающие на то, что Германия может воспротивиться дальнейшей эрозии своего национального суверенитета. Без доминирования Германии не было бы ЕС; без доминирования Германии существующее ЕС не сможет развиваться вглубь. Как выразился Фелипе Гонсалес, глава испанского правительства, «если Германия выйдет из игры, то в итоге выйдем из игры и все мы»[12].

Таким образом, сегодня все больше говорит о том, что либо дальнейшая консолидация членов ЕС приостановится, либо у нас будет Европа разных степеней сближения и разных скоростей, ободряемая приходом все новых членов и созданием специальных объединений с другими соседями, хотя все это только расширяет, но не углубляет ее единство. Количество специальных сотрудничающих ведомств может увеличиться внутри и вне ее новых границ. Можно надеяться, что у нас появится общеевропейское ведомство по охране окружающей среды, компетенция которого будет простираться как минимум до Урала (Чернобыль преподал нам серьезный урок географии). Более вероятной политической альтернативой, чем федерализм, нам представляются образования с меньшей однородностью территории и функций.

Европу ничто не подталкивает к образованию политического единства. По правде сказать, она скорее может вернуться к политическим образованьям, напоминающим, хотя и в гораздо более сложной форме, те, что существовали в раннефеодальные времена. Как и в те времена, Европа не имеет сегодня единого источника суверенитета. В ее рамках существуют различные политические институты, регулирующие различные функции ее ядра — ЕС, и она включает в себя державы крайне различных потенциалов. У Европы есть готовые институциональные решения для конкретных проблем, таких, как оборона и окружающая среда, и она задумывается над созданием более сильных ведомств, соответствующих актуальному сочетанию функциональной и географической необходимости. В ней есть убежденные федералисты. Но

проблемы выбора обороны, валюты и путей развития Восточной Европы слегка окорачивают этих федералистов и повышают вес прагматизма и целесообразных решений.

Возросшая роль прагматизма может показаться вполне обоснованной, но вместе с ней возникает вопрос «дефицита демократии» в организациях Сообщества. Сейчас им скорее присущи тенденции к бюрократизму, нежели к демократии. Способна ли сама демократия контролировать их? Безусловно, нет, поскольку демократия как таковая возникла в форме суверенного национального государства. Демократия явилась достижением государства как единого представительного органа. Федеральная версия демократии требует строгого разделения суверенитета между многочисленными институтами: например, в конституции США это штаты и федеральное правительство, президент, две палаты парламента и Верховный Суд. Сделать ЕС демократическим, при этом не передав ему определенную часть бывших государственных суверенитетов, невозможно. Но акт подобной передачи маловероятен.

Стоит ли нам проявлять беспокойство по этому поводу? Да, но только в том случае, если государства останутся такими же клетками, какими они были в XVIII, XIX и начале XX века, и если они будут представлять такую же угрозу для своих граждан или их соседей, как многие из государств тех эпох.

Европейское национальное государство лишилось ряда экономических функций в пользу ЕС, а заодно и нескольких функций обороны, но приобрело новые функции в тех сферах, которые раньше считались частными и локальными. Решетки клеток в целом, возможно, не претерпели больших изменений. Гражданам по-прежнему необходимо, чтобы их бдительно оберегали на национальном уровне, и суверенитет здесь должен поддерживаться в самых существенных своих значениях.

Однако евроорганизации тоже не стоят на месте. Именно они несут, пусть достаточно косвенную и несколько громоздкую, ответственность за все происходящее. И поскольку ЕС — это, по сути дела, капиталистический клуб, то капиталисты отчасти обязаны ему тем, что после войны сумели обойти все другие классы, сформировавшиеся преимущественно на уровне национального государства. В XIX и XX веке почти вся деятельность социалистов была сосредоточена вокруг национального государства, тем самым в существенной мере способствуя его укреплению. Теперь их кейнсианским социальным достижениям грозит опасность, и их социал-демократические правительства и федерации профсоюзов просто не в силах сопротивляться экономической логике глобально организованного капитализма. Социалистам и прочим несогласным, очевидно, следует стремиться к большей организо-

ванности в рамках европейских институтов. Однако до тех пор, пока они способны собирать свои силы только для решения политических проблем, принадлежащих по-прежнему почти исключительно сфере национального государства, у них будет повод относиться к передаче большой доли суверенных полномочий Сообществу с настороженностью. Европейские социалисты вяло реагировали на финансовый консерватизм ЕС, предводимого Бундесбанком. Однако впервые их усмирение финансовым консерватизмом произошло в рамках их отдельных национальных государств. Европейским «левым» необходимо обновить понимание собственных целей, а это может произойти только благодаря международному сотрудничеству. Европейские организации обеспечивают одну из точек приложения такого сотрудничества, из которого им же предстоит извлечь все преимущества. Но это не единственная такая точка, поскольку сегодня их обходит с флангов всемирный, а не просто европейский капитализм.

Европейские государства больше не представляют угрозы друг другу. В европейцах долго воспитывали склонность к негативным оценкам соседей. Я, например, рос в послевоенной Британии и впитал глубокую неприязнь к немцам, возмущение французами, легкое презрение к итальянцам, грекам и испанцам и привычку к злобным ирландским шуткам. Мне привили убеждение в том, что швейцарцы всегда зажаты и аккуратны, бельгийцы толсты и печальны, а скандинавы и голландцы милы, потому что абсолютно безвредны. Надеюсь, что они платят мне взаимностью — антианглийскими чувствами. Но, как показывают опросы общественного мнения, негативные национальные стереотипы на сегодня почти исчезли. Национальное соперничество теперь в основном ограничивается песенным конкурсом Евровидения, футбольными кубками и состязаниями в подобострастии, необходимом для привлечения международных корпораций. В Западной Европе нет военных режимов и практически нигде нет у власти авторитарных «правых». Величайшим политическим преобразованием, происшедшим в Европе XX века, явился не закат социализма, а поражение авторитарных претензий и «правых», и «левых». Сегодня в европейской политике преобладают правоцентристские консерваторы, христианские демократы и центристские социал-демократы. И в том, что некоторые опрометчиво называют новой волной фашизма, на самом деле нет ничего подобного: это просто расизм, объектом которого являются иммигранты и который, что фашизм делал нечасто, апеллирует почти исключительно к рабочему классу, привлекая внимание к проблемам материальной сферы — труда, жилья, школ.

Новая Европа никому не причиняет вреда. Ей самой тоже ничего не угрожает. В ней царит геополитическая безопасность, к которой она всегда стре-

милась, а также зависимые государства и даже государства-просители, отделяющие ее от любой угрозы, исходящей с Востока. И американцы по-прежнему готовы ее защищать. Европе практически ни к чему самостоятельное принятие эффективных геополитических решений. Мирные неурядицы не наносят ей большого ущерба. Ее грехи — это всего лишь маленькие оплошности. Если это постсовременность, то она больше похожа на утопию, чем на кризис.

ЕС также поддерживает довольно дружеские отношения с двумя другими сторонами тройственного мирового влияния — США и Японией. Да, они ведут между собой нескончаемые торговые споры о протекционизме, касающиеся автомобильных запчастей, полупроводников и риса, но при этом также демонстрируют способность когда-нибудь достичь компромиссного соглашения. Капитализм не настолько транснационален, чтобы ему было уже не до политического регулирования, и отношения вышеназванной тройки вполне ему подходят. Культурная солидарность между странами по обе стороны Атлантики также весьма сильна, чему опять же способствуют капитализм и общество потребления, некоторым образом затушевывая как национальную, так и континентальную принадлежность. Американцы, возможно, в курсе того, что «Jaguar» теперь является американской машиной. Но известно ли им, что «Burger King» и пончики «Winchells Donuts» — это британский продукт? Испанцы, наверное, знают, что «Seat» — это немецкая марка автомобилей, а «Pryca» — это французские супермаркеты, но не знают, что магазины «Texas Homecare» — это британские, а не американские заведения, что половина вещей, которые они носят, сделана в Голландии, а модная одежда от Massimo Duti — отнюдь не итальянская, а испанская, точнее, каталонская[13]. Возможно, что добрая половина телепрограмм, показываемых в материковых странах Европы, имеет американское происхождение, но ведь она дублирована на их языки. Сохраняют ли Клинт Иствуд, Сильвестр Сталлоне, а также «Даллас» и «Беверли Хиллс 90210» свою американскую принадлежность, когда они говорят и звучат на португальском или немецком сленге? Остаются ли мультипликационные персонажи «Драконбола» японцами? Похоже, что европейцам вполне по силам поглотить и американскую, и даже японскую идентичность.

Соседи ЕС также должны взирать на него с любовью, ведь все они — от Исландии до всего Балтийского и Средиземноморского побережья — хотят быть в его составе. ЕС оказало на некоторых соседей плодотворное воздействие, поскольку сделало демократию условием своего членства. У греков и испанцев уже есть основания благодарить его за это, а у восточных европейцев и турок они могут возникнуть в будущем.

Однако потенциально Европа представляет и угрозу для своих соседей: речь идет о проблеме иммиграции, способствующей усилению еврорасизма. Она тесно связана с более широкой темой «европейской крепости» и особенно с вопросом о том, проявят ли европейцы существенный интерес к менее развитым странам на востоке и юге. «Крепость» оживила бы идентичность Европы как обители христианства и «белой расы». Пока неясно, кем будут славяне в такой Европе — своими или чужими, а от этого, в свою очередь, зависит точный образ европейской расовой и религиозной идентичности. Тот факт, что в некоторых славянских группах происходят внутренние этнические конфликты, говорит о возможности в будущем некой гремучей смеси. На самом деле каждый из этой тройки мировых лидеров — Европа, США и Япония — сегодня стоит на пороге, или в преддверии, таких отношений с развивающимся миром, которые имеют этнические последствия. Расизм больше нельзя считать только «американской дилеммой», поскольку Америка кое-чему научилась и кое-чего достигла в этом вопросе. Расовый геополитический конфликт теперь может иметь большую актуальность для Японии и Европы. Кто знает, к каким бунтам, террору и даже войне это приведет мировую геополитику в двадцать первом столетии? Если расовый конфликт породит много насилия, то это неизбежно будет способствовать новому подъему европейских государственных суверенитетов. Будет ли он означать возврат к нации-государству или движение вперед — к Соединенным Штатам Европы? Национальное государство, упроченное всеевропейской иммиграцией и антитеррористическими мерами, представляется нам более вероятным итогом подобных событий, как и те прагматические политические процессы, которые я ранее очертил. Европейские нации-государства не умирают и не спешат на покой: у них просто сменились функции, которые еще не раз могут смениться в будущем.

АМЕРИКАНСКОЕ И ЯПОНСКОЕ ГОСУДАРСТВА

Что можно сказать о двух других мировых лидерах? В отличие от Европы в них по-прежнему преобладают единые национальные государства, и ничто не указывает на их скорый выход в тираж или тем более на отмирание. В обеих Америках главенствуют Соединенные Штаты. Другие государства континента весьма различны, и безопасности значительной части из них по-прежнему угрожают соседи или свои, «внутренние» диссиденты. В этом смысле они представляют собой типичные развивающиеся национальные государства, с более или менее постоянными размерами территории, довольно большим и стабильным аппаратом государственной администрации, но не-

спокойными и изменчивыми политическими режимами. Однако, будучи зависимыми в хозяйственном отношении, они, соответственно, не имеют того экономического суверенитета, который уже в XIX веке обрело большинство государств Европы. Поддержанию порядка на континенте сегодня способствует гегемония США.

США сами являются нацией-государством, хотя, конечно же, не таким разумно маленьким, аккуратным, как национальное государство европейского типа. Соединенным Штатам присуще большее этническое разнообразие и более слабая федеральная власть, также способствующая снижению национальной однородности и национальной централизации. Однако они занимают почти весь континент. Их размеры, экологическое разнообразие и историческая изоляция способствовали тому, что их экономика оставалась более самодостаточной, чем у соперников. Ценность национальной торговли в США всегда превалировала над ценностью международной, чего не скажешь об их основных партнерах по соревнованию. Их капитализм является более национальным, чем капитализм любой из европейских стран. Несмотря на рост японских инвестиций, единственным крупнейшим иностранным инвестором здесь, как всегда, остается оффшорный остров Европы — Британия. В соглашениях о свободе торговли между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой можно различить слабые отголоски европейского Общего рынка, но ни одна из сторон не питает иллюзий относительно того, кто из партнеров здесь самый главный.

Разумеется, жизненный цикл американского национального государства имел свои особенности, в частности более позднюю зрелость. В 1930-х годах федеральное правительство отняло основную долю функций по обеспечению благосостояния нации у отдельных штатов и муниципальных властей. Рождение военной мощи здесь может датироваться только периодом второй мировой войны; этот факт наконец позволил федеральному правительству превзойти правительства штатов и местные власти. В отличие от большинства гражданских функций государства обладание военной властью позволило федеральному правительству превзойти правительства штатов и местные власти. В отличие от большинства гражданских функций государства военная мощь находится в руках федерального правительства и президента как Главнокомандующего. Таким образом, американский милитаризм вписывается в компанию символов и институтов нации-государства. Выражение «американский народ» привычно употребляется в целях придания законного обоснования внешней и военной политике. В середине века, когда пришел конец изоляции Юга и замедлился приток иммигрантов, здесь имела место относительная социальная однородность. Региональная гомогенизация шла

со скрипом, но она и сейчас продолжается в таких областях, как средства массовой информации или банки. Иммиграция нынче переживает новый огромный всплеск, в результате чего латиноамериканская и азиатская культуры в рамках США могут начать играть новую роль. Но в целом Соединенные Штаты пока еще производят впечатление развивающейся, а вовсе не угасающей нации-государства. Правда, как экономическая сила она угасает по сравнению с Японией и Европой, и я подозреваю, что связанная с этим потеря национальной самоуверенности служит объяснением изрядной доли того постмодернистского релятивизма, который сегодня популярен в американских интеллектуальных кругах.

Второй регион — Восточная Азия и большая часть Тихого океана также являет собой разнообразную по многим аспектам область, где если не политически, то экономически доминирует одна-единственная сила — Япония. Из трех региональных сверхдержав Япония наименее самодостаточна в экономическом смысле и в наибольшей степени изолирована от других. Ее собственное государство, территориально небольшое, уверенно координирует национальный капитализм, в частности благодаря отношениям «патрон — клиент», господствующим в ее единственной правящей партии — Либерально-демократической, а также благодаря работе главного экономического министерства международной торговли и промышленности (ММТП). Собственность ее капиталистов остается преимущественно японской. Иностранные любители наживы сочли, что здесь крайне затруднительно осуществлять захват собственности и последующее ею управление. Все это еще подкрепляется плотными и цепкими социальными и семейными связями, совершенно уникальными для развитого капиталистического мира.

Подобно Европе, после 1945 года Япония уже не являлась «полноценным государством», независимым в своей оборонительной и внешней политике. Но численность американской армии, стоящей в Японии, невысока — чуть больше 50 000 человек. Хотя военные расходы, по ее конституции, ограничиваются двумя процентами от ВНП в год, размер этого ВНП стал настолько велик, что сейчас Япония имеет вооруженные силы, по численности занимающее четвертое место в мире. Несмотря на то что японцы остаются разобщенными и с недоверием относятся к собственной нарастающей мощи, несмотря на то что в области внешней политики они по-прежнему довольно слабы, объективно Япония снова становится великой державой. Большинство японцев настроены весьма националистически и разделяют расовый миф общего происхождения, хотя своими действительно различными физиогномическими признаками они обязаны множеству восточноазиатских племен. За рубежом в японский «интернационализм» слегка подмешан эконо-

мический империализм — склонность к навязыванию выраженных эксплуататорских отношений труда менее развитым странам своего же Азиатско-Тихоокеанского региона[14].

Япония остается сплоченным национальным государством, хотя и играет очень большую роль одновременно как передатчик и восприемник капиталистического и культурного транснационализма. В качестве национального государства Япония поначалу была непокорным и агрессивным подростком. Сейчас ее созревание продолжается — хотя совсем недавно появились признаки ее относительного экономического спада.

Итак, европейские разговоры о смерти национального государства применительно к двум другим регионам звучали бы как преждевременные. Возможно, что новые евроорганизации отнюдь не являются моделями будущего. Трудно представить, что именно может побудить Соединенные Штаты или Японию присоединиться к объединению суверенитетов или к отказу от них вместе с другими государствами или политическими силами. Ничто не мешает им и далее договариваться со своими соседями и с Европой на правах единственных великих держав.

ГОСУДАРСТВА В МЕНЕЕ РАЗВИТОМ МИРЕ

Менее развитому миру присущи иные и более разнообразные государственные проблемы. Рождение или возрождение многих из таких государств датируется периодом после 1945 года, когда всем странам, освобожденным от колонизации, в итоге была навязана якобы образцовая форма национального государства, — несмотря на колоссальные различия в реальных возможностях инфраструктур их государств и гражданских обществ. Хартия ООН и холодная война на время заморозили эти зачастую искусственные политические проекты. Однако той недолгой эпохе пришел конец. Теперь государства должны полагаться на собственные, подчас весьма ограниченные возможности. Немногие из них обладают инфраструктурами и мобилизационными возможностями настоящего национального государства. В этом «внешнем кольце» многие государства сталкиваются, по сути дела, с гоббсовой проблемой порядка, в отличие от государств «локковой заповедной зоны»[15]. Наряду с бывшими коммунистическими государствами, многие из них сталкиваются с жесткими внутренними разногласиями, часто дополняемыми угрозами национальной безопасности, исходящими от их внешних соседей. Ни один регион сегодня не может наслаждаться таким спокойствием, каким наслаждается Западная Европа. Как отмечает социолог Чарльз Тилли, большинство государств в менее развитых странах в течение несколь-

ких десятилетий не следовали европейскому пути военного развития[16]. Их армии не уменьшились в размерах, когда они достигли определенного уровня экономического развития, как это случилось в Европе. Они остались большими, дорогими и современными и, видимо, будут оставаться такими еще какое-то время. Подобные страны могут потратить еще один век на борьбу за политическое и социальное гражданство, региональную и этническую автономию и пограничные споры с соседями. Их политическая повестка дня крайне отличается от таковой в Европе, Северной Америке или Японии, и они могут скорее укрепить свои национальные государства, нежели ослабить их.

Однако конкретные государственные сценарии менее развитых стран тоже весьма различны. На одном полюсе, в основном в Африке, мы находим умирающие гоббсовы государства, режимы которых не способны действовать по всей территории, чтобы обеспечивать хотя бы минимум общественного порядка, — государства, предоставленные самим себе в достижении тех целей развития, которых требует новая глобальная культура немедленного удовлетворения потребностей. Своим бесплодным насилием военные вожди Сомали, Либерии или Заира напоминают подавляющее большинство политических режимов всей до-современной истории. Они не монстры, а лишь отражения своего собственного прошлого, хотя и обладающие автоматическим оружием и счетами в швейцарских банках. Проблемой для них является не постмодернизм, а отсутствие полноценного модернизма в их собственных гражданских обществах. По мере того как мы будем продвигаться от Африки и развивающихся стран Южной Азии к Латинской Америке, а затем к бывшим советским и более развитым странам Южной Азии и, наконец, к самым успешным восточноевропейским и восточноазиатским, — данная проблема будет терять свою остроту. Достигнув Венгрии, Чехии, Южной Кореи, Сингапура или Тайваня, мы столкнемся с гражданскими обществами, обладающими крепкими экономическими и культурными инфраструктурами, эффективной государственной властью на всей территории и ведущими политические сражения за политическое и социальное гражданство, которые имеют безусловно «современный» характер, напоминая в этом смысле о недавней истории Западной Европы, Северной Америки и Японии (хотя у восточноевропейских стран тоже есть своя биография политических битв). Между этими двумя полюсами — Сомали и Южной Кореей — пролегает множество лишь частично эффективных государств, пытающихся справиться с неравномерно наступающей современностью — с неравномерно развитым или узколокальным капитализмом, религиозными или этническими идентичностями, то разделяющими, то укрепляющими эти страны, разбухши-

ми вооруженными силами, поддерживающими порядок и осуществляющими подавление, раздутой государственной администрацией, пекущейся о развитии и потворствующей коррупции. Некоторые проблемы таких режимов действительно являются сугубо постсовременными: они испытывают разрушительное воздействие глобального размаха капитализма и глобальной культуры немедленного удовлетворения потребителя. Но их основную политическую проблему составляет тот факт, что формально современные политические институты не могут компенсировать недостаточность другого условия модернизации: развитого гражданского общества. Они имеют дело с кризисом современности, а не постсовременности. Это их собственный кризис, и никакие разнообразные решения не помогут им воспроизвести у себя историю Западной Европы, Северной Америки или Японии. Но, как и у этих мировых лидеров, лейтмотивом их собственной истории будет борьба за создание гражданских обществ и национальных государств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государства приобретают важную роль в современном мире, чтобы оказать человечеству пять услуг различного практического значения: (1) они могут вести массовые, подчиняющиеся единым законам войны; (2) они обеспечили милитаризм и капитализм инфраструктурами коммуникаций; (3) они превратились в средоточие политической демократии; (4) вторгаясь в приватную сферу, они гарантируют соблюдение гражданских прав, и (5) они создали макроэкономическое планирование. Все пять функций были связаны между собой и тесно вплетены в развитие современного гражданского общества. В XX веке они сплавились с колоссальными возможностями суверенной нации-государства. Некоторые из таких возможностей сегодня сходят на нет, но другие по-прежнему укрепляются.

Нет никакой необходимости в том, чтобы все эти функции концентрировались в рамках одного и того же политического ведомства. По крайней мере история знает мало таких примеров. Государства обычно разделяли некоторые политические функции с аристократией, церквями и частными корпоративными союзами. Другие функции вообще не осуществлялись коллективно, а рассматривались как сугубо частная деятельность. Но в одной части мира — Западной Европе — подобные функции вновь оказались частично разрозненными. Несомненно, что это изменение мирового и исторического значения, поскольку оно затормозило, казалось бы, безудержное развитие нации-государства. Европа создала новые политические институты разделенных, перемешанных суверенитетов, и этот процесс может распространить-

ся на некоторые смежные государства. Но, поскольку такое развитие в основном являлось ответом на конкретную региональную ситуацию, оно может вовсе не послужить матрицей для всего остального мира. Уже в XX веке между государствами существуют большие различия.

Более глобальные источники современных перемен, ссылаясь на которые многие также предсказывали угасание национального государства, на самом деле чреваты куда более запутанными и разнообразными политическими последствиями. Перемены в военной сфере, особенно наступление эры ядерного и биологического оружия, сделали бессмысленной большую войну между великими державами, и подобная логика вскоре может стать справедливой для менее могущественных государств. Так как идея современного, да и в значительной степени национального государства вырабатывалась в период войны, данный факт может истолковываться как сигнал о ее возможном отмирании. Однако когда современное национальное государство пришло в мир, оно нашло себе иные занятия и по-прежнему находит их. Впрочем, как бы то ни было, обществами в целом правят отнюдь не разумные соображения. В огонь современных войн подливали масло жестокие идеологии, предназначенные для решения социальных конфликтов. Этничность и религия, вплетенные в социальный конфликт между «первым» и «третьим миром», могут явиться новым плодотворным источником идеологий, способных поддерживать государственное насилие. Поэтому так важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты Америки и Япония каким-то гуманным образом справлялись со своей иммиграцией, пограничными и региональными проблемами. Если же они, напротив, обратятся к расово-религиозным идентичностям, то тоже пострадают от последствий терроризма и необходимости борьбы с ним, которые выльются в волны насилия и роста расходов. Что касается войн и насилия, то здесь всегда легче понять, что следует делать для их предотвращения, чем что делать, когда они уже наступили.

Капиталистический и культурный транснационализм не просто подрывают суверенитет государств. С возрастанием плотности мирового сообщества государства обретают новые геополитические роли. Тарифы, системы коммуникаций и проблемы окружающей среды уже являются весомыми генераторами геополитических договоренностей между государствами, и этот процесс может усиливаться, включая в себя все больше проблемных зон. Возможно, когда-нибудь мы увидим такие глобальные «Социальные статьи» (надеюсь, не настолько вялые и беззубые, как в Маастрихтском договоре), которые будут регулировать отношения труда или выработку общих стандартов здравоохранения, а также образовательной подготовки и профессиональной квалификации. В недавнем прошлом подобные договоренности в

рамках субъектов вроде США или Генерального соглашения по тарифам и торговле, либо выходящие за их пределы, обычно возглавлялись двумя великими национальными государствами — США и Японией — при более специальном представительстве «Европы» (временами вместо всех вышеуказанных участников фигурирует Группа Двенадцати государств) и специальном представительстве «третьего мира» — одним или большим числом государств, — а также довольно непостоянном присутствии Советского Союза/РФ и вовсе эпизодическом присутствии Китая.

Итак, мы приходим к забавному парадоксу. Транснационализм и ЕС до сих пор в основном носили капиталистический характер. Однако капитализм уже, похоже, приблизился к такому своему пределу, как упразднение государственных рамок. Результатом капиталистической погони за прибылью явилось не совсем то «постсовременное гиперпространство», о котором говорил Фредрик Джеймсон. Хотя капитализм ограничил общественно-гражданские полномочия национального государства, а вкупе с военными и геополитическими тенденциями понизил и военный суверенитет большинства государств, он по-прежнему зависит от постоянных переговоров между суверенными государствами, представляющими свои интересы в разнообразных специальных ведомствах. Далее капитализм уже не будет принижать значение национального государства. Впрочем, если социализму, в его демократической западной разновидности, будет суждено выжить, то ему придется иметь дело с той же самой проблемой. Собственно, уже тот момент, когда транснациональный финансовый консерватизм начал подрывать основы шведской социал-демократии, следовало расценить как совершенно прозрачный знак свыше: пока социалисты не поднимутся от событий, происходящих внутри их собственных национальных государств к осуществлению власти на международном уровне, у них будет крайне мало того, что можно было бы предложить избирателям. Весь жизненный цикл нации-государства был пронизан классовыми конфликтами. Но теперь это классовое движение, которое исторически более всего способствовало упрочению национального государства, должно приступить к его упразднению. Вопрос о том, осознает ли оно такое свое предназначение и будет ли иметь достаточно сил на то, чтобы исполнить его, — остается открытым.

Сегодня и в обозримом будущем специфические объединения капитализма с национальными государствами, особенно наиболее развитые, будут победно шагать по большей части планеты. В менее развитом мире состояние государств разнообразно. Некоторые из них находятся в кризисе, и есть несколько таких, которые уже угасают. Переживаемый ими кризис — это кризис не постсовременности, а недостаточной современности. Те страны, где

нет эффективных наций-государств, многое бы отдали за то, чтобы их построить. Нация-государство сегодня не правит бал, но и не выходит из употребления ни в качестве реальности, ни в качестве идеала.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Предыдущими версиями этого очерка были лекции, озаглавленные «Конец национального государства?» (Instituto Juan March, Мадрид, 11 сентября 1992 г.) и «Конец национального государства? Перспективы Европы и всего мира» (в рамках курса лекций Уэнди и Эмери Ривз «По ту сторону национального государства» в Колледже Уильяма и Мэри, 15 февраля 1993 г.).

2. *Philippe Schmitter.* The European Community as an Emergent and Novel Form of Political Domination. Instituto Juan March, Working Paper. No. 26, 1991. P. 15.

3. Например, *John G. Ruggie.* Territioriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations // International Organization. 47 (1), 1993.

4. Все цифры по государственным финансам и рабочей силе и все обобщения, касающиеся государственной деятельности до 1914 г., взяты из проведенного мной исследования по истории пяти государств — Австро-Венгрии, Франции, Великобритании, Пруссии/Германии и Соединенных Штатов Америки, — результаты которого изложены в: *Michael Mann.* The Sources of Social Power. Volume 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760—1914. N. Y., 1993. Ch. 11—14.

5. *Robert Cox.* Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. N. Y., 1987.

6. *Fredric Jameson.* Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. 146, 1984, и *Fredric Jameson.* Marxism and Postmodernism // New Left Review. 176, 1989.

7. *Perry Anderson.* The Development of the European Community. Unpublished paper. Center for Social Theory and Comparative History, University of California at Los Angeles, 1992.

8. В двух основных сферах своей деятельности — сельском хозяйстве и региональной политике — ЕС не посягает на национальные суверенитеты. Запутанная сельскохозяйственная политика, по прежнему съедающая 65 процентов бюджета ЕС, обусловлена межправительственными соглашениями, в частности между Францией и Германией. В 1970-х гг. региональная политика, по-видимому, имела тенденцию к ограничению суверенитетов, но вхождение в состав ЕС бедных государств европейского юга повернуло эту тенденцию вспять. В большинстве региональных конфликтов сейчас стравливаются друг с другом скорее северные и южные государства, нежели богатые и бедные регионы, независимо от государственных границ (хотя объединение Германии составляет исключение из этого правила, поскольку области бывшей ГДР получают право пользования региональными средствами). А доминирующие в геополитическом отношении северяне в конце 1992 г. успешно удерживали фонды развития на уровне, не превышающем 1,25 процента от ВНП Европейского Сообщества, вместо предусмотренных для них пяти.

9. Существует обширная литература по единому рынку и Европейской Валютной системе. Информативное, провокационное обсуждение последних разработок в этой сфере вы можете найти в статьях сборника *Otto Holman* (ed.). European Unification in the 1990s: Myths and Reality, являющегося специальным выпуском International Journal of Political Economy. 22 (1), spring 1992.

10. *Wayne Sanholtz.* Choosing Union: Monetary Politics and Maastricht // International Organization. 47 (1), 1993.

11. *Martin Shaw.* Post-Military Society. Cambridge, 1991.

12. Интервью с Фелипе Гонсалесом в El Pais, 23 февраля 1992г.

13. Я даже не могу гарантировать, что эта информация будет точной к моменту выхода данной статьи, поскольку международные корпорации покупают и продают отдельные предприятия с величайшей скоростью и завидным усердием

14. *Anthony Woodiwiss.* Human Rights, Labour Law and Transnational Sociality around the Pacific Rim (with special reference to Japan and Malaysia). Unpublished paper. Deparment of Sociology, University of Essex, 1992.

15. *K. Van der Pijl.* Ruling Classes, Hegemony and the State System: Theoretical and Historical Considerations // International Journal of Political Economy. 19, 1989.

16. *Charles Tilly.* Coercion, Capital and European States. Oxford, 1999.

«Национальность» (Nationality) Лорда Эктона впервые была опубликована в The Home and Foreign Review. 1, July 1862. P. 146—174.

«Нация» (The Nation) Отто Бауэра впервые опубликована как первая глава книги Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Vienna, 1924.

«От национальных движений к полностью оформленной нации: процесс национального строительства в Европе» (From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe) Мирослава Хроха впервые опубликовано в New Left Review. 198, March—April 1993. P. 3—20.

«Пришествие национализма» (The Coming of Nationalism) Эрнеста Геллнера впервые опубликовано в Storia d'Europa. Vol. 1. Turin, 1993.

«Подходы к исследованию национализма» (Approaches to Nationalism) Джона Бройи впервые опубликованы в Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenossischer Nationalismustheorien / Ed. Eva Schmidt-Hartmann. Munich, 1994. P. 15—38.

«Национализм и историки» (Nationalism and Historians) Энтони Д. Смита впервые опубликовано в International Journal of Comparative Sociology. XXXIII, 1—2, 1992. P. 58—80.

«Национальное воображение» (The National Imagination) Гопала Балакришнана впервые опубликовано в New Left Review. 211, May—June 1996. P. 56—69.

«Воображаемые сообщества: кто их воображает?» (Whose Imagined Community?) Парта Чаттерджи впервые опубликовано как первая глава Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial histories. Princeton, 1993.

«Куда идут «нация» и «национализм»?» (Whither «Nation» and «Nationalism»?) Кэтрин Вердери впервые опубликовано в Daedalus. 122, summer 1993. P. 37—46.

«Женщина и нация» (Woman and Nation) Сильвии Уолби впервые опубликовано в International Journal of Comparative Sociology. XXXIII, 1—2, 1992. P. 81—100.

«Этничность и национализм в сегодняшней Европе» (Ethnicity and Nationalism in Europe Today) Эрика Дж. Хобсбаума впервые опубликовано в Anthropology Today. 8, 1, February 1992.

«Интернационализм и второе пришествие» (Internationalism and Second Coming) Тома Нейрна впервые опубликовано в Daedalus. 122, 3, summer 1993. P. 155—170.

«Европейская нация-государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенности и гражданства» (The European Nation-State — Its Achivements and Its Limits. On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship) Юргена Хабермаса впервые опубликовано в Ratio Juris. Vol. 9, no. 2, July 1996.

«Нации-государства в Европе и на других континентах: разнообразие, развитие, неугасание» (Nation-States in Europe and Other Continents: Diversifying, Development, not Dying) Майкла Манна впервые опубликовано в Daedalus. 122, 3, summer 1993. P. 115—140.

В издательской группе «ПРАКСИС»
вышли в свет:

НОРБЕРТ ЭЛИАС

ОБЩЕСТВО ИНДИВИДОВ

Впервые на русском языке публикуется сборник произведений выдающегося немецкого социолога XX столетия, одного из наиболее ярких последователей социологических традиций, заложенных великим немецким социологом Максом Вебером. Известный прежде всего как автор монументального исследования «О процессе цивилизации» (1935/1936), Норберт Элиас (1897—1990) вошел в историю социальной мысли как тонкий аналитик цивилизационного процесса в его взаимосвязи с культурными и социальными институтами. В предлагаемый вниманию читателя сборник вошли работы, посвященные ключевой проблеме социологии — отношению между обществом и составляющим его индивидами. Автор подробно исследует изменение баланса индивидуальной и групповой идентичности на протяжении последних трех столетий, тщательно прослеживая при этом возрастание чувства индивидуальности, которым сопровождалась историческая эволюция современных обществ. В настоящее время работы Элиаса являются одними из самых популярных и цитируемых. Книга удачно сочетает в себе высокий уровень освоения теоретической проблематики с простотой и доступностью изложения. Она может быть интересна социологам, политологам, философам, культурологам и всем интересующимся современной социальной мыслью.

Содержание: Общество индивидов (1939). — Проблемы самосознания и образа человека (40-е—50-е годы). — Изменение баланса между Я и Мы (1987).

Формат 60 × 84/16
330 страниц
Мягкая обложка

В издательской группе «ПРАКСИС»
вышли в свет:

ФРИДРИХ ГЕОРГ ЮНГЕР

НИЦШЕ

Работа известного немецкого мыслителя-эссеиста, брата знаменитого немецкого философа Эрнста Юнгера, современника Освальда Шпенглера, Мартина Хайдеггера и Карла Шмитта, одной из ключевых фигур немецкой «консервативной революции» Фридриха Георга Юнгера (1898—1977) посвящена творчеству Фридриха Ницше. Опубликованная впервые в 1949 году, работа обстоятельно раскрывает духовные истоки и основные этапы эволюции философского мышления Ницше. Написанная в духе внутренней полемики с интерпретацией Ницше, предложенной Мартином Хайдеггером, работа построена на анализе таких ключевых для мышления Ницше понятий, как «воля к власти», «вечное возвращение», «сверхчеловек», «европейский нигилизм». Представляя собой тонкий разбор основных лейтмотивов мысли Ницше, работа одновременно служит своего рода «документом эпохи», удачно протоколирующем дискуссии, происходившие в немецкой духовной жизни 20—40-х годов. Книга может представлять интерес как для философов, социологов, политологов, так и для всех тех, кто интересуется творчеством Фридриха Ницше и идеями «консервативной революции».

Содержание: Рождение трагедии. — Заратустра. — Гёльдерлин и Ницше. — Воля к власти. — Антихрист. — Вечное возвращение. — Сверхчеловек. — Актер. — Масса.

Формат 84 × 108/16
255 страниц
Мягкая обложка

В издательской группе «ПРАКСИС»
готовятся к печати:

ДЖОН ГРЕЙ

ПОМИНКИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА НА ЗАКАТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

Сборник статей одного из лучших политических теоретиков современности Джона Грея «Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современной эпохи» охватывает широкий круг проблем, стоящий перед современной политической философией. Она содержит критический разбор и полемику со всеми ведущими направлениями современной политической мысли — либерализмом, консерватизмом, коммунитаризмом и т. д. Джон Грей утверждает, что современная западная цивилизация «пришла к провалу» в силу исчерпанности того универсального проекта, на который она опиралась последние три столетия — «проекта Просвещения», — суть которого заключалась в попытке рационального обоснования политики и морали. Поэтому, как утверждает Джон Грей, доминирующие формы политической мысли, и прежде всего либерализм, абсолютно неадекватны тем вызовам, с которыми приходится сталкиваться современной западной цивилизации — глобализация, широкое распространение фундаменталистских течений, этнические и религиозные конфликты, нарастающий разрыв между «первым» и «третьим» мирами, рост социальной и этнической нетерпимости внутри самих развитых западных обществ. Книга служит трезвым предупреждением поклонникам безудержного экономического роста и сторонникам глобализации.

В издательской группе «ПРАКСИС»
готовятся к печати:

ХИЛАРИ ПАТНЭМ

РАЗУМ, ИСТИНА И ИСТОРИЯ

Работа известного американского философа, выдержавшая после своей публикации в свет в 1981 году множество переизданий, посвящена исследованию основных проблем современной философии. Автор подробно рассматривает различные проблемы, связанные с теорией референции, философией сознания, познанием внешнего мира, с основными формами использования языка в философии, а также природу психической жизни человека. Предметом рассмотрения в книге становятся различные конкурирующие версии реализма в современной философской мысли. Особое внимание автор уделяет перспективам изучения социальных проблем в современной мысли, дискуссиям, посвященным проблеме объективности социального знания и роли ценностей в социальном познании, а также идее «конца истории». По мнению Патнэма, модели философской и научной рациональности, представленные в таких ведущих философских направлениях XX века, как логический позитивизм, методологический анархизм и французский структурализм, являются самоопровергающимися и подрывающими саму возможность существования философии как формы рациональной деятельности человека. Ответом на эти вызовы может, по мнению Патнэма, послужить предложенная им концепция «некритериальной рациональности», одно из главных достоинств которой американский философ видит в том, что она способна предложить убедительную модель защиты объективности ценностных суждений.

Научное издание

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ
Б. Андерсон, О. Бауэр,
М. Хрох и др

Перевод с английского *Л. Е. Переяславцева, М. Б. Гнедовской*
Перевод с немецкого *М. С. Панин*

Оформление обложки *А. Кулагин, А. Мосина*
Оригинал-макет *А. В. Иванченко*

Издательская группа «Праксис»
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 09.11.2001. Формат 70 × 90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,4
Тираж 2000 экз. Заказ 2035

ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Типография „Новости“»
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

ISBN 5-901574-07-9

